И • ТУРГЕНЕВ

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

НАКАНУНЕ

ОТЦЫ И ДЕТИ

И • ТУРГЕНЕВ

И. ТУРГЕНЕВ

Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

И. ТУРГЕНЕВ

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

●

НАКАНУНЕ

●

ОТЦЫ И ДЕТИ

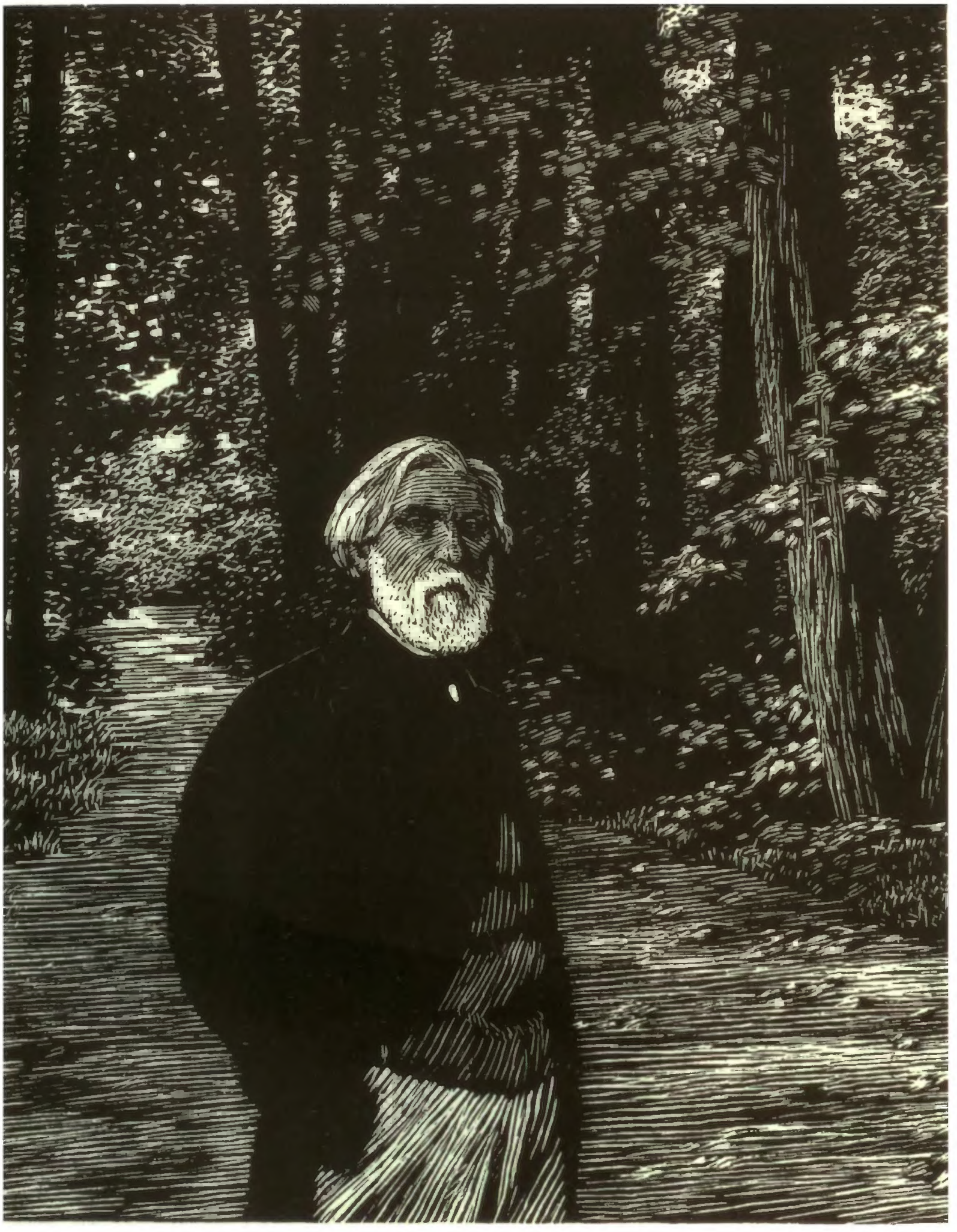
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья
С. Петрова

Р1
Т 87

Иллюстрации
В. Домогацкого

7-3-1
Подп. изд.



ШЕДЕВРЫ ТУРГЕНЕВА

Жизнь Тургенева протекала в одну из знаменательных эпох отечественной и всемирной истории. Когда ему было семь лет, произошло восстание декабристов. Начало его литературной деятельности приходится на время Белинского и Гоголя, а расцвет — на 60-е и 70-е годы — время Чернышевского и революционного народничества. Тургенев был свидетелем революции 1848 года и Парижской коммуны. В год смерти писателя в русском освободительном движении возникла первая марксистская организация — группа «Освобождение труда».

Тургенев был проницательным и прозорливым художником. От начала до конца своей творческой жизни он был чуток ко всему новому в русской действительности. Он умел подмечать и откликаться на все живые и острые явления современности, ставить в своих произведениях именно те вопросы русской жизни, которые волновали общественную мысль. Тургенев не был политическим борцом, как Герцен или Чернышевский, но, откликаясь своими произведениями на все существенное и актуальное в русской жизни, в большей мере, чем многие другие видные писатели, его современники, участвовал в общественной борьбе 40—70-х годов. Книги Тургенева всегда вызывали острую литературно-общественную полемику, являлись примером действенного искусства. Имя Тургенева, несмотря на все его разногласия с революционными демократами, связано с передовыми течениями его времени, с журналом «Современник», с газетой «Колокол», с прогрессивными литературными кругами на Западе.

Мировоззрению Тургенева всегда были присущи в той или иной степени просветительские демократические элементы, которые, по определению Ленина, заключались во вражде к крепостному праву и всем его порождениям, в сочувствии нуждам народа, в защите культуры, просвещения, свободы убеждений и слова. «Есть немало в России писателей, которые по своим взглядам подходят под указанные

черты» [1],— замечает Ленин. Именно эти черты делали произведения Тургенева близкими и дорогими «всякому порядочному человеку на Руси». В прокламации народовольцев, выпущенной в связи со смертью Тургенева, говорилось, что лучшая часть русской молодежи любит Тургенева за то, что он был «честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного, чисто русского идеализма». Тургенев, указывалось в прокламации, «служил русской революции сердечным смыслом своих произведений... он любил революционную молодежь, признавал ее «святой» и самоотверженной» [2]. «Литературная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение, наравне с деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова» [3],— писал Салтыков-Щедрин.

В развитии русской и мировой литературы время Тургенева — это время перехода от романтизма к реализму, утверждения и расцвета реализма. Сам Тургенев видел в «великом реалистическом потоке, который в настоящее время господствует повсюду в литературе и искусствах», самое примечательное явление художественного развития своего времени, как он писал в 1875 году в предисловии к французскому переводу «Двух гусаров» Л. Н. Толстого. В реализме, указывал он, «выразилось то особенное направление человеческой мысли, которое, заменив романтизм 30-х годов и с каждым годом все более и более распространяясь в европейской литературе, проникло также в искусство, в живопись, в музыку» [4]. Выдающимся представителем этого направления в мировой литературе и был сам Тургенев.

Как ни изменялась художественная манера Тургенева в разные периоды его творческого пути, он всегда считал себя писателем-реалистом. «Я преимущественно реалист — и более всего интересуюсь живою правдою людской физиономии; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свободу — и, сколько могу судить, доступен поэзии. Все человеческое мне дорого...» — писал он М. А. Милютиной в феврале 1875 года (Письма, XI, 31—32).

Пушкин, Лермонтов, Гоголь заложили незыблемый фундамент новой реалистической русской литературы. Успехи реализма были связаны с тем, что он предоставил искусству слова безграничные возмож-

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 519.

[2] «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», «Academia», М.—Л. 1930, стр. 8.

[3] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XV, М. 1940, стр. 611.

[4] И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. XV, М.—Л. 1968, стр. 108, 110. (В дальнейшем ссылки на это издание приводятся непосредственно в тексте указанием серии, тома и страницы.)

ности правдивого художественного отображения действительности, создал многообразные художественные формы, сделал литературу могучим средством воздействия на идейное, нравственное и эстетическое развитие общества.

В 40-е годы в литературу входит блестящая плеяда новых писателей-реалистов, воспитанных критикой Белинского, продолжателей дела Пушкина и Гоголя. Среди них и молодой Тургенев. «Записки охотника» приносят ему широкую известность.

Обращение Тургенева к крестьянской жизни естественно вытекало из его антикрепостнических настроений, возникших у писателя еще в годы его юности. Основной идеей «Записок охотника» явился протест против крепостного права. «Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда»,— вспоминал потом Тургенев (Сочинения, XIV, 9).

Крестьянская тема со времен «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева являлась одной из главных тем русской литературы. Появление образов крестьян в творчестве Тургенева отвечало важной тенденции общего развития реалистической русской литературы 40-х годов — ее стремлению к художественному познанию народной жизни, к сближению с народом.

В «Записках охотника» русская литература далеко продвинулась вперед в художественно-реалистическом освоении народной жизни. В отличие от этнографических очерков Даля, увлекавшегося изображением внешних сторон крестьянского быта, и от повестей Григоровича с их сентиментально-жалостливым отношением к «мужичку», Тургенев критически освещает социальные отношения в крепостной деревне, показывает внутренний душевный мир людей из народа. Говоря словами Белинского, писатель «зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему еще никто не заходил» [1]. В образах мудрого, хозяйственного Хоря, тонко чувствующего красоту природы Калиныча, правдоискателя Касьяна, мужественно умирающего Максима и терпеливой в страданиях Лукерии, талантливого Якова-Турка и его друзей, любознательных и одаренных ребятишек из рассказа «Бежин луг», сердечных и искренних, верных в любви и стойких в горе крестьянских женщин писатель запечатлел облик русского крестьянина, обрисовал черты национального характера, живую душу народа, не сломленную веками крепостного гнета. В этом, собственно, и состоит внутреннее единство всего цикла. «Русский народ, богатый элементами разума и эстетического чувства, в то же время отличается и необыкновенною

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, М. 1956, стр. 346.

сметливостью, смышленостию, практическою деятельностию ума, остроумием, аналитическою силою рассудка»[1],— писал Белинский. Эта характеристика художественно воплощена в образах крестьян в «Записках охотника».

Особенно привлекают Тургенева те типы крестьянской среды, которые воплощали поэтическую непосредственность и чистоту народной души (Калиныч, например); писатель находит в них источник красоты и творчества. По поводу рассказа «Певцы» Тургенев пишет П. Виардо: «Детство всех народов сходно, и мои певцы напомнили мне Гомера... Состязание происходило в кабачке, и там было много оригинальных личностей, которые я пытался зарисовать à la Teniers» (Письма, I, 401—402). Характерная для безыскусственного эпоса простота, с которой рисуется картина состязания и воссоздаются душевные настроения певцов и их очарованных слушателей, сочетается в рассказе с точной передачей чисто бытовых деталей, вплоть до детского крика в ночной тиши: «Антропка-а-а...» «Певцы» — чудо»,— отозвался о рассказе Некрасов.

Патриот-демократ Белинский высмеивал славянофилов за их утверждение, что национальная самобытность русского крестьянства якобы проявляется в приверженности ко всему отсталому, патриархальному, в исконной вражде ко всяким новшествам, к опыту других народов, в смирении и покорности. Эти измышления славянофилов о русском народе решительно обличаются в «Записках охотника». Пытливо расспрашивает Хорь о том, что делается на свете, о порядках и жизни в свободных от крепостной неволи странах, проявляя при этом критический ум и ту сметливость и переимчивость, которые в русском крестьянине так ценили Пушкин, Белинский и Герцен. Тургенев пишет в рассказе «Хорь и Калиныч»: «Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед». В этом писатель видел залог богатого будущего русской нации. Он подчеркивает несовместимость крепостного строя с достоинством русского народа. Тургенев подметил в крестьянской среде и настроения возмущения и протеста против крепостного права. В «Бурмистре» старый крестьянин только молчит и кланяется барину, а молодой парень уже готов к протесту: «бунт» почувствовал в его словах Пеночкин. Прямую расправу с жестоким помещиком Тургенев предполагал показать в рассказе «Землеед». Писатель не осуществил этого замысла: цензура все равно запретила бы печатание рассказа.

Вместе с тем Тургенев далек от славянофильской или народнической идеализации крестьянства: в ряде рассказов он отмечает отрицательные черты в крестьянской среде, привитые веками крепостниче-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1953, стр. 222.

ства. Но еще Л. Н. Толстой справедливо заметил, что Тургенев искал в «простом народе больше доброго, чем дурного» [1], что он сумел в эпоху крепостничества осветить крестьянскую жизнь и оттенить ее поэтические стороны.

«Записки охотника» — это прежде всего книга о русском народе, крепостном крестьянстве. Однако рассказы и очерки Тургенева охватывают и многие другие стороны русской жизни того времени.

Чрезвычайно важной темой «Записок охотника» является обличение как старозаветных помещиков-крепостников («Два помещика»), так и крепостников «культурных» («Бурмистр»). Типичность образа «культурного», «гуманного» крепостника-помещика Пеночкина вышла далеко за пределы тургеневской эпохи. В этом персонаже В. И. Ленин усмотрел впоследствии характерные черты помещиков-либералов, внешне культурных, а по сути своей заядлых крепостников (статья «Памяти графа Гейдена», 1907).

Только цензурные препятствия помешали Тургеневу дать в задуманном им рассказе «Русский немец и реформатор» сатирический образ широкого политического обобщения, раскрыть сущность николаевского полицейского режима. В рассказе должен был быть выведен «государственно мыслящий» помещик З., который «все порядок водворял... А мужикам приходилось плохо». Замысел остался неосуществленным. «З. вышел у меня до того поразительно похож на Николая Павловича, что нечего было и думать печатать, цензура ни за что бы не пропустила» [2],— рассказывал писатель.

В «Записках охотника» намечены темы и коллизии, которые в дальнейшем будут развиты Тургеневым в «Якове Пасынкове», «Рудине» и других произведениях. Так, в рассказах «Уездный лекарь» и «Смерть», написанных в 1848 году, наряду с повествованием о жизни «маленького человека» возникает волнующая писателя тема судьбы разночинной интеллигенции. «Люди они были хоть и неимущие, но образованные... на редкость»,— рассказывает уездный лекарь о семействе своей пациентки. «Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил». Этот мимолетный образ обращает нас к той демократической среде «сочинителей», которую Тургенев имел возможность наблюдать в кругу интеллигенции 40-х годов. От самой девушки из бедного, но «чрезвычайно образованного семейства», которой «с богатыми гордость запрещала знаться», также тянется нить к героям демократической литературы 60-х годов.

---

[1] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 46, М. 1937, стр. 184.

[2] Воспоминания Н. А. Островской.— В сб. «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. 2, «Художественная литература», М. 1969, стр. 73.

Образ бедного разночинца, возвышенного идеалиста, свято верящего в людей, в добро, в дружбу, любящего поэзию, воплощен в Авенире Сорокоумове из рассказа «Смерть». Образ его навеян Тургеневу воспоминаниями о трагической судьбе Кольцова. Примечательно, что рассказ о том, как спокойно, без страха принял свою безвременную смерть Авенир Сорокоумов идет вслед за рассказом о мужественной смерти русского крестьянина-дровосека.

В отдельном издании 1852 года Тургенев завершает «Записки охотника» поэтическим очерком «Лес и степь», проникнутым чувством гордости и восхищения перед красотой родной земли. Картины бескрайней русской степи, далеко раскинувшегося леса, любимых русскими людьми мест, «подобных тем, куда езживали богатыри наших древних былин стрелять белых лебедей и серых утиц» («Стучит!»), Тургенев создает как выражение могучих и непочатых сил своей родины, русского народа, его богатырского прошлого.

В «Записках охотника» утверждается реализм в творчестве Тургенева. В первых очерках и рассказах «Записок охотника» Тургенев избегает сюжетной сложности, видимо усматривая в этом известный пережиток романтической школы. Ему, как и другим писателям «натуральной школы» 40-х годов, авторам «физиологий», хотелось дать картины жизни в их простоте и непосредственности, без очевидного вмешательства поэтического вымысла.

В последующих рассказах становится менее ощутимым влияние физиологического очерка, усиливаются психологизм и элементы сюжетного повествования, все сильнее проникает в бытовую и пейзажную живопись «Записок охотника» тургеневский лиризм.

Поэтическая целостность «Записок охотника» обусловлена тем единством художественной манеры, которое присуще этой книге Тургенева. Писатель не создает в своем цикле тщательно разработанные и полностью выявленные человеческие характеры. Такого рода задача и не могла стоять перед «охотником». Тургенев ограничивается эскизами, набросками, портретными зарисовками. Однако умелым подбором характеристических черт и подробностей достигается необходимая реалистичность типизации, художественная рельефность. Свои мимолетные, случайные «охотничьи» встречи и наблюдения писатель сумел воплотить в типические образы, дающие обобщающую картину русской жизни крепостной эпохи.

Многогранно искусство рассказа в «Записках охотника». То его ведет от себя охотник, живописующий виденное, то он сам становится слушателем целого повествования («Уездный лекарь»), то рассказ ведется в форме беседы («Льгов»). Рассказ «Однодворец Овсяников» состоит из ряда миниатюрных новелл-портретов. Бытовой очерк, психологическая новелла, картина с натуры, лирический этюд, пейзажная

зарисовка — все эти жанры равно доступны мастерству автора «Записок охотника». «Тургенев навсегда останется в литературе, как необычайный миниатюрист-художник! «Бежин луг», «Певцы», «Хорь и Калиныч», «Касьян» и много, много других миниатюр как будто не нарисованы, а изваяны в неподражаемых, тонких барельефах!» [1] — заметил однажды Гончаров.

Богатству содержания и новеллистических форм «Записок охотника» отвечает их необычайно разнообразная тональность. Трагический тон повествования уездного лекаря сменяется юмористическим рассказом о спасении француза, барабанщика «великой армии», которого мужички просили «уважить их, то есть нырнуть под лед». Исполнено иронией описание славянофильского патриотизма помещика Любозвонова. Проникновенный лиризм «Певцов», простота и задушевность «Бежина луга», драматизм повествования о Чертопханове, гневные сатирические интонации рассказа «Бурмистр» говорят об эмоциональном богатстве «Записок охотника».

С первыми же очерками своего «охотничьего» цикла Тургенев прославился как художник, обладающий удивительным даром видеть и рисовать картины природы. Тургеневский пейзаж психологичен, связан с переживаниями и обликом персонажей рассказа, с их бытом.

Глубоко национальный русский колорит Тургенев воссоздает и в описаниях народного быта. «Мы, реалисты, дорожим колоритом»,— пишет Тургенев П. Виардо в декабре 1847 года, в пору работы над первыми рассказами «Записок охотника» (Письма, I, 450). Подробности народного быта, по его словам, «придают колорит, освещение всей картине». Непритязательная обстановка крестьянской избы, хозяйственный двор у помещика, куры, копающиеся в навозе, утки, плескающиеся в лужицах, коровы, обмахивающиеся хвостами («Мой сосед Радилов»),— вся эта проза обыденной жизни, «фламандской школы пестрый сор», превращается у Тургенева, как и у Пушкина, в чистое золото поэзии.

В буржуазном литературоведении не раз имели место попытки доказать, что «Записки охотника» писались Тургеневым под влиянием повестей и рассказов о крестьянской жизни Б. Ауэрбаха, Жорж Санд и других западных писателей. Между тем сами западноевропейские писатели рассматривали «Записки охотника» как произведение, возникшее на почве русской народной жизни, как подлинно национальное искусство, давшее возможность читателям Западной Европы глубже понять Россию. Жорж Санд, посвящая Тургеневу свой очерк «Пьер Боннен», обращаясь к автору «Записок охотника», писала: «Какая мастерская живопись! Как видишь их всех, как слышишь и знаешь этих

---

[1] «Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, вып. I, Пг. 1924, стр. 12.

северных крестьян, еще бывших крепостными в то время, когда вы их описывали, и всех этих деревенских помещиков из мещан и дворян, минутная встреча с которыми, несколько сказанных ими слов были достаточны вам для того, чтобы нарисовать образ животрепещущий и яркий. Никто не мог бы сделать это лучше вас. Ваши крестьяне, ваши помещики предстают перед нами с исключительной рельефностью. Это — новый мир, в который вы позволили нам проникнуть; ни один исторический памятник не может раскрыть нам Россию лучше, чем эти образы, столь хорошо вами изученные, и этот быт, так хорошо увиденный вами»[1]. Именно «Записки охотника», переведенные почти вслед за их появлением на многие западноевропейские языки, положили начало мировой славе Тургенева как великого художника-реалиста. Жорж Санд называла Тургенева своим учителем. Доде приходил в восторг от пейзажной живописи «Записок охотника». Мопассан мечтал написать охотничьи рассказы по типу тургеневских.

По мере развития реализма русская литература все более широко охватывала действительность крепостной эпохи, происходил процесс художественного познания все новых сторон русской жизни. «Записки охотника» и тематически примыкающие к ним повести «Муму», «Постоялый двор» расширили изображение народной среды, крестьянства, изнывавшего под гнетом крепостного права. Рядом образов «культурных» крепостников, самодовольных ограниченностей из барско-усадебной среды, самодурок-помещиц, прожигателей жизни из «благородного» дворянства Тургенев дополнил гоголевскую галерею «мертвых душ». Вместе с тем в русском обществе своего времени он сумел найти и живые души. Писатель обращается к теме, которая в эпоху декабристов была широко освещена Грибоедовым и Пушкиным. В ряде произведений Тургенева 50-х годов, постепенно нарастая, звучит трагическая тема судьбы тех немногих духовно и нравственно возвышенных людей, которые тогда представляли собой лучших людей крепостного общества, людей, ставших его жертвами. Тургенев становится летописцем исторических судеб прогрессивной дворянской и разночинской интеллигенции своего времени. Расширяется и жанровый диапазон творчества Тургенева: он обращается к повести и роману.

С начала XIX века роман становится основной и наиболее популярной эпической формой в западноевропейской литературе. С 30-х годов роман и его ответвление — повесть — начинают пользоваться огромным успехом и у русского читателя. Белинский развитие романа связывал с процессом все большего сближения литературы с действительностью.

---

[1] См. статью М. П. Алексеева «Мировое значение «Записок охотника».— В сб. «Творчество И. С. Тургенева», Учпедгиз, М. 1959, стр. 100—101.

Если романтики видели в романе удобную форму для изображения истории человеческого сердца, то Белинский видел в романе художественную форму «для поэтического представления человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни» [1]. До конца 40-х годов этому требованию отвечали немногие произведения русской литературы — романы Пушкина, Лермонтова и Гоголя, заложившие в своеобразных формах основы русского реалистического романа. В конце 40-х годов областью романа овладевают писатели «натуральной школы». Громадный успех сопутствовал романам Герцена «Кто виноват?» и Гончарова «Обыкновенная история». Тургенев пишет романы «Рудин» и «Дворянское гнездо».

Произведения Тургенева 50-х годов имели громадное нравственное значение для русского общества. В связи с выходом романа «Дворянское гнездо» Салтыков-Щедрин писал П. В. Анненкову: «Что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора?» [2] Нужно было не только сохранить и пронести «душу живу» сквозь долгие годы растлевающего человека крепостного рабства, но и будить своим словом эту душу в других, хотя бы и в форме самых общих и отвлеченных, но возвышенных истин, как в «Рудине», или исполненными нравственной чистоты поэтическими сценами и картинами «Дворянского гвезда».

В начале 40-х годов Гоголь показал русскому обществу, до какого духовного и нравственного оскудения может дойти человек в условиях крепостнического строя, при господстве «мертвых душ». Тургенев приходит вслед за ним и говорит, что можно быть человеком, хотя и страдающей, но живой души, которой доступно высокое понимание целей и назначения человеческой жизни. Правда, и его положительные герои несут на себе родимые пятна крепостного общества — бесхарактерность и слабоволие, черты обломовщины, поражавшей все кругом. Но все же это были лучшие русские люди того времени, не дававшие и другим окончательно закоснеть и опуститься. С удивительной тонкостью и мастерством Тургенев показывает пробуждение неодолимых стремлений к чему-то, порой неясному, неопределенному, но все же возвышенному и светлому. Творения Тургенева как раз и освещали то положительное, в чем нуждалось русское общество для своего развития, чтобы преодолеть мертводушие и пустоту жизни, которые нашли свое обличение в творчестве Гоголя и Лермонтова. Развивая их светлые

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. I, М. 1953, стр. 271.

[2] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. 18, М. 1937, стр. 144.

идеалы, Тургенев говорил своими произведениями, что в России есть не только «мертвые души», но что в ней есть и живые силы.

Но как ни связаны первые романы Тургенева — «Рудин» и «Дворянское гнездо» — и примыкающие к ним повести с вопросами, волновавшими современников, своим историческим содержанием они все же были обращены к прошлому, хотя и недавнему: в них рисовались типы уходящей жизни. Между тем в истории России начиналась новая эпоха — 60-е годы. Новые задачи вставали и перед русской литературой. Тургенев и обратился к ним в следующих своих романах — «Накануне» и «Отцы и дети».

Действие романа «Накануне» (1860) происходит в 1853 году, до крымского разгрома, но в нем не ощущается той давящей атмосферы, которая существовала в последние годы николаевского режима. Роман писался уже после Крымской войны, в годы начавшегося общественного оживления. Пафос «Накануне» — в изображении духовного пробуждения России, в стремлении к свободе, свободе во всем: в общественной деятельности, в чувствах, в личной жизни. Этот проникающий роман пафос воплощен прежде всего в образе замечательной русской девушки Елены Стаховой.

В конкретно-историческом плане образ тургеневской героини свидетельствовал о росте общественного самосознания в среде русской женской молодежи того времени. Когда Елена, после смерти Инсарова став сестрой милосердия, приняла участие в освободительной войне болгарского народа против турецкого ига, читатели не могли не вспомнить памятные образы первых русских сестер милосердия и их подвиги во время обороны Севастополя. Когда Елена говорила о необходимости научных лекций для женщин, читатели вспоминали о том, что в 1858—1859 годах в русских журналах широко обсуждался «женский вопрос» и что в начале 1859 года в русском университете появились первые женщины-слушательницы.

Но образ Елены Стаховой имел и более широкое значение.

«В ней (Елене.— *С. П.)*,— писал Добролюбов,— сказалась та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество, и даже не одно только так называемое образованное» [1]. Вся Россия находилась накануне перелома своей истории. Никогда еще Тургенев не создавал образа такого широкого, прогрессивного, общенационального значения.

Все основные персонажи романа связаны с главной темой «Накануне», что и обусловило расположение их вокруг Елены как компози-

---

[1] Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 6, М.— Л. 1963, стр. 120.

ционного центра романа. Тургенев подводит к Елене одного за другим Шубина, Берсенева, Инсарова, Курнатовского, как бы представляя в этих героях различные общественные и нравственные идеалы, воплощавшие определенные исторические тенденции русской жизни. Происходит переоценка духовных и нравственных ценностей, и над старым закономерно торжествует новое, властно вторгающееся в жизнь и захватывающее в ней все то лучшее и благородное, что воплотил Тургенев в образе героини романа. Разночинца-демократа Инсарова выбирает сердце Елены, как бы решая вопрос о том, какие люди нужны России.

В романе «Накануне» на смену рефлектирующим «лишним людям» приходит человек сильного характера, полный целеустремленности, воодушевленный великой идеей борьбы за свободу родины, которой он подчиняет всю свою жизнь. Тема героического увлекала Тургенева и раньше. Героическое в какой-то степени присуще и Рудину. Но только в связи с развитием разночинского демократического движения Тургенев находит ее жизненное воплощение в фигуре разночинца. Инсаров не испытывает ощущения отрыва от родной почвы, от народа, как «лишние люди», как представители дворянской интеллигенции 30—40-х годов. «Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода!» — замечает Шубин. Силу свою Инсаров видит в единстве с народом.

В том, что героем русского романа становится болгарин, тоже нашел свое отражение определенный исторический факт: в 50—60-е годы все больше развивались связи деятелей болгарского национально-освободительного движения и передовой болгарской культуры — Любена Каравелова, Петко Славейкова, Христо Ботева — с демократическими кругами русского общества. В связи с Крымской войной на Балканах наметился новый подъем национально-освободительного движения порабощенных Турцией славянских народов, надеявшихся на поддержку России. Не случайно с глубокой благодарностью говорит Инсаров о «золотых сердцах русских».

Тургенев, с горячей симпатией следивший за национально-освободительным движением Гарибальди в Италии, так же сочувственно относился к национально-освободительной борьбе славянских народов на Балканах против турецкого ига.

Прототипом образа Инсарова был для Тургенева учившийся в России молодой болгарин Н. Катранов, но к нему, говоря словом самого писателя, «приложились» впечатления из русской действительности. Нравственно-психологические черты Инсарова во многом воссоздают облик первых и лучших представителей русской демократической молодежи 60-х годов. Тургенев не был согласен с ее революционными идеями и планами. Но это не мешало ему высоко ценить благородство и патриотические побуждения этой молодежи. Как и деятелям русского

освободительного движения 60-х годов, Инсарову присуще чувство долга, глубокое сознание своей ответственности перед народом.

С духовным обликом и твердым характером Инсарова гармонировали и его моральные качества. Так, в своих личных отношениях Инсаров был в высшей степени щепетильным и требовательным к себе человеком. Не желая быть никому обязанным, он в то же время готов был с другом, с единомышленником поделиться всем.

Полюбив Елену, Инсаров избегает ее не от слабости характера, как лишние люди, а от силы характера. Он боится, что любовь помешает его делу, а он даже и мысли не допускает, чтобы «для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу». Это все опять-таки знакомые черты нравственного облика разночинца-демократа 60-х годов.

Елена не просто жена Инсарова — она друг, единомышленник, сознательный участник его дела. Ее разрыв с привычным кругом взглядов и традиций был тем рубежом, перед которым остановились и который не могли, не сумели перешагнуть страдающие герои «Дворянского гнезда», покорившиеся своей судьбе. Они были еще люди старой, крепостной эпохи. Елена воплощала собой новые веяния. В «Накануне» в разрыве Елены с дворянской средой нашел свое отражение знаменательный исторический факт перехода передовой русской молодежи на сторону демократического движения.

Путь Елены после смерти Инсарова определяется как путь ее собственной борьбы за свободу. Но таков же был путь и передового молодого поколения России того времени. Героическое решение Елены является как бы началом этого пути. В романе Тургенева в первый раз в русской литературе показано, как передовая русская женщина становится вполне самостоятельным борцом на том пути, на котором впоследствии прославились Софья Перовская и Вера Фигнер. Подвиг Елены остался безымянным, но важно, что «дело» было, что оно началось. И самый мотив безымянности революционного подвига разовьется впоследствии у Тургенева в романе «Новь» в символический образ революционной «безымянной Руси». В образах Марианны и девушки из «Порога» завершится героическая тема «Накануне».

Тургенев всегда стремился найти и показать положительные активные силы жизни. Он всегда приветствовал тех, кто смело творил ее, кто мужественно шел на подвиг. Говоря об отеческом отношении Тургенева к молодежи, народоволец Г. Лопатин замечает: «И, пожалуй, он больше любил «буйных» сынов своих... «Буйные» были ближе и приятнее душе его» [1]. Героическое начало в человеке всегда и нравственно и эстетически привлекало внимание Тургенева.

---

[1] Сб. «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 430.

«Накануне» означало, что героями русской литературы становятся новые люди — разночинцы-демократы. Первым в русской литературе Тургенев отметил их появление и показал их все возраставшую роль в русской жизни уже в конце 50-х годов: вслед за «Накануне» Тургенев пишет роман «Отцы и дети».

К работе над романом Тургенев приступил в начале августа 1860 года, а закончил его в июле 1861 года. Появились «Отцы и дети» в февральской книге журнала «Русский вестник» за 1862 год. В том же году роман вышел отдельным изданием с посвящением памяти В. Г. Белинского.

«Современник» в статье М. А. Антоновича резко отрицательно отозвался о романе Тургенева, увидев в образе Базарова клевету на «детей». Однако не все демократически настроенные современники усмотрели в «Отцах и детях» искажение облика передовой разночинской молодежи 60-х годов. Д. И. Писарев в статье «Базаров» дал высоко положительную характеристику тургеневскому герою, с которой согласился и сам писатель. Герцен, по свидетельству Н. Тучковой-Огаревой, «удивлялся негодованию русской молодежи на Тургенева», видя в Базарове «много человеческого» [1]. В своих воспоминаниях «Далекое близкое» И. Е. Репин свидетельствует о том, что в 60-е годы «из литературы два героя, как образчики для подражания, преобладали в студенчестве: Рахметов и Базаров» [2].

Действие романа происходит летом 1859 года, эпилог рассказывает о событиях, последовавших уже после падения крепостного права, в 1861 году. Тургенев следует, можно сказать, по пятам событий русской жизни,— никогда он еще не создавал произведения, жизненное содержание которого по времени почти совпадало бы с моментом самой работы над ним.

Беглыми, но выразительными штрихами, в самый канун реформы 1861 года, Тургенев показывает кризис жизненного уклада и барина и мужика, общенациональную необходимость уничтожения крепостного порядка. Все более печальным становится в изображении автора «Записок охотника» вид русской деревни.

Давая общую оценку содержания «Отцов и детей», Тургенев писал: *«Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса.* Вглядитесь в лица Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно *хороших* представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?.. Они лучшие из дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность» (Письма, IV, 380).

---

[1] Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, М. 1959, стр. 290.
[2] И. Е. Репин, Далекое близкое, изд-во Академии художеств СССР, М. 1960, стр. 203.

Действительно, дворянство, как аристократическое в образе Павла Петровича Кирсанова, так и поместно-провинциальное в лице его брата Николая Петровича Кирсанова, а также и дворянская молодежь критически обрисованы в романе. Писатель отмечает слабоволие Аркадия, поверхностность его демократических увлечений, склонность к краснобайству, присущие ему барские замашки и лень. И барич склоняется перед сильной личностью Базарова.

«Главное лицо представляется выражением новейшей нашей современности»,— заявлял Тургенев о Базарове (Письма, IV, стр. 301—302).

В образе Евгения Базарова как представителя разночинской демократической молодежи многое чутко и исторически верно подмечено Тургеневым.

«Мой дед землю пахал»,— говорит Базаров, не только не смущаясь, но даже гордясь своим плебейским происхождением перед белоручками-дворянчиками. Базаров не мыслит своей жизни без труда, который дает ему самостоятельность и независимость. Базаров — натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, все подвергающая суду мысли. Он не отрицает самой необходимости принципиальных убеждений, но только не хочет быть рабом кем-то выработанных принципов, подчиниться общей традиции, слепо следовать за авторитетом. В этом отношении Базаров был типичным представителем людей 60-х годов.

Идеалисты 30-х годов любили рассуждать по поводу несовершенства мира, они искали объяснения этому несовершенству, но они были далеки от того, чтобы вслед за этим объяснением приняться за изменение мира, им не хватало практического отношения к действительности. Базаров также подводит под свое отрицание теоретическую основу. Несовершенство общества и общественные болезни он объясняет характером самого общества. «Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги, а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом,— говорит Базаров,— исправьте общество, и болезней не будет». Так именно и рассуждали русские демократы-просветители 60-х годов, признававшие «только то, что полезно для человека», чьей «последней целью», по словам Добролюбова, являлась не «рабская верность отвлеченным высшим идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству» [1].

Базаров был типичным их представителем и в этом отношении. Его не удовлетворяют мелкие улучшения жизни, частичные ее исправления. Базаров — не либеральный реформатор. Он требует уничтожения и замены самых основ современного ему общества. В непримиримом отрицании Базаровым всего крепостнического прошлого, несомненно, отра-

---

[1] Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 4, М.— Л. 1962, стр. 73.

гились революционные устремления передовой демократической молодежи. В нигилизме Базарова сам автор справедливо усматривал проявление революционности. «Если он называется нигилистом, то надо читать: революционером»,— писал Тургенев К. К. Случевскому 14 апреля 1862 года (Письма, IV, 380).

Базаров — материалист, как и все передовые люди 60-х годов. В основах своего материалистического мировоззрения Базаров близок к материализму Писарева. Его увлечение естествознанием, интерес к сочинениям вульгарных материалистов — Бюхнера и других — черты духовного облика той части молодежи, которая тяготела к «Русскому слову», к Писареву. С писаревским направлением в материалистической мысли 60-х годов связано и отношение Базарова к вопросам искусства, эстетики.

Подчеркивая скептическое отношение Базарова к искусству, к поэзии, Тургенев раскрывал характерную черту, которую он наблюдал у некоторых представителей демократической молодежи того времени. «Рисуя фигуру Базарова,— замечает сам писатель,— я исключил из круга его симпатий все художественное, я придал ему резкость и бесцеремонность тона — не из нелепого желания оскорбить молодое поколение (!!!), а просто вследствие наблюдений над моим знакомцем, доктором Д. и подобными ему лицами» (Сочинения, XIV, 100). «Рафаэль гроша медного не стоит»,— заявляет Базаров, как бы повторяя слова, услышанные Тургеневым от встреченного им разночинца. Пренебрежительно относится Базаров и к Пушкину. И это также не было вымыслом. Как вспоминал впоследствии русский революционер Г. А. Лопатин, «в Базарове не укладывается, конечно, вся молодежь шестидесятых годов. Но, несомненно, такие бывали, в особенности с таким отношением к искусству» [1].

Базаровский нигилизм вовсе не носит, однако, абсолютного характера. То, что проверено опытом, практикой жизни, того Базаров не отрицает. Так, он твердо убежден, что труд — призвание человека, что химия — полезная наука, что основой мировоззрения человека должно быть материалистическое понимание жизни. Базаров вовсе не предполагает ограничить свою жизнь чистым эмпиризмом, не воодушевленным никакой целью. Лишенный какой-либо рисовки и хвастовства, он все же говорит, что готовит себя к тому, чтобы делать «много дел», но какие это дела и к чему конкретному стремится Базаров — остается неясным. Да и он сам об этом еще не думает, время не пришло. «В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем»,— говорит Базаров. «Сперва нужно место расчистить»,— заявляет он. Передовое демократическое движение складывалось и развивалось под знаком отрицания всего исторически связанного с дворянско-крепостническим обществом.

[1] Сб. «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 436.

Но почему Тургенев увидел героя своего времени именно в Базарове и именно в духе отрицания и разрушения? Писатель обдумывал и начал писать свой роман в ту пору, когда еще не было отменено крепостное право, когда все еще нарастали революционные настроения и прежде всего бросались в глаза именно идеи отрицания и разрушения по отношению к старому порядку, старым авторитетам и принципам. В недавно найденной рукописи лекции землевольца С. С. Рымаренко о романе «Отцы и дети», которая в главном совпадает со статьей Антоновича (вышедшей позже), а следовательно, с точкой зрения «Современника», образ Базарова, базаровский нигилизм связывается с периодом между 1855 и 1857 годами. «Этот страстный период борьбы,— говорится в лекции,— не знавший никаких сделок, никаких уступок, продолжался не более двух лет...» [1] Для непосредственного участника движения 60-х годов, убежденного в неизбежности революции, Базаров — «уже отошедший тип». Вот почему молодежь 60-х годов и не приняла базаровского нигилизма, ибо в тех условиях такой всесокрушающий нигилизм означал скептицизм и по отношению к революционным идеалам.

Споры «отцов» и «детей» велись вокруг самых различных вопросов, волновавших общественную мысль 60-х годов,— об отношении к дворянскому культурному наследству, об искусстве и науке, об идеализме и материализме, о системе поведения человека, о нравственных принципах, о воспитании, общественном долге и т. д. Все эти проблемы нашли свое освещение в «Отцах и детях». Но, собственно, это уже были не споры. Споры велись раньше, в 40-е годы, когда их содержание в условиях николаевского режима еще не могло приобрести широкого практического значения в русской жизни. Теперь все эти проблемы стали политическими вопросами русского общественного развития. И между Павлом Петровичем и Базаровым нет споров: один задает вопросы, другой отвечает, это скорее изложение позиций, а затем схватки людей, взгляды которых давно определились. Спор предполагает возможность соглашения на почве найденной в споре истины, а здесь никакое соглашение невозможно, а только и возможны полный разрыв и война. Когда Тургенев писал свой роман, эта война уже развернулась по всему фронту в самой действительности. И в своем романе он показал, что общественная борьба в России вступила в новую историческую фазу.

Все, с чем сталкивается в романе Базаров как с возможными «благополучными» перспективами своей жизни, решительно отвергается тургеневским героем. Никакое сближение, примирение или компромисс со старым, ненавистным ему миром невозможны для Базарова. Тургенев показал также его плебейскую иронию и решительный разрыв с теми, кто сочувствовал его взглядам, дорожил его дружбой, но не обладал ни

---

[1] «Литературное наследство», т. 76, «Наука», М. 1967, стр. 160.

силой его духа и воли, ни готовностью к предстоящей борьбе и в лучшем случае мог оказаться только ненадежным попутчиком, как Аркадий. «Плохой союзник — не союзник»,— любил говорить Добролюбов. Так рассудил и Базаров, порывая с Аркадием, в котором он видел «либерального барича». Для себя самого Базаров предвидит в будущем суровую, полную лишений и, возможно, борьбы, жизнь, столь типичную для поколения разночинцев-демократов 60-х годов. Однако от революционно-демократической молодежи, шедшей за «Современником», за Чернышевским и Добролюбовым, Базарова отличает его неверие в разум народа, скептическое отношение к надеждам на крестьянскую общину.

Несомненно, нигилизм Базарова, отрицательное направление его ума таили в себе опасность упадка духа, развитие неглубокого скептицизма и даже циничесного восприятия и отношения к жизни. Заявление Базарова: «А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» — проявление такого цинизма. Тургенев проницательно отметил в Базарове не только то, что составляло его силу, но и то, что грозило ему. В своем одностороннем развитии нигилизм Базарова мог выродиться в крайность и повести за собой духовное одиночество и полную неудовлетворенность жизнью. Тип такого циника-нигилиста нарисовал Гончаров в романе «Обрыв» в образе Марка Волохова.

Но Аркадий совершенно справедливо предсказывал своему другу славную будущность. Базаров, бесспорно, талантлив. Очевидно, тургеневского героя ожидала совсем иная судьба. Может быть, в период обострения революционной ситуации, в 1860—1861 годы, Базаров вступил бы на путь революционной борьбы с самодержавием и попал бы в Петропавловскую крепость, как предсказывал Писарев, сам вскоре оказавшийся в крепости. Салтыков-Щедрин полагал, что Тургенев был неправ, заставляя своего героя погибнуть жертвой случайности. «Такого рода люди погибают совсем иным образом»,— писал он, намекая на возможную судьбу Базарова как революционера. Герцен считал, что «уцелей Базаров от тифа, он наверное развился бы вон из базаровщины, по крайней мере в науку, которую он любил и ценил...» [1].

В романах «Накануне» и «Отцы и дети» Тургенев в меру своего понимания, но с несомненным сочувствием запечатлел мужественный и благородный облик передового разночинца-демократа 60-х годов, его непримиримую вражду и отрицание старого мира. Другие писатели пришли за ним, воплотили другие стороны и типы демократического движения 60-х годов, но это не умаляет исторической заслуги Тургенева.

---

[1] А. И. Герцен, Собр. соч., т. XX, кн. 1, М. 1960, стр. 345.

Роман «Отцы и дети» — вершина художественного творчества Тургенева. Прежде всего, в нем дается гораздо более широкий охват действительности, чем в других романах писателя. Тургенев выходит за рамки дворянской среды, той дворянско-усадебной обстановки, которая составляет передний план даже в «Накануне», не говоря уже о «Рудине» и «Дворянском гнезде». Старинная барская усадьба и маленькая деревенька родителей Базарова, губернский город, отдаленно — столица с ее университетом, петербургский сановник и губернатор, сын откупщика по питейному делу и столь разные типы женщин, как Одинцова и «эмансипе» Кукшина, аристократ Кирсанов и полковой лекарь Василий Иванович Базаров, студент-барич и студент-демократ, ветхий обломок прошлого — старая сварливая княжна-старуха, дворовые и мужики — таковы многообразные облики и типы русской жизни в «Отцах и детях». И если в «Рудине» и «Дворянском гнезде» среда в общем однородна, если в «Накануне» Инсаров приходит и уходит, еще не составляя собой нового композиционного центра, то в «Отцах и детях» выступают уже две среды со своими противоположными представлениями и интересами и как две сюжетные линии, и как два композиционных центра. В самой композиции романа нашла свое отражение русская действительность в период падения крепостного права с борьбой в ней двух исторических тенденций общественного развития. Причем действие романа ведет Базаров: он выступает почти во всех сценах романа, он, а не дворянская среда и ее герои (все равно — положительные и отрицательные), составляет первый план повествования; с его смертью «Отцы и дети» заканчиваются.

Уже в самом композиционном расположении образов романа отразилась смена обстановки в русской общественной жизни 60-х годов с ее центральной фигурой — разночинцем-демократом. При этом если еще Павел Петрович занимает в композиции романа видное место и Тургенев даже излагает его «предысторию», то новое поколение дворянской интеллигенции выступает лишь в качестве подголоска одной из двух партий. И в этом обстоятельстве отразился тот факт русской жизни, что «дети» из мыслящей дворянской молодежи переставали играть сколько-нибудь значительную роль в прогрессивном общественном движении, а в духовном отношении они питались тем, что создавалось мыслью разночинца.

В композиции, в сюжетных конфликтах и ситуациях «Отцов и детей» отразилась и другая особенность времени — обострение классовой борьбы в стране, характеризовавшееся разрывом либерализма и демократизма, решительным их размежеванием в русском общественном движении. Весь роман построен на цепи постепенно все обостряющихся споров и столкновений. И существенно, что столкновения эти всегда начинает Павел Петрович: дворянский либерализм, не переставая, злоб-

ствовал на демократию, изыскивая все новые и новые причины и поводы для схваток. Так вели себя по отношению к Чернышевскому и Добролюбову Дружинин и Боткин, которых приводил в бешенство независимый и спокойный в своей непоколебимой правоте облик идейных руководителей «Современника». Психологическая сторона конфликта не раз ощущалась лично и самим Тургеневым в его отношениях с критиками-демократами. Психологию этих споров, их форму в несколько утрированном виде Тургенев перенес и в свой роман. Базаров по отношению к Павлу Петровичу так же резок, ироничен и презрителен, каким, случалось, бывал и Добролюбов в отношении Тургенева.

В «Отцах и детях» видно, как углубляется по сравнению с первыми романами реализм Тургенева. Идейные взгляды и противоречия, характеры и чувства освещаются в романе «Отцы и дети» в их классовой подоплеке, рассматриваются в свете столкновения разных поколений русской интеллигенции.

Социально-классовый принцип в изображении Павла Петровича и Базарова применен Тургеневым не только в показе различия их мировоззрений и подхода к жизни, но и во всем, включая мелочи житейского обихода, внешнего облика, манеры держаться, языка и т. д.

Никто в русской литературе до Тургенева не изображал с такой обстоятельностью и проникновенностью духовную жизнь человека, движение и столкновение идей. Конечно, и в этом отношении Тургеневу предшествовал «Евгений Онегин» Пушкина. Но то, что у Пушкина только гениально намечено, у Тургенева развертывается как главное содержание жизни его героев. Тургенев создает для этого и необходимые художественные формы, вводя в повествование философские размышления, идейные столкновения и споры. Духовная жизнь передовых кругов русского общества 30—40-х годов нашла свое выражение в дальнейшем богатом развитии тех элементов русского литературного языка, на недостаток которых жаловался Пушкин, отмечая в 1824 году, что «учености, политика и философия еще по-русски не изъяснялись»[1]. Показывая жизнь передовой русской интеллигенции своей эпохи, Тургенев в своих романах широко использовал ее язык — язык Белинского, Грановского, Герцена.

Роман Тургенева по преимуществу идеологический, освещающий общественное движение главным образом как движение мысли. В этом сказалось просветительское понимание Тургеневым жизни общества и человека. И здесь, несмотря на различие общественных позиций, роман Тургенева по методу изображения действительности может быть сближен с «Что делать?» Чернышевского. Роман «Что делать?» был как бы ответом на роман «Отцы и дети». В этих произведениях русской лите-

[1] А. С. Пушкин, Полн собр. соч., т. 5, М. 1950, стр. 17.

ратуры 60-х годов нашла свое отражение борьба двух исторических тенденций в русском общественном развитии. Но оба романа близки друг другу по своему вниманию к проблемам идейного развития молодого поколения. Герцен находил, что от «Отцов и детей» веет духом политической борьбы. Это само по себе сближает роман с пропитанной политической страстностью демократической литературой 60-х годов.

Идейная заостренность «Отцов и детей» ослабляет ту лирическую и пейзажную стихию, которая составляет особенность «Рудина» и «Дворянского гнезда». Вместе с тем в роман Тургенева ощутимой струей входят городские мотивы, которые привносит с собой студент-разночинец Базаров.

В «Отцах и детях» и вообще в искусстве романа Тургенев был подлинным новатором. По справедливому замечанию Мопассана, Тургенев отвергал «все старые формы романа, построенного на интриге, с драматическими и искусными комбинациями, требуя, чтобы давали «жизнь», только жизнь — «куски жизни», без интриги и без грубых приключений» [1]. В них нет также и тени дидактизма. Роман для Тургенева — это «история жизни», и именно соблюдение этого принципа обусловило успех и мировую славу романов Тургенева.

По силе эпичности своих произведений Тургенев уступает Толстому. Композиции Толстого, охватывающие целые годы, раскрывающие жизнь нации снизу доверху, приближаются к эпопее, тогда как тургеневский роман близок к повести. Однако самая возможность возникновения «толстого романа» была подготовлена Тургеневым, его тщательной разработкой судьбы персонажей в их отношениях со средой, с типическими обстоятельствами их жизни, их воспитанием, их духовным и нравственным развитием и т. д.

Тургенев один из создателей великого русского реалистического романа, правдивость, глубина и художественные достоинства которого поразили мир. И если верно, что основной магистралью развития всемирной литературы в эпоху реализма был роман, то бесспорно, что одной из центральных фигур этого развития в середине XIX века был Тургенев.

С. Петров

---

[1] Ги де Мопассан, «Иван Тургенев».— В сб. «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. 2, стр. 276.

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ХОРЬ И КАЛИНЫЧ

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя [1] исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в

[1] «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своеобытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов.

Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть *Пинну;* заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

— До меня верст пять будет,— прибавил он,— пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужик... Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

— А, Федя! Дома Хорь? — спросил его г-н Полутыкин.

— Нет, Хорь в город уехал,— отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов.— Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки,— подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо,— да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася,— продолжал он, обращаясь к кучеру,— духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора,— сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик,— хотите зайти?» — «Извольте».— «Она теперь упразднена,— заметил он, слезая,— а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич,— проговорил г-н Полутыкин,— а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте,— сказал мне Полутыкин,— это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать,— заметил мой новый приятель.— В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста,— спросил я Полутыкина за ужином,— отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший.— «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете».— «Пятьдесят рублев в год!» — «Извольте».— «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас,— раздался голос со двора,— лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный

теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.

Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик,— сказал мне г. Полутыкин,— усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство,— посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь,— говорил я ему,— отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

— Всё же лучше на свободе,— заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо,— проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина...

— Попал Хорь в вольные люди,— продолжал он вполголоса, как будто про себя,— кто без бороды живет, тот Хорю и набольший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? борода — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.

— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме»,— подумал я.

— Нет,— сказал я вслух,— тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

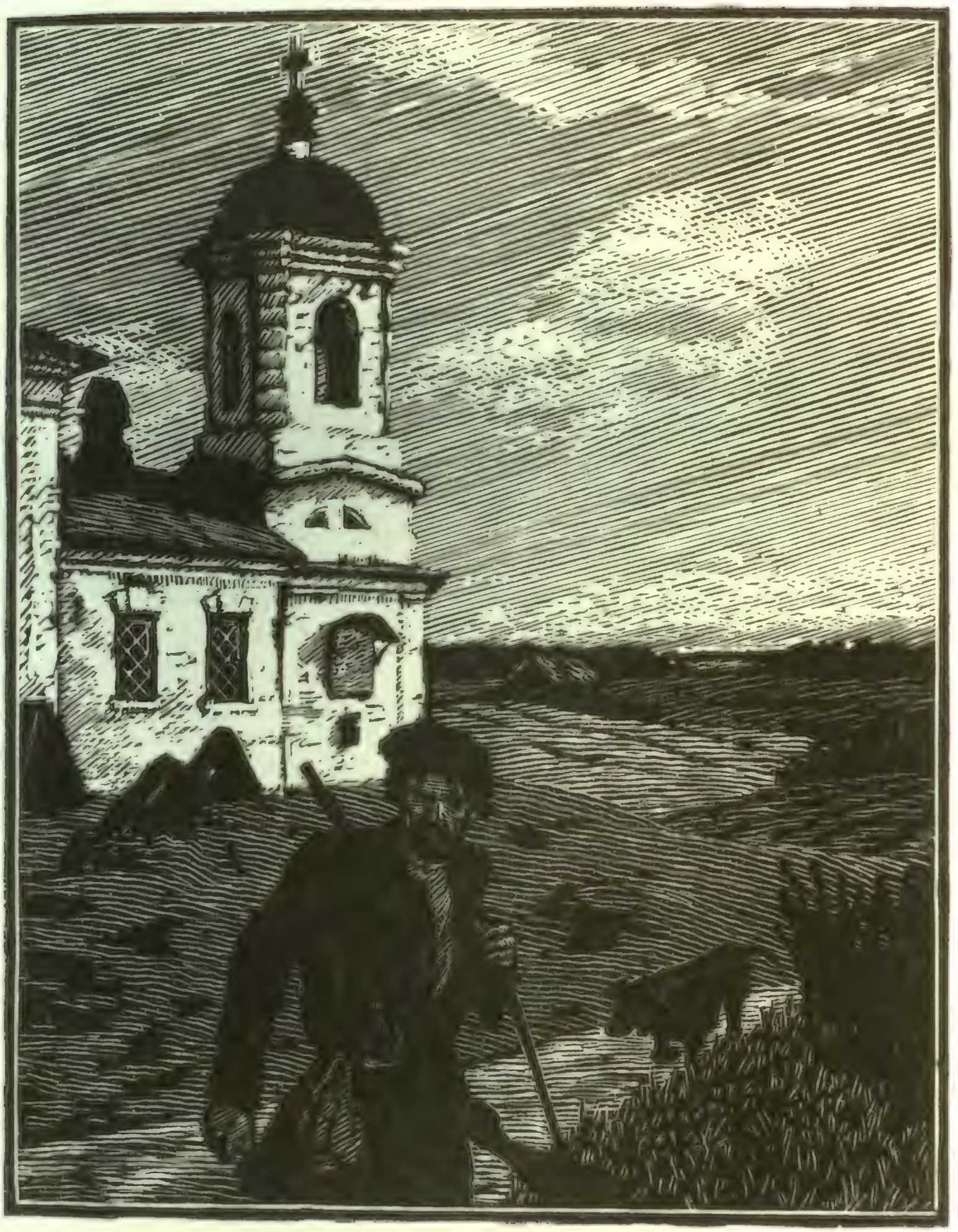
— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места,— сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... Я наконец задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

— Самовар тебе готов,— сказал он мне с улыбкой,— пойдем чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.



«Записки охотника».
«Ермолай и мельничиха».

— Что у тебя за рослый народ! — заметил я старику.

— Да,— промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару,— на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

— И все с тобой живут?

— Все. Сами хотят, так и живут.

— И все женаты?

— Вон один, пострел, не женится,— отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери.— Васька, тот еще молод, тому погодить можно..

— А что мне жениться? — возразил Федя,— мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь... Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!» — продолжал старик, передразнивая горничных.— Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба — работница,— важно заметил Хорь.— Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю небось... А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голос,— и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях

и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек — полтора рубля ассигнациями; в долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах

около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки»,— важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе,— в город надо самим тащиться,— а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей — а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!

Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка,— как же?..» — «А! ах, господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели,— убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет,— ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической неза-

висимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положенье. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч — умел. «Этому шалопаю грамота далась,— заметил Хорь,— у него и пчелы отродясь не мерли».— «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает».— «А другие?» — «Другие не знают».— «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься,— пускай бабы ссорятся... Их что разнимать — то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» — и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай»,— говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти».— «Он мне дает на лапти».— «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню

«Доля ты моя, доля!». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю... Зато, в другое время, не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».

— Посмотри-ка,— возразил я ему,— как у Калиныча на пасеке чисто.

— Пчелы бы жить не стали, батюшка,— сказал он со вздохом.

«А что,— спросил он меня в другой раз,— у тебя своя вотчина есть?» — «Есть».— «Далеко отсюда?» — «Верст сто».— «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» — «Живу».— «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» — «Признаться, да».— «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».

На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров,— сказал я...— Прощай, Федя».— «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет»,— заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет,— возразил мне Калиныч,— утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

ЕРМОЛАЙ И МЕЛЬНИЧИХА

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»... Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете шистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы

болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают — не все вдруг — по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятли одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг — но одни охотники поймут меня,— вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл,— и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной берёзы навстречу вашему выстрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади — для дичи; хло́пки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья — и хитрому человеку не придумать,

но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить,— рассуждал он,— притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете... Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслажденьем всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.

Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни

на какую работу не годного — «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго — и все-таки, через несколько времени, возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе».— «А в Чаплино».— «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» — «А там у Софрона-мужичка переночевать».— «Да ночуй здесь».— «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»...[1] Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид,— и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные про-

[1] Охотникам до соловьев эти названья знакомы: ими обозначаются лучшие «колена» в соловьином пенье.

явления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой — и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры... Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.

У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными стадами. Рыбы в Исте бездна, особливо голавлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами... Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастия (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» — раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим».— «Пойду скажу хозяину... Цыц, проклятые!.. Эк на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, говорит, хозяин не велит пускать».— «Отчего не велит?» — «Да боится; вы охотники: чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие».— «Да что за вздор!» — «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли».— «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» — «Как знаете...» Он ушел, стуча сапогами.

Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню»,— произнес он наконец со вздохом. Но до деревни

было версты две... «Ночуем здесь,— сказал я,— на дворе ночь теплая; мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно? — раздался снова голос работника,— сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. Во ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу... Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам наконец переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать... Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину — не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь.

— В Желтухиной опять падеж,— говорила мельничиха,— у отца Ивана обе коровы свалились... Господи помилуй!

— А что ваши свиньи? — спросил, помолчав, Ермолай.

— Живут.

— Хоть бы поросеночка мне подарили.

Мельничиха помолчала, потом вздохнула.

— С кем вы это? — спросила она.

— С барином — с костомаровским.

Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.

— Чего твой муж нас в избу не пустил?

— Боится.

— Вишь, толстый брюхач... Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца!

Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:

Как к любезной я ходил,
Все сапожки обносил...

Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!» — прибавил он.

Мельничиха опять присела на кадку.

— А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораешь?

— Хвораю.

— Что так?

— Кашель по ночам мучит.

— Барин-то, кажется, заснул,— промолвил Ермолай после небольшого молчания.— Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет.

— Я и то не хожу.

— А ко мне зайди погостить.

Арина потупила голову.

— Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай,— продолжал Ермолай...— Право-ся.

— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся.

— А пусть дрыхнет,— равнодушно заметил мой верный слуга,— набегался, так и спит.

Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.

— Картофель готов-с, извольте кушать.

Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею.

— Давно вы эту мельницу сняли?

— Второй год пошел с троицына дня.

— А твой муж откуда?

Арина не расслушала моего вопроса.

— Откелева твой муж? — повторил Ермолай, возвыся голос.

— Из Белева. Он белевский мещанин.

— А ты тоже из Белева?

— Нет, я господская... была господская.

— Чья?

— Зверкова господина. Теперь я вольная.

— Какого Зверкова?
— Александра Силыча.
— Не была ли ты у его жены горничной?
— А вы почему знаете? Была.

Я с удвоенным любопытством и участьем посмотрел на Арину.

— Я твоего барина знаю,— продолжал я.
— Знаете? — отвечала она вполголоса — и потупилась.

Надобно сказать читателю, почему я с таким участьем посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с г-м Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая — дюжинное и тяжелое созданье; был и сынок, настоящий барчонок, избалованный и глупый. Наружность самого г. Зверкова мало располагала в его пользу: из широкого, почти четвероугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями; стриженые седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и притворно улыбались. Г-н Зверков стоял обыкновенно, растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, г. Зверков начал наставлять меня на «путь истины».

— Позвольте мне вам заметить,— пропищал он наконец,— вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум; вы мало знаете собственное свое отечество; Россия вам, господа, незнакома, вот что!.. Вы всё только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то, и то насчет того, ну, то есть, насчет дворовых людей... Хорошо, я не спорю, все это хорошо; но вы их не знаете, не знаете, что это за народ. (Г-н Зверков громко высморкался и понюхал табаку.) Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец: вас это может заинтересовать. (Г-н Зверков откашлянулся.) Вы ведь знаете, что́ у меня за жена; кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье,— просто рай воочию совершается... Но моя жена положила себе за правило: замужних горничных не держать. Оно и точно не годится: пойдут дети, то, се,— ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с проезжаем мы раз через

нашу деревню, лет тому будет — как бы вам сказать, не солгать,— лет пятнадцать. Смотрим, у старосты девочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Кокó,— то есть, вы понимаете, она меня так называет,— возьмем эту девочку в Петербург; она мне нравится, Кокó...» Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги; он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог... Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала: родительский дом... вообще... удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла; сперва ее отдали в девичью; учили ее, конечно. Что же вы думаете?.. Девочка оказывает удивительные успехи; жена моя просто к ней пристращивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе... замечайте!.. И надобно было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены, решительно не было; услужлива, скромна, послушна — просто все, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала; одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила... ну, что только можно себе представить! Вот этак она лет десять у моей жены служила. Вдруг, в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина — ее Ариной звали — без доклада ко мне в кабинет — и бух мне в ноги... Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? «Чего тебе?» — «Батюшка, Александр Силыч, милости прошу».— «Какой?» — «Позвольте выйти замуж». Я, признаюсь вам, изумился. «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?» — «Я буду служить барыне по-прежнему».— «Вздор! вздор! барыня замужних горничных не держит».— «Маланья на мое место поступить может».— «Прошу не рассуждать!» — «Воля ваша...» Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность... Ведь вам говорить нечего — вы знаете, что у меня за жена: ангел во плоти, доброта неизъяснимая... Кажется, злодей — и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что ж вы думаете? Через полгода опять она изволит жаловать ко мне с тою же самою просьбой. Тут я, признаюсь, ее с сердцем прогнал и погрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен... Но представьте себе мое изумление: несколько времени спустя приходит ко мне жена, в слезах, взволнована так, что я даже испугался. «Что такое случилось?» — «Ари-

на...» Вы понимаете... я стыжусь выговорить. «Быть не может!.. кто же?» — «Петрушка-лакей». Меня взорвало. Я такой человек... полумер не люблю!.. Петрушка... не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина... ну, что ж, ну, ну, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего: беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Больной член лучше отсечь разом... Ну, ну, теперь посудите сами,— ну, ведь вы знаете мою жену, ведь это, это, это... наконец, ангел!.. Ведь она привязалась к Арине,— и Арина это знала и не постыдилась... А? нет, скажите... а? Да что тут толковать! Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите... сéрдца, чувства — в этих людях не ищите! Как волка ни корми, он все в лес смотрит... Вперед наука! Но я желал только доказать вам...

И г. Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение.

Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину.

— Давно ты замужем за мельником? — спросил я ее наконец.

— Два года.

— Что ж, разве тебе барин позволил?

— Меня откупили.

— Кто?

— Савелий Алексеевич.

— Кто такой?

— Муж мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А разве вам барин говорил обо мне? — прибавила Арина после небольшого молчанья.

Я не знал, что отвечать на ее вопрос. «Арина!» — закричал издали мельник. Она встала и ушла.

— Хороший человек ее муж? — спросил я Ермолая.

— Ништо.

— А дети у них есть?

— Был один, да помер.

— Что ж, она понравилась мельнику, что ли?.. Много ли он за нее дал выкупу?

— А не знаю. Она грамоте разумеет; в их деле оно... того... хорошо бывает. Стало быть, понравилась.

— А ты с ней давно знаком?

— Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба отселева недалече.

— И Петрушку-лакея знаешь?

— Петра Васильевича? Как же, знал.

— Где он теперь?

— А в солдаты поступил.

Мы помолчали.

— Что она, кажется, нездорова? — спросил я наконец Ермолая.

— Какое здоровье!.. А завтра, чай, тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо.

Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать; в роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули.

МАЛИНОВАЯ ВОДА

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражет смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня наконец подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника

зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтораста верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно обленившись. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и

толстой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то, по крайней мере, так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет,— об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю,— даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье,— стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился» у садовника Митрофана. Садовник не

тронул его, не сказал ему: живи у меня — да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шуму; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей — и все для еды, для одной еды. И точно, не заботься он с утра до вечера о своем пропитании,— умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устроивает. И все это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича ***, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую моло-

дость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но именья его, к несчастию, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в нумере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

— Ну, что, Михайло Савельич,— начал я,— наловил рыбы?

— А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да голавликов штук пять... Покажь, Степа.

Степушка протянул ко мне плетушку.

— Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его.

— И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку,— отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

— А Митрофан здоров?

— Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

— Да плохо что-то клюет,— заговорил Туман,— жарко больно; рыба-то вся под кусты забилась, спит... Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа... А вы, батюшка,— продолжал он, обращаясь ко мне,— охотиться изволите?

— Как видишь.

— Так-с... А что это у вас песик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

— Не знаю, какой он породы, а хорош.

— Так-с... А с собаками изволите ездить?

— Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

— Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы все уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псари как следует, в порядке, и всё. Покойный граф — царство

ему небесное! — охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден... Ах, сорвался, азиятец! — прибавил он вдруг, дернув удочкой.

— А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку? — спросил я.

Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

— Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» — «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет,— господи, владыко живота моего! фейвирки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшут, и все больше лакосез-матрадура... Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Степа.— Барин был, как следует, барин,— продолжал старик, закинув опять удочку,— и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя,— смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Оне-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие,— дело господ-

ское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница,— царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко! — прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

— А барин-то, я вижу, у вас был строг? — начал я после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка,— возразил старик, качнув головой.

— Теперь уж этого не делается,— заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

— Теперь, вестимо, лучше,— пробормотал он — и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг, позади нас, в овраге раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностию напился и приподнялся.

— Э, Влас? — вскрикнул Туман, вглядевшись в него.— Здорово, брат. Откуда бог принес?

— Здорово, Михайла Савельич,— проговорил мужик, подходя к нам,— издалеча.

— Где пропадал? — спросил его Туман.

— А в Москву сходил, к барину.

— Зачем?

— Просить его ходил.

— О чем просить?

— Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли... Сын у меня умер,— так мне одному теперь не справиться.

— Умер твой сын?

— Умер. Покойник,— прибавил мужик, помолчав,— у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк взносил.

— Да разве вы теперь на оброке?

— На оброке.

— Что ж твой барин?

— Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

— Ну, что ж, ты и пошел назад?

— И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почем знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще у меня в долгу». Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съеженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало.

— Что ж ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— Да ты бы... того...— заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копаться в горшке.

— А к приказчику пойдешь? — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертию с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугоря: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри,— шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

— Что ж? Это плохо, брат Влас,— с расстановкой произнес Туман.

— А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит,— продолжал он, утирая лицо рукавом.

— Кто ваш барин? — спросил я.

— Граф ***, Валериан Петрович.

— Сын Петра Ильича?

— Петра Ильича сын,— отвечал Туман.— Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

— Что, он здоров?

— Здоров, слава богу,— возразил Влас.— Красный такой стал, лицо словно обложилось.

— Вот, батюшка,— продолжал Туман, обращаясь ко мне,— добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

— А почем с тягла?

— Девяносто пять рублев с тягла,— пробормотал Влас.

— Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес.

— Да и тот, говорят, продали,— заметил мужик.

— Ну, вот видите... Стена, дай-ка червяка... А, Стена? Что ты, заснул, что ли?

Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...

Через полчаса мы разошлись.

УЕЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь — глядь, либо ты ему, либо он

тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля,— только он, ни с того, ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря.

— Вы не изволите знать,— начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного березовского табаку),— вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, все равно. (Он откашлялся и протер глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать — не солгать, в великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово: вдруг) говорят мне: человек ваш вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принес,— должно быть, от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного... Ну, хорошо,— это, понимаете, наш хлеб... Да вот в чем дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще все ничего... Да живет-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а разве холстом придется попользоваться да крупицами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележчонка перед крыльцом; лошади крестьянские — пузатые-препузатые, шерсть на них — войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят... Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, все в соображенье принимай... Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит — смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало — беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка почтенная такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я гово-

рю: «Не извольте беспокоиться... Где больная?» — «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело — горячка. Тут же другие две девицы, сестры,— перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении...» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться»,— докторская, знаете, обязанность,— и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете,— ну, ей-богу, не видал еще такого лица... красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза... Вот, слава богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела... Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» — «Ничего»,— говорит, да и отворотилась... Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать... Я согласился: куда теперь ехать! Старушка все охает. «Чего вы? — говорю.— Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час».— «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» — «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лег,— только не могу заснуть,— что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Все моя больная у меня с ума нейдет. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошел... Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете».— «Вы доктор?» — «Доктор, доктор... Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим».— «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть... пожалуйста, пожалуйста».— «Что вы это, бог с вами!» А у ней опять жар, думаю я про себя; пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня — да как возьмет меня

вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу... теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому... послушайте...» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает,— признаюсь, у меня самого кругом пошла голова,— и начала шептать... Ничего не понимаю... Ах, да это она бредит... Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому...» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел.

Тут лекарь опять с ожесточеньем понюхал табаку и на мгновение оцепенел.

— Однако,— продолжал он,— на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали... А вы знаете, этим неглижировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и все семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость... Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного... Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось... Больная не поправлялась... День за день, день за день... Но вот-с... тут-с... (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с... (Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила, что ли, меня... или нет, не то чтобы полюбила... а впрочем... право, как это, того-с... (Лекарь потупился и покраснел.)

— Нет,— продолжал он с живостью,— какое полюбила! Надо себе наконец цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком господь бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял,

что Александра Андреевна — ее Александрой Андреевной звали — не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хоть она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите... Впрочем,— прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством,— я, кажется, немного зарапортовался... Этак вы ничего не поймете... а вот, позвольте, я вам все по порядку расскажу.

Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным.

— Так, так-то-с. Моей больной все хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность! Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты все, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся... э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь — нет, не оно! Не даешь времени лекарству как следует подействовать... то за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу... ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба... А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек — не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастия, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно — теперь не для чего скрываться — влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не

пускает. Начнет со мной разговаривать,— расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать; а запретить ей, решительно этак, знаете, запретить — не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмет меня за руку и держит, глядит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, говорит, вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи... нет, вы не такой, вы не такой... Как это я до сих пор вас не знала!»—«Александра Андреевна, успокойтесь, говорю... я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил... только вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь... все хорошо будет, вы будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать,— прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови,— что с соседями они мало водились оттого, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю: чрезвычайно образованное было семейство,— так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала... приподнимется, бедняжка, с моею помощью, примет и взглянет на меня... сердце у меня так и покатится. А между тем ей все хуже становилось, все хуже: умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят... и доверие проходит. «Что? Как?» — «Ничего-с, ничего-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую... Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар ее замучил. До самой полуночи все металась; наконец словно заснула; по крайней мере, не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я... Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит... губы раскрыты, щеки так и горят. «Что с вами?» — «Доктор, ведь я умру?» — «Помилуй бог!» — «Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива... не говорите... если б вы знали... послушайте, ради бога не скрывайте от меня моего положения! — А сама так скоро дышит.— Если я буду знать наверное, что я умереть должна... я вам тогда всё скажу, всё!» — «Александра Андреевна, помилуйте!» — «Послушайте, ведь я не спала нисколько, я давно на вас гляжу... ради бога... я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклинаю вас

всем, что есть святого на свете,— скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно... Доктор, ради бога скажите, я в опасности?» — «Что я вам скажу, Александра Андреевна,— помилуйте!» — «Ради бога, умоляю вас!» — «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна,— вы точно в опасности, но бог милостив...» — «Я умру, я умру...» И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не стращает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь... ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю...» Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете... «Слышите ли, я люблю вас...» — «Александра Андреевна, чем же я заслужил!» — «Нет, нет, вы меня не понимаете... ты меня не понимаешь...» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала... Поверите ли, я чуть-чуть не закричал... бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы ее у меня на волосах дрожат; слышу: плачет. Я начал ее утешать, уверять... я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна... благодарю вас... верьте... успокойтесь».— «Да полно же, полно,— твердила она.— Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну, придут — все равно: ведь умру же я... Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову... Или вы, может быть, меня не любите, может быть, я обманулась... в таком случае извините меня».— «Александра Андреевна, что вы говорите?.. я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня...» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти,— не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась,— понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю».— «К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть...» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно... а то что?» — «Да кто вам сказал, что вы умрете?» — «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя».— «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение... мы соеди-

нимся узами, мы будем счастливы».— «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть... ты мне обещал... ты мне сказал...» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски,— ох, да недоброе что-то,— и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, боже мой! Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще проскрыпела моя больная... и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе,— сижу я подле нее и уж об одном бога прошу: прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же... Вдруг старушка мать — шасть в комнату... Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла... посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали».— «Что это она, доктор, что она?» Я помертвел. «Бредит-с, говорю, жар...» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и кольцо от меня принял... что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю — мне не к чему лгать; дай мне руку...» Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась.

— Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому, признаться, тяжело все это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное (прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, говорит, я, может быть, виновата перед вами... болезнь... но, поверьте, я никого не любила более вас... не забывайте же меня... берегите мое кольцо...»

Лекарь отвернулся; я взял его за руку.

— Эх! — сказал он.— Давайте-ка о чем-нибудь другом говорить, или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не

пищали да жена не бранилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел... Как же... Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день... А что же преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушел поздно, весьма довольный своей победой.

МОЙ СОСЕД РАДИЛОВ

...Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семьдесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших отцах и братиях». Прекрасное дерево — такая старая липа... Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними.

Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста,— я выстрелил, и в то же мгновенье, в нескольких шагах от меня, раздался крик: испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете: здесь живет помещик».

Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого росту, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился, как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях.

— Извольте,— сказал он мне с улыбкой,— я приму вашу дичь, но только с условием: вы у нас останетесь обедать.

Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно.

— Я здешний помещик и ваш сосед, Радилов, может, слыхали,— продолжал мой новый знакомый.— Сегодня воскресенье, и обед у меня, должно быть, будет порядочный, а то бы я вас не пригласил.

Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки; тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом; большие плоские тыквы словно валялись на земле; огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев; вдоль плетня качалась высокая крапива; в двух или трех местах кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповник — остатки прежних «клумб». Возле небольшой са́жалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах; собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне; пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону; из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький, серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Радилов остановился.

— Впрочем,— сказал он, добродушно и прямо посмотрев мне в лицо,— я теперь раздумал; может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне: в таком случае...

Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать.

— Ну, как знаете.

Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю; мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешенной клетками, вошли мы в небольшую комнатку — кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня.

— Ну, теперь пойдемте в гостиную,— ласково проговорил Радилов,— я вас познакомлю с моей матушкой.

Я пошел за ним. В гостиной, на середнем диване, сидела старушка небольшого росту, в коричневом платье и белом чеп-

«Записки охотника».
«Ермолай и мельничиха».

це, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом.

— Вот, матушка, рекомендую: сосед наш ***.

Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного ридикюля в виде мешка.

— Давно вы пожаловали в нашу сторону? — спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами.

— Нет-с, недавно.

— Долго намерены здесь остаться?

— Думаю, до зимы.

Старушка замолчала.

— А вот это,— подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил,— это Федор Михеич... Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?

Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрыпку, взял смычок — не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрыпку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликая по струнам. Ему на вид было лет семьдесят; длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал; то с удальством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал ногами на месте, иногда, с заметным трудом, сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне «искусство» Феди не доставляло большого удовольствия.

— Ну, хорошо, старина, полно,— проговорил он,— можешь пойти наградить себя.

Федор Михеич тотчас положил скрыпку на окно, поклонился сперва мне, как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон.

— Тоже был помещик,— продолжал мой новый приятель,— и богатый, да разорился — и вот проживает теперь у меня... А в свое время считался первым по губернии хватом; двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски... Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе.

Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату.

— А вот и Оля! — заметил Радилов, слегка отвернув голову.— Прошу любить и жаловать... Ну, пойдемте обедать.

Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от «награды» глазки засияли и нос слегка покраснел, пел: «Гром победы раздавайся!» Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен и, в качестве воскресного, не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров (пирожного). За столом Радилов, который лет десять служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы; я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой; но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и, в особенности, карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Радилова; не участие,— страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов, по летам, мог бы быть ее отцом; он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене — «ее сестра»,— прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла слова, сама почти ничего не ела и меня не потчевала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданьем, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михеич начал было «славить» хозяев и гостя, но Радилов взглянул на меня и попросил его замолчать; старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый край стула. После обеда мы с Радиловым отправились в его кабинет.

В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращенье, как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Радиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах, говорил без принужденья, даже с участьем, но вдруг вздыхал и опускался в кресла, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, пресыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни

к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к иноходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и биллиардной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, к тем великолепным кучерам, у которых, бог знает почему, от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон... «Что ж это за помещик наконец!» — думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своею судьбою недовольным; напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволеньем, радушьем и почти обидной готовностью сближенья с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться он ни с кем не мог, и не мог не оттого, что вообще не нуждался в других людях, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Радилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был; но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное,— именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк; но человек он все-таки был славный.

Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов». Мы пошли в гостиную. Федор Михеич по-прежнему сидел в своем уголку, между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Радилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с бóльшим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желанья сказать что-нибудь хорошее, вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия; она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движенья были решительны и свободны. Она мне очень нравилась.

Мы с Радиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечанья: как часто

самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные.

— Да,— промолвил Радилов,— это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Не долго... три года; моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее; я был огорчен страшно, убит, но плакать не мог — ходил словно шальной. Ее, как следует, одели, положили на стол — вот в этой комнате. Пришел священник; дьячки пришли, стали петь, молиться, курить ладаном; я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело и голова тоже,— и весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли? Ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене,— дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко.— Вдруг я увидел... (Здесь Радилов невольно вздрогнул.) Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт, и по этому глазу ходила муха... Я повалился, как сноп, и, как опомнился, стал плакать, плакать — унять себя не мог...

Радилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу... Ввек мне не забыть выражения ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из ридикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеич вдруг поднялся, схватил свою скрыпку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас; но мы все вздрогнули от его первого звука, и Радилов попросил его успокоиться.

— Впрочем,— продолжал он,— что было, то было; прошлого не воротишь, да и наконец... все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Во́лтер,— прибавил он поспешно.

— Да,— возразил я,— конечно. Притом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти.

— Вы думаете? — заметил Радилов.— Что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый: у меня была гнилая горячка. Ну, помещением мы похвалиться не могли,— разумеется, дело военное,— и то еще славу богу! Вдруг к нам еще приводят больных,— куда их положить? Лекарь туда, сюда,— нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера. «Жив?» Тот отвечает: «Утром был жив». Лекарь нагнулся, слышит: дышу. Не вытерпел приятель. «Ведь экая натура-то дура, говорит, ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет, а все скрипит, тянет, только место занимает да другим мешает».— «Ну,— подумал я про себя,— плохо тебе, Михайло Михайлыч...» А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. Стало быть, вы правы.

— Во всяком случае я прав,— отвечал я.— Если б вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения.

— Разумеется, разумеется,— прибавил он, внезапно и сильно ударив рукою по столу...— Стоит только решиться... Что толку в скверном положении?.. К чему медлить, тянуть...

Ольга быстро встала и вышла в сад.

— Ну-ка, Федя, плясовую! — воскликнул Радилов.

Федя вскочил, пошел по комнате той щеголеватой, особенной поступью, какою выступает известная «коза» около ручного медведя, и запел: «Как у наших у ворот...»

У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик высокого росту, плечистый и плотный, однодворец Овсяников... Но Овсяников такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позволения читателя, поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только то, что на другой же день мы с Ермолаем чем свет отправились на охоту, а с охоты домой, что через неделю я опять зашел к Радилову, но не застал ни его, ни Ольги дома, а через две недели узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то с своей золовкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Не одним состраданием дышало оно тогда: оно пылало также ревностью.

Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Радилову. Я нашел ее в гостиной; она играла с Федором Михеичем в дурачки.

— Имеете вы известие от вашего сына? — спросил я ее наконец.

Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Радилове.

ОДНОДВОРЕЦ ОВСЯНИКОВ

Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой: вот вам Овсяников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок

на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяников своею важностью и неподвижностью, смышленостью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен... Ферязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсяников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, «не забывался», не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсяников придерживался старинных обычаев не из суеверия (душа в нем была довольно свободная), а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. (Он держал одних гнедых лошадей.) Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсяников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги (причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки), вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не потчевал их всяким сушеньем и соленьем. «Жена! — говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову.— Принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб — божий дар, и в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас; они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг

натурой. К Овсяникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались... Но после двух или трех сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суеты». Раз как-то у него дом загорелся. Работник впопыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! пожар!» — «Ну, чего же ты кричишь? — спокойно сказал Овсяников.— Подай мне шапку и костыль...» Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк [1] помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно, жеребенок малолетний,— убьешься»,— добродушно замечал ему Овсяников и через мгновенье полетел в овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь,— продолжал спокойным голосом Овсяников, поднимаясь с земли,— я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсяникова не было.

Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Радилова и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал четьи-минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял, по своему обыкновенью, ласково и величаво. Мы пустились в разговор.

— А скажите-ка, Лука Петрович, правду,— сказал я между прочим,— ведь прежде, в ваше-то время, лучше было?

— Иное точно лучше было, скажу вам,— возразил Овсяников,— спокойнее мы жили; довольства больше было, точно... А все-таки теперь лучше; а вашим деткам еще лучше будет, бог даст.

— А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете.

---

[1] Битюками, или с битюка, называются особенной породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного «Хренового» (бывшего конного завода гр. Орловой).

— Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы, примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет! Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют; но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется — авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся.

— А чего бы, например?

— А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете,— да как вам своей земли не знать,— клинто, что идет от Чаплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь... Ну, ведь он наш,— весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье»,— и завладел. Отец-то мой, покойник (царство ему небесное!), человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел,— да и кому охота свое доброе терять? — и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли — побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили... Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой... Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках.

Я не знал, что отвечать Овсяникову, и не смел взглянуть ему в лицо.

— А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов, Степан Никтополионыч. Замучил было отца совсем: не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет да скажет по-французски «се бон» [1], да облизнется — хоть святых вон неси! По всем соседям шлет просить пожало-

---

[1] «это хорошо» (от *франц.* c'est bon).— *Ред.*

вать. Тройки так у него наготове и стояли; а не поедешь — тотчас сам нагрянет... И такой странный был человек! В «тверёзом» виде не лгал; а как выпьет — и начнет рассказывать, что у него в Питере три дома на Фонтанке: один красный с одной трубой, другой — желтый с двумя трубами, а третий — синий без труб,— и три сына (а он и женат-то не бывал): один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе... И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму — генералы, а к младшему — всё англичане! Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный!» — и заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю! — говорит,— и хоронить не позволю!..» А то вскочит и закричит: «Пляши, народ божий, на свою потеху и мое утешение!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют, и какая выше голосом забирает, той и награда. А станут уставать — голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая! Покидают меня, голубчика!» Конюха тотчас девок и приободрят. Отец-то мой ему и полюбись: что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал, и точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер: с голубятни в пьяном виде свалился... Так вот какие у нас седушки бывали!

— Как времена-то изменились! — заметил я.

— Да, да,— подтвердил Овсяников.— Ну, и то сказать: в старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож: я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь.

— Вы были в Москве?

— Был, давно, очень давно. Мне вот теперь семьдесят третий год пошел, а в Москву я ездил на шестнадцатом году.

Овсяников вздохнул.

— Кого ж вы там видали?

— А многих вельмож видел, и всяк их видел; жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто; дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шаболовке. Вот был вельможа! Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд! Пока не знаешь его, не войдешь к нему — боишься точно, робеешь; а войдешь — словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека

до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким тонялся; и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет; и такой ласковый — противника утешит, коня его похвалит. Голубей-турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресла и прикажет голубков поднять; а кругом, на крышах, люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой; он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе живали... и сколько денег он передавал! А рассердится — словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что: смотришь — уж и улыбается. Пир задаст — Москву споит!.. И ведь умница был какой! Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил; силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет — наградит; а коли кто его поборет — задарит вовсе и в губы поцелует... А то, в бытность мою в Москве, затеял садку такую, какой на Руси не бывало: всех как есть охотников со всего царства к себе в гости пригласил и день назначил, и три месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей — ну, войско наехало, как есть войско! Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалось тьма-тьмущая!.. И что вы думаете?.. Ведь вашего дедушки собака всех обскакала.

— Не Миловидка ли? — спросил я.

— Миловидка, Миловидка... Вот граф его и начал упрашивать: «Продай мне, дескать, твою собаку: возьми что хочешь».— «Нет, граф, говорит, я не купец: тряпицы ненужной не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не Миловидку... Скорее себя самого в полон отдам». И Алексей Григорьевич его похвалил: «Люблю»,— говорит. Дедушка-то ваш ее назад в карете повез; а как умерла Миловидка, с музыкой в саду ее похоронил — псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил.

— Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого,— заметил я.

— Да оно всегда так бывает: кто сам мелко плавает, тот и задирает.

— А что за человек был этот Бауш? — спросил я после некоторого молчания.

— Как же это вы про Миловидку слыхали, а про Бауша нет?.. Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше Миловидки. Отчаянный был человек, и что бы ваш дед ни приказал — мигом исполнит,

хоть на нож полезет... И как порскал — так стон в лесу, бывало, и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет... И как только перестали собаки слышать его голос — кончено! Горячий след бросят, не погонят ни за какие благи. И-их, ваш дедушка рассердится! «Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника! Наизнанку антрихриста выворочу! Пятки душегубцу сквозь горло протащу!» А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает? И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочет опять на славу.

— Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович?

— Любил бы... точно,— не теперь: теперь моя пора прошла — а в молодых годах... да знаете, неловко, по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно: и из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоседится к господам... да что за радость! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую; то и дело шапку с него наземь бросают; арапником, будто по лошади, по нем задевают; а он все смейся да других смеши. Нет, скажу вам: чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь.

— Да,— продолжал Овсяников со вздохом,— много воды утекло с тех пор, как я на свете живу: времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные — все либо на службе побывали, либо на месте не сидят; а что покрупней — тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать: сердце радуется, на них глядя: обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно: всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется, а дела-то настоящего не смыслят, даже собственной пользы не чувствуют: их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева, Александра Владимирыча,— чем не дворянин? Собой красавец, богат, в университетах обучался, кажись, и за границей побывал, говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете?.. Ну, так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку, по приглашению посредника, Никифора Ильича. И говорит нам посредник, Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться; это срам, наш участок ото всех других отстал: приступимте к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится; поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий... И из чего буянит человек?.. У самого вершка земли нету:

по поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет! меня вам не провести! нет, не на того наткнулись! Планы сюда! землемера мне подайте, христопродавца подайте сюда!» — «Да какое наконец ваше требование?» — «Вот дурака нашли! эка! Вы думаете: я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю?.. Нет, вы планы сюда подайте,— вот что!» А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитревну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» — «Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыле не желаю». Насилу мадерой отпоили. Его успокоили,— другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирыч, сидит, мой голубчик, в углу, набалдашник на палке покусывает да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирыч, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирыч говорить желает». И нельзя не похвалить дворян: все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирыч, и говорит: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались; что хотя размежевание, бесспорно, выгодно для владельцев, но, в сущности, оно введено для чего? — для того, чтоб крестьянину было легче, чтоб ему работать сподручнее было, повинности справлять; а то теперь он сам своей земли не знает и нередко за пять верст пахать едет,— и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирыч, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от бога поручены, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды — все едино: им хорошо — нам хорошо, им худо — нам худо... и что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков... И пошел, и пошел... Да ведь как говорил! за душу так и забирает... Дворяне-то все носы повесили; я сам, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает... А чем кончилось? Сам четырех десятин мохового болота не уступил и продать не захотел. Говорит: «Я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу, с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал: у меня на этот счет свои соображения...» И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимирыча, Карасиков Антон, поскупился королёвскому приказчику сто рублев ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирыч по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает.

— А как он в своем именье распоряжается?

— Всё новые порядки вводит. Мужики не хвалят,— да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирыч.

— Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины?

— Я — другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство?.. Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону — и то слава богу! Молодые господа прежних порядков не любят: я их хвалю... Пора за ум взяться. Только вот что горе: молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают: повертят, повертят, поломают да и бросят. И приказчик, крепостной человек, или управитель, из немецких уроженцев, опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал: вот, мол, как надо распоряжаться!.. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру и новых порядков не увижу?.. Что за притча? — Старое вымерло, а молодое не нарождается!

Я не знал, что отвечать Овсяникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса:

— А слыхали про Василья Николаича Любозвонова?

— Нет, не слыхал.

— Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики — что за диво! — Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така шапонька мудреная, и лицо такое мудреное,— пьян, не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, говорит, ребята! бог вам в помощь». Мужики ему в пояс,— только молча: заробели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать: «Я-де русский, говорит, и вы русские; я русское все люблю... русская, дескать, у меня душа и кровь тоже русская...» Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался... И вот чему удивляться надо: бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одевались почитай что кучерами и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали; а ведь этот-то,

Василий-то Николаич, словно красная девушка: всё книги читает али пишет, а не то вслух канты произносит,— ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился: перед приездом Василья Николаича дворы крестьянские обегал, всем кланялся,— видно, чуяла кошка, чье мясо съела! И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат! Ужо тебя к ответу потянут, голубчика; вот ты ужо напляшешься, жила ты этакой!..» А вместо того вышло — как вам доложить? Сам господь не разберет, что такое вышло! Позвал его к себе Василий Николаич и говорит, а сам краснеет, и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» Да с тех пор его к своей особе и не требовал! В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул; а мужики к Василью Николаичу подступиться не смеют: боятся. И ведь вот опять что удивления достойно: и кланяется им барин, и смотрит приветливо,— а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите?.. Или я глуп стал, состарелся, что ли,— не понимаю.

Я отвечал Овсяникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен.

— Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод... А впрочем, господь ведает! (И Овсяников глубоко вздохнул.)

— Ну, в сторону дворян,— начал я,— что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович?

— Нет, уж вот от этого увольте,— поспешно проговорил он,— право... и сказал бы вам... да что! (Овсяников рукой махнул.) Станемте лучше чай кушать... Мужики, как есть мужики; а впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам?

Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсяников важно и медленно выпивал чашку за чашкой.

— Митя был сегодня у нас,— вполголоса заметила Татьяна Ильинична.

Овсяников нахмурился.

— Чего ему надобно?

— Приходил прощенья просить.

Овсяников покачал головою.

— Ну, подите вы,— продолжал он, обращаясь ко мне,— что прикажете делать с сродственниками? И отказаться от них

невозможно... Вот и меня тоже бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет; учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенной состоял — бросил службу: вишь, ему ходу не было... Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела... Да это бы еще куда ни шло,— а то в ябедники пустился! Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, сотских научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые и исправники ему не раз грозились. Да он, благо, балагурить умеет: их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу... Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке? — прибавил он, обращаясь к жене.— Я ведь тебя знаю: ты ведь сердобольная такая,—покровительство ему оказываешь.

Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела.

— Ну, так и есть,— продолжал Овсяников...— Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти,— уж так и быть, ради дорогого гостя, прощу глупца... Ну, вели, вели...

Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!»

Митя, малый лет двадцати восьми, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский — российский портной.

— Ну, подойди, подойди,— заговорил старик,— чего стыдишься? Благодари тетку: прощен... Вот, батюшка, рекомендую,— продолжал он, показывая на Митю,— и родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена! (Мы друг другу поклонились.) Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются, сказывай.

Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне.

— После, дядюшка,— пробормотал он.

— Нет, не после, а теперь,— продолжал старик...— Тебе, я знаю, при господине помещике совестно: тем лучше — казнись. Изволь, изволь-ка говорить... Мы послушаем.

— Мне нечего стыдиться,— с живостью начал Митя и тряхнул головой.— Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: «Заступись, брат».— «Что такое?» — «А вот что: магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может; вдруг приезжает к нам чиновник: приказано-де осмотреть магазины. Осмотрел и

говорит: «В беспорядке ваши магазины, упущенья важные, начальству обязан донести».— «Да в чем упущенья?» — «А уж про это я знаю»,— говорит... Мы было собрались и решили: чиновника как следует отблагодарить,— да старик Прохорыч помешал; говорит: этак их только разлакомишь. Что, в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой?.. Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требуют нас к ответу».— «Да точно ли у вас магазины в исправности?» — спрашиваю я. «Видит бог, в исправности, и законное количество хлеба имеется...» — «Ну, говорю, так вам робеть нечего»,— и написал им бумагу... И еще неизвестно, в чью пользу дело решится... А что вам на меня по этому случаю нажаловались,— дело понятное: всякому своя рубашка к телу ближе.

— Всякому, да, видно, не тебе,— сказал старик вполголоса...— А что у тебя там за каверзы с шутоломовскими крестьянами?

— А вы почему знаете?

— Стало быть, знаю.

— И тут я прав,— опять-таки извольте рассудить. У шутоломовских крестьян сосед Беспандин четыре десятины земли запахал. Моя, говорит, земля. Шутоломовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал — кому за них заступиться, сами посудите? А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят: напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал: «Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу...» Посмотрим, как-то он ее снесет: до сих пор цела.

— Ну, не хвастайся: несдобровать ей, твоей голове,— промолвил старик,— человек-то ты сумасшедший вовсе!

— А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили...

— Знаю, знаю, что ты мне скажешь,— перебил его Овсяников,— точно: по справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен... Да ты разве все так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? не поят тебя, не кланяются, что ли: «Дмитрий Алексеич,— дескать,— батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим»,— да целковенький или синенькую из-под полы в руку? А? не бывает этого? сказывай, не бывает?

— В этом я точно виноват,— отвечал, потупившись, Митя,— но с бедных я не беру и душой не кривлю.

— Теперь не берешь, а самому придется плохо — будешь брать. Душой не кривишь... эх, ты! Знать, за святых все заступаешься!.. А Борьку Переходова забыл?.. Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал, а?

— Переходов по своей вине пострадал, точно...

— Казенные деньги потратил... Шутка!

— Да вы, дядюшка, сообразите: бедность, семейство...

— Бедность, бедность... Человек он пьющий, азартный — вот что!

— Пить он с горя начал,— заметил Митя, понизив голос.

— С горя! Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит,— вишь невидаль какая!

— Человек-то он добрейший...

— У тебя все добрые... А что,— продолжал Овсяников, обращаясь к жене,— послали ему... ну, там, ты знаешь...

Татьяна Ильинична кивнула головой.

— Где ты эти дни пропадал? — заговорил опять старик.

— В городе был.

— Небось все на биллиарде играл да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял? Так ведь?.. Сказывай!

— Оно, пожалуй, что так,— с улыбкой сказал Митя...— Ах, да! чуть было не забыл: Фунтиков, Антон Парфеныч, к себе вас в воскресенье просит откушать.

— Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем!

— А то я Федосью Михайловну встретил.

— Какую это Федосью?

— А Гарпенченки помещика, вот что Микулино сукциону купил. Федосья-то из Микулина. В Москве на оброке жила в швеях и оброк платила исправно, сто восемьдесят два рубля с полтиной в год... И дело свое знает: в Москве заказы получала хорошие. А теперь Гарпенченко ее выписал, да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решенья не объявляет. Вы, дядюшка, с Гарпенченкой-то знакомы,— так не можете ли вы замолвить ему словечко?.. А Федосья выкуп за себя даст хороший.

— Не на твои ли деньги? ась? Ну, ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю,— продолжал старик с недовольным лицом,— этот Гарпенченко, прости господи, жила: векселя ску-

паёт, деньги в рост отдает, именья с молотка приобретает... И кто его в нашу сторону занес? Ох, уж эти мне заезжие! Не скоро от него толку добьешься,— а впрочем, посмотрим.

— Похлопочите, дядюшка.

— Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня! Ну, ну, не оправдывайся... Бог с тобой, бог с тобой!.. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, несдобровать тебе,— ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить... я и сам человек не властный. Ну, ступай теперь с богом.

Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним.

— Напой его чаем, баловница,— закричал ей вслед Овсяников...— Неглупый малый,— продолжал он,— и душа добрая, только я боюсь за него... А впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал.

Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке.

— А, Франц Иваныч! — вскрикнул Овсяников.— Здравствуйте! как вас бог милует?

Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином.

Франц Иваныч Лежёнь (Lejeune), мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане, от французских родителей, и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России, в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный m-r Lejeune, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби, возле плотины, и начали просить барабанщика «de la grrrrande armée» [1] уважить их, то есть нырнуть под лед. M-r Lejeune не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков, на французском диалекте, отпустить его в Орлеан: «Там, messieurs,— говорил он,— мать у меня живет, une tendre mère» [2]. Но мужички, вероятно по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Лежёня,

---

[1] ввввеликой армии *(франц.).— Ред.*

[2] нежная мать *(франц.).— Ред.*

раздался звук колокольчика и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно-возвышенном задке, запряженные тройкой саврасых вяток. В санях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе.

— Что вы там такое делаете? — спросил он мужиков.

— А француза топим, батюшка.

— А! — равнодушно возразил помещик и отвернулся.

— Monsieur! Monsieur! — закричал бедняк.

— А, а! — с укоризной заговорила волчья шуба.— С двунадесятью язык на Россию шел, Москву сжег, окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь — мусье, мусье! а теперь и хвост поджал! По делам вору и мука... Пошел, Филька-а!

Лошади тронулись.

— А, впрочем, стой! — прибавил помещик...— Эй ты, мусье, умеешь ты музыке?

— Sauvez moi, sauvez moi, mon bon monsieur! [1] — твердил Лежёнь.

— Ведь вишь народец! и по-русски-то ни один из них не знает! Мюзик, мюзик, савэ мюзик ву? савэ? Ну, говори же! Компренэ? савэ мюзик ву? на фортопьяно жуэ савэ?

Лежёнь понял наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой.

— Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue de tous les instruments possibles! Oui, monsieur... Sauvez moi, monsieur! [2]

— Ну, счастлив твой бог,— возразил помещик...— Ребята, отпустите его; вот вам двугривенный на водку.

— Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.

Лежёня посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Француза наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям.

— Вот, дети,— сказал он им,— учитель вам сыскан. Вы всё приставали ко мне: выучи-де нас музыке и французскому диалекту: вот вам и француз, и на фортопьянах играет... Ну, мусье,— продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки,

---

[1] Спасите меня, спасите меня, добрый сударь! *(франц.)* — *Ред.*

[2] Да, сударь, да, да, я музыкант; я играю на всевозможных инструментах. Да, сударь... Спасите меня, сударь! *(франц.)* — *Ред.*

купленные им за пять лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном,— покажи нам свое искусство: жуэ!

Лежёнь с замирающим сердцем сел на стул: он отроду и не касался фортепьян.

— Жуэ же, жуэ же! — повторял помещик.

С отчаяньем ударил бедняк по клавишам, словно по барабану, заиграл как попало... «Я так и думал,— рассказывал он потом,— что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но, к крайнему изумлению невольного импровизатора, помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо,— промолвил он,— вижу, что знаешь; поди теперь отдохни».

Недели через две от этого помещика Лежёнь переехал к другому, человеку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел.

Вот этот-то самый Лежёнь, или, как теперь его называют, Франц Иваныч, и вошел при мне в комнату Овсяникова, с которым он состоял в дружественных отношениях...

Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсяникова, и потому я красноречиво умолкаю.

ЛЬГОВ

— Поедемте-ка в Льгов,— сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай,— мы там уток настреляем вдоволь.

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но, за неименьем пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.

Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому — майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держа-

лось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостых, чирков, нырков и пр. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «фу-у!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников.

— Нет,— промолвил наконец Ермолай,— дело неладно: надо достать лодку... Пойдемте назад в Льгов.

Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-д-амур [1], наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами,— небольшие карие глазки приветливо моргали,— все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать,— начал он мягким и вкрадчивым голосом,— я здешний охотник Владимир... Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги.

Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный

---

[1] розовато-серого (от *франц.* gris de lin) ...голубовато-серого (от *франц.* bleu d'amour).— *Ред.*

дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно; особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с...»

— Зачем вы повязаны платком? — спросил я его.— Зубы болят?

— Нет-с,— возразил он,— это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с, в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать — в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу; достал ему, с своей стороны, ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но, по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владимир и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаник [1],— заметил Владимир,— да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.

— К кому? — спросил я.

— А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.

---

[1] Плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «Ci gît Théophile Henri, vicomte de Blangy»;[1] на другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху», а на четвертой:

Под камнем сим лежит французскнй эмигрант;
Породу знатную имел он и талант,
Супругу и семью оплакав избиянну,
Покинул родину, тиранами попранну;
Российския страны достигнув берегов,
Обрел на старости гостеприемный кров;
Учил детей, родителей покоил...
Всевышний судия его здесь успокоил...

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок прервал мои размышления.

Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.

— Есть у тебя лодка? — спросил я.

— Лодка есть,— отвечал он глухим и разбитым голосом,— да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.

— Велика беда! — подхватил Ермолай.— Паклей заткнуть можно.

— Известно, можно,— подтвердил Сучок.

— Да ты кто?

— Господский рыболов.

— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?

— Да в нашей реке и рыбы-то нету.

— Рыба не любит ржавчины болотной,— с важностью заметил мой охотник.

— Ну,— сказал я Ермолаю,— поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей.

Ермолай ушел.

— А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? — сказал я Владимиру.

---

[1] Здесь покоится Теофиль Анри, граф Бланжи *(франц.).— Ред.*

— Бог милостив,— отвечал он.— Во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок.

— Да, он не глубок,— заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья,— да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины [1].

— Однако же, если трава так сильна,— заметил Владимир,— так и грести нельзя будет.

— Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик,— а то и лопатой можно.

— Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь,— сказал Владимир.

— Оно правда, что неловко.

Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.

— Скажи, пожалуйста,— начал я,— давно ты здесь рыбаком?

— Седьмой год пошел,— отвечал он, встрепенувшись.

— А прежде чем ты занимался?

— Прежде ездил кучером.

— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофевна, толстая такая... немолодая.

— С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?

— А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает... А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером».— «Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?...» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке...» А как его содержать в порядке?

— Чьи же вы прежде были?

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У не-

---

[1] Глубокое место, яма в пруде или реке.

го-то вот я кучером и ездил... да не в городе — там у него другие были, а в деревне.

— И ты смолоду все был кучером?

— Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был,— но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

— У кого ж ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.

— У кого купил?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым... то бишь под Карачевым, в девках... И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она-таки долгонько нами владела... годиков двадцать.

— Что ж, ты и у ней был поваром?

— Сперва точно был поваром, а то и в кофи́шенки попал.

— Во что?

— В кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты все время был кофишенком?

— Нет, не все время: был и ахтером.

— Неужели?

— Как же, был... на кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

— Какие же ты роли занимал?

— Чего изволите-с?

— Что ты делал на театре?

— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори,— я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!

— А потом чем был?

— А потом опять в повара поступил.

— За что же тебя опять в повара разжаловали?

— А брат у меня сбежал.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?

— А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.

— Доезжачим?.. И с собаками ездил?

— Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.

— Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал?

— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.

— Какое ж тут ученье в двадцать лет?

— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер,— меня в деревню и вернули.

— Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.

— Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!

— Ну,— промолвил я,— видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

— А я, батюшка, не жалуюсь. И славу богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика— Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Был женат?

— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»

— Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!

Ермолай вернулся.

— Справлена лодка,— произнес он сурово.— Ступай за шестом — ты!..

Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.

— Глупый человек-с,— промолвил он, когда тот ушел,— совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и все хвастал-с... Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!

Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные, круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко подраненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я — довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» — и то и дело почесывал спину — не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.

Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай,

моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника,— как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновенье мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.

— Тьфу ты, пропасть! — пробормотал он, плюнув в воду,— какая оказия! А все ты, старый черт! — прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку.— Что это у тебя за лодка?

— Виноват,— пролепетал старик.

— Да и ты хорош,— продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира,— чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты...

Но Владимиру было уже не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!

Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами... В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» — подумал я.

— Как нам быть? — спросил я Ермолая.

— А вот посмотрим: не ночевать же здесь,— ответил он.— На, ты, держи ружье,— сказал он Владимиру.

Владимир беспрекословно повиновался.

— Пойду сыщу брод,— продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод,— взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.

— Да ты умеешь ли плавать? — спросил я его.

— Нет, не умею,— раздался его голос из-за тростника.

— Ну, так утонет,— равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.

— И без всякой пользы пропадет-с,— жалобно прибавил Владимир.

Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.

Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Был на берегу; брод нашел... Пойдемте.

Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей,— тут направо колдобина!» или: «Правей,— тут налево завязнешь...» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну, ну, ну!» — грозно кричал на него Ермолай,— и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли наконец берега.

Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тош-

ноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна... На селе раздавались песни.

БЕЖИН ЛУГ

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи,— и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но

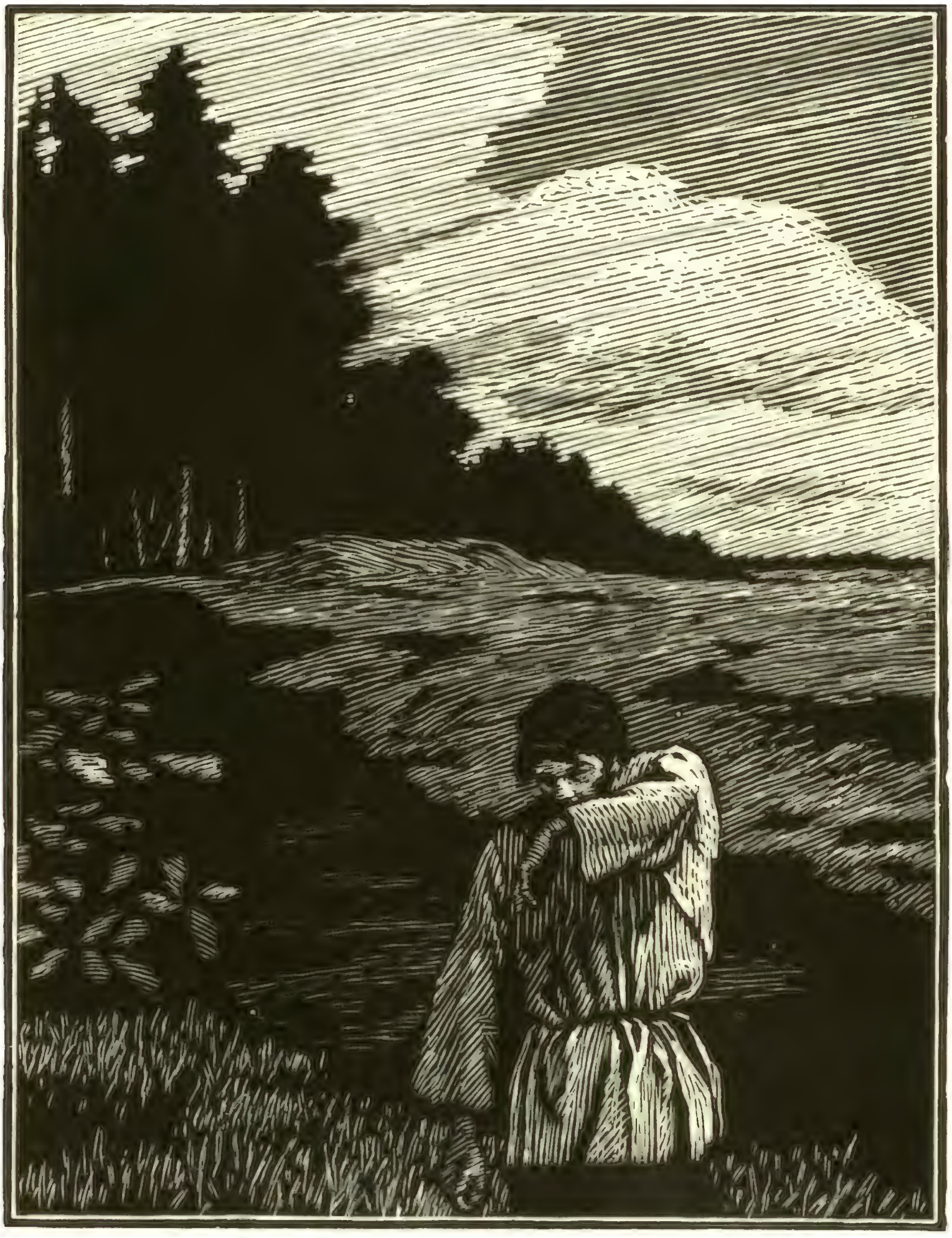
не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «пáрит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге!— подумал я,— да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо»,— и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол,— думал я про себя,— тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты! — воскликнул я наконец,— точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало,— одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стойма несколько больших белых камней,— казалось, они сползлись туда для тайного совещания,— и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.



«Записки охотника».
«Малиновая вода».

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий косматый, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал

глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое краснова-тое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за чер-ту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет го-лые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы вне-запно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задер-нутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем сво-им таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вды-хая тот особенный, томительный и свежий запах — запах рус-ской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шу-ма... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки ти-хонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две со-баки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще дол-го не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щу-рясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имека и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четыр-надцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми воло-сами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассе-янной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; неболь-шой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Са-поги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не

отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый,— что и говорить! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке,— на его языке по крайней мере,— не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя,— отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица,— а слышал... Да и не я один.

— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне [1].

— А разве вы на фабрику ходите?

— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим [2].

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что́, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а за́ставки у дворца-то [3] спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться стал, и этак спущается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг глядь, у одного чана форма [4] зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого

---

[1] «Рольней» или «черпальней» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом.

[2] «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу.

[3] «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо.

[4] Сетка, которой бумагу черпают.

чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишь как! — промолвил Павел.— Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что,— спросил Федя,— картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула,— прибавил он, повернув лицо в направлении реки,— должно быть, щука... А вон звездочка покатилась.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу,— заговорил Костя тонким голоском,— послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем,— с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил,— пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел — бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои,— нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра,— присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со́ смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь,— а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как

заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья,— да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить,— он же ее не послушался?

— Да вот поди ты! — сказал Костя.— И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

— Чудно́е дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! — подхватил Ильюша.— Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки,— заметил Федя.

— Нет,— отвечал Костя,— здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила! — шепнул Илья.

— Эх вы, вороны! — крикнул Павел.— Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слыхали вы, ребятки,— начал Ильюша,— что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли [1] водятся.

— Ну, что такое случилось? сказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его,— что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить,— говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раз-

---

[1] По-орловскому: змеи.

дался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Что там? что такое? — спросили мальчики.

— Ничего,— отвечал Павел, махнув рукой на лошадь,— так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк,— прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много,— отвечал Павел,— да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал,— заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство).— Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил? — перебил изумленный Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: — Разрыв-травы.— А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

— Вишь какой! — заметил Федя,— мало, знать, пожил.

— Экое диво! — промолвил Костя.— Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно,— с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья...— Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-на́перво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет...

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться-ся, вглядываться,— ах ты, господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-богу, сама.

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок,— налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь сбливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился,— заметил Павел.— Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша,— промолвил Костя,— не праведная ли эта душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть,— проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша,— начал Федя,— что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиде́нье-то небесное? [1]

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиде́нье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на́-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку [2] увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша.— Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например,— он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да,— продолжал Павел своим неторопливым голосом,— такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удиви-

---

[1] Так мужики называют у нас солнечное затмение.

[2] В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе.

тельная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...

Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул. «Что это?»

— Это цапля кричит,— спокойно возразил Павел.

— Цапля,— повторил Костя...— А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером,— прибавил он, помолчав немного,— ты, может быть, знаешь...

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью [1] выходит,— там ведь есть бучило; [2] знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

---

[1] Сугибель — крутой поворот в овраге.

[2] Бучило — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом.

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры,— заметил Павлуша,— так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои,— возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза...— Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие,— продолжал Павел,— которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) — Эк ее! — невольно произнес Костя,— словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой,— подхватил Ильюша,— он только в ладоши хлопает да трещит...

— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами,— пфу!..

— И зачем эта пóгань в свете развелась? — заметил Павел.— Не понимаю, право!

— Не бранись: смотри, услышит,— заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,— раздался вдруг детский голос Вани,— гляньте на божьи звездочки,— что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня,— ласково заговорил Федя,— что, твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова,— отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи — чтó она к нам, отчего не ходит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

— Куда ты? — спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.

— Отчего ему упасть? — сказал Федя,— он остережется.

— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез,— прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

— А правда ли,— спросил Костя,— что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят,— продолжал Костя,— Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.

— От того самого.

— А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.

— Какого Васю? — спросил Федя.

— А вот того, что утонул,— отвечал Костя,— в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васюто! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды поги-

бель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться,— она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает,— глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку,— помните, Вася-то все такую песенку певал,— вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...

— А вот Павлуша идет,— молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята,— начал он, помолчав,— неладно дело.

— А что? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты господи! ах ты господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел,— прибавил Федя...— А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная,— с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять,— своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло,— в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы... Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса́, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана,— полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колес,— как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханные холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства; вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер.

Это были похороны. Впереди, в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил; за телегой четыре мужика, с обнаженными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнал лошадей: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника — дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до нее; но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, нагнулся с облучка, посмотрел, махнул рукой и плюнул.

— Что там такое? — спросил я.

Кучер мой слез молча и не торопясь.

— Да что такое?

— Ось сломалась... перегорела,— мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было набок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги.

Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало кверху свою ступицу.

— Что теперь делать? — спросил я наконец.

— Вон кто виноват! — сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам,— уж я всегда это замечал,— продолжал он,— это примета верная — встретить покойника... Да.

И он опять обеспокоил пристяжную, которая, видя его расположение и суровость, решилась остаться неподвижною и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом.

Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланялись с священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к тонким, ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло от плача; поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом... Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне.

— Это Мартына-плотника хоронят,— заговорил он,— что с Рябой.

— А ты почему знаешь?

— Я по бабам узнал. Старая-то — его мать, а молодая — жена.

— Он болен был, что ли?

— Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь,

баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слезы-то некупленные. Бабьи слезы та же вода... Да.

И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу.

— Однако,— заметил я,— что ж нам делать?

Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил седелку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу — подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца (и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекосил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье.

— Ну, что? — проговорил я наконец.

Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок.

— Куда же ты? — спросил я его не без изумления.

— Извольте садиться,— спокойно отвечал он и подобрал вожжи.

— Да как же мы поедем?

— Уж поедем-с.

— Да ось...

— Извольте садиться.

— Да ось сломалась...

— Сломалась-то она сломалась; ну, а до выселок доберемся... шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки, Юдиными прозываются.

— И ты думаешь, мы доедем?

Кучер мой не удостоил меня ответом.

— Я лучше пешком пойду,— сказал я.

— Как угодно-с...

И он махнул кнутом. Лошади тронулись.

Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал на него озлобленным голосом, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно,

поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна, черная, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев — никто не отвечал мне. Я кликнул еще раз: голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня; сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было... В загородке теленок промычал; хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу — и во второй избе ни души. Я на двор...

По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал, лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележонки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворечнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить...

Он поднял голову, увидал меня и тотчас вскочил на ноги... «Что, что надо? что такое?» — забормотал он спросонья.

Я не тотчас ему ответил: до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд.

— Что надо? — спросил он меня опять.

Я объяснил ему, в чем было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

— Так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я наконец,— я бы с удовольствием заплатил.

— А вы кто такие? Охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взором с ног до головы.

— Охотники.

— Пташек небесных стреляете небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого,— он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

— Оси у меня нет,— прибавил он после небольшого молчания,— эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая.

— А в деревне найти можно?

— Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет... Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте,— промолвил он вдруг и лег опять на землю.

Я никак не ожидал этого заключения.

— Послушай, старик,— заговорил я, коснувшись до его плеча,— сделай одолжение, помоги.

— Ступайте с богом! Я устал: в город ездил,— сказал он мне и потащил себе армяк на голову.

— Да сделай же одолжение,— продолжал я,— я... я заплачу.

— Не надо мне твоей платы.

— Да пожалуйста, старик...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

— Я бы тебя свел, пожалуй, на ссечки [1]. Тут у нас купцы рощу купили,— бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил.

— И прекрасно! — радостно воскликнул я.— Прекрасно!.. пойдем.

— Дубовую ось, хорошую,— продолжал он, не поднимаясь с места.

— А далеко до тех ссечек?

— Три версты.

— Ну что ж! Мы можем на твоей тележке доехать.

— Да нет...

— Ну, пойдем,— сказал я,— пойдем, старик! Кучер нас на улице дожидается.

Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа: он собрался

---

[1] Срубленное место в лесу.

было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера́, первое дело... Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул:

— А, Касьянушка! здорово!

— Здорово, Ерофей, справедливый человек! — отвечал Касьян унылым голосом.

Я тотчас сообщил кучеру его предложение; Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение.

— А разве и тебя переселили? — спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу.

— И меня.

— Эк! — проговорил мой кучер сквозь зубы.— Знаешь, Мартын-то, плотник... ты ведь рябовского Мартына знаешь?

— Знаю.

— Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали.

Касьян вздрогнул.

— Умер? — проговорил он и потупился.

— Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка.

Мой кучер видимо потешался, глумился над стариком.

— А это твоя телега, что ли? — прибавил он, указывая на нее плечом.

— Моя.

— Ну, телега... телега! — повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном...— Телега!.. А на чем же вы на ссечки поедете?.. В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большие, а это что такое?

— А не знаю,— отвечал Касьян,— на чем вы поедете; разве вот на этом животике,— прибавил он со вздохом.

— На этом-то? — подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клячонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой руки в шею.— Ишь,— прибавил он с укоризной,— заснула, ворона!

Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним

унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке,— Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал:

— И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли...

Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:

— Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезет. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять... А что, Блоха,— прибавил он громко,— что, у вас хлебушком можно разжиться?

— Поищи, может, найдется,— отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили.

Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков, с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, сторговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне.

— А что, пташек стрелять идешь? — заговорил он,— а?

— Да, если найду.

— Я пойду с тобой... Можно?

— Можно, можно.

И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на ссечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал,

перекликался с ними; поршок [1] полетел, чиликая, у него из-под ног — он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая,— Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал...

Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде; но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением; они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почерневшие, низкие пни; круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых выварывают трут, лепились к этим пням; земляника пускала по ним свои розовые усики; грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы ивана-да-марьи; кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями; слабая тень падала от них косыми четвероугольниками,— другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал: подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется,— все весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников,— обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные,— и утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полудня; он словно рожден им, словно вызван им из раскаленной земли.

Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы наконец до новых ссечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник; на иных листья, еще зеленые, но уже мертвые, вяло свешивались с неподвижных веток; на других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, грудами лежав-

[1] Молодой перепел.

ших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...

Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня... Я слышал после, как он шептал: «Грех!.. Ах, вот это грех!»

Жара заставила нас наконец войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается *под* вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно-ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плёса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем,— все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь — вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними медли-

тельной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания, и все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины...

— Барин, а барин! — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.

Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.

— Что тебе? — спросил я.

— Ну, для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо.

— Как для чего?.. Коростель — это дичь: его есть можно.

— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил.

— Да ведь ты сам небось гусей или куриц, например, ешь?

— Та птица богом определенная для человека, а коростель — птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб — божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка закрывая глаза.

— Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? — спросил я.

— У рыбы кровь холодная,— возразил он с уверенностию,— рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь,— продолжал он, помолчав,— святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхал ничего подобного.

— Скажи, пожалуйста, Касьян,— начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица,— чем ты промышляешь?

Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение.

— Живу, как господь велит,— промолвил он наконец,— а чтобы, то есть, промышлять — нет, ничем не промышляю.

Неразумен я больно, с мальства; работаю пока мочно,— работник-то я плохой... где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю.

— Соловьев ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную, и полевую, и прочую там тварь не надо трогать?

— Убивать ее не надо, точно; смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и не долго жил и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых... Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; да помогать ей не должно... А я соловушек не убиваю,— сохрани господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.

— Ты в Курск их ловить ходишь?

— Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах ночую да в залесьях, в поле ночую один, во глуши: тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут... По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поет, сладко... жалостно даже.

— И продаешь ты их?

— Отдаю добрым людям.

— А что ж ты еще делаешь?

— Как делаю?

— Чем ты занят?

Старик помолчал.

— Ничем я этак не занят... Работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.

— Ты грамотный?

— Разумею грамоте. Помог господь да добрые люди.

— Что, ты семейный человек?

— Нетути, бессемейный.

— Что так?.. Перемерли, что ли?

— Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это всё под богом, все мы под богом ходим; а справедлив должен быть человек — вот что! Богу угоден, то есть.

— И родни у тебя нет?

— Есть... да... так...

Старик замялся.

— Скажи, пожалуйста,— начал я,— мне послышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?

— Кучер твой справедливый человек,— задумчиво отвечал мне Касьян,— а тоже не без греха. Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от бога. А есть... есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки — божии. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве... Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует — спасется,— прибавил он, понизив голос.

— Ты ничего Мартыну не давал? — спросил я.

— Поздно узнал,— отвечал старик.— Да что! Кому как на роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок,— словно что его отзывает... Да; упокой господь его душу!

— Давно вас переселили к нам? — спросил я после небольшого молчания.

Касьян встрепенулся.

— Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник,— царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось.

— А вы где прежде жили?

— Мы с Красивой Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Верст сто.

— Что ж, там лучше было?

— Лучше... лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно... Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь, точно, земля лучше; суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится.

— А что, старик, скажи правду, тебе, чаи, хочется на родине-то побывать?

— Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как поїдешь, как пойдешь,— подхватил он, возвысив голос,— и полегчит, право. И солнышко на тебя светит,

и богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, и в Синбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных... Ну, вот пошел бы я туда... и вот... и уж и... И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет,— вот оно что...

Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца», данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя.

— Эко солнышко! — промолвил он вполголоса,— эка благодать, господи! эка теплынь в лесу!

Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие послышались мне:

А зовут меня Касьяном,
А по прозвищу Блоха...

«Э! — подумал я,— да он сочиняет...»

Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить; как говорится, наткнулась на нас, и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее: она тотчас нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! подь сюда, не бойся,— кликнул старик ласково.

— Боюсь,— раздался тонкий голосок.

— Не бойся, не бойся, поди ко мне.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом,— ее детские ножки едва шумели по густой траве,— и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала, по небольшому ее росту,— но тринадцати или четырнадцати. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и проницательный, и движенья те же... Касьян окинул ее глазами; она стояла к нему боком.

— Что, грибы собирала? — спросил он.

— Да, грибы,— отвечала она с робкой улыбкой.

— И много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И белые есть?

— Есть и белые.

— Покажь-ка, покажь... (Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты.) Э! — сказал Касьян, нагнувшись над кузовом,— да какие славные! Ай да Аннушка!

— Это твоя дочка, Касьян, что ли? — спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

— Нет, так, сродственница,— проговорил Касьян с притворной небрежностью.— Ну, Аннушка, ступай,— прибавил он тотчас,— ступай с богом. Да смотри...

— Да зачем же ей пешком идти? — прервал я его.— Мы бы ее довезли...

Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика.

— Нет, дойдет,— возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом.— Что ей?.. Дойдет и так... Ступай.

Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой.

— Зачем ты ее так скоро отослал? — спросил я его.— Я бы у нее грибы купил...

— Да вы там, все равно, дома купите, когда захотите,— отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы».

— А она у тебя прехорошенькая.

— Нет... какое... так...— ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновенья впал в прежнюю молчаливость.

Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя продолжалась, и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.

— Барин, а барин,— заговорил он,— ведь я виноват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвел.

— Как так?

— Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя, и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди-то, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?

Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота.

В избе Аннушки не было; она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке; а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова; он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.

Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа... И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашел, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной, но, в ожидании первого моего вопроса, ограничивался легким ворчаньем вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращенными к лошадям. «Деревня! — бормотал он,— а еще деревня! Спросил хошь квасу — и квасу нет... Ах ты господи! А вода — просто тьфу! (Он плюнул вслух.) Ни огурцов, ни квасу — ничего. Ну ты,— прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной,— я тебя знаю, потворница этакая! Любишь себе потворствовать небось... (И он

ударил ее кнутом.) Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот... Ну-ну, оглядывайся!..»

— Скажи, пожалуйста, Ерофей,— заговорил я,— что за человек этот Касьян?

Ерофей не скоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.

— Блоха-то? — заговорил он наконец, передернув вожжами.— Чудной человек: как есть юродивец, такого чудно́го человека и нескоро найдешь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже... от работы, то есть. Ну, конечно, что он за работник,— в чем душа держится,— ну, а все-таки... Ведь он сызмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил: они у него были троечные; ну, а потом, знать, наскучило — бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался: такой беспокойный,— уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый — не принуждал. Вот он так с тех пор все и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит,— а что заговорит, бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несообразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Этак важно — ничего, ничего.

— А что, он лечит, точно?

— Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил... Где ему! глупый человек, как есть,— прибавил он, помолчав.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мечи.

— А что эта, нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня?

Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот.

— Хе!.. да, сродни. Она сирота; матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает... Ну, живет у него. Востpая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чает: девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже... Э-э-э! — вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух.— Никак, гарью

пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси... А, кажется, на что мазал... Пойти водицы добыть: вот кстати и прудик.

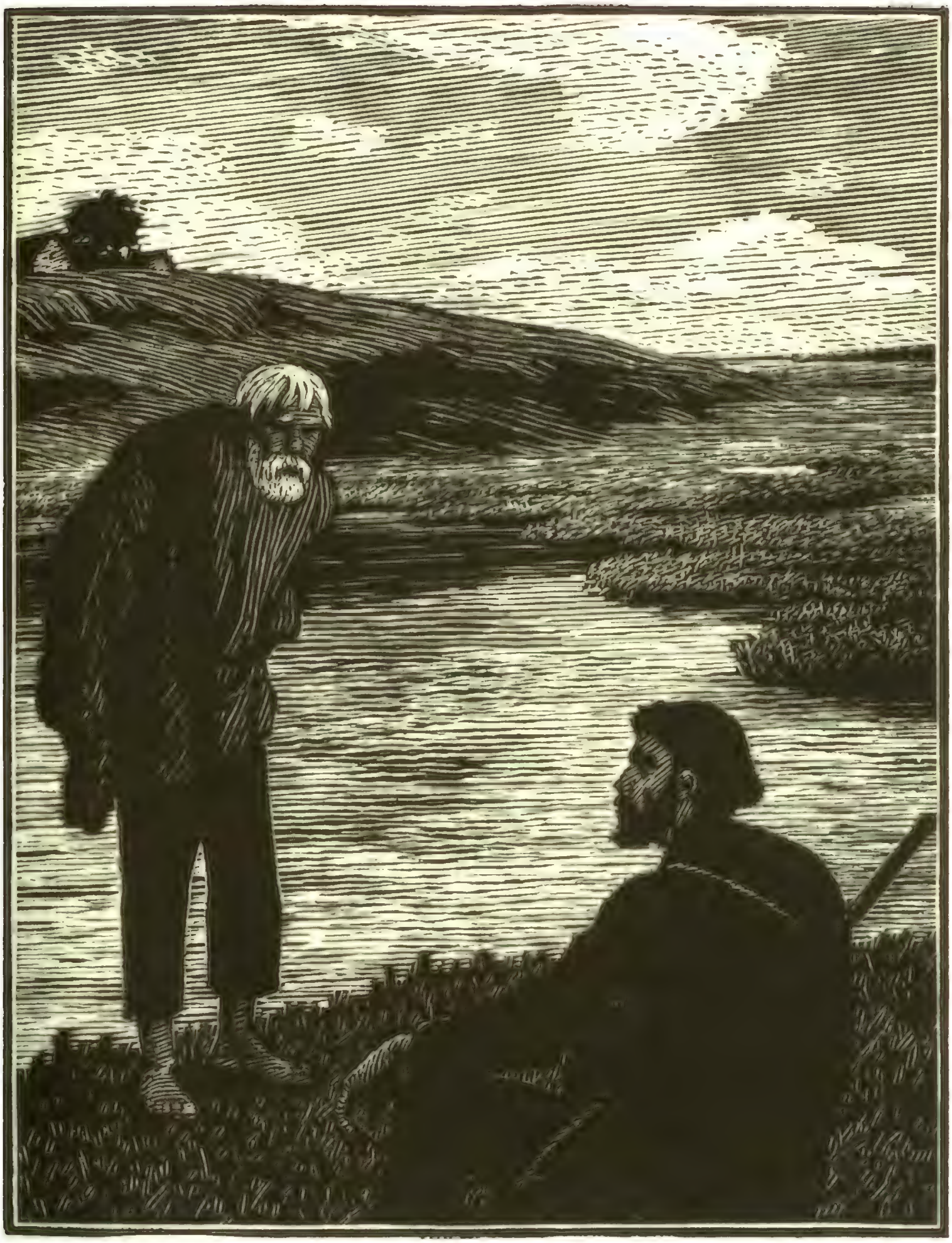
И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведерку, пошел к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою... Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгоряченную ось, и уже совсем завечерело, когда мы возвратились домой.

БУРМИСТР

Верстах в пятнадцати от моего именья живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково, а все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потерся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печется и наказывает их — для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми,— говорит он в таком случае,— невежество, mon cher; il faut prendre cela en considération» [1]. Сам же, в случае так называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой», или: «Что с тобою, друг мой, опомнись»,— причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: «Вечного жида» едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры.

---

[1] дорогой мой; надо принять это во внимание *(франц.).— Ред.*



«Записки охотника».
«Льгов».

Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает — скомпрометироваться боится; зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит; за картами поет сквозь зубы, но с чувством; из Лючии и Сомнамбулы тоже иное помнит, но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча посматривают, правда, что-то исподлобья,— но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляет много французских выражений, как-то: «Mais c'est impayable!» [1], «Mais comment donc!» [2] и пр. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю, и если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз, вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан,— вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подвергнулись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлюга...

Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и пр. Два камердинера, в чистых белых

---

[1] Забавно! *(франц.)* — *Ред.*
[2] Как же! *(франц.)* — *Ред.*

перчатках, быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился.

— Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— Pardon, mon cher,— промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера.— Ну, ступай,— прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.

Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами.

— Насчет Федора... распорядиться,— проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием.

— Слушаю-с,— отвечал толстый и вышел.

— Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne[1],— весело заметил Аркадий Павлыч.— Да куда же вы? Останьтесь, посидите еще немного.

— Нет,— отвечал я,— мне пора.

— Всё на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?

— За сорок верст отсюда, в Рябово.

— В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал: все времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Ce sera charmant[2]. Мы вместе поужи-

---

[1] Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни *(франц.).— Ред.*

[2] Это будет прелестно *(франц.).— Ред.*

наем,— мы возьмем с собою повара,— вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно! — прибавил он, не дождавшись моего ответа. C'est arrangé...[1] Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посоветовался предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове в сенном бы сарае ночевали... Едем, едем!

И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс.

— Ведь вы, может быть, не знаете,— продолжал он, покачиваясь на обеих ногах,— у меня там мужики на оброке. Конституция — что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало! Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, c'est leur affaire [2]. Бурмистр у меня там молодец, une forte tête [3], государственный человек! Вы увидите... Как, право, это хорошо пришлось!

Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок.

Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем, ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку; как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрепя сердце покорился своей участи.

---

[1] Все устроено... *(франц.)* — *Ред.*
[2] это их дело *(франц.)*.— *Ред.*
[3] умная голова *(франц.)*.— *Ред.*

Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Софрон?» — спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч»,— потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Софрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами»,— сказал Аркадий Павлыч. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетчатых поневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойкий петух с черной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взошел на крыльцо. В сенях, в темном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе — из сеней направо — уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масленые горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вени-

ками сор. Аркадий Павлыч выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов.

Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторонился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошел бурмистр.

Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил бородку жидкую, клином,— вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем,— откуда волос берется! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши,— заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут,— насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку,— прибавил он, уже загодя протягивая губы.

Аркадий Павлыч удовлетворил его желание.

— Ну, что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом.

— Ах вы, отцы наши,— воскликнул Софрон,— да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе господи, Аркадий Павлыч, слава тебе господи! Благополучно обстоит все милостью вашей.

Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства (притом же и хмель брал свое), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего:

— Ах вы, отцы наши, милостивцы... и... уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал... Ей-богу, смотрю да не верю... Ах вы, отцы наши!..

Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: «N'est-ce pas que c'est touchant?» [1].

— Да, батюшка, Аркадий Павлыч,— продолжал неугомонный бурмистр,— как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка; известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, сор...

— Ничего, Софрон, ничего,— с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч,— здесь хорошо.

— Да ведь, отцы вы наши,— для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо; а ведь вы... ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе.

Между тем подали ужин; Аркадий Павлыч начал кушать. Сына своего старик прогнал — дескать, духоты напущаешь.

— Ну что, размежевался, старина? — спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал.

— Размежевались, батюшка, всё твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались... поломались, отец, точно. Требовали... требовали... и бог знает, чего требовали; да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удоблетворили; всё по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали.

— Егор мне докладывал,— важно заметил Аркадий Павлыч.

— Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же.

— Ну, и стало быть, вы теперь довольны?

Софрон только того и ждал.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы наши! — запел он опять...— Да помилуйте вы меня... да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно господу богу молимся... Земли, конечно, маловато...

Пеночкин перебил его:

— Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга... А что, как умолот?

Софрон вздохнул.

— Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину

---

[1] Не правда ли, это трогательно? *(франц.)* — *Ред.*

Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.) Мертвое тело на нашей земле оказалось.

— Как так?

— И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да, благо, подле чужой межи оказалось; а только, что греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать! — говорю. А становому на всякой случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность... Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мертвое тело, что двести рублев — как калач.

Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой: «Quel gaillard, a?» [1]

Между тем на дворе совсем стемнело; Аркадий Павлыч велел со стола прибирать и сена принести. Камердинер постлал нам простыни, разложил подушки; мы легли. Софрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлыч, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Софрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки... Сторож заколотил в доску; ребенок, видно еще не успевший проникнуться чувством должного самоотверженья, запищал где-то в избе... Мы заснули.

На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлыч желал показать мне свое именье и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека — Софрона. Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Софронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и престранным выражением лица: точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники; все было действительно в отличном порядке, одни унылые лица мужиков

---

[1] Каков молодец, а? *(франц.)* — *Ред.*

приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Софрон заботился еще о приятном: все канавы обсадил ракитником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком, к кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Пастроен вселе Шипилофке втысеча восем Сод саракавом году. Сей скотный дфор».— Аркадий Павлыч разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состоянья, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее,— да мало ли чего нет!.. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и пр. Софрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павлыча ни отцом, ни милостивцем и все напирал на то, что земли-де у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите,— говорил Аркадий Павлыч,— на мое имя, я не прочь». На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить в лес»,— заметил г-н Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей; мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ». В этом «заказе» нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлыч похвалил Софрона и потрепал его по плечу. Г-н Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне презабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает... Впрочем, в других отношениях и Софрон и Аркадий Павлыч — оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка, точно, действовала хорошо, но если бы Софрон знал, какая неприятность ожидала и его и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома.

Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояло на коленках два мужика: один — старик лет шестидесяти, другой — малый лет двадцати, оба в замашных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если б мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлыч нахму-

рился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги.

— Что вам надобно? о чем вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. (Мужики взглянули друг на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали.)

— Ну, что же? — продолжал Аркадий Павлыч и тотчас же обратился к Софрону.— Из какой семьи?

— Из Тоболеевой семьи,— медленно отвечал бурмистр.

— Ну, что же вы? — заговорил опять г. Пеночкин.— Языков у вас нет, что ли? Сказывай ты, чего тебе надобно? — прибавил он, качнув головой на старика.— Да не бойся, дурак.

Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес: «Заступись, государь!» — и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлыч с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги.

— Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсем. (Старик говорил с трудом.)

— Кто тебя замучил?

— Да Софрон Яковлич, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал.

— Как тебя зовут?

— Антипом, батюшка.

— А это кто?

— А сынок мой, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал опять и усами повел.

— Ну, так чем же он тебя замучил? — заговорил он, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорил вконец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперя и третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил — вон его милость. (Он указал на старосту.)

— Гм! — произнес Аркадий Павлыч.

— Не дай вконец разориться, кормилец.

Г-н Пеночкин нахмурился.

— Что же это, однако, значит? — спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом.

— Пьяный человек-*с*,— отвечал бурмистр, в первый раз употребляя «слово-ер»,— неработящий. Из недоимки не выходит вот уж пятый год-с.

— Софрон Яковлич за меня недоимку взнес, батюшка,— продолжал старик,— вот пятый годочек пошел, как взнес, а как взнес — в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и...

— А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил г. Пеночкин. (Старик понурил голову.) — Чай, пьянствовать любишь, по кабакам шататься? (Старик разинул было рот.) Знаю я вас,— с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч,— ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай.

— И грубиян тоже,— ввернул бурмистр в господскую речь.

— Ну, уж это само собою разумеется. Это всегда так бывает; это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется.

— Батюшка, Аркадий Павлыч,— с отчаяньем заговорил старик,— помилуй, заступись,— какой я грубиян? Как перед господом богом говорю, невмоготу приходится. Невзлюбил меня Софрон Яковлич, за что невзлюбил — господь ему судья! Разоряет вконец, батюшка... Последнего вот сыночка... и того... (На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.) Помилуй, государь, заступись...

— Да и не нас одних,— начал было молодой мужик...

Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул:

— А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи... Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать!.. Ах, боже мой! да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую... у меня... (Аркадий Павлыч шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы.) Je vous demande bien pardon, mon cher [1],— сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос.— C'est le mauvais côté de la médaille... [2] Ну, хорошо, хорошо,— продолжал он, не глядя на мужиков,— я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) Ну, да ведь я сказал вам... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорят вам.

Аркадий Павлыч обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствия»,— проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Софрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвояси.

---

[1] Прошу извинить меня, дорогой мой *(франц.).— Ред.*
[2] Это оборотная сторона медали... *(франц.) — Ред.*

Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с Анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Софрона. Заговорил я с Анпадистом о шипиловских крестьянах, о г. Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?.. вона!

— А что он за человек?

— Собака, а не человек: такой собаки до самого Курска не найдешь.

— А что?

— Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то; ведь не он ей владеет: Софрон владеет.

— Неужто?

— Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки: кого с обозом посылает, кого куды... затормошил совсем.

— Земли у них, кажется, немного?

— Немного? Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает да у наших сто двадцать; вот те и целых полтораста десятин. Да он не одной землей промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем... Умен, больно умен, и богат же, бестия! Да вот чем плох — дерется. Зверь — не человек; сказано: собака, пес, как есть пес.

— Да что ж они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! Недоимок не бывает, так ему что? Да, поди ты,— прибавил он после небольшого молчания,— пожалуйся. Нет, он тебя... да, поди-ка... Нет уж, он тебя вот как, того...

Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел.

— Ну,— промолвил Анпадист,— заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга! И за что терпит... На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, невтерпеж, знать, пришлось... Велико дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака, прости, господи, мое прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый черт, а тут вот и расходился! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, господи, мое прегрешенье!

Мы отправились на охоту.

Зальцбрунн, в Силезии,
июль, 1847 г.

КОНТОРА

Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоялый двор на большой Курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра, не хуже старой девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня наконец искать где-нибудь поблизости хотя временного убежища. Пока я еще соображал, в какую сторону пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш возле поля, засеянного горохом. Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие маленькие глаза и торопливо, но осторожно, наподобие зайца (у бедняка не было ни одного зуба), жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода.

— Дедушка! а дедушка! — проговорил я.

Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза.

— Чего? — прошамшил он сиплым голосом.

— Где тут деревня близко? — спросил я.

Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего.

— Деревня?.. да тебе что надо?

— А вот от дождя укрыться.

— Чего?

— От дождя укрыться.

— Да! (Он почесал свой загорелый затылок.) Ну, ты, тово, ступай,— заговорил он вдруг, беспорядочно размахивая руками,— во... вот, как мимо леска пойдешь,— вот как пойдешь — тут те и будет дорога; ты ее-то брось, дорогу-то, да все направо забирай, все забирай, все забирай, все забирай... Ну, там те и будет Ананьево. А то и в Ситовку пройдешь.

Я с трудом понимал старика. Усы ему мешали, да и язык плохо повиновался.

— Да ты откуда? — спросил я его.

— Чего?

— Откуда ты?

— Из Ананьева.

— Что ж ты тут делаешь?
— Чего?
— Что ты делаешь тут?
— А сторожем сижу.
— Да что ты стережешь?
— А горох.
Я не мог не рассмеяться.
— Да помилуй, сколько тебе лет?
— А бог знает.
— Чай, ты плохо видишь?
— Чего?
— Видишь плохо, чай?
— Плохо. Бывает так, что ничего не слышу.
— Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй?
— А про то старшие знают.

«Старшие!» — подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки.

Я пошел в направлении леска, повернул направо, забирал, все забирал, как мне советовал старик, и добрался наконец до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами, и обширным господским домом, тоже с колоннами. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами, повыше других, по всей вероятности, жилище старосты, куда я и направил шаги свои, в надежде найти у него самовар, чай, сахар и не совершенно кислые сливки. В сопровождении моей продрогшей собаки взошел я на крылечко, в сени, отворил дверь, но, вместо обыкновенных принадлежностей избы, увидал несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа, забрызганные чернильницы, оловянные песочницы в пуд весу, длиннейшие перья и прочее. На одном из столов сидел малый лет двадцати с пухлым и болезненным лицом, крошечными глазками, жирным лбом и бесконечными висками. Одет он был как следует, в серый нанковый кафтан с глянцем на воротнике и на желудке.

— Чего вам надобно? — спросил он меня, дернув кверху головою, как лошадь, которая не ожидала, что ее возьмут за морду.

— Здесь приказчик живет... или...

— Здесь главная господская контора,— перебил он меня.— Я вот дежурным сижу... Разве вы вывеску не видали? На то вывеска прибита.

— А где бы тут обсушиться? Самовар у кого-нибудь на деревне есть?

— Как не быть самоваров,— с важностью возразил малый в сером кафтане,— ступайте к отцу Тимофею, а не то в дворовую избу, а не то к Назару Тарасычу, а не то к Аграфене-птишнице.

— С кем ты это говоришь, болван ты этакой? спать не даешь, болван! — раздался голос из соседней комнаты.

— А вот господин какой-то зашел, спрашивает, где бы обсушиться.

— Какой там господин?

— А не знаю. С собакой и ружьем.

В соседней комнате заскрипела кровать. Дверь отворилась, и вошел человек лет пятидесяти, толстый, низкого росту, с бычачьей шеей, глазами навыкате, необыкновенно круглыми щеками и с лоском по всему лицу.

— Чего вам угодно? — спросил он меня.

— Обсушиться.

— Здесь не место.

— Я не знал, что здесь контора; а впрочем, я готов заплатить...

— Оно, пожалуй, можно и здесь,— возразил толстяк,— вот, не угодно ли сюда. (Он повел меня в другую комнату, только не в ту, из которой вышел.) Хорошо ли здесь вам будет?

— Хорошо... А нельзя ли чаю со сливками?

— Извольте, сейчас. Вы пока извольте раздеться и отдохнуть, а чай сею минутою будет готов.

— А чье это именье?

— Госпожи Лосняковой, Елены Николаевны.

Он вышел. Я оглянулся. Вдоль перегородки, отделявшей мою комнату от конторы, стоял огромный кожаный диван; два стула, тоже кожаных, с высочайшими спинками, торчали по обеим сторонам единственного окна, выходившего на улицу. На стенах, оклеенных зелеными обоями с розовыми разводами, висели три огромные картины, писанные масляными красками. На одной изображена была легавая собака с голубым ошейником и надписью: «Вот моя отрада»; у ног собаки текла река, а на противоположном берегу реки под сосною сидел заяц непомерной величины, с приподнятым ухом. На другой картине два старика ели арбуз; из-за арбуза виднелся в отдалении греческий портик с надписью: «Храм Удовлетворенья». На третьей картине представлена была полунагая женщина в лежачем положе-

нии en raccourci [1], с красными коленями и очень толстыми пятками. Собака моя, нимало не медля, с сверхъестественными усилиями залезла под диван и, по-видимому, нашла там много пыли, потому что расчихалась страшно. Я подошел к окну. Через улицу от господского дома до конторы, в косвенном направлении, лежали доски: предосторожность весьма полезная, потому что кругом, благодаря нашей черноземной почве и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей к улице задом, происходило, что обыкновенно происходит около господских усадеб: девки в полинялых ситцевых платьях шныряли взад и вперед; дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины; привязанная лошадь десятского лениво махала хвостом и, высоко задравши морду, глодала забор; курицы кудахтали; чахоточные индейки беспрестанно перекликивались. На крылечке темного и гнилого строения, вероятно бани, сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

Э — я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест...
и проч.

Толстяк вошел ко мне в комнату.

— Вот вам чай несут,— сказал он мне с приятной улыбкой.

Малый в сером кафтане, конторский дежурный, разложил на старом ломберном столе самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок и связку болховских котёлок, твердых, как кремень. Толстяк вышел.

— Что это,— спросил я дежурного,— приказчик?

— Никак нет-с: был главным кассиром-с, а теперь в главные конторщики произведен.

— Да разве у вас нет приказчиков?

— Никак нет-с. Есть бурмистер, Михайла Викулов, а приказчика нету.

— Так управляющий есть?

— Как же, есть: немец, Линдамандол, Карло Карлыч — только он не распоряжается.

— Кто ж у вас распоряжается?

— Сама барыня.

— Вот как!.. Что ж, у вас в конторе много народу сидит?

Малый задумался.

— Шесть человек сидит.

---

[1] в умепьшенном виде *(франц.).— Ред.*

— Кто да кто? — спросил я.

— А вот кто: сначала будет Василий Николаевич, главный кассир; а то Петр конторщик, Петров брат Иван конторщик, другой Иван конторщик; Коскенкин Наркизов, тоже конторщик, я вот,— да всех и не перечтешь.

— Чай, у вашей барыни дворни много?

— Нет, не то чтобы много...

— Однако сколько?

— Человек, пожалуй что, полтораста набежит.

Мы оба помолчали.

— Ну что ж, ты хорошо пишешь? — начал я опять.

Малый улыбнулся во весь рот, кивнул головой, сходил в контору и принес исписанный листок.

— Вот мое писанье,— промолвил он, не переставая улыбаться.

Я посмотрел; на четвертушке сероватой бумаги красивым и крупным почерком был написан следующий

ПРИКАЗ

ОТ ГЛАВНОЙ ГОСПОДСКОЙ ДОМОВОЙ АНАНЬЕВСКОЙ КОНТОРЫ БУРМИСТРУ МИХАЙЛЕ ВИКУЛОВУ, № 209

«Приказывается тебе немедленно по получении сего разыскать: кто в прошлую ночь, в пьяном виде и с неприличными песнями, прошел по Аглицкому саду и гувернантку мадам Энжени француженку разбудил и обеспокоил? и чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел и таковые беспорядки допустил? О всем вышеприписанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести.

Главный конторщик *Николай Хвостов*».

К приказу была приложена огромная гербовая печать с надписью: «Печать главной господской ананьевской конторы», а внизу стояла приписка: «В точности исполнить. Елена Лоснякова».

— Это сама барыня приписала, что ли? — спросил я.

— Как же-с, сами: оне всегда сами. А то и приказ девствовать не может.

— Ну, что ж, вы бурмистру пошлете этот приказ?

— Нет-с. Сам придет да прочитает. То есть ему прочтут; он ведь грамоте у нас не знает. (Дежурный опять помолчал.) А что-с,— прибавил он, ухмыляясь,— ведь хорошо написано-с?

— Хорошо.

— Сочинял-то, признаться, не я. На то Коскенкин мастер.

— Как?.. Разве у вас приказы сперва сочиняются?

— А то как же-с? Не прямо же набело писать.

— А сколько ты жалованья получаешь? — спросил я.

— Тридцать пять рублев и пять рублев на сапоги.

— И ты доволен?

— Известно, доволен. В контору-то у нас не всякий попадает. Мне-то, признаться, сам бог велел: у меня дядюшка дворецким служит.

— И хорошо тебе?

— Хорошо-с. Правду сказать,— продолжал он со вздохом,— у купцов, например, то есть, нашему брату лучше. У купцов нашему брату оченно хорошо. Вот к нам вечор приехал купец из Венёва,— так мне его работник сказывал... Хорошо, неча сказать, хорошо.

— А что, разве купцы жалованья больше назначают?

— Сохрани бог! Да он тебя в шею прогонит, коли ты у него жалованья запросишь. Нет, ты у купца живи на веру да на страх. Он тебя и кормит, и поит, и одевает, и все. Угодишь ему — еще больше даст... Что твое жалованье! не надо его совсем... И живет-то купец по простоте, по-русскому, по-нашенскому: поедешь с ним в дорогу,— он пьет чаи, и ты пей чаи; что он кушает, то и ты кушай. Купец... как можно: купец не то, что барин. Купец не блажит; ну, осерчает — побьет, да и дело с концом. Не мозжит, не шпыняет... А с барином беда! Всё не по нем: и то нехорошо, и тем не угодил. Подашь ему стакан с водой или кушанье: «Ах, вода воняет! ах, кушанье воняет!» Вынесешь, за дверью постоишь да принесешь опять: «Ну вот, теперь хорошо, ну вот, теперь не воняет». А уж барыни, скажу вам, а уж барыни что!.. или вот еще барышни!..

— Федюшка! — раздался голос толстяка в конторе.

Дежурный проворно вышел. Я допил стакан чаю, лег на диван и заснул. И спал часа два.

Проснувшись, я хотел было подняться, да лень одолела; я закрыл глаза, но не заснул опять. За перегородкой в конторе тихонько разговаривали. Я невольно стал прислушиваться.

— Тэк-с, тэк-с, Николай Еремеич,— говорил один голос,— тэк-с. Эвтого нельзя в расчет не принять-с; нельзя-с, точно... Гм! (Говорящий кашлянул.)

— Уж поверьте мне, Гаврила Антоныч,— возразил голос толстяка,— уж мне ли не знать здешних порядков, сами посудите.

— Кому же и знать, Николай Еремеич: вы здесь, можно сказать, первое лицо-с. Ну, так как же-с? — продолжал незнакомый мне голос.— Чем же мы порешим, Николай Еремеич? Позвольте полюбопытствовать.

— Да чем порешим, Гаврила Антоныч? От вас, так сказать, дело зависит: вы, кажется, не охотствуете.

— Помилуйте, Николай Еремеич, что вы-с? Наше дело торговое, купецкое; наше дело купить. Мы на том стоим, Николай Еремеич, можно сказать.

— Восемь рублей,— проговорил с расстановкою толстяк.

Послышался вздох.

— Николай Еремеич, больно много просить изволите.

— Нельзя, Гаврила Антоныч, иначе поступить; как перед господом богом говорю, нельзя.

Наступило молчание.

Я тихонько приподнялся и посмотрел сквозь трещину в перегородке. Толстяк сидел ко мне спиной. К нему лицом сидел купец, лет сорока, сухощавый и бледный, словно вымазанный постным маслом. Он беспрестанно шевелил у себя в бороде и очень проворно моргал глазами и губами подергивал.

— Удивительные, можно сказать, зеленя́ в нынешнем году-с,— заговорил он опять,— я все ехал да любовался. От самого Воронежа удивительные пошли, первый сорт-с, можно сказать.

— Точно, зеленя́ недурны,— отвечал главный конторщик,— да ведь вы знаете, Гаврила Антоныч, осень всклочет, а как весна захочет.

— Действительно так, Николай Еремеич: всё в божьей воле; совершенную истину изволили сказать... А никак ваш гость-то проснулся-с.

Толстяк обернулся... прислушался...

— Нет, спит. А впрочем, можно, того...

Он подошел к двери.

— Нет, спит,— повторил он и вернулся на место.

— Ну, так как же, Николай Еремеич? — начал опять купец.— Надо дельце-то покончить... Так уж и быть, Николай Еремеич, так уж и быть,— продолжал он, беспрерывно моргая,— две сереньких и беленькую вашей милости, а там (он кивнул головой на барский двор) шесть с полтиною. По рукам, что ли?

— Четыре сереньких,— отвечал приказчик.

— Ну, три!

— Четыре сереньких без беленькой.

— Три, Николай Еремеич.

— С половиной три и уж ни копейки меньше.

— Три, Николай Еремеич.

— И не говорите, Гаврила Антоныч.

— Экой несговорчивый какой,— пробормотал купец.— Этак я лучше сам с барыней покончу.

— Как хотите,— отвечал толстяк,— давно бы так. Что, в самом деле, вам беспокоиться?.. И гораздо лучше!

— Ну, полно, полно, Николай Еремеич. Уж сейчас и рассердился! Я ведь эфто так сказал.

— Нет, что ж в самом деле...

— Полно же, говорят... Говорят, пошутил. Ну, возьми свои три с половиной, что с тобой будешь делать.

— Четыре бы взять следовало, да я, дурак, поторопился,— проворчал толстяк.

— Так там, в доме-то, шесть с половиною-с, Николай Еремеич,— за шесть с половиной хлеб отдается?

— Шесть с половиной, уж сказано.

— Ну, так по рукам, Николай Еремеич (купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика). И с богом! (Купец встал.) Так я, батюшка Николай Еремеич, теперь пойду к барыне-с и об себе доложить велю-с, и так уж я и скажу: Николай Еремеич, дескать, за шесть с полтиною-с порешили-с.

— Так и скажите, Гаврила Антоныч.

— А теперь извольте получить.

Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу двумя пальчиками, передернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами.

— Ну, что? — спросила голова,— все как следует?

— Все как следует.

— Сколько?

Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату.

— А, хорошо! — возразила голова и скрылась.

Толстяк подошел к столу, сел, раскрыл книгу, достал счеты и начал откидывать и прикидывать костяшки, действуя не указательным, но третьим пальцем правой руки: оно приличнее.

Вошел дежурный.

— Что тебе?

— Сидор приехал из Голоплёк.

— А! ну, позови его. Постой, постой... Поди сперва посмотри, что тот, чужой-то барин, спит все или проснулся.

Дежурный осторожно вошел ко мне в комнату. Я положил голову на ягдташ, заменявший мне подушку, и закрыл глаза.

— Спит,— прошептал дежурный, вернувшись в контору.

Толстяк проворчал сквозь зубы.

— Ну, позови Сидора,— промолвил он наконец.

Я снова приподнялся. Вошел мужик огромного роста, лет тридцати, здоровый, краснощекий, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он помолился на образ, поклонился главному конторщику, взял свою шляпу в обе руки и выпрямился.

— Здравствуй, Сидор,— проговорил толстяк, постукивая счетами.

— Здравствуй, Николай Еремеич.

— Ну что, какова дорога?

— Хороша, Николай Еремеич. Грязновата маленько. (Мужик говорил нескоро и негромко.)

— Жена здорова?

— Что ей деется!

Мужик вздохнул и ногу выставил. Николай Еремеич заложил перо за ухо и высморкнулся.

— Что ж, зачем приехал? — продолжал он спрашивать, укладывая клетчатый платок в карман.

— Да слышь, Николай Еремеич, с нас плотников требуют.

— Ну что ж, нет их у вас, что ли?

— Как им не быть у нас, Николай Еремеич: дача лесная — известно. Да пора-то рабочая, Николай Еремеич.

— Рабочая пора! То-то, вы охотники на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите... Все едино!

— Работа-то все едино, точно, Николай Еремеич... да что...

— Ну?

— Плата больно... того...

— Мало чего нет! Вишь, как вы избаловались. Поди ты!

— Да и то сказать, Николай Еремеич, работы-то всего на неделю будет, а продержат месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить.

— Мало ли чего нет! Сама барыня приказать изволила, так тут нам с тобой рассуждать нечего.

Сидор замолчал и начал переступать с ноги на ногу.

Николай Еремеич скрутил голову набок и усердно застучал костяшками.

— Наши... мужики... Николай Еремеич...— заговорил наконец Сидор, запинаясь на каждом слове,— приказали вашей милости... вот тут... будет... (Он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами.)

— Что ты, что ты, дурак, с ума сошел, что ли? — поспешно перебил его толстяк.— Ступай, ступай ко мне в избу,— продолжал он, почти выталкивая изумленного мужика,— там спроси жену... она тебе чаю даст, я сейчас приду, ступай. Да небось говорят, ступай.

Сидор вышел вон.

— Экой... медведь! — пробормотал ему вслед главный конторщик, покачал головой и снова принялся за счеты.

Вдруг крики: «Купря! Купря! Купрю не сшибешь!» — раздались на улице и на крыльце, и немного спустя вошел в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький, изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, оделлоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек пять дворовых людей, и все кричали: «Купря! Купрю не сшибешь! В истопники Купрю произвели, в истопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал набивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой.

При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места; но, увидав в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать: в соседней, дескать, комнате охотник спит.

— Какой охотник? — спросили человека два в один голос.

— Помещик.

— А!

— Пускай шумят,— заговорил, растопыря руки, человек с плисовым воротником,— мне что за дело! Лишь бы меня не трогали. В истопники меня произвели...

— В истопники! в истопники! — радостно подхватила толпа.

— Барыня приказала,— продолжал он, пожав плечами,— а вы погодите... вас еще в свинопасы произведут. А что я портной

и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на енаралов шил... этого у меня никто не отнимет. А вы чего храбритесь?.. чего? Из господской власти вышли, что ли? Вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю — я с голоду не умру, л не пропаду; дай мне пашпорт — я оброк хороший взнесу и господ удоблетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, вот и все!

— Вот и соврал,— перебил его парень, рябой и белобрысый, с красным галстухом и разорванными локтями,— ты и по пашпорту ходил, да от тебя копейки оброку господа не видали, и себе гроша не заработал: насилу ноги домой приволок, да с тех пор все в одном кафтанишке живешь.

— А что будешь делать, Константин Наркизыч! — возразил Куприян,— влюбился человек — и пропал, и погиб человек. Ты сперва с мое поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня.

— И в кого нашел влюбиться! в урода сущего!

— Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч.

— Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел; в прошлом году, в Москве, своими глазами видел.

— В прошлом году она действительно попортилась маленько,— заметил Куприян.

— Нет, господа, что,— заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом, усеянным прыщами, завитый и намасленный, должно быть, камердинер,— вот пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Нут-ка, начните, Куприян Афанасьич!

— Да, да! — подхватили другие.— Ай да Александра! подкузьмила Купрю, неча сказать... Пой, Купря!.. Молодца, Александра! (Дворовые люди часто, для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания.) Пой!

— Здесь не место петь,— с твердостию возразил Куприян,— здесь господская контора.

— Да тебе-то что за дело? Чай, в конторщики сам метишь! — с грубым смехом отвечал Константин.— Должно быть!

— Все в господской власти состоит,— заметил бедняк.

— Вишь, вишь, куда метит, вишь, каков? у! у! а!

И все расхохотались, иные запрыгали. Громче всех заливался один мальчишка лет пятнадцати, вероятно, сын аристократа между дворней: он носил жилет с бронзовыми пуговицами, галстух лилового цвета и брюшко уже успел отрастить.

— А послушай-ка, признайся, Купря,— самодовольно заговорил Николай Еремеич, видимо распотешенный и разне-

женный,— ведь плохо в истопниках-то? Пустое, чай, дело вовсе?

— Да что, Николай Еремеич,— заговорил Куприян,— вот вы теперь главным у нас конторщиком, точно; спору в том, точно, нету; а ведь и вы под опалой находились и в мужицкой избе тоже пожили.

— Ты смотри у меня, однако, не забывайся,— с запальчивостью перебил его толстяк,— с тобой, дураком, шутят; тебе бы, дураку, чувствовать следовало и благодарить, что с тобой, дураком, занимаются.

— К слову пришлось, Николай Еремеич, извините...

— То-то же к слову.

Дверь растворилась, и вбежал казачок.

— Николай Еремеич, барыня вас к себе требует.

— Кто у барыни? — спросил он казачка.

— Аксинья Никитишна и купец из Венёва.

— Сею минутою явлюся. А вы, братцы,— продолжал он убедительным голосом,— ступайте-ка лучше отсюда вон с новопожалованным истопником-то: неравно немец забежит, как раз нажалуется.

Толстяк поправил у себя на голове волосы, кашлянул в руку, почти совершенно закрытую рукавом сюртука, застегнулся и отправился к барыне, широко расставляя на ходу ноги. Погодя немного и вся ватага поплелась за ним вместе с Купрей. Остался один мой старый знакомый, дежурный. Он принялся было чинить перья, да сидя и заснул. Несколько мух тотчас воспользовались счастливым случаем и облепили ему рот. Комар сел ему на лоб, правильно расставил свои ножки и медленно погрузил в его мягкое тело все свое жало. Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела, поглядела и вошла в контору вместе с своим довольно некрасивым туловищем.

— Федюшка! а Федюшка! вечно спишь! — проговорила голова.

Дежурный открыл глаза и встал со стула.

— Николай Еремеич к барыне пошел?

— К барыне пошел, Василий Николаич.

«А! а! — подумал я,— вот он — главный кассир».

Главный кассир начал ходить ко комнате. Впрочем, он более крался, чем ходил, и таки вообще смахивал на кошку. На плечах его болтался старый черный фрак, с очень узкими фалдами; одну руку он держал на груди, а другой беспрестанно

брался за свой высокий и тесный галстух из конского волоса и с напряжением вертел головой. Сапоги носил он козловые, без скрыпу, и выступал очень мягко.

— Сегодня Ягушкин-помещик вас спрашивал,— прибавил дежурный.

— Гм, спрашивал? Что ж он такое говорил?

— Говорил, что, дескать, к Тютюреву вечером заедет и вас будет ждать. Нужно, дескать, мне с Васильем Николаичем об одном деле переговорить, а о каком деле — не сказывал: уж Василий Николаич, говорит, знает.

— Гм! — возразил главный кассир и подошел к окну.

— Что, Николай Еремеев в конторе? — раздался в сенях громкий голос, и человек высокого роста, видимо рассерженный, с лицом неправильным, но выразительным и смелым, довольно опрятно одетый, шагнул через порог.

— Нет его здесь? — спросил он, быстро глянув кругом.

— Николай Еремеич у барыни,— отвечал кассир.— Что вам надобно, скажите мне, Павел Андреич: вы мне можете сказать... Вы чего хотите?

— Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу? (Кассир болезненно кивнул головой.) Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого... Я ему дам наушничать!

Павел бросился на стул.

— Что вы, что вы, Павел Андреич? Успокойтесь... Как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павел Андреич! — залепетал кассир.

— Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали! Вот, нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вот уж точно, можно сказать, пустили козла в огород!

— Полноте, полноте, Павел Андреич, полноте! Бросьте это... что за пустяки такие?

— Ну, Лиса Патрикевна, пошла хвостом вилять!.. Я его дождусь,— с сердцем проговорил Павел и ударил рукой по столу.— А, да вот он и жалует,— прибавил он, взглянув в окошко,— легок на помине. Милости просим! (Он встал.)

Николай Еремеев вошел в контору. Лицо его сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился.

— Здравствуйте, Николай Еремеич,— значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу,— здравствуйте.

Главный конторщик не отвечал ничего. В дверях показалось лицо купца.

— Что ж вы мне не изволите отвечать? — продолжал Павел.— Впрочем, нет... нет,— прибавил он,— этак не дело; криком да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите, Николай Еремеич, за что вы меня преследуете? за что вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите.

— Здесь не место с вами объясняться,— не без волнения возразил главный конторщик,— да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь: с чего вы взяли, что я вас погубить желаю или преследую? Да и как наконец могу я вас преследовать? Вы не у меня в конторе состоите.

— Еще бы,— отвечал Павел,— этого бы только недоставало. Но зачем же вы притворяетесь, Николай Еремеич?.. Ведь вы меня понимаете.

— Нет, не понимаю.

— Нет, понимаете.

— Нет, ей-богу, не понимаю.

— Еще божитесь! Да уж коли на то пошло, скажите: ну, не боитесь вы бога! Ну, за что вы бедной девке жить не даете? Что вам надобно от нее?

— Вы о ком говорите, Павел Андреич? — с притворным изумлением спросил толстяк.

— Эка! не знает небось? Я об Татьяне говорю. Побойтесь бога,— за что мстите? Стыдитесь: вы человек женатый, дети у вас с меня уже ростом, а я не что другое... я жениться хочу: я по чести поступаю.

— Чем же я тут виноват, Павел Андреич? Барыня вам жениться не позволяет: ее господская воля! Я-то тут что?

— Вы что? А вы с этой старой ведьмой, с ключницей, не стакнулись небось? Небось не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось не по вашей милости ее из прачек в судомойки произвели! И бьют-то ее и в затрапезе держат не по вашей милости?.. Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек! Ведь вас паралич, того и гляди, разобьет... Богу отвечать придется.

— Ругайтесь, Павел Андреич, ругайтесь... Долго ли вам придется ругаться-то!

Павел вспыхнул.

— Что? грозить мне вздумал? — с сердцем заговорил он.— Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся! Чего мне бояться?.. Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты — другое дело! Тебе только здесь и жить, да наушничать, да воровать...

— Ведь вот как зазнался,— перебил его конторщик, который тоже начинал терять терпение,— фершел, просто фершел,

лекаришка пустой; а послушай-ка его,— фу ты, какая важная особа!

— Да, фершел, а без этого фершела ваша милость теперь бы на кладбище гнила... И дернула же меня нелегкая его вылечить,— прибавил он сквозь зубы.

— Ты меня вылечил?.. Нет, ты меня отравить хотел; ты меня сабуром опоил,— подхватил конторщик.

— Что ж, коли на тебя, кроме сабура, ничего действовать не могло?

— Сабур врачебной управой запрещен,— продолжал Николай,— я еще на тебя пожалуюсь. Ты уморить меня хотел — вот что! Да господь не попустил.

— Полно вам, полно, господа...— начал было кассир.

— Отстань! — крикнул конторщик.— Он меня отравить хотел! Понимаешь ты эфто?

— Очень нужно мне... Слушай, Николай Еремеев,— заговорил Павел с отчаянием,— в последний раз тебя прошу... вынудил ты меня — невтерпеж мне становится. Оставь нас в покое, понимаешь? А то, ей-богу, несдобровать кому-нибудь из нас, я тебе говорю.

Толстяк расходился.

— Я тебя не боюсь,— закричал он,— слышишь ли ты, молокосос! Я и с отцом твоим справился, я и ему рога сломил,— тебе пример, смотри!

— Не напоминай мне про отца, Николай Еремеев, не напоминай!

— Вона! ты что мне за уставщик?

— Говорят тебе, не напоминай!

— А тебе говорят, не забывайся... Как бы ты там барыне, по-твоему, ни нужен, а коли из нас двух ей придется выбирать,— не удержишься ты, голубчик! Бунтовать никому не позволяется, смотри! (Павел дрожал от бешенства.) А девке Татьяне поделом... Погоди, не то ей еще будет!

Павел кинулся вперед с поднятыми руками, и конторщик тяжко покатился на пол.

— В кандалы его, в кандалы,— застонал Николай Еремеев...

Конца этой сцены я не берусь описывать; я и так боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя.

В тот же день я вернулся домой. Неделю спустя я узнал, что госпожа Лоснякова оставила и Павла и Николая у себя в услужении, а девку Татьяну сослала; видно, не понадобилась.

БИРЮК

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины — следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

— Кто это? — спросил звучный голос.

— А ты кто сам?

— Я здешний лесник.

Я назвал себя.

— А, знаю! Вы домой едете?

— Домой. Да видишь, какая гроза...

— Да, гроза,— отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

— Не скоро пройдет,— продолжал лесник.

— Что делать!

— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу,— отрывисто проговорил он.

— Сделай одолжение.

— Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился: «Вот мы и дома, барин»,— промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрыпела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрыпел, и девочка лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

— Посвети барину,— сказал он ей,— а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.

— Одна,— произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова,— прошептала она.

Дверь заскрыпела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

— Чай, не привыкли к лучине? — проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

— Меня зовут Фомой,— отвечал он,— а по прозвищу Бирюк [1].

— А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться,— силен, дескать, и ловок как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

— Так ты Бирюк,— повторил я,— я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю,— отвечал он угрюмо,— даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.

— Нет,— отвечал он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет... да... умерла,— прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала,— произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке.— На, дай ему,— проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок.— Вот и его бросила,— продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

---

[1] Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый.

— Вы, чай, барин,— начал он,— нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба...

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Улитой,— проговорила она, еще более понурив свое печальное личико.

Лесник вошел и сел на лавку.

— Гроза проходит,— заметил он после небольшого молчанья,— коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

— Это зачем? — спросил я.

— А в лесу шалят... У Кобыльего Верху [1] дерево рубят,— прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот,— проговорил он вдруг и протянул руку,— вишь какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй,— прибавил он вслух,— и прозеваю его».— «Я с тобой пойду... хочешь?» — «Ладно,— отвечал он и попятил лошадь назад,— мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь,— бормотал он сквозь зубы,— слышите? слышите?» — «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих

---

[1] «Верхом» называется в Орловской губернии овраг.

на мгновенье — мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался...

— Повалил...— пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались наконец из оврага. «Подождите здесь»,— шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрыпели, лошадь фыркала... «Куда? стой!» — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь,— твердил, задыхаясь, Бирюк,— не уйдешь...» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

— Отпусти его,— шепнул я на ухо Бирюку,— я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой: правой он держал вора за пояс: «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите»,— пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать!» — сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади... Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил,— заметил лесник,— переждать придется. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер,— продолжал он, указывая на мужика — да вишь, засов...

— Оставь его тут, не трогай,— перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренно дал себе слово, во что бы то ни стало, освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены... Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

— Фома Кузьмич,— заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым,— а, Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти... с голодухи... отпусти.

— Знаю я вас,— угрюмо возразил лесник,— ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти,— твердил мужик,— приказчик... разорены, во как... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

— Отпусти,— повторил он с унылым отчаяньем,— отпусти, ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку,— продолжал мужик,— лошаденку-то, хоть ѣс-то... один живот и есть... отпусти!

— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того... отпусти!

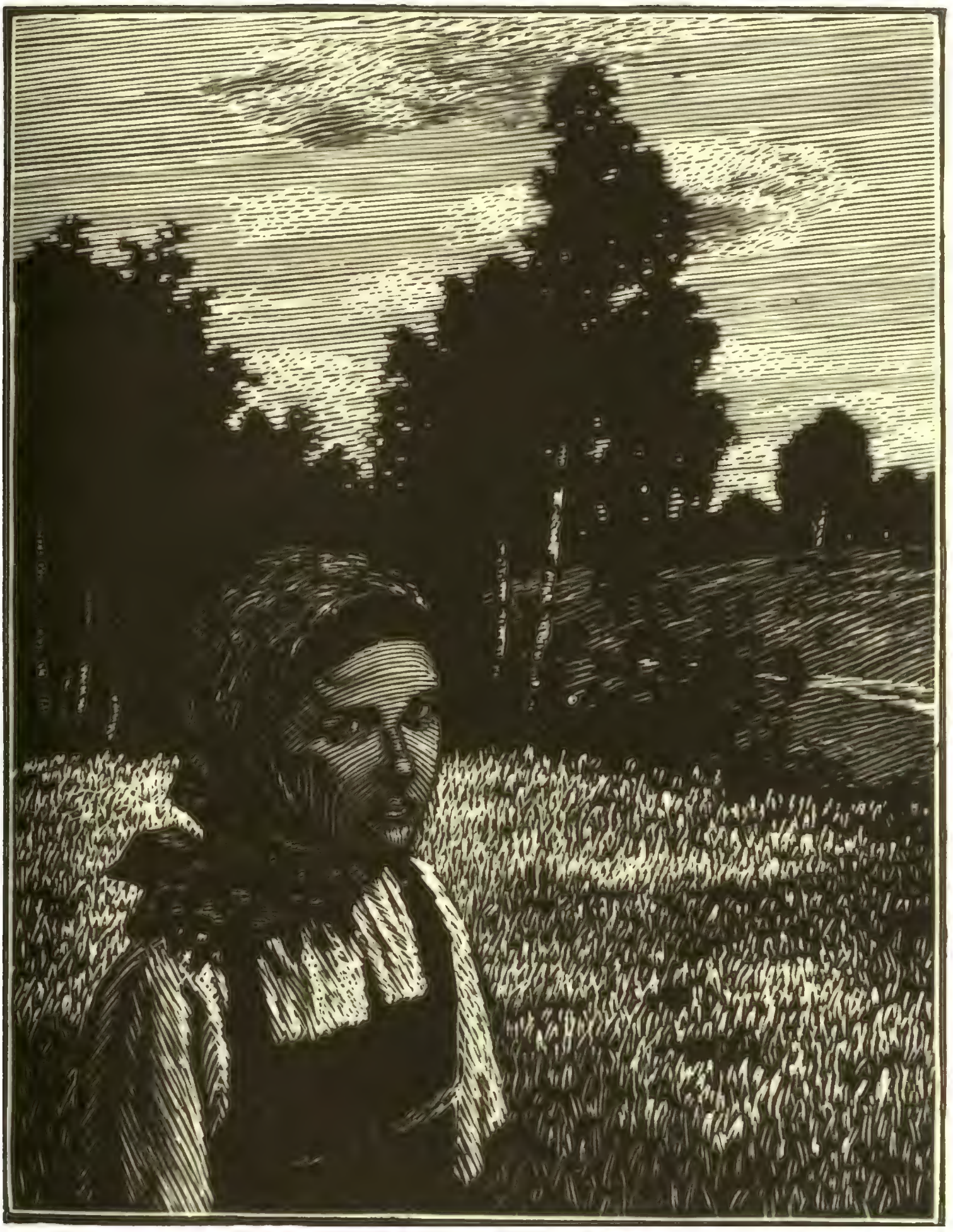
— Знаю я вас!

— Да отпусти!

— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну на, ешь, на, подавись, на,—



«Записки охотника».

«Касьян с Красивой Мечи».

начал он, прищурив глаза и опустив углы губ,— на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей...»

Лесник обернулся.

— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник.— С ума сошел, что ли?

— Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

— Ах ты... да я тебя!..

— А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай всё: жена, дети — околевай всё... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

— Бей, бей,— подхватил мужик свирепым голосом,— бей, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза.

— Полно, полно, Фома,— закричал я,— оставь его... бог с ним.

— Не стану я молчать,— продолжал несчастный.— Все едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к черту с своей лошадью,— закричал он ему вслед,— да смотри, в другой раз у меня!..

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

— Ну, Бирюк,— промолвил я наконец,— удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, барин,— перебил он меня с досадой,— не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу,— прибавил он,— знать, дождика-то вам не переждать...

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

— Вишь, поплелся! — пробормотал он,— да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

ДВА ПОМЕЩИКА

Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя всё кстати), познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов.

Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились, щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина; русые волосы, по крайней мере все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец называет себя старым кавалеристом, между тем как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстух с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой, военного покроя; шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружи. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например: он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твердый и белый воротник, или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове; даже слова иначе произносит и не говорит, например: «Благодарю, Павел Васильич», или: «Пожалуйте сюда, Михайло Иваныч», а: «Боллдарю, Палл Асилич», или: «Па-ажалте сюда, Михал Ваныч». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит и, прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду, с озабоченным и мечтательным видом, повторит: «Как тебя зовут?.. как тебя зовут?», ударяя необыкновенно резко на первом слове

«как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела. Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой: взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает,— отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу; и действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники... только сверху кичек... Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович ужасный охотник до прекрасного пола и, как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает,— вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего; они-то ему: «Ваше превосходительство», а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда ж ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом — удивительная происходит в нем перемена: и улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит — медом так от него и несет... Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионыч мало, при чтении беспрестанно поводит усами и бровями, сперва усами, потом бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионыча, когда ему случается (при гостях, разумеется) пробегать столбцы «Journal des Débats». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа,— говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности,— много благодарен за честь; но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстух. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет как по имени и по отчеству; говорят, будто

бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане — да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно; на войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике, один; супружеского счастья он в своей жизни не испытал и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет тридцати пяти, черноглазая, чернобровая, голная, свежая и с усами, по будничным дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей: тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии; в начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей; зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны (в направлении губернатора он с начала обеда улыбался), а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также недурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, собраньях и выставках; под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионыча не шумят и не кричат; напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «Генерала Хвалынского экипаж...» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной; на лакеях ливрея довольно потертая (о том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожили и послужили на своем веку, но на щегольство Вячеслав Илларионыч притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая выказать свое красноречие, потому что не только спора, но вообще возраженья не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее; а то с нынешним народом беда: как раз из

повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выраженья, подобные следующим: «Это, однако, вы пус-тя-ки говорите»; или: «Я наконец вынужденным нахожусь, милосвый сдарь мой, вам поставить на вид»; или: «Наконец вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело», и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непременные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, скрягой. Со всем тем он прекрасный помещик. «Старый служака, человек бескорыстный, с правилами, vieux grognard» [1],— говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского,— да чего не делает зависть!..

А впрочем, перейдем теперь к другому помещику.

Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чем не походил на Хвалынского; он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур; живет, как говорится, в свое удовольствие; зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским: он тоже холостяк. У него пятьсот душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим именьем довольно поверхностно; купил, чтобы не отстать от века, лет десять тому назад, у Бутенопа в Москве молотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожки и съездит в поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать. Живет Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей; тут же направо буфет с трубками и утиральниками; в столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок герани и кислые фортопьяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы, с почерневшей эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкапы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо за-

[1] старый ворчун *(франц.).— Ред.*

колоченная дверь в сад... Словом, все как водится. Людей у Мардария Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному: в длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят: «батюшка». Хозяйством у него заведывает бурмистр из мужиков, с бородой во весь тулуп; домом — старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит тридцать разнокалиберных лошадей; выезжает он в домоделанной коляске в полтораста пуд. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то есть: благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже «Сонник» перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много; спрашивается: с какой стати я заговорил о нем и зачем?.. А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мардария Аполлоныча.

Приехал я к нему летом, часов в семь вечера. У него только что отошла всенощная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери, на самом краюшке стула. Мардарий Аполлоныч, по обыкновению, чрезвычайно ласково меня принял: он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще предобрый. Священник встал и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка,— заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки,— не уходи... Я велел тебе водки принести.

— Я не пью-с,— с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей.

— Что за пустяки! Как в вашем званье не пить! — отвечал Мардарий Аполлоныч.— Мишка! Юшка! водки батюшке!

Юшка, высокий и худощавый старик лет восьмидесяти, вошел с рюмкой водки на темном крашеном подносе, испещренном пятнами телесного цвета.

Священник начал отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо,— заметил помещик с укоризной.

Бедный молодой человек повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.

Священник начал кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай... Прекрасный человек,— продолжал Мардарий Аполлоныч, глядя ему вслед,— очень я им доволен; одно — молод еще. Всё проповеди держит, да вот

вина не пьет. Но вы-то как, мой батюшка?.. Что вы, как вы? Пойдемте-ка на балкон — вишь, вечер какой славный.

Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волненье.

— Чьи это куры? чьи это куры? — закричал он.— Чьи это куры по саду ходят?.. Юшка! Юшка! поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят?.. Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил!

Юшка побежал.

— Что за беспорядки! — твердил Мардарий Аполлоныч,— это ужас!

Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крехтаньем, как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых, все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бегали, спотыкались, падали; барин с балкона кричал как исступленный: «Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры, чьи это куры?» Наконец одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада, с улицы, перескочила девочка лет одиннадцати, вся растрепанная и с хворостиной в руке.

— А, вот чьи куры! — с торжеством воскликнул помещик.— Ермила-кучера куры! Вон он свою Наталку загнать их выслал... Небось Параши не выслал,— присовокупил помещик вполголоса и значительно ухмыльнулся.— Эй, Юшка! брось курицу-то: поймай-ка мне Наталку.

Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки — откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и несколько раз шлепнула бедняжку по спине...

— Вот тэк, э вот тэк,— подхватил помещик,— те, те, те! те, те, те!.. А кур-то отбери, Авдотья,— прибавил он громким голосом и с светлым лицом обратился ко мне: — Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите.

И Мардарий Аполлоныч расхохотался.

Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош.

Нам подали чай.

— Скажите-ка,— начал я,— Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены, вон там, на дороге, за оврагом?

— Мои... а что?

— Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные; деревца кругом не увидишь; са́жалки даже нету; колодезь один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли?.. И, говорят, вы у них даже старые конопляники отняли?

— А что будешь делать с размежеваньем? — отвечал мне Мардарий Аполлоныч.— У меня это размежевание вот где сидит. (Он указал на свой затылок.) И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и са́жалки, что ли, там у них не выкопал,— уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой — по-старому поступаю. По-моему: коли барин — так барин, а коли мужик — так мужик... Вот что.

На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.

— Да притом,— продолжал он,— и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи; еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор; уж там как хотите... О, кровь, кровь — великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал, и так рассовывал — кой-куды; да не переводятся, что будешь делать? Плодущи, проклятые.

Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая,— но остановился, прислушался, кивнул голово́й, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

— Это что такое? — спросил я с изумлением.

— А там, по моему приказу, шалунишку наказывают... Васю-буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот что намедни за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит.

Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча.

— Что вы, молодой человек, что вы? — заговорил он, качая головой.— Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любяй да наказует: вы сами знаете.

Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его.

— Что, брат, тебя сегодня наказали? — спросил я его.

— А вы почем знаете? — отвечал Вася.

— Мне твой барин сказывал.

— Сам барин?

— За что ж он тебя велел наказать?

— А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у ас нету — ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь.

— Пошел! — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!» — думал я на возвратном пути.

ЛЕБЕДЯНЬ

Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место, что для человека незанятого весьма приятно. Правда, иногда (особенно в дождливое время) не слишком весело скитаться по проселочным дорогам, брать «целиком», останавливать всякого встречного мужика вопросом: «Эй, любезный! как бы нам проехать в Мордовку?», а в Мордовке выпытывать у тупоумной бабы (работники-то все в поле): далеко ли до постоялых двориков на большой дороге, и как до них добраться, и, проехав верст десять, вместо постоялых двориков очутиться в помещичьем сильно разоренном сельце Худобубнове, к крайнему изумлению целого стада свиней, погруженных по уши в темно-бурую грязь на самой середине улицы и нисколько не ожидавших, что их обеспокоят. Не весело также переправляться через животрепещущие мостики, спускаться в овраги, перебираться вброд через болотистые ручьи; не весело ехать, целые сутки ехать по зеленоватому морю больших дорог или, чего боже сохрани, загрязнуть на несколько часов перед пестрым верстовым столбом с цифрами: 22 на одной стороне и 23 на другой; не весело по неделям питаться яйцами, молоком

и хваленым ржаным хлебом... Но все эти неудобства и неудачи выкупаются другого рода выгодами и удовольствиями. Впрочем, приступим к самому рассказу.

Вследствие всего вышесказанного мне не для чего толковать читателю, каким образом, лет пять тому назад, я попал в Лебедянь в самый развал ярмарки. Наш брат охотник может в одно прекрасное утро выехать из своего более или менее родового поместья с намереньем вернуться на другой же день вечером и понемногу, понемногу, не переставая стрелять по бекасам, достигнуть наконец благословенных берегов Печоры; притом всякий охотник до ружья и до собаки — страстный почитатель благороднейшего животного в мире: лошади. Итак, я прибыл в Лебедянь, остановился в гостинице, переоделся и отправился на ярмарку. (Половой, длинный и сухопарый малый лет двадцати, со сладким носовым тенором, уже успел мне сообщить, что их сиятельство, князь Н., ремонтер ***го полка, остановился у них в трактире, что много других господ наехало, что по вечерам цыгане поют и пана Твардовского дают на театре, что кони, дескать, в цене,—впрочем, хорошие приведены кони.)

На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, за телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, битюки, возовые, ямские и простые крестьянские. Иные, сытые и гладкие, подобранные по мастям, покрытые разноцветными попонами, коротко привязанные к высоким крякам, боязливо косились назад, на слишком знакомые им кнуты своих владельцев-барышников; помещичьи кони, высланные степными дворянами за сто, за двести верст, под надзором какого-нибудь дряхлого кучера и двух или трех крепкоголовых конюхов, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы; саврасые вятки плотно прижимались друг к дружке; в величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки с волнистыми хвостами и косматыми лапами, серые в яблоках, вороные, гнедые. Знатоки почтительно останавливались перед ними. В улицах, образованных телегами, толпились люди всякого звания, возраста и вида: барышники, в синих кафтанах и высоких шапках, лукаво высматривали и выжидали покупщиков; лупоглазые, кудрявые цыганы метались взад и вперед как угорелые, глядели лошадям в зубы, поднимали им ноги и хвосты, кричали, бранились, служили посредниками, метали жребий или увивались около какого-нибудь ремонтера в фуражке и военной шинели с бобром. Дюжий казак торчал верхом на тощем мерине с оленьей шеей и продавал его «со всим», то есть с седлом и уздечкой. Мужики, в изорван-

ных под мышками тулупах, отчаянно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на телегу, запряженную лошадью, которую следовало «спробовать», или, где-нибудь в стороне, при помощи увертливого цыгана, торговались до изнеможения, сто раз сряду хлопали друг друга по рукам, настаивая каждый на своей цене, между тем как предмет их спора, дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помаргивала, как будто дело шло не о ней... И в самом деле, не все ли ей равно, кто ее бить будет! Широколобые помещики с крашеными усами и выражением достоинства на лице, в конфедератках и камлотовых чуйках, надетых на один рукав, снисходительно заговаривали с пузатыми купцами в пуховых шляпах и зеленых перчатках. Офицеры различных полков толкались тут же; необыкновенно длинный кирасир, немецкого происхождения, хладнокровно спрашивал у хромого барышника: сколько он желает получить за сию рыжую лошадь? Белокурый гусарчик, лет девятнадцати, подбирал пристяжную к поджарому иноходцу; ямщик в низкой шляпе, обвитой павлиньим пером, в буром армяке и с кожаными рукавицами, засунутыми за узкий зелененький кушак, искал коренника. Кучера заплетали лошадям своим хвосты, мочили гривы и давали почтительные советы господам. Окончившие сделку спешили в трактир или в кабак, смотря по состоянию... И все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бранилось и смеялось в грязи по колени. Мне хотелось купить тройку сносных лошадей для своей брички: мои начинали отказываться. Я нашел двух, а третью не успел подобрать. После обеда, которого описывать я не берусь (уже Эней знал, как неприятно припоминать минувшее горе), отправился я в так называемую кофейную, куда каждый вечер собирались ремонтеры, заводчики и другие приезжие. В биллиардной комнате, затопленной свинцовыми волнами табачного дыма, находилось человек двадцать. Тут были развязные молодые помещики в венгерках и серых панталонах, с длинными висками и намасленными усиками, благородно и смело взиравшие кругом; другие дворяне в казакинах, с необыкновенно короткими шеями и заплывшими глазками, тут же мучительно сопели; купчики сидели в стороне, как говорится, «на чуку»; офицеры свободно разговаривали друг с другом. На биллиарде играл князь Н., молодой человек лет двадцати двух, с веселым и несколько презрительным лицом, в сюртуке нараспашку, красной шелковой рубахе и широких бархатных шароварах; играл он с отставным поручиком Виктором Хлопаковым.

Отставной поручик Виктор Хлопаков, маленький, смугленький и худенький человек лет тридцати, с черными волосиками, карими глазами и тупым вздернутым носом, прилежно посещает выборы и ярмарки. Он подпрыгивает на ходу, ухарски разводит округлёнными руками, шапку носит набекрень и заворачивает рукава своего военного сюртука, подбитого сизым коленкором. Господин Хлопаков обладает уменьем подделываться к богатым петербургским шалунам, курит, пьет и в карты играет с ними, говорит им «ты». За что они его жалуют, понять довольно мудрено. Он не умен, он даже не смешон: в шуты он тоже не годится. Правда, с ним обращаются дружески-небрежно, как с добрым, но пустым малым; якшаются с ним в течение двух-трех недель, а потом вдруг и не кланяются с ним, и он сам уж не кланяется. Особенность поручика Хлопакова состоит в том, что он в продолжение года, иногда двух, употребляет постоянно одно и то же выражение, кстати и некстати, выражение нисколько не забавное, но которое, бог знает почему, всех смешит. Лет восемь тому назад он на каждом шагу говорил: «Мое вам почитание, покорнейше благодарствую», и тогдашние его покровители всякий раз помирали со смеху и заставляли его повторять «мое почитание»; потом он стал употреблять довольно сложное выражение: «Нет, уж это вы того, кескесэ,— это вышло выходит», и с тем же блистательным успехом; года два спустя придумал новую прибаутку: «Не ву горяче па, человек божий, обшит бараньей кожей» и т. д. И что же! Эти, как видите, вовсе незатейливые словечки его кормят, поят и одевают. (Именье он свое давным-давно промотал и живет единственно на счет приятелей.) Заметьте, что решительно никаких других любезностей за ним не водится; правда, он выкуривает сто трубок Жукова в день, а играя на биллиарде, поднимает правую ногу выше головы и, прицеливаясь, неистово ерзает кием по руке,— ну, да ведь до таких достоинств не всякий охотник. Пьет он тоже хорошо... да на Руси этим отличиться мудрено... Словом, успех его — совершенная для меня загадка... Одно разве: осторожен он, сору из избы не выносит, ни о ком дурного словечка не скажет...

«Ну,— подумал я при виде Хлопакова,— какая-то его нынешняя поговорка?»

Князь сделал белого.

— Тридцать и никого,— возопил чахоточный маркер с темным лицом и свинцом под глазами.

Князь с треском положил желтого в крайнюю лузу.

— Эк! — одобрительно крякнул всем животом толстенький

купец, сидевший в уголку за шатким столиком на одной ножке, крякнул и оробел. Но, к счастью, никто его не заметил. Он отдохнул и погладил бородку.

— Тридцать шесть и очень мало! — закричал маркер в нос.

— Что, каково, брат? — спросил князь Хлопакова.

— Что ж? известно, рррракалиооон, как есть рррракалиооон!

Князь прыснул со смеху.

— Как, как? повтори!

— Рррракалиооон! — самодовольно повторил отставной поручик.

«Вот оно, слово-то!» — подумал я.

Князь положил красного в лузу.

— Эх! не так, князь, не так,— залепетал вдруг белокурый офицерик с покрасневшими глазками, крошечным носиком и младенчески заспанным лицом.— Не так играете... надо было... не так!

— Как же? — спросил его князь через плечо.

— Надо было... того... триплетом.

— В самом деле? — пробормотал князь сквозь зубы.

— А что, князь, сегодня вечером к цыганам? — поспешно подхватил сконфуженный молодой человек.— Стешка петь будет... Ильюшка...

Князь не отвечал ему.

— Рррракалиооон, братец,— проговорил Хлопаков, лукаво прищурив левый глаз.

И князь расхохотался.

— Тридцать девять и никого,— провозгласил маркер.

— Никого... посмотри-ка, как я вот этого желтого...

Хлопаков заерзал кием по руке, прицелился и скиксовал.

— Э, ррракалиоон,— закричал он с досадой.

Князь опять рассмеялся.

— Как, как, как?

Но Хлопаков своего слова повторить не захотел: надо же пококетничать.

— Стикс изволили дать,— заметил маркер.— Позвольте помелить... Сорок и очень мало!

— Да, господа,— заговорил князь, обращаясь ко всему собранию и не глядя, впрочем, ни на кого в особенности,— вы знаете, сегодня в театре Вержембицкую вызывать.

— Как же, как же, непременно! — воскликнуло наперерыв несколько господ, удивительно польщенных возможностью отвечать на княжескую речь.— Вержембицкую...

— Вержембицкая отличная актриса, гораздо лучше Сопняковой,— пропищал из угла плюгавенький человек с усиками и в очках. Несчастный! он втайне сильно вздыхал по Сопняковой, а князь не удостоил его даже взглядом.

— Че-о-эк, э, трубку! — произнес в галстух какой-то господин высокого роста, с правильным лицом и благороднейшей осанкой — по всем признакам шулер.

Человек побежал за трубкой и, вернувшись, доложил его сиятельству, что, дескать, ямщик Баклага их спрашивают-с.

— А! ну, вели ему подождать да водки ему поднеси.

— Слушаю-с.

Баклагой, как мне потом сказали, прозывался молодой, красивый и чрезвычайно избалованный ямщик; князь его любил, дарил ему лошадей, гонялся с ним, проводил с ним целые ночи... Этого самого князя, бывшего шалуна и мота, вы бы теперь не узнали... Как он раздушен, затянут, горд! Как занят службой, а главное — как рассудителен!

Однако табачный дым начинал выедать мне глаза. В последний раз выслушав восклицание Хлопакова и хохот князя, я отправился в свой нумер, где на волосяном, узком и продавленном диване, с высокой выгнутой спинкой, мой человек уже постлал мне постель.

На другой день пошел я смотреть лошадей по дворам и начал с известного барышника Ситникова. Через калитку вошел я на двор, посыпанный песочком. Перед настежь раскрытою дверью конюшни стоял сам хозяин, человек уже не молодой, высокий и толстый, в заячьем тулупчике, с поднятым и подвернутым воротником. Увидав меня, он медленно двинулся ко мне навстречу, подержал обеими руками шапку над головой и нараспев произнес:

— А, наше вам почтение. Чай, лошадок угодно посмотреть?

— Да, пришел лошадок посмотреть.

— А каких именно, смею спросить?

— Покажите, что у вас есть.

— С нашим удовольствием.

Мы вошли в конюшню. Несколько белых шавок поднялось с сена и подбежало к нам, виляя хвостами; длиннобородый старый козел с неудовольствием отошел в сторону; три конюха, в крепких, но засаленных тулупах, молча нам поклонились. Направо и налево, в искусственно возвышенных стойлах, стояло около тридцати лошадей, выхоленных и вычищенных на славу. По перекладинам перелетывали и ворковали голуби.

— Вам, то есть, для чего требуется лошадка: для езды или для завода? — спросил меня Ситников.

— И для езды и для завода.

— Понимаем-с, понимаем-с, понимаем-с,— с расстановкою произнес барышник.— Петя, покажи господину Горностая.

Мы вышли на двор.

— Да не прикажете ли лавочку из избы вынести?.. Не требуется?.. Как угодно.

Копыта загремели по доскам, щелкнул кнут, и Петя, малый лет сорока, рябой и смуглый, выскочил из конюшни вместе с серым, довольно статным жеребцом, дал ему подняться на дыбы, пробежал с ним раза два кругом двора и ловко осадил его на показном месте. Горностай вытянулся, со свистом фыркнул, закинул хвост, повел мордой и покосился на нас.

«Ученая птица!» — подумал я.

— Дай волю, дай волю,— проговорил Ситников и уставился на меня.

— Как, по-вашему, будет-с? — спросил он наконец.

— Лошадь недурна,— передние ноги не совсем надежны.

— Ноги отличные! — с убеждением возразил Ситников: — а зад-то... извольте посмотреть... печь печью, хоть выспись.

— Бабки длинны.

— Что за длинны — помилосердуйте! Пробеги-ка, Петя, пробеги, да рысью, рысью, рысью... не давай скакать.

Петя опять пробежал по двору с Горностаем. Мы все помолчали.

— Ну, поставь его на место,— проговорил Ситников,— да Сокола нам подай.

Сокол, вороной, как жук, жеребец голландской породы, со свислым задом и поджарый, оказался немного получше Горностая. Он принадлежал к числу лошадей, о которых говорят охотники, что «они секут и рубят, и в полон берут», то есть на ходу вывертывают и выкидывают передними ногами направо и налево, а вперед мало подвигаются. Купцы средних лет подлюбливают таких лошадей: побежка их напоминает ухарскую походку бойкого полового; они хороши в одиночку, для гулянья после обеда: выступая фертом и скрутив шею, усердно везут они аляповатые дрожки, нагруженные наевшимся до онеменья кучером, придавленным купцом, страдающим изжогой, и рыхлой купчихой в голубом шелковом салопе и лиловом платочке на голове. Я отказался и от Сокола. Ситников показал мне еще несколько лошадей... Одна наконец, серый в яблоках жеребец воськовской породы, мне понравилась. Я не мог удержаться и

с удовольствием потрепал ее по холке. Ситников тотчас прикинулся равнодушным.

— А что, он едет хорошо? — спросил я. (О рысаке не говорят: бежит.)

— Едет,— спокойно ответил барышник.

— Нельзя ли посмотреть?..

— Отчего же, можно-с. Эй, Кузя, Догоняя в дрожки заложить.

Кузя, наездник, мастер своего дела, проехал раза три мимо нас по улице. Хорошо бежит лошадь, не сбивается, задом не подбрасывает, ногу выносит свободно, хвост отделяет и «держит», редкомах.

— А что вы за него просите?

Ситников заломил цену небывалую. Мы начали торговаться тут же на улице, как вдруг из-за угла с громом вылетела мастерски подобранная ямская тройка и лихо остановилась перед воротами Ситникова дома. На охотницкой, щегольской тележке сидел князь Н.; возле него торчал Хлопаков. Баклага правил лошадьми... и как правил! сквозь сережку бы проехал, разбойник! Гнедые пристяжные, маленькие, живые, черноглазые, черноногие, так и горят, так и поджимаются; свистни только — пропали! Караковая коренная стоит себе, закинув шею, словно лебедь, грудь вперед, ноги как стрелы, знай головой помахивает да гордо щурится... Хорошо! Хоть бы царю Ивану Васильевичу в светлый праздник прокатиться!

— Ваше сиятельство! милости просим! — закричал Ситников.

Князь соскочил с телеги. Хлопаков медленно слез с другой стороны.

— Здравствуй, брат... Есть лошади?

— Как не быть для вашего сиятельства! Пожалуйте, войдите... Петя, Павлина подай! да Похвального чтоб готовили. А с вами, батюшка,— продолжал он, обращаясь ко мне,— мы в другое время покончим... Фомка, лавку его сиятельству.

Из особенной, мною сперва не замеченной, конюшни вывели Павлина. Могучий темно-гнедой конь так и взвился всеми ногами на воздух. Ситников даже голову отвернул и зажмурился.

— У, рракалион! — провозгласил Хлопаков.— Жэмса́.

Князь засмеялся.

Павлина остановили не без труда; он таки повозил конюха по двору; наконец его прижали к стене. Он храпел, вздрагивал

и поджимался, а Ситников еще дразнил его, замахиваясь на него кнутом.

— Куда глядишь? вот я те! у! — говорил барышник с ласковой угрозой, сам невольно любуясь своим конем.

— Сколько? — спросил князь.

— Для вашего сиятельства пять тысяч.

— Три.

— Нельзя-с, ваше сиятельство, помилуйте...

— Говорят, три, рракалион,— подхватил Хлопаков.

Я не дождался конца сделки и ушел. У крайнего угла улицы заметил я на воротах сероватого домика приклеенный большой лист бумаги. Наверху был нарисован пером конь с хвостом в виде трубы и нескончаемой шеей, а под копытами коня стояли следующие слова, написанные старинным почерком:

«Здесь продаются разных мастей лошади, приведенные на Лебедянскую ярмарку с известного степного завода Анастасея Иваныча Чернобая, тамбовского помещика. Лошади сии отличных статей; выезжены в совершенстве и кроткого нрава. Господа покупатели благоволят спросить самого Анастасея Иваныча; буде же Анастасей Иваныч в отсутствии, то спросить кучера Назара Кубышкина. Господа покупатели, милости просим почтить старичка!»

Я остановился. Дай, думаю, посмотрю лошадей известного степного заводчика г-на Чернобая.

Я хотел было войти в калитку, но, против обыкновения, нашел ее запертой. Я постучался.

— Кто там?.. Покупатель? — пропищал женский голос.

— Покупатель.

— Сейчас, батюшка, сейчас.

Калитка растворилась. Я увидал бабу лет пятидесяти, простоволосую, в сапогах и в тулупе нараспашку.

— Извольте, кормилец, войти, а я сейчас пойду Анастасею Иванычу доложу... Назар, а Назар!

— Чего? — прошамшил из конюшни голос семидесятилетнего старца.

— Лошадок приготовь; покупатель пришел.

Старуха побежала в дом.

— Покупатель, покупатель,— проворчал ей в ответ Назар.— Я им еще не всем хвосты подмыл.

«О, Аркадия!» — подумал я.

— Здравствуй, батюшка, милости просим,— медленно раздался за моей спиной сочный и приятный голос. Я оглянулся: передо мною, в синей долгополой шинели, стоял старик сред-

него роста, с белыми волосами, любезной улыбкой и прекрасными голубыми глазами.

— Лошадок тебе? Изволь, батюшка, изволь... Да не хочешь ли ко мне сперва чайку зайти напиться?

Я отказался и поблагодарил.

— Ну, как тебе угодно. Ты меня, батюшка, извини: ведь я по старине. (Г-н Чернобай говорил не спеша и на о́.) У меня всё по простоте, знаешь... Назар, а Назар,— прибавил он протяжно и не возвышая голоса.

Назар, сморщенный старичишка, с ястребиным носиком и клиновидной бородкой, показался на пороге конюшни.

— Каких тебе, батюшка, лошадей требуется? — продолжал г-н Чернобай.

— Не слишком дорогих, езжалых, в кибитку.

— Изволь... и такие есть, изволь... Назар, Назар, покажи барину серенького меринка, знаешь, что с краю-то стоит, да гнедую с лысиной, а не то — другую гнедую, что от Красотки, знаешь?

Назар вернулся в конюшню.

— Да ты на недоуздках так их и выведи! — закричал ему вслед г-н Чернобай.— У меня, батюшка,— продолжал он, ясно и кротко глядя мне в лицо,— не то, что у барышников, чтоб им пусто было! У них там имбири разные пойдут, соль, барда [1], бог с ними совсем!.. А у меня, изволишь видеть, всё на ладони, без хитростей.

Вывели лошадей. Не понравились они мне.

— Ну, поставь их с богом на место,— проговорил Анастасей Иваныч.— Других нам покажи.

Показали других. Я наконец выбрал одну, подешевле. Начали мы торговаться. Г-н Чернобай не горячился, говорил так рассудительно, с такою важностью призывал господа бога во свидетели, что я не мог не «почтить старичка»: дал задаток.

— Ну, теперь,—промолвил Анастасей Иваныч,—позволь мне, по старому обычаю, тебе лошадку из полы в полу передать... Будешь за нее меня благодарить... Ведь свеженькая! словно орешек... нетронутая... степнячо-ок! Во всякую упряжь ходит.

Он перекрестился, положил полу своей шинели себе на руку, взял недоуздок и передал мне лошадь.

— Владей с богом теперь... А чайку все не хочешь?

— Нет, покорно вас благодарю: мне домой пора.

---

[1] От барды и соли лошадь скоро тучнеет.

— Как угодно... А мой кучерок теперь за тобой лошадку поведет?

— Да, теперь, если позволите.

— Изволь, голубчик, изволь... Василий, а Василий, ступай с барином; лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, с богом.

— Прощайте, Анастасей Иваныч.

Привели мне лошадь на дом. На другой же день она оказалась запаленной и хромой. Вздумал я было ее заложить: пятится моя лошадь назад, а ударишь ее кнутом — зартачится, побрыкает, да и ляжет. Я тотчас отправился к г-ну Чернобаю. Спрашиваю:

— Дома?

— Дома.

— Что ж это вы,— говорю,— ведь вы мне запаленную лошадь продали.

— Запаленную?.. Сохрани бог!

— Да она еще и хромая, притом и с норовом.

— Хромая? Не знаю, видно, твой кучерок ее как-нибудь попортил... а я, как перед богом...

— Вы, по-настоящему, Анастасей Иваныч, ее назад взять должны.

— Нет, батюшка, не прогневайся: уж коли со двора долой — кончено. Прежде бы изволил смотреть.

Я понял, в чем дело, покорился своей участи, рассмеялся и ушел. К счастью, я за урок не слишком дорого заплатил.

Дня через два я уехал, а через неделю опять завернул в Лебедянь на возвратном пути. В кофейной я нашел почти те же лица и опять застал князя Н. за биллиардом. Но в судьбе господина Хлопакова уже успела произойти обычная перемена. Белокурый офицерик сменил его в милостях князя. Бедный отставной поручик попытался еще раз при мне пустить в ход свое словечко — авось, дескать, понравится по-прежнему,— но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожал плечом. Господин Хлопаков потупился, съежился, пробрался в уголок и начал втихомолку набивать себе трубочку...

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА И ЕЕ ПЛЕМЯННИК

Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная; кротко синеет майское небо; гладкие молодые листья ракит блестят, словно вымытые; широкая, ровная дорога вся покрыта той мелкой травой с красноватым стебельком, которую так охотно щиплют овцы; направо и налево,

по длинным скатам пологих холмов, тихо зыблется зеленая рожь; жидкими пятнами скользят по ней тени небольших тучек. В отдаленье темнеют леса, сверкают пруды, желтеют деревни; жаворонки сотнями поднимаются, поют, падают стремглав, вытянув шейки торчат на глыбочках; грачи на дороге останавливаются, глядят на вас, приникают к земле, дают вам проехать и, подпрыгнув раза два, тяжко отлетают в сторону; на горе за оврагом мужик пашет; пегий жеребенок, с куцым хвостиком и взъерошенной гривкой, бежит на неверных ножках вслед за матерью: слышится его тонкое ржанье. Мы въезжаем в березовую рощу; крепкий, свежий запах приятно стесняет дыхание. Вот околица. Кучер слезает, лошади фыркают, пристяжные оглядываются, коренная помахивает хвостом и прислоняет голову к дуге... со скрыпом отворяется воротище. Кучер садится... Трогай! перед нами деревня. Миновав дворов пять, мы сворачиваем вправо, спускаемся в лощинку, въезжаем на плотину. За небольшим прудом, из-за круглых вершин яблонь и сиреней, виднеется тесовая крыша, некогда красная, с двумя трубами; кучер берет вдоль забора налево и при визгливом и сиплом лае трех престарелых шавок въезжает в настежь раскрытые ворота, лихо мчится кругом по широкому двору мимо конюшни и сарая, молодецки кланяется старухе ключнице, шагнувшей боком через высокий порог в раскрытую дверь кладовой, и останавливается наконец перед крылечком темного домика с светлыми окнами... Мы у Татьяны Борисовны. Да вот и она сама отворяет форточку и кивает нам головой... Здравствуйте, матушка!

Татьяна Борисовна — женщина лет пятидесяти, с большими серыми глазами навыкате, несколько тупым носом, румяными щеками и двойным подбородком. Лицо ее дышит приветом и лаской. Она когда-то была замужем, но скоро овдовела. Татьяна Борисовна весьма замечательная женщина. Живет она безвыездно в своем маленьком поместье, с соседями мало знается, принимает и любит одних молодых людей. Родилась она от весьма бедных помещиков и не получила никакого воспитания, то есть не говорит по-французски; в Москве даже никогда не бывала — и, несмотря на все эти недостатки, так просто и хорошо себя держит, так свободно чувствует и мыслит, так мало заражена обыкновенными недугами мелкопоместной барыни, что поистине невозможно ей не удивляться... И в самом деле: женщина круглый год живет в деревне, в глуши — и не сплетничает, не пищит, не приседает, не волнуется, не давится, не дрожит от любопытства... чудеса! Ходит она обыкновенно в сером тафтяном платье и белом чепце с висячими лиловыми лентами;

любит покушать, но без излишества; варенье, сушенье и соленье предоставляет ключнице. Чем же она занимается целый день? — спросите вы... Читает? Нет, не читает; да и, правду сказать, книги не для нее печатаются... Если нет у ней гостя, сидит себе моя Татьяна Борисовна под окном и чулок вяжет — зимой; летом в сад ходит, цветы сажает и поливает, с котятами играет по целым часам, голубей кормит... Хозяйством она мало занимается. Но если заедет к ней гость, молодой какой-нибудь сосед, которого она жалует,— Татьяна Борисовна вся оживится; усадит его, напоит чаем, слушает его рассказы, смеется, изредка его по щеке потреплет, но сама говорит мало; в беде, в горе утешит, добрый совет подаст. Сколько людей поверили ей свои домашние, задушевные тайны, плакали у ней на руках! Бывало, сядет она против гостя, обопрется тихонько на локоть и с таким участием смотрит ему в глаза, так дружелюбно улыбается, что гостю невольно в голову придет мысль: «Какая же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебе расскажу, что у меня на сердце». В ее небольших, уютных комнатках хорошо, тепло человеку; у ней всегда в доме прекрасная погода, если можно так выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется: ее здравый смысл, твердость и свобода, горячее участие в чужих бедах и радостях, словом, все ее достоинства точно родились с ней, никаких трудов и хлопот ей не стоили... Ее иначе и вообразить невозможно; стало быть, и не за что ее благодарить. Особенно любит она глядеть на игры и шалости молодежи; сложит руки под грудью, закинет голову, прищурит глаза и сидит, улыбаясь, да вдруг вздохнет и скажет: «Ах вы, детки мои, детки!..» Так, бывало, и хочется подойти к ней, взять ее за руку и сказать: «Послушайте, Татьяна Борисовна, вы себе цены не знаете, ведь вы, при всей вашей простоте и неучености,— необыкновенное существо!» Одно имя ее звучит чем-то знакомым, приветным, охотно произносится, возбуждает дружелюбную улыбку. Сколько раз мне, например, случалось спросить у встречного мужика: как, братец, проехать, положим, в Грачовку? «А вы, батюшка, ступайте сперва на Вязовое, а оттоле на Татьяну Борисовну, а от Татьяны Борисовны всяк вам укажет». И при имени Татьяны Борисовны мужик как-то особенно головой тряхнет. Прислугу она держит небольшую, по состоянью. Домом, прачечной, кладовой и кухней заведывает у нее ключница Агафья, бывшая ее няня, добрейшее, слезливое и беззубое существо; две здоровые девки, с крепкими сизыми щеками, вроде антоновских яблок, состоят под ее начальством. Должность камердинера, дворецкого и буфетчика

занимает семидесятилетний слуга Поликарп, чудак необыкновенный, человек начитанный, отставной скрипач и поклонник Виотти, личный враг Наполеона, или, как он говорит, Бонапартишки, и страстный охотник до соловьев. Он их всегда держит пять или шесть у себя в комнате; ранней весной по целым дням сидит возле клеток, выжидая первого «рокотанья», и, дождавшись, закроет лицо руками и застонет: «Ох, жалко, жалко!» — и в три ручья зарыдает. К Поликарпу на подмогу приставлен его же внук, Вася, мальчик лет двенадцати, кудрявый и быстроглазый; Поликарп любит его без памяти и ворчит на него с утра до вечера. Он же занимается и его воспитанием. «Вася,— говорит,— скажи: Бонапартишка разбойник».— «А что дашь, тятя?» — «Что дам?.. ничего я тебе не дам... Ведь ты кто? Русский ты?» — «Я амчанин, тятя: в Амченске [1] родился».— «О, глупая голова! да Амченск-то где?» — «А я почем знаю?» — «В России Амченск, глупый».— «Так что ж что в России?» — «Как что? Бонапартишку-то его светлейшество покойный князь Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский, с божиею помощью, из российских пределов выгнать изволил. По эвтому случаю и песня сочинена: Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки... Понимаешь: отечество освободил твое».— «А мне что за дело?» — «Ах ты, глупый мальчик, глупый! Ведь если бы светлейший князь Михайло Илларионович не выгнал Бонапартишки, ведь тебя бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковке колотил. Подошел бы этак к тебе, сказал бы: коман ву порте ву? [2]— да и стук, стук».— «А я бы его в пузо кулаком».— «А он бы тебе: бонжур, бонжур, вене иси [3],— да за хохол, за хохол».— «А я бы его по ногам, по ногам, по цибулястым-то».— «Оно точно, ноги у них цибулястые... Ну, а как он бы руки тебе стал вязать?» — «А я бы не дался; Михея-кучера на помощь бы позвал».— «А что, Вася, ведь французу с Михеем не сладить?» — «Где сладить! Михей-то во как здоров!» — «Ну, и что ж бы вы его?» — «Мы бы его по спине, да по спине».— «А он бы пардон закричал: пардон, пардон, севуплей!» [4]— «А мы бы ему: нет тебе севуплея, француз ты этакой...» — «Мо-

---

[1] В простонародье город Мценск называется Амченском, а жители амчанами. Амчане ребята бойкие; недаром у нас недругу сулят «амчанина на двор».

[2] Как вы поживаете? (от *франц.* comment vous portez-vous) — *Ред.*

[3] Здравствуйте, здравствуйте, идите сюда (от *франц.* bonjour, bonjour, venez ici).— *Ред.*

[4] Простите, простите, пожалуйста! (от *франц.* pardon, pardon, s'il vous plaît) — *Ред.*

ходец, Вася!.. Ну, так кричи же: разбойник Бонапартишка!» — «А ты мне сахару дай!» — «Экой!..»

С помещицами Татьяна Борисовна мало водится; они неохотно к ней ездят, и она не умеет их занимать, засыпает под шумок их речей, вздрагивает, силится раскрыть глаза и снова засыпает. Татьяна Борисовна вообще не любит женщин. У одного из ее приятелей, хорошего и смирного молодого человека, была сестра, старая девица лет тридцати восьми с половиной, существо добрейшее, но исковерканное, натянутое и восторженное. Брат ей часто рассказывал о своей соседке. В одно прекрасное утро моя старая девица, не говоря худого слова, велела оседлать себе лошадь и отправилась к Татьяне Борисовне. В длинном своем платье, со шляпой на голове, зеленым вуалем и распущенными кудрями, вошла она в переднюю и, минуя оторопелого Васю, принявшего ее за русалку, вбежала в гостиную. Татьяна Борисовна испугалась, хотела было приподняться, да ноги подкосились. «Татьяна Борисовна,— заговорила умоляющим голосом гостья,— извините мою смелость; я сестра вашего приятеля Алексея Николаевича К***, и столько наслышалась от него об вас, что решилась познакомиться с вами».— «Много чести»,— пробормотала изумленная хозяйка. Гостья сбросила с себя шляпу, тряхнула кудрями, уселась подле Татьяны Борисовны, взяла ее за руку... «Итак, вот она,— начала она голосом задумчивым и тронутым,— вот это доброе, ясное, благородное, святое существо! Вот она, эта простая и вместе с тем глубокая женщина! Как я рада, как я рада! Как мы будем любить друг друга! Я отдохну наконец... Я ее себе именно такою воображала»,— прибавила она шепотом, упираясь глазами в глаза Татьяны Борисовны. «Не правда ли, вы не сердитесь на меня, добрая моя, хорошая моя?» — «Помилуйте, я очень рада... Не хотите ли вы чаю?» — Гостья снисходительно улыбнулась. «Wie wahr, wie unreflektiert» [1],— прошептала она словно про себя.— «Позвольте обнять вас, моя милая!»

Старая девица высидела у Татьяны Борисовны три часа, не умолкая ни на мгновенье. Она старалась растолковать новой своей знакомой собственное ее значенье. Тотчас после ухода нежданной гостьи бедная помещица отправилась в баню, напилась липового чаю и легла в постель. Но на другой же день старая девица вернулась, просидела четыре часа и удалилась с обещаньем посещать Татьяну Борисовну ежедневно. Она, изволите видеть, вздумала окончательно развить, довоспитать такую, как

[1] Как правдива, как непосредственна *(нем.)*.— *Ред.*

она выражалась, богатую природу и, вероятно, уходила бы ее наконец совершенно, если бы, во-первых, недели через две не разочаровалась «вполне» насчет приятельницы своего брата, а во-вторых, если бы не влюбилась в молодого проезжего студента, с которым тотчас же вступила в деятельную и жаркую переписку; в посланиях своих она, как водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила «всю себя» в жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась в описания природы, упоминала о Гёте, Шиллере, Беттине и немецкой философии — и довела наконец бедного юношу до мрачного отчаяния. Но молодость взяла свое: в одно прекрасное утро проснулся он с такой остервенелой ненавистью к своей «сестре и лучшему другу», что едва сгоряча не прибил своего камердинера и долгое время чуть не кусался при малейшем намеке на возвышенную и бескорыстную любовь... Но с тех пор Татьяна Борисовна стала еще более прежнего избегать сближения с своими соседками.

Увы! ничто не прочно на земле. Все, что я вам рассказал о житье-бытье моей доброй помещицы,— дело прошедшее; тишина, господствовавшая в ее доме, нарушена навеки. У ней теперь, вот уж более года, живет племянник, художник из Петербурга. Вот как это случилось.

Лет восемь тому назад проживал у Татьяны Борисовны мальчик лет двенадцати, круглый сирота, сын ее покойного брата, Андрюша. У Андрюши были большие светлые, влажные глаза, маленький ротик, правильный нос и прекрасный возвышенный лоб. Он говорил тихим и сладким голосом, держал себя опрятно и чинно, ласкался и прислуживался к гостям, с сиротливой чувствительностию целовал ручку у тетушки. Бывало, не успеете вы показаться — глядь, уж он несет вам кресла. Шалостей за ним не водилось никаких: не стукнет, бывало; сидит себе в уголку за книжечкой, и так скромно и смирно, даже к спинке стула не прислоняется. Гость войдет — мой Андрюша приподнимется, прилично улыбнется и покраснеет; гость выйдет — он сядет опять, достанет из кармашика щеточку с зеркальцем и волосики себе причешет. С самых ранних лет почувствовал он охоту к рисованью. Попадался ли ему клочок бумаги, он тотчас выпрашивал у Агафьи-ключницы ножницы, тщательно выкраивал из бумажки правильный четвероугольник, проводил кругом каемочку и принимался за работу: нарисует глаз с огромным зрачком, или греческий нос, или дом с трубой и дымом в виде винта, собаку «en face», похожую на скамью, деревцо с двумя голубками и подпишет: «Рисовал Андрей Беловзоров, такого-то числа, такого-то года, село Малые Брыки». С особен-

ным усердием трудился он недели за две до именин Татьяны Борисовны: являлся первый с поздравлением и подносил свиток, повязанный розовой ленточкой. Татьяна Борисовна целовала племянника в лоб и распутывала узелок: свиток раскрывался и представлял любопытному взору зрителя круглый, бойко оттушеванный храм с колоннами и алтарем посередине; на алтаре пылало сердце и лежал венок, а вверху, на извилистой бандероле, четкими буквами стояло: «Тетушке и благодетельнице Татьяне Борисовне Богдановой от почтительного и любящего племянника, в знак глубочайшей привязанности». Татьяна Борисовна снова его целовала и дарила ему целковый. Большой, однако, привязанности она к нему не чувствовала: подобострастие Андрюши ей не совсем нравилось. Между тем Андрюша подрастал; Татьяна Борисовна начинала беспокоиться о его будущности. Неожиданный случай вывел ее из затруднения...

А именно: однажды, лет восемь тому назад, заехал к ней некто г. Беневоленский, Петр Михайлыч, коллежский советник и кавалер. Г-н Беневоленский некогда состоял на службе в ближайшем уездном городе и прилежно посещал Татьяну Борисовну; потом переехал в Петербург, вступил в министерство, достиг довольно важного места и в одну из частых своих поездок по казенной надобности вспомнил о своей старинной знакомой и завернул к ней, с намерением отдохнуть дня два от забот служебных «на лоне сельской тишины». Татьяна Борисовна приняла его с обыкновенным своим радушием, и г. Беневоленский... Но прежде чем мы приступим к продолжению рассказа, позвольте, любезный читатель, познакомить вас с этим новым лицом.

Г-н Беневоленский был человек толстоватый, среднего роста, мягкий на вид, с коротенькими ножками и пухленькими ручками; носил он просторный и чрезвычайно опрятный фрак, высокий и широкий галстух, белое, как снег, белье, золотую цепочку на шелковом жилете, перстень с камеем на указательном пальце и белокурый парик; говорил убедительно и кротко, выступал без шуму, приятно улыбался, приятно поводил глазами, приятно погружал подбородок в галстух: вообще приятный был человек. Сердцем его тоже господь наделил добрейшим: плакал он и восторгался легко; сверх того, пылал бескорыстной страстью к искусству, и уж подлинно бескорыстной, потому что именно в искусстве г. Беневоленский, коли правду сказать, решительно ничего не смыслил. Даже удивительно, откуда, в силу каких таинственных и непонятных законов взялась у него эта страсть? Кажется, человек он был положительный, даже дюжинный... Впрочем, у нас на Руси таких людей довольно много.

Любовь к художеству и художникам придает этим людям приторность неизъяснимую; знаться с ними, с ними разговаривать — мучительно: настоящие дубины, вымазанные медом. Они, например, никогда не называют Рафаэля — Рафаэлем, Корреджио — Корреджием: «Божественный Санцио, неподражаемый де Аллегрис»,— говорят они, и говорят непременно на о. Всякий доморощенный, самолюбивый, перехитренный и посредственный талант величают они гением, или, правильнее, «хэнием»; синее небо Италии, южный лимон, душистые пары берегов Бренты не сходят у них с языка. «Эх, Ваня, Ваня» или: «Эх, Саша, Саша,— с чувством говорят они друг другу,— на юг бы нам, на юг... ведь мы с тобою греки душою, древние греки!» Наблюдать их можно на выставках, перед иными произведениями иных российских живописцев. (Должно заметить, что по большей части все эти господа патриоты страшные.) То отступят они шага на два и закинут голову, то снова придвинутся к картине; глазки их покрываются маслянистою влагой... «Фу ты, боже мой,— говорят они наконец разбитым от волнения голосом,— души-то, души-то что! эка, сердца-то, сердца! эка души-то напустил! тьма души!.. А задумано-то как! мастерски задумано!» А что у них самих в гостиных за картины! Что за художники ходят к ним по вечерам, пьют у них чай, слушают их разговоры! Какие они им подносят перспективные виды собственных комнат с щеткой на правом плане, грядкой сору на вылощенном полу, желтым самоваром на столе возле окна и самим хозяином, в халате и ермолке, с ярким бликом света на щеке! Что за длинноволосые питомцы муз, с лихорадочно-презрительной улыбкой, их посещают! Что за бледно-зеленые барышни взвизгивают у них за фортопьянами! Ибо у нас уже так на Руси заведено: одному искусству человек предаваться не может — подавай ему все. И потому нисколько не удивительно, что эти господа любители также оказывают сильное покровительство русской литературе, особенно драматической... «Джакобы Саназары» писаны для них: тысячи раз изображенная борьба непризнанного таланта с людьми, с целым миром потрясает их до дна души...

На другой же день после приезда г. Беневоленского Татьяна Борисовна, за чаем, велела племяннику показать гостю свои рисунки. «А он у вас рисует?» — не без удивления произнес г. Беневоленский и с участием обратился к Андрюше. «Как же, рисует,— сказала Татьяна Борисовна.— Такой охотник! и ведь один, без учителя».— «Ах, покажите, покажите»,— подхватил г. Беневоленский. Андрюша, краснея и улыбаясь, поднес гостю свою тетрадку. Г-н Беневоленский начал, с видом знатока, ее

перелистывать. «Хорошо, молодой человек,— промолвил он наконец,— хорошо, очень хорошо». И он погладил Андрюшу по головке. Андрюша на лету поцеловал его руку. «Скажите, какой талант!.. Поздравляю вас, Татьяна Борисовна, поздравляю».— «Да что, Петр Михайлыч, здесь учителя не могу ему сыскать. Из города — дорог; у соседей, у Артамоновых, есть живописец и, говорят, отличный, да барыня ему запрещает чужим людям уроки давать. Говорит, вкус себе испортит».— «Гм,— произнес г. Беневоленский, задумался и поглядел исподлобья на Андрюшу.— Ну, мы об этом потолкуем»,— прибавил он вдруг и потер себе руки. В тот же день он попросил у Татьяны Борисовны позволения поговорить с ней наедине. Они заперлись. Через полчаса кликнули Андрюшу. Андрюша вошел. Г-н Беневоленский стоял у окна с легкой краской на лице и сияющими глазами. Татьяна Борисовна сидела в углу и утирала слезы. «Ну, Андрюша,— заговорила она наконец,— благодари Петра Михайлыча; он берет тебя на свое попечение, увозит тебя в Петербург». Андрюша так и замер на месте. «Вы мне скажите откровенно,— начал г. Беневоленский голосом, исполненным достоинства и снисходительности,— желаете ли вы быть художником, молодой человек, чувствуете ли вы священное призвание к искусству?» — «Я желаю быть художником, Петр Михайлыч»,— тре-
петно подтвердил Андрюша. «В таком случае я очень рад. Вам, конечно,— продолжал г. Беневоленский,— тяжко будет расстаться с вашей почтенной тетушкой; вы должны чувствовать к ней живейшую благодарность».— «Я обожаю мою тетушку»,— прервал его Андрюша и заморгал глазами. «Конечно, конечно, это весьма понятно и делает вам много чести; но зато, вообразите, какую радость со временем... ваши успехи...» — «Обними меня, Андрюша»,— пробормотала добрая помещица. Андрюша бросился ей на шею. «Ну, а теперь поблагодари своего благодетеля...» Андрюша обнял живот г. Беневоленского, поднялся на цыпочки и достал-таки его руку, которую благодетель, правда, принимал, но не слишком спешил, принять... Надо ж потешить, удовлетворить ребенка, ну и себя можно побаловать. Дня через два г. Беневоленский уехал и увез своего нового питомца.

В течение первых трех лет разлуки Андрюша писал довольно часто, прилагал иногда к письмам рисунки. Г-н Беневоленский изредка прибавлял также несколько слов от себя, большей частью одобрительных; потом письма реже стали, реже, наконец совсем прекратились. Целый год безмолвствовал племянник; Татьяна Борисовна начинала уже беспокоиться, как вдруг получила записочку следующего содержания:

«Любезная тетушка!

Четвертого дня Петра Михайлыча, моего покровителя, не стало. Жестокий удар паралича лишил меня сей последней опоры. Конечно, мне уже теперь двадцатый год пошел; в течение семи лет я сделал значительные успехи; я сильно надеюсь на свой талант и могу посредством его жить; я не унываю, но все-таки, если можете, пришлите мне, на первый случай, 250 рублей ассигнациями. Целую ваши ручки и остаюсь» и т. д.

Татьяна Борисовна отправила к племяннику 250 рублей. Через два месяца он потребовал еще; она собрала последнее и выслала еще. Не прошло шести недель после вторичной присылки, он попросил в третий раз, будто на краски для портрета, заказанного ему княгиней Тертерешеневой. Татьяна Борисовна отказала. «В таком случае,— написал он ей,— я намерен приехать к вам в деревню для поправления моего здоровья». И действительно, в мае месяце того же года Андрюша вернулся в Малые Брыки.

Татьяна Борисовна сначала его не узнала. По письму его она ждала человека болезненного и худого, а увидела малого плечистого, толстого, с лицом широким и красным, с курчавыми и жирными волосами. Тоненький и бледненький Андрюша превратился в дюжего Андрея Иванова Беловзорова. Не одна наружность в нем изменилась. Щепетильную застенчивость, осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое; он на ходу качался вправо и влево, бросался в кресла, обрушался на стол, разваливался, зевал во все горло; с теткой, с людьми обращался дерзко. Я, дескать, художник, вольный казак! Знай наших! Бывало, по целым дням кисти в руки не берет; найдет на него так называемое вдохновенье — ломается словно с похмелья, тяжело, неловко, шумно; грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловеют; пустится толковать о своем таланте, о своих успехах, о том, как он развивается, идет вперед... На деле же оказалось, что способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретики. Невежда он был круглый, ничего не читал, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзия — вот его стихии. Знай потряхивай кудрями да заливайся соловьем, да затягивайся Жуковым взасос! Хороша русская удаль, да немногим она к лицу; а бездарные Полежаевы второй руки невыносимы. Зажился наш Андрей Иваныч у тетушки: даровой хлеб, видно, по вкусу пришелся. На гостей нагонял он тоску смертельную. Сядет, бывало, за фортопьяны (у Татьяны Борисовны и фортопьяны водились) и нач-

нет одним пальцем отыскивать «Тройку удалую»; аккорды берет, стучит по клавишам; по целым часам мучительно завывает романсы Варламова: «У-единенная сосна» или: «Нет, доктор, нет, не приходи», а у самого глаза заплыли жиром и щеки лоснятся, как барабан... А то вдруг грянет: «Уймитесь, волнения страсти»... Татьяна Борисовна так и вздрогнет.

— Удивительное дело,— заметила она мне однажды,— какие нынче всё песни сочиняют, отчаянные какие-то; в мое время иначе сочиняли: и печальные песни были, а всё приятно было слушать... Например:

Приди, приди ко мне на луг,
Где жду тебя напрасно;
Приди, приди ко мне на луг,
Где слезы лью всечасно...
Увы, придешь ко мне на луг,
Но будет поздно, милый друг!

Татьяна Борисовна лукаво улыбнулась.

«Я стра-ажду, я стра-ажду»,— завыл в соседней комнате племянник.

— Полно тебе, Андрюша.

«Душа изнывает в разлу-уке»,— продолжал неугомонный певец.

Татьяна Борисовна покачала головой.

— Ох, уж эти мне художники!..

С того времени прошел год. Беловзоров до сих пор живет у тетушки и все собирается в Петербург. Он в деревне стал поперек себя толще. Тетка — кто бы мог это подумать — в нем души не чает, а окрестные девицы в него влюбляются...

Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне.

СМЕРТЬ

У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на тетеревов. Он согласился. «Только,— говорит,— поедемте по моим мелочам, к Зуше; я кстати посмотрю Чаплыгино; вы знаете, мой дубовый лес? У меня его рубят».— «Поедемте». Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ягдташ, серебряную

флягу, накинул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собою десятского Архипа, толстого и приземистого мужика с четвероугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из остзейских губерний, юношу лет девятнадцати, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, г. Готлиба фон-дер-Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской советницы Кардон-Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая, даже лежа в постеле, продолжительно и жалобно кряхтела. Мы въехали в «мелочà». «Вы меня здесь подождите на полянке»,— промолвил Ардалион Михайлыч (мой сосед), обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганны Шопенгауэр, и присел под кустик; Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ардалион Михайлыч объявил, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты: я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книгу в карман и сел, не без труда, на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения; Архип встрепенулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул наконец с места свою опеломленную и придавленную лошаденку. Мы поехали.

Лес Ардалиона Михайлыча с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером m-r Désiré Fleury, добрейшим человеком (который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарство Леруа), часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь двух- или трехсот огромных дубов и ясеней. Их статные, могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистом носились над неподвижными верхушками, пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре; звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги; внизу, в кустах, чирикали и пели

малиновки, чижи и пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно «костыляя»; красно-бурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве, около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайках, между широкими кустами, алела земляника... А что за тень в лесу была! В самый жар, в полдень — ночь настоящая: тишина, запах, свежесть... Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей — дубов и ясеней; засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей, которая «сменила их, не заменив»...[1] Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимали кверху свои безжизненные, обломанные ветви; у других из листвы, еще довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья; с иных уже кора долой спадала; иные наконец вовсе повалились и гнили, словно трупы, на земле. Кто бы мог это предвидеть — тени, в Чаплыгине тени нигде нельзя было найти! Что, думал я, глядя на умирающие деревья: чай, стыдно и горько вам?.. Вспомнился мне Кольцов:

Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?..

— Как же это, Ардалион Михайлыч,— начал я,— отчего ж эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут.

Он только плечами пожал.

---

[1] В 40-м году, при жесточайших морозах, до самого конца декабря не выпало снегу; зеленя все вымерзли, и много прекрасных дубовых лесов погубила эта безжалостная зима. Заменить их трудно: производительная сила земли видимо скудеет; на «заказанных» (с образами обойденных) пустырях, вместо прежних благородных деревьев, сами собою вырастают березы да осины; а иначе разводить рощи у нас не умеют.

— Спросили бы тетушку,— а купцы приходили, деньги приносили, приставали.

— Mein Gott! Mein Gott! — восклицал на каждом шагу фондер-Кок.— Што са шалость! што са шалость!

— Какая шалость? — с улыбкой заметил мой сосед.

— То ист как шалко, я скасать хотеллл. (Известно, что все немцы, одолевшие наконец нашу букву «люди», удивительно на нее напирают.)

Особенно возбуждали его сожаление лежавшие на земле дубы — и действительно: иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько; напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал.

Мы пробирались на место рубки, как вдруг, вслед за шумом упавшего дерева, раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный.

— Что такое? куда ты бежишь? — спросил его Ардалион Михайлыч.

Он тотчас остановился.

— Ах батюшка, Ардалион Михайлыч, беда!

— Что такое?

— Максима, батюшка, деревом пришибло.

— Каким это образом?.. Подрядчика Максима?

— Подрядчика, батюшка. Стали мы ясень рубить, а он стоит да смотрит... Стоял, стоял, да и пойди за водой к колодцу: слышь, пить захотелось. Как вдруг ясень затрещит да прямо на него. Мы кричим ему: беги, беги, беги... Ему бы в сторону броситься, а он возьми да прямо и побеги... заробел, знать. Ясень-то его верхними сучьями и накрыл. И отчего так скоро повалился,— господь его знает... Разве сердцевина гнила была.

— Ну, и убило Максима?

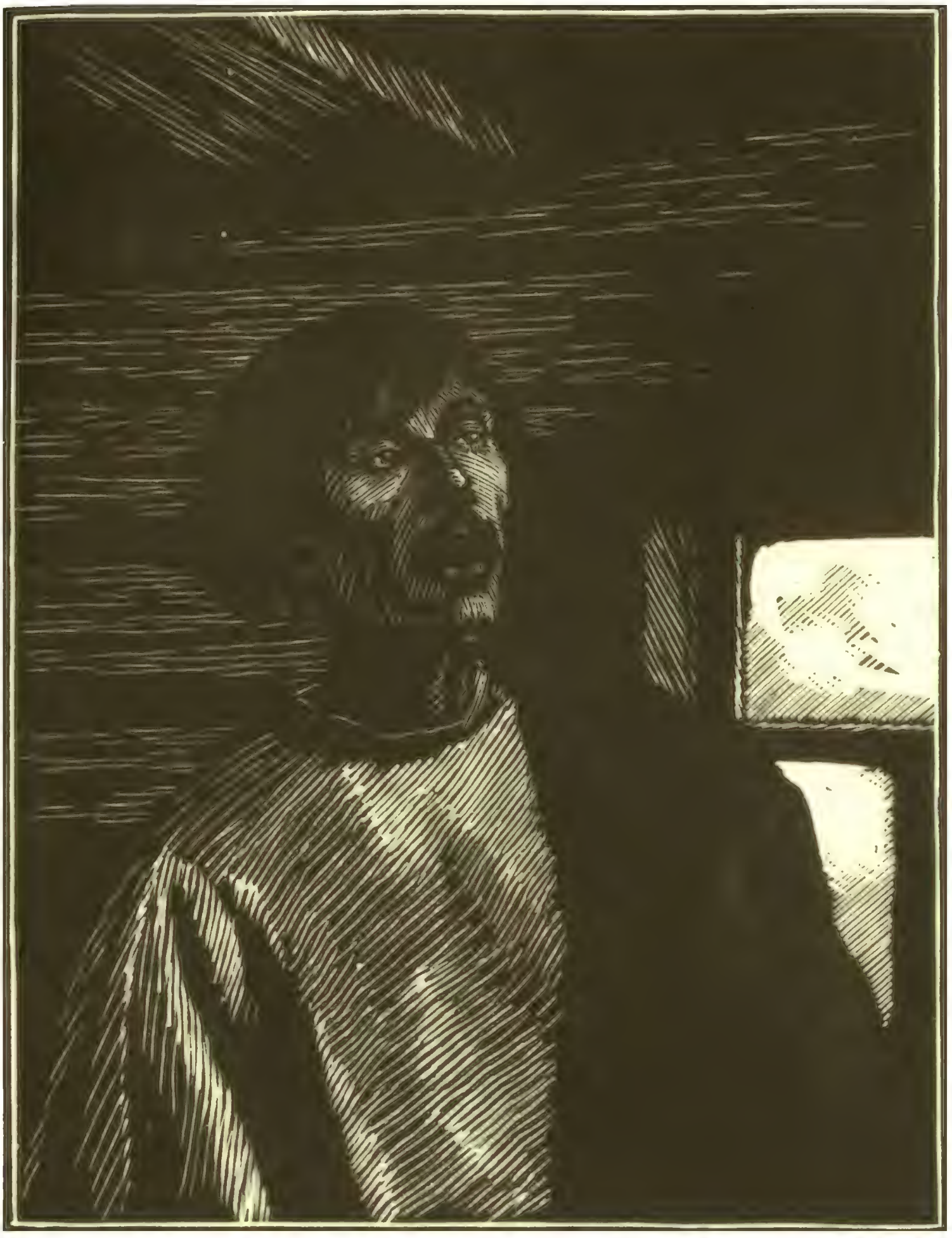
— Убило, батюшка.

— До смерти?

— Нет, батюшка, еще жив,— да что: ноги и руки ему перешибло. Я вот за Селиверстычем бежал, за лекарем.

Ардалион Михайлыч приказал десятскому скакать в деревню за Селиверстычем, а сам крупной рысью поехал вперед на ссечки... Я за ним.

Мы нашли бедного Максима на земле. Человек десять мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал,



«Записки охотника».

«Певцы».

изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы... Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно: он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу.

Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайлыча.

— Батюшка,— заговорил он едва внятно,— за попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я вот... ребят-то не распустил.

Он помолчал. Дыханье ему спирало.

— Да деньги мои... жене... жене дайте... за вычетом... вот Онисим знает... кому я... что должен...

— Мы за лекарем послали, Максим,— заговорил мой сосед,— может быть, ты еще и не умрешь.

Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки.

— Нет, умру. Вот... вот подступает, вот она, вот... Простите мне, ребята, коли в чем...

— Бог тебя простит, Максим Андреич,— глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли,— прости ты нас.

Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустился опять.

— Нельзя же ему, однако, тут умирать,— воскликнул Ардалион Михайлыч,— ребята, давайте-ка вон с телеги рогожу, снесемте его в больницу.

Человека два бросились к телеге.

— Я у Ефима... сычовского...— залепетал умирающий,— лошадь вчера купил... задаток дал... так лошадь-то моя... жене ее... тоже...

Стали его класть на рогожу... Он затрепетал весь, как застреленная птица, и выпрямился.

— Умер,— пробормотали мужики.

Мы молча сели на лошадей и отъехали.

Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто.

Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в овине обгорел. (Он так бы и остался в овине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил: окунулся в кадку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом.) Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю, где больной? «А вон, батюшка, на лежанке»,— отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. Подхожу — лежит мужик, тулупом

покрылся, дышит тяжко. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи, лежи, лежи... Ну, что? как?» — «Вестимо, плохо»,— говорит. «Больно тебе?» Молчит. «Не нужно ли чего?» Молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» — «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса — гробовое молчание в избе. В углу, за столом под образами, прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозится на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают: братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья!» — проговорил наконец больной. «Чего?» — «Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шепотом: «Причастили его?» — «Причастили». Ну, стало быть, и все в порядке: ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел...

А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорья, к знакомому мне фельдшеру Капитону, страстному охотнику.

Больница эта состояла из бывшего господского флигеля; устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами: «Красногорская больница», и сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки:

Dans ces beaux lieux, où règne l'allégresse,
Ce temple fut ouvert par la Beauté;
De vos seigneurs admirez la tendresse,
Bons habitants de Krasnogorié! [1] —

а другой господин внизу приписал:

Et moi aussi j'aime la nature!
Jean Kobyliatnikoff [2].

Фельдшер купил на свои деньги шесть кроватей и пустился, благословясь, лечить народ божий. Кроме его, при больнице

---

[1] В прекрасных местах, где царствует веселье, Сама красота воздвигла этот храм; Восхищайтесь щедростью ваших господ, Добрые обитатели Красногорья! *(франц.) — Ред.*

[2] И я тоже люблю природу!
Иван Кобылятников *(франц.).— Ред.*

состояло два человека: подверженный сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Меликитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготовляли лекарства, сушили и настаивали травы; они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова; по ночам пел песню «о прекрасной Венере» и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшек. Вот, сижу я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошадью, какие бывают только у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке, с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитрич,— закричал из окна Капитон,— милости просим... Лыбовшинский мельник»,— шепнул он мне. Мужик, покряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерову комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитрич, что новенького?.. Да вы, должно быть, нездоровы: лицо у вас нехорошо».— «Да, Капитон Тимофеич, неладно что-то».— «Что с вами?» — «Да вот что, Капитон Тимофеич. Недавно купил я в городе жернова; ну, привез их домой, да как стал их с телеги-то выкладывать, понатужился, знать, что ли, в череве-то у меня так екнуло, словно оборвалось что... да вот с тех пор все и нездоровится. Сегодня даже больно неладно».— «Гм,— промолвил Капитон и понюхал табаку,— значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» — «Да десятый денек пошел».— «Десятый? (Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздух и головой покачал.) Позволь-ка себя пощупать. Ну, Василий Дмитрич,— проговорил он наконец,— жаль мне тебя, сердечного, а ведь дело-то твое неладно; ты болен не на шутку; оставайся-ка здесь у меня; я с своей стороны все старание приложу, а впрочем, ни за что не ручаюсь».— «Будто так худо?» — пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитрич, худо; пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше — и ничего бы, как рукой бы снял; а теперь у вас воспаление, вон что; того и гляди, антонов огонь сделается».— «Да быть не может, Капитон Тимофеич».— «Уж я вам говорю».— «Да как же это! (Фельдшер плечами пожал.) И умирать мне из-за этакой дряни?» — «Этого я не говорю... а только оставайтесь здесь». Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитрич?» — «Куда? вестимо куда — домой, коли так плохо. Распорядиться следует, коли так».— «Да вы себе беды наделаете, Василий

Дмитрич, помилуйте; я и так удивляюсь, как вы доехали? останьтесь».— «Нет, брат Капитон Тимофеич, уж умирать, так дома умирать; а то что ж я здесь умру,— у меня дома и господь знает что приключится».— «Еще неизвестно, Василий Дмитрич, как дело-то пойдет... Конечно, опасно, очень опасно, спору нет... да оттого-то и следует вам остаться». (Мужик головой покачал.) «Нет, Капитон Тимофеич, не останусь... а лекарствицо разве пропишите».— «Лекарство одно не поможет».— «Не останусь, говорят».— «Ну, как хочешь... чур, потом не пенять!»

Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал Капитону полтинник, вышел из комнаты и сел на телегу. «Ну, прощайте, Капитон Тимофеич, не поминайте лихом да сироток не забывайте, коли что...» — «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая; мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадью и со встречными раскланивался... На четвертый день он умер.

Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокоумов, прекрасный, благороднейший человек! Вижу снова твое чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены; слышу твой слабый, ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупяникова, учил его детей Фофу и Зёзю русской грамоте, географии и истории, терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек, не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни; зато, бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером, после ужина, когда, отделавшись наконец от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный нумер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты! Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко навертывались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какою искреннею любовью к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа! Должно сказать правду: не отличался ты излишним остроумием; природа не одарила тебя ни

памятью, ни прилежанием; в университете считался ты одним из самых плохих студентов; на лекциях ты спал, на экзаменах — молчал торжественно; но у кого сияли радостью глаза, у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? У Авенира... Кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих, кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия, кто бескорыстно жертвовал собою, кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его?.. Все ты, все ты, наш добрый Авенир! Помню: с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на «кондицию»; злые предчувствия тебя мучили... И точно: в деревне плохо тебе пришлось; в деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить... И степняки, и образованные помещики обходились с тобою как с учителем: одни — грубо, другие — небрежно. Притом же ты и фигурой не брал; робел, краснел, потел, заикался... Даже здоровья твоего не поправил сельский воздух: истаял ты, как свечка, бедняк! Правда: комнатка твоя выходила в сад; черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки; на стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой чувствительной немочкой, гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазками; иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами; но одиночество, но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная... Бедный, бедный Авенир!

Я посетил Сорокоумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупяников не выгонял его из дому, но жалованье перестал ему выдавать и другого учителя нанял Зёзе... Фофу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурою грядой обнаженных лип; кое-где шевелились и лепетали на них последние, ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце; его косые румяные лучи били вскользь по бледной траве; в воздухе чудился легкий треск; ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат; зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему... На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно

переписанных; он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт»,— пролепетал он, с усилием сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом:

Аль у сокола
Крылья связаны?
Аль пути ему
Все заказаны?

Я остановил его: лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокоумов никогда, как говорится, не «следил» за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы? Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать: слушает, удивляется, верит ему на слово и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле (дела давно минувших дней, как видите). Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал: «Понимаю, понимаю!.. а! хорошо, хорошо!..» Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни... и что ж? — он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение...

Собравшись с силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе; вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей...

— Помнишь Дашу? — прибавил он наконец.— Вот золотая была душа! вот было сердце! И как она меня любила!.. Что с ней теперь? Чай, иссохла, исчахла, бедняжка?

Я не посмел разочаровать больного — и в самом деле, зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами — братьями Кондачковыми, белится и румянится, пищит и бранится.

Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить... Но Авенир не дал мне докончить мое предложение.

— Нет, брат, спасибо,— промолвил он,— все равно где умереть. Я ведь до зимы не доживу... К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние...

— Злые, что ли? — подхватил я.

— Нет, не злые: деревяшки какие-то. А впрочем, я не могу на них жаловаться. Соседи есть: у помещика Касаткина дочь, образованная, любезная, добрейшая девица... не гордая...

Сорокоумов опять раскашлялся.

— Все бы ничего,— продолжал он, отдохнувши,— кабы трубочку выкурить позволили... А уж я так не умру, выкурю трубочку! — прибавил он, лукаво подмигнув глазом.— Слава богу, пожил довольно; с хорошими людьми знался...

— Да ты бы хоть к родным написал,— перебил я его.

— Что к родным писать? Помочь — они мне не помогут; умру — узнают. Да что об этом говорить... Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел?

Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через десять получил следующее письмо от г. Крупяникова:

«Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент, г. Авенир Сорокоумов, четвертого дня в два часа пополудни скончался и сегодня на мой счет в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные при сем книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубля с полтиной, которые, вместе с прочими его вещами, доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти и, можно сказать, с таковою же бесчувственностию, не изъявляя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя Клеопатра Александровна вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы; что же до меня касается, то я, слава богу, здоров и честь имею пребыть

Вашим покорнейшим слугою.

Г. Крупяников».

Много других еще примеров в голову приходит,— да всего не перескажешь. Ограничусь одним.

Старушка помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка,— проговорила она коснеющим языком,— успеешь...» Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал целковый: она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную...

Да, удивительно умирают русские люди!

ПЕВЦЫ

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки,— через реку можно по крайней мере навести мост,— разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать,— а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка — кабак, прозванный «Притынным» [1]. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.

Николай Иваныч — некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками,— уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как бóльшая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в труд-

---

[1] Притынным называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое приютное место.

ных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводит своих посетителей — и то любимых им посетителей — на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает всё, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним — нет! Он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Иваныча еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участья; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и

дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неименьем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда... Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет наконец этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках — негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались,— как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови.— Иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь... Иди.

— Ну, иду, иду,— раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение

лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль.— Иду, любезный,— продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведенья,— зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

— Зачем я тебя зову? — сказал с укоризной человек во фризовой шинели.— Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споет то есть... понимаешь?

— Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом.— И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру,— с достоинством отвечал Обалдуй,— а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

— Ну, пойдем, простота,— возразил Моргач.

— Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя,— залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

— Вишь, Езоп изнеженный,— презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке,— да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог по-

бодить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова.— Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать,— одобрительно подхватил Николай Иваныч.

— Начнем, пожалуй,— хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик,— я готов.

— И я готов,— с волнением произнес Яков.

— Ну, начинайте, ребятки, начинайте,— пропищал Моргач.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки,— все словно ждали чего-то.

— Начинай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

— Тебе, тебе, рядчик,— залепетал Обалдуй,— тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.

— Жеребий кинуть,— с расстановкой произнес Дикий-Барин,— да осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил

свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.

— Тебе выбирать,— проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

— Ведь я же говорил, что тебе,— воскликнул Обалдуй,— я ведь говорил.

— Ну, ну, не «циркай»! [1] — презрительно заметил Дикий-Барин.— Начинай,— продолжал он, качнув головой на рядчика.

— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волненье.

— Какую хочешь,— отвечал Моргач.— Какую вздумается, ту и пой.

— Конечно, какую хочешь,— прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди.— В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

— Разумеется, по совести,— подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько,— заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! — решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами...

Но прежде, чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так

---

[1] Циркают ястреба, когда они чего-нибудь испугаются.

хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало — прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями,— так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач нисколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло названье Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня —и, вероятно, для многих других — темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведеньем загладив свое преступленье, понемногу вошел к ней в милость, заслужил наконец ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться:

я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, цукавые «гляделки» [1]. Они никогда не смотрят просто — все высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить... смотришь — все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел»,— уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и — странное дело — его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать,— не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому

[1] Орловцы называют глаза гляделками, так же как рот едалом.

не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно,— в нем вообще не было ничего скромного,— но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил — ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства,— смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский tenore di grazia, ténor léger[1]. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

---

[1] лирический тенор *(итал. и франц.).— Ред.*

Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй наконец затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и попрежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас,— общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Ивановича выступила краска, и он словно помолодел; Яков как сумасшедший закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» — и с решительностью плюнул в сторону.

— Ну, брат, потешил! — кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий,— потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко... Уж я тебе говорю: далеко... А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная...— с досадой заговорил Моргач,— дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал... Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

— Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью,— сказал Обалдуй и подошел к стойке.— На твой счет, брат,— прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.

— Хорошо поешь, брат, хорошо,— ласково заметил Николай Иваныч.— А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим... А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.

— Очинна хорошо,— заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

— Хорошо-га! — повторил вполголоса мой сосед.

— А, заворотень-полеха! [1] — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом.— Полеха! полеха! Га, баде паняй [2], заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

— Да что ж это за несносное животное такое? — произнес он, скрыпнув зубами.

— Я ничего,— забормотал Обалдуй,— я ничего... я так...

— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин.— Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

— Что, брат, того... что-то... Гм... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха,

---

[1] Полехами называются обитатели южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Болховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав.

[2] Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицания «га!» и «баде!». «Паняй» вместо погоняй.

проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же наконец Яков открыл свое лицо — оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала»,— пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бро-

сил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его...

— Яша,— проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и — смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл»,— произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь»,— твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное,

придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова... Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся,— все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно — всё, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иваныч, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами

вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ:

— Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

— Иди сюда, черт леши-и-ий!

— Заче-е-е-ем? — ответил тот спустя долгое время.

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т,— поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки...

«Антропка-а-а!» — все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ КАРАТАЕВ

Лет пять тому назад, осенью, на дороге из Москвы в Тулу, пришлось мне просидеть почти целый день в почтовом доме за недостатком лошадей. Я возвращался с охоты и имел неосторожность отправить свою тройку вперед. Смотритель, человек уже старый, угрюмый, с волосами, нависшими над самым носом, с маленькими заспанными глазами, на все мои жалобы и просьбы отвечал отрывистым ворчаньем, в сердцах хлопал дверью, как будто сам проклинал свою должность, и, выходя на крыльцо, бранил ямщиков, которые медленно брели по грязи с пудовыми дугами на руках или сидели на лавке, позевывая и почесываясь, и не обращали особенного внимания на гневные восклицания своего начальника. Я раза три уже принимался пить чай, несколько раз напрасно пытался заснуть, прочел все надписи на окнах и на стенах: скука меня томила

страшная. С холодным и безнадежным отчаянием глядел я на приподнятые оглобли своего тарантаса, как вдруг зазвенел колокольчик и небольшая телега, запряженная тройкой измученных лошадей, остановилась перед крыльцом. Приезжий соскочил с телеги и с криком «живее лошадей!» вошел в комнату. Пока он, с обычным странным изумлением, выслушивал ответ смотрителя, что лошадей-де нету, я успел, со всем жадным любопытством скучающего человека, окинуть взором с ног до головы моего нового товарища. На вид ему было лет под тридцать. Оспа оставила неизгладимые следы на его лице, сухом и желтоватом, с неприятным медным отблеском; иссиня-черные длинные волосы лежали сзади кольцами на воротнике, спереди закручивались в ухарские виски; небольшие опухшие глазки глядели — и только; на верхней губе торчало несколько волосков. Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстук лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны с огромными раструбами, из-под которых едва выглядывали кончики нечищенных сапог. От него сильно несло табаком и водкой; на красных и толстых его пальцах, почти закрытых рукавами архалука, виднелись серебряные и тульские кольца. Такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями; знакомство с ними, надобно правду сказать, не доставляет никакого удовольствия; но, несмотря на предубеждение, с которым я глядел на приезжего, я не мог не заметить беспечно доброго и страстного выраженья его лица.

— Вот и они ждут здесь более часу-с,— промолвил смотритель, указывая на меня.

«Более часу!» — Злодей смеялся надо мной.

— Да им, может быть, не так нужно,— отвечал приезжий.

— Уж этого-с мы не можем знать-с,— угрюмо сказал смотритель.

— Так неужели нельзя никак? Нет лошадей решительно?

— Нельзя-с. Ни одной лошади не имеется.

— Ну, так велите же мне самовар поставить. Подождем, делать нечего.

Приезжий сел на лавку, бросил картуз на стол и провел рукой по волосам.

— А вы уж пили чай? — спросил он меня.

— Пил.

— А еще раз для компании не угодно?

Я согласился. Толстый рыжий самовар в четвертый раз появился на столе. Я достал бутылку рому. Я не ошибся, приняв

моего собеседника за мелкопоместного дворянина. Звали его Петром Петровичем Каратаевым.

Мы разговорились. Не прошло и получаса с его приезда, как уж он с самой добродушной откровенностью рассказывал мне свою жизнь.

— Теперь я еду в Москву,— говорил он мне, допивая четвертый стакан,— в деревне мне уж теперь нечего делать.

— Отчего же нечего?

— Да так-таки — нечего. Хозяйство порасстроилось, мужиков поразорил, признаться; подошли годы плохие: неурожаи, разные, знаете, несчастия... Да, впрочем,— прибавил он, уныло глянув в сторону,— какой я хозяин!

— Почему же?

— Да нет,— перебил он меня,— такие ли бывают хозяева! Вот видите ли,— продолжал он, скрутив голову набок и прилежно насасывая трубку,— вы, так, глядя на меня, можете подумать, что я и того... а ведь я, должен вам признаться, воспитанье получил средственное; достатков не было. Вы меня извините, я человек откровенный, да и наконец...

Он не договорил своей речи и махнул рукой. Я начал уверять его, что он ошибается, что я очень рад нашей встрече и проч., а потом заметил, что для управления именьем, кажется, не нужно слишком сильного образования.

— Согласен,— отвечал он,— я с вами согласен. Да все же нужно такое, особенное расположение! Иной мужика дерет как липку, и ничего! а я... Позвольте узнать, вы сами из Питера или из Москвы?

— Я из Петербурга.

Он пустил ноздрями долгую струю дыма.

— А я в Москву еду служить.

— Куда же вы намерены определиться?

— А не знаю; как там придется. Признаться вам, боюсь я службы: как раз под ответственность попадешь. Жил все в деревне; привык, знаете... да уж делать нечего... нужда! Ох, уж эта мне нужда!

— Зато вы будете жить в столице.

— В столице... ну, я не знаю, что там в столице хорошего. Посмотрим, может быть, оно и хорошо... А уж лучше деревни, кажется, и быть ничего не может.

— Да разве вам уже невозможно более жить в деревне?

Он вздохнул.

— Невозможно. Она уж теперь почитай что и не моя.

— А что?

— Да там добрый человек — сосед завелся... вексель...

Бедный Петр Петрович провел рукой по лицу, подумал и тряхнул головою.

— Ну да уж что!.. Да признаться,— прибавил он после небольшого молчанья,— мне не на кого пенять, сам виноват. Любил покуражиться!.. Люблю, черт возьми, покуражиться!

— Вы весело жили в деревне? — спросил я его.

— У меня, сударь,— отвечал он с расстановкой и глядя мне прямо в глаза,— было двенадцать смычков гончих, таких гончих, каких, скажу вам, немного. (Он это последнее слово произнес нараспев.) Русака как раз замотают, а уж на красного зверя — змеи, просто аспиды. И борзыми похвастаться я мог. Теперь же дело прошлое, лгать не для чего. Охотился я и с ружьем. Была у меня собака Контеска; стойка необыкновенная, верхним чутьем все брала. Бывало, подойду к болоту, скажу: шарш! — как искать не станет, так хоть с дюжиной собак пройди — шалишь, ничего не найдешь! а как станет — просто рада умереть на месте!.. В комнате такая вежливая. Дашь ей хлеб из левой руки да скажешь: жид ел,— ведь не возьмет, а дашь из правой да скажешь: барышня кушала,— тотчас возьмет и съест. Был у меня и щенок от нее, отличный щенок, и в Москву везти хотел, да приятель выпросил вместе с ружьем; говорит: в Москве тебе, брат, будет не до того; так уж пойдет совсем, брат, другое. Я и отдал ему щенка, да уж и ружье; уж оно все там, знаете, осталось.

— Да вы и в Москве могли бы охотиться.

— Нет уж, к чему? Не сумел удержаться, так и терпи теперь. А вот лучше позвольте узнать, что́ жизнь в Москве — дорога?

— Нет, не слишком.

— Не слишком?.. А скажите, пожалуйста, ведь цыгане в Москве живут?

— Какие цыгане?

— А вот что по ярмаркам ездят?

— Да, в Москве...

— Ну, это хорошо. Люблю цыган, черт возьми, люблю...

И глаза Петра Петровича сверкнули удалой веселостью. Но вдруг он завертелся на лавке, потом задумался, потупил голову и протянул ко мне пустой стакан.

— Дайте-ка мне вашего рому,— проговорил он.

— Да чай весь вышел.

— Ничего, так, без чаю... Эх!

Каратаев положил голову на руки и оперся локтями на стол. Я молча глядел на него и ожидал уже тех чувствительных

восклицаний, пожалуй, даже тех слез, на которые так щедр подгулявший человек, но когда он поднял голову, меня, признаюсь, поразило глубоко грустное выражение его лица.

— Что с вами?

— Ничего-с... старину вспомнил. Такой анекдот-с... Рассказал бы вам, да мне совестно вас беспокоить...

— Помилуйте!

— Да,— продолжал он со вздохом,— бывают случаи... хотя, например, и со мной. Вот, если хотите, я вам расскажу. Впрочем, не знаю...

— Рассказывайте, любезный Петр Петрович.

— Пожалуй, хоша оно того... Вот видите ли,— начал он,— но я, право, не знаю...

— Ну, полноте, любезный Петр Петрович.

— Ну, пожалуй. Так вот что со мной, так сказать, случилось. Жил я-с в деревне... Вдруг приглянись мне девушка, ах, да какая же девушка была... красавица, умница, а уж добрая какая! Звали ее Матреной-с. А девка она была простая, то есть, вы понимаете, крепостная, просто холопка-с. Да не моя девка, а чужая,— вот в чем беда. Ну, вот я ее полюбил,— такой, право, анекдот-с — ну, и она. Вот и стала Матрена меня просить: выкупи ее, дескать, от госпожи; да и я сам уже об эфтом подумывал... А госпожа-то у ней была богатая, старушенция страшная; жила от меня верстах в пятнадцати. Ну, вот в один, как говорится, прекрасный день я и велел заложить себе дрожки тройкой,— в корню ходил у меня иноходец, азиятец необыкновенный, зато и назывался Лампурдос,— оделся получше и поехал к Матрениной барыне. Приезжаю: дом большой, с флигелями, с садом... У повертка Матрена меня ждала, хотела было заговорить со мной, да только руку поцеловала и отошла в сторону. Вот вхожу я в переднюю, спрашиваю: «Дома?..» А мне высокий такой лакей говорит: «Как об вас доложить прикажете?» Я говорю: «Доложи, братец, дескать, помещик Каратаев приехал о деле переговорить». Лакей ушел; я жду себе и думаю: что-то будет? Чай, заломит, бестия, цену страшную, даром что богата. Рублей пятьсот, пожалуй, запросит. Вот наконец вернулся лакей, говорит: «Пожалуйте». Я вхожу за ним в гостиную. Сидит на креслах маленькая желтенькая старушонка и глазами моргает. «Что вам угодно?» Я сперва, знаете ли, почел за нужное объявить, что, дескать, рад знакомству. «Вы ошибаетесь, я не здешняя хозяйка, а ее родственница... Что вам угодно?» Я заметил ей тут же, что мне с хозяйкой-то и нужно пере-

говорить. «Марья Ильинична не принимает сегодня: она нездорова... Что вам угодно?» Делать нечего, подумал я про себя, объясню ей мое обстоятельство. Старуха меня выслушала. «Матрена? какая Матрена?» — «Матрена Федорова, Куликова дочь».— «Федора Кулика дочь... да как вы ее знаете?» — «Случайным манером».— «А известно ей ваше намерение?» —«Известно». Старуха помолчала. «Да я ее, негодную!..» Я, признаюсь, удивился. «За что же, помилуйте!.. Я за нее готов внести сумму, только извольте назначить». Старая хрычовка так и зашипела. «Вот вздумали чем удивить: нужны нам очень ваши деньги!.. а вот я ее ужо, вот я ее... Дурь-то я из нее выбью». Раскашлялась старуха от злости. «Нехорошо ей у нас, что ли?.. Ах, она чертовка, прости, господи, мое согрешенье!» Я, признаюсь, вспыхнул. «За что же вы грозите бедной девке? чем она, то есть, виновата?» Старуха перекрестилась. «Ах ты, мой господи, Иисусе Христе! Да разве я в своих холопьях не вольна?» — «Да ведь она не ваша!» — «Ну, уж про это Марья Ильинична знает; не ваше, батюшка, дело; а вот я ужо Матрешке-то покажу, чья она холопка». Я, признаюсь, чуть не бросился на проклятую старуху, да вспомнил о Матрене, и руки опустились. Заробел так, что пересказать невозможно; начал упрашивать старуху: «Возьмите, дескать, что хотите».— «Да на что она вам?» — «Понравилась, матушка; войдите в мое положенье... Позвольте поцеловать у вас ручку». И таки поцеловал у шельмы руку! «Ну,— прошамшила ведьма,— я скажу Марье Ильиничне; как она прикажет; а вы заезжайте дня через два». Я уехал домой в большом беспокойстве. Начинал я догадываться, что дело неладно повел, напрасно дал свое расположенье заметить, да хватился-то я поздно. Дня через два отправился я к барыне. Привели меня в кабинет. Цветов пропасть, убранство отличное, сама сидит в таких мудреных креслах и голову назад завалила на подушки; и родственница прежняя тут сидит, да еще какая-то барышня белобрысая, в зеленом платье, криворотая, компаньонка, должно быть. Старуха загнусила: «Прошу садиться». Я сел. Стала меня расспрашивать о том, сколько мне лет, да где я служил, да что намерен делать, и так все свысока, важно. Я отвечал подробно. Старуха взяла со стола платок, помахала, помахала на себя... «Мне, говорит, докладывала Катерина Карповна об вашем намерении, докладывала, говорит; но я себе, говорит, положила за правило: людей в услужение не отпускать. Оно и неприлично, да и не годится в порядочном доме: это непорядок. Я уже распорядилась, говорит, вам уже более беспокоиться, говорит, нечего».— «Какое беспокойство, поми-

луйте... А может, вам Матрена Федорова нужна?» — «Нет, говорит, не нужна».— «Так отчего же вы мне ее уступить не хотите?» — «Оттого, что мне не угодно; не угодно, да и все тут. Я уж, говорит, распорядилась: она в степную деревню посылается». Меня как громом хлопнуло. Старуха сказала слова два по-французски зеленой барышне: та вышла. «Я, говорит, женщина правил строгих, да и здоровье мое слабое; беспокойства переносить не могу. Вы еще молодой человек, а я уж старая женщина и вправе вам давать советы. Не лучше ли вам пристроиться, жениться, поискать хорошей партии; богатые невесты редки, но девицу бедную, зато хорошей нравственности, найти можно». Я, знаете, гляжу на старуху и ничего не понимаю, что она там такое мелет; слышу, что толкует о женитьбе, а у меня степная деревня все в ушах звенит. Жениться!.. какой черт...

Тут рассказчик внезапно остановился и поглядел на меня.

— Ведь вы не женаты?

— Нет.

— Ну, конечно, дело известное. Я не вытерпел: «Да помилуйте, матушка, что вы за ахинею порете? Какая тут женитьба? Я просто желаю узнать от вас, уступаете вы вашу девку Матрену или нет?» Старуха заохала. «Ах, он меня обеспокоил! ах, велите ему уйти! ах!..» Родственница к ней подскочила и раскричалась на меня. А старуха все стонет: «Чем это я заслужила?.. Стало быть, я уж в своем доме не госпожа? ах, ах!» Я схватил шляпу и как сумасшедший выбежал вон.

— Может быть,— продолжал рассказчик,— вы осудите меня за то, что я так сильно привязался к девушке из низкого сословия; я и не намерен себя, то есть, оправдывать... так уж оно пришлось!.. Верите ли, ни днем, ни ночью покоя мне не было... Мучусь! За что, думал я, погубил несчастную девку! Как только, бывало, вспомню, что она в зипуне гусей гоняет, да в черном теле, по барскому приказу, содержится, да староста, мужик в дегтярных сапогах, ее ругательски ругает — холодный пот так с меня и закапает. Ну, не вытерпел, проведал, в какую деревню ее сослали, сел верхом и поехал туда. На другой день под вечер только приехал. Видно, от меня такого пассажа не ожидали и никакого на мой счет приказания не дали. Я прямо к старосте, будто сосед; вхожу на двор, гляжу: Матрена сидит на крылечке и рукой подперлась. Она было вскрикнула, да я ей погрозил и показал на задворье, в поле. Вошел в избу; со старостой покалякал, наврал ему чертову тьму, улучил минутку и вышел к Матрене. Она, бедняжка, так у меня на шее и повисла. Побледнела, похудела, моя голубушка. Я, знаете ли, говорю ей:

«Ничего, Матрена; ничего, не плачь», а у самого слезы так и бегут, и бегут... Ну, однако ж, наконец мне стыдно стало; говорю ей: «Матрена, слезами горю не пособить, а вот что: надобно действовать, как говорится, решительно; надобно тебе бежать со мной; вот как надобно действовать». Матрена так и обмерла... «Как можно! да я пропаду, да они меня заедят совсем!» — «Глупая ты, кто тебя сыщет?» — «Сыщут, непременно сыщут. Спасибо вам, Петр Петрович, век не забуду вашей ласки, но уж вы меня теперь предоставьте; уж, видно, такова моя судьба».— «Эх, Матрена, Матрена, а я тебя считал за девку с карахтером». И точно, карахтеру у ней было много... душа была, золотая душа! «Что ж тебе здесь оставаться! все равно; хуже не будет. Ну, вот сказывай: старостиных кулаков отведывала, а?» Матрена так и вспыхнула, и губы у ней задрожали. «Да из-за меня семье моей житья не будет».— «Ну ее, твою семью... Сошлют ее, что ли?» — «Сошлют; брата-то наверное сошлют».— «А отца?» — «Ну, отца не сошлют; он у нас один хороший портной и есть».— «Ну вот, видишь; а брат твой от этого не пропадет». Поверите ли, насилу уломал ее; вздумала еще толковать о том, что, дескать, вы за это отвечать будете... «Да уж это, говорю я, не твое дело...» Однако я таки ее увез... не в этот раз, а в другой: ночью, на телеге приехал — и увез.

— Увезли?

— Увез... Ну, вот она и поселилась у меня. Домик у меня был небольшой, прислуги мало. Люди мои, без обиняков скажу, меня уважали; не выдали бы ни за какие благополучия. Стал я поживать припеваючи. Матренушка отдохнула, поправилась; вот я к ней и привязался... Да и что за девка была! Откуда что бралось? И петь-то она умела, и плясать, и на гитаре играть... Соседям я ее не показывал, чего доброго, разболтают! А был у меня приятель, друг закадычный, Горностаев Пантелей,— вы не изволите знать? Тот в ней просто души не чаял: как у барыни, руки у ней целовал, право. И скажу вам, Горностаев не мне чета: человек он образованный, всего Пушкина прочел; станет, бывало, с Матреной да со мной разговаривать, так мы и уши развесим. Писать ее выучил, такой чудак! А уж как я одевал ее — просто лучше губернаторши; сшил ей шубку из малинового бархата с меховой опушкой... Уж как эта шубка на ней сидела! Шубку-то эту московская мадам шила по новому манеру, с перехватом. И уж какая чудна́я эта Матрена была! Бывало, задумается да и сидит по часам, на пол глядит, бровью не шевельнет; и я тоже сижу да на нее смотрю, да насмотреться не могу, словно никогда не видал... Она улыбнется, а у меня сердце

так и дрогнет, словно кто пощекотит. А то вдруг примется смеяться, шутить, плясать; обнимет меня так жарко, так крепко, что голова кругом пойдет. С утра до вечера, бывало, только и думаю: чем бы мне ее порадовать? И верите ли, ведь только для того ее дарил, чтобы посмотреть, как она, душа моя, обрадуется, вся покраснеет от радости, как станет мой подарок примерять, как ко мне в обновке подойдет и поцелует. Неизвестно, каким образом отец ее Кулик пронюхал дело; пришел старик поглядеть на нас, да как заплачет... Да ведь с радости заплакал, а вы что подумали? Мы Кулика задарили. Она ему, голубушка, сама пятирублевую ассигнацию под конец вынесла,— а он ей как бухнет в ноги — такой чудной! Таким-то мы образом месяцев пять прожили; а я бы не прочь и весь век с ней так прожить, да судьба моя такая окаянная!

Петр Петрович остановился.

— Что ж такое сделалось? — спросил я его с участьем.

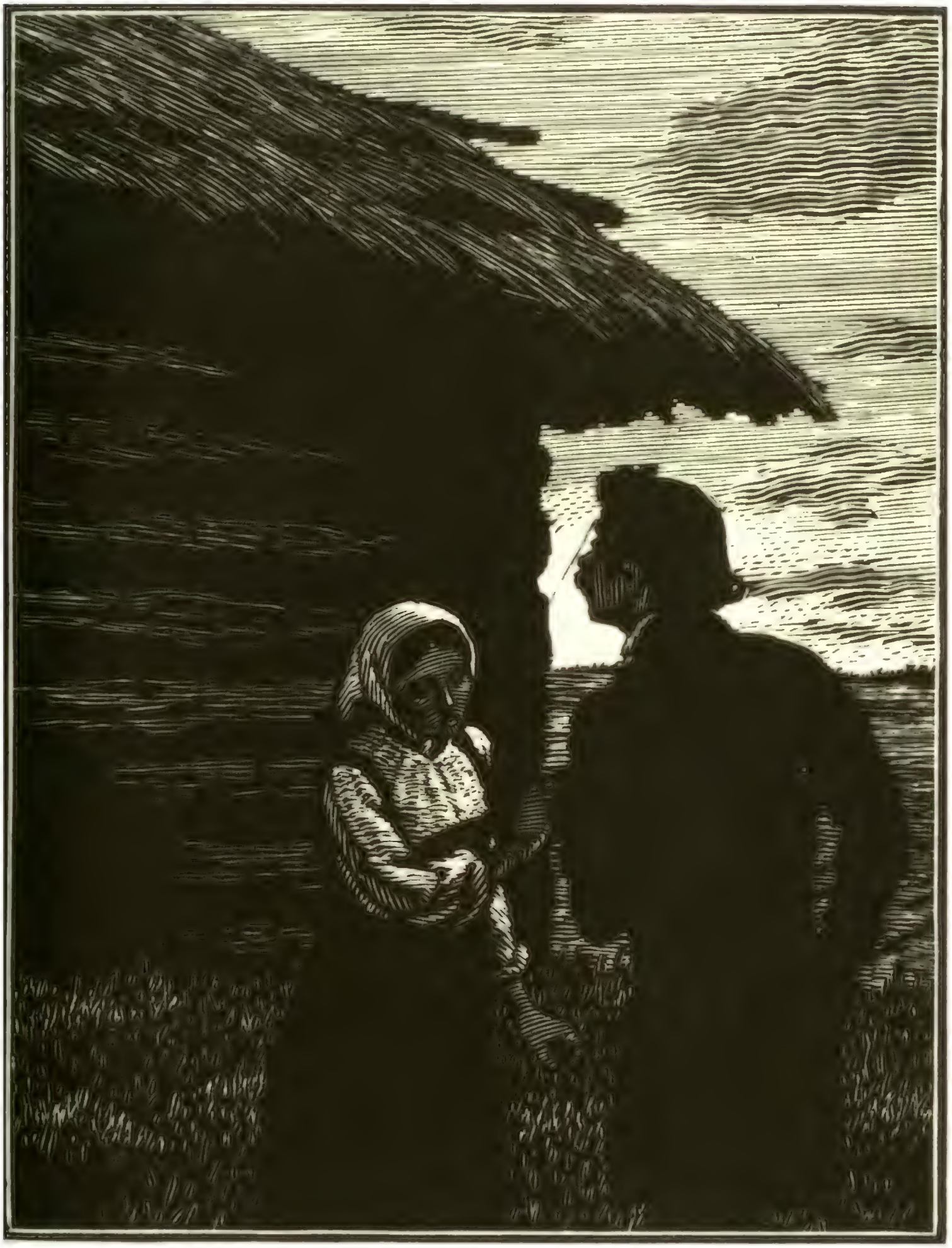
Он махнул рукой.

— Все к черту пошло. Я же ее и погубил. Матренушка у меня смерть любила кататься в санках, и сама, бывало, правит; наденет свою шубку, шитые рукавицы торжковские да только покрикивает. Катались-то мы всегда вечером, чтобы, знаете, кого-нибудь не встретить. Вот как-то раз выбрался день такой, знаете, славный; морозно, ясно, ветра нету... мы и поехали. Матрена взяла вожжи. Вот я и смотрю, куда это она едет? Неужели в Кукуевку, в деревню своей барыни? Точно, в Кукуевку. Я ей и говорю: «Сумасшедшая, куда ты едешь?» Она глянула ко мне через плечо да усмехнулася. Дай, дескать, покуражиться. А! — подумал я,— была не была!.. Мимо господского дома прокатиться ведь хорошо? ведь хорошо — скажите сами? Вот мы и едем. Иноходец мой так и плывет, пристяжные совершенно, скажу вам, завихрились — вот уж и кукуевскую церковь видно; гляды, ползет по дороге старый зеленый возок, и лакей на запятках торчит... Барыня, барыня едет! Я было струсил, а Матрена-то как ударит вожжами по лошадям да как помчится прямо на возок! Кучер, тот-то, вы понимаете, видит: летит навстречу Алхимерэс какой-то, хотел, знаете, посторониться, да круто взял, да в сугроб возок-то и опрокинул. Стекло разбилось — барыня кричит: «Ай, ай, ай! ай, ай, ай!» Компаньонка пищит: «Держи, держи!» А мы, давай бог ноги, мимо. Скачем мы, а я думаю: худо будет, напрасно я ей позволил ехать в Кукуевку. Что ж вы думаете? Ведь узнала барыня Матрену и меня узнала, старая, да жалобу на меня и подай: беглая, дескать, моя девка у дворянина Каратаева проживает; да тут же и благодарность, как

следует, предъявила. Смотрю, едет ко мне исправник; а исправник-то был мне человек знакомый, Степан Сергеич Кузовкин, хороший человек, то есть, в сущности человек не хороший. Вот, приезжает и говорит: так и так, Петр Петрович,— как же вы это так?.. Ответственность сильная, и законы на этот счет ясные. Я ему говорю: «Ну, об этом мы, разумеется, с вами побеседуем, а вот не хотите ли перекусить с дороги?» Перекусить-то он согласился, но говорит: «Правосудие требует, Петр Петрович, сами посудите».— «Оно, конечно, правосудие,— говорю я,— оно, конечно... а вот, я слышал, у вас лошадка есть вороненькая, так не хотите ли поменяться на моего Лампурдоса?.. А девки Матрены Федоровой у меня не имеется».— «Ну,— говорит он,— Петр Петрович, девка-то у вас, мы ведь не в Швейцарии живем... а на Лампурдоса поменяться лошадкой можно; можно, пожалуй, его и так взять». Однако на этот раз я его кое-как спровадил. Но старая барыня завозилась пуще прежнего; десяти тысяч, говорит, не пожалею. Видите ли, ей, глядя на меня, вдруг в голову пришло женить меня на своей зеленой компаньонке,— это я после узнал: оттого-то она так и разозлилась. Чего только эти барыни не придумают!.. Со скуки, должно быть. Плохо мне пришлось: и денег-то я не жалел, и Матрену-то прятал,— нет! Затормошили меня, завертели совсем. В долги влез, здоровья лишился... Вот лежу однажды ночью у себя на постеле и думаю: «Господи боже мой, за что терплю? Что ж мне делать, коли я ее разлюбить не могу?.. Ну, не могу, да и только!» Шасть ко мне в комнату Матрена. Я на это время спрятал ее было у себя на хуторе, верстах в двух от своего дома. Я испугался. «Что? аль и там тебя открыли?» — «Нет, Петр Петрович,— говорит она,— никто меня не беспокоит в Бубнове; да долго ли это продолжится? Сердце мое, говорит, надрывается, Петр Петрович; вас мне жаль, моего голубчика; век не забуду ласки вашей, Петр Петрович, а теперь пришла с вами проститься».— «Что ты, что ты, сумасшедшая?.. Как проститься? как проститься?» — «А так... пойду да себя и выдам».— «Да я тебя, сумасшедшую, на чердак запру... Иль ты погубить меня вздумала? уморить меня желаешь, что ли?» Молчит себе девка да глядит на пол. «Ну, да говори же, говори!» — «Не хочу вам больше беспокойства причинять, Петр Петрович». Ну, поди, толкуй с ней... «Да ты знаешь ли, дура, ты знаешь ли, сума... сумасшедшая...»

И Петр Петрович горько зарыдал.

— Ведь что вы думаете? — продолжал он, ударив кулаком по столу и стараясь нахмурить брови, меж тем как слезы все



«Записки охотника».
«Петр Петрович Каратаев».

еще бежали по его разгоряченным щекам,— ведь выдала себя девка, пошла да и выдала себя...

— Лошади готовы-с! — торжественно воскликнул смотритель, входя в комнату.

Мы оба встали.

— Что же сделалось с Матреной? — спросил я.

Каратаев махнул рукой.

Спустя год после моей встречи с Каратаевым случилось мне заехать в Москву. Раз как-то, перед обедом, зашел я в кофейную, находящуюся за Охотным рядом,— оригинальную, московскую кофейную. В бильярдной, сквозь волны дыма, мелькали раскрасневшиеся лица, усы, хохлы, старомодные венгерки и новейшие святославки. Худые старички в скромных сюртуках читали русские газеты. Прислуга резво мелькала с подносами, мягко ступая по зеленым коврикам. Купцы с мучительным напряжением пили чай. Вдруг из бильярдной вышел человек, несколько растрепанный и не совсем твердый на ногах. Он положил руки в карманы, опустил голову и бессмысленно посмотрел кругом.

— Ба, ба, ба! Петр Петрович!.. Как поживаете?

Петр Петрович чуть не бросился ко мне на шею и потащил меня, слегка качаясь, в маленькую особенную комнату.

— Вот здесь,— говорил он, заботливо усаживая меня в кресла,— здесь вам будет хорошо. Человек, пива! нет, то есть шампанского! Ну, признаюсь, не ожидал, не ожидал... Давно ли? надолго ли? Вот, привел бог, как говорится, того...

— Да, помните...

— Как не помнить, как не помнить,— торопливо перервал он меня,— дело прошлое... дело прошлое...

— Ну, что вы здесь поделываете, любезный Петр Петрович?

— Живу, как изволите видеть. Здесь житье хорошее, народ здесь радушный. Здесь я успокоился.

И он вздохнул и поднял глаза к небу.

— Служите?

— Нет-с, еще не служу, а думаю скоро определиться. Да что служба?.. Люди — вот главное. С какими я здесь людьми познакомился!..

Мальчик вошел с бутылкой шампанского на черном подносе.

— Вот и это хороший человек... Не правда ли, Вася, ты хороший человек? На твое здоровье!

Мальчик постоял, прилично тряхнул головкой, улыбнулся и вышел.

— Да, хорошие здесь люди,— продолжал Петр Петрович,— с чувством, с душой... Хотите, я вас познакомлю? Такие славные ребята... Они все вам будут ради. Я скажу... Бобров умер, вот горе.

— Какой Бобров?

— Сергей Бобров. Славный был человек; призрел было меня, невежу, степняка. И Горностаев Пантелей умер. Все умерли, все!

— Вы все время в Москве прожили? Не съездили в деревню?

— В деревню... мою деревню продали.

— Продали?

— Сукциона... Вот, напрасно вы не купили!

— Чем же вы жить будете, Петр Петрович?

— А не умру с голоду, бог даст! Денег не будет, друзья будут. Да что деньги? — прах! Золото — прах!

Он зажмурился, пошарил рукой в кармане и поднес ко мне на ладони два пятиалтынных и гривенник.

— Что это? ведь прах! (И деньги полетели на пол.) А вы лучше скажите мне, читали ли вы Полежаева?

— Читал.

— Видали ли Мочалова в Гамлете?

— Нет; не видал.

— Не видали, не видали... (И лицо Каратаева побледнело, глаза беспокойно забегали; он отвернулся; легкие судороги пробежали по его губам.) Ах, Мочалов, Мочалов! «Окончить жизнь — уснуть»,— проговорил он глухим голосом.

Не более! и знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов,
Удел живых... Такой конец достоин
Желаний жарких! Умереть... уснуть...

— Уснуть, уснуть! — пробормотал он несколько раз.

— Скажите, пожалуйста,— начал было я; но он продолжал с жаром:

Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притесненье,
Обиды гордого, забытую любовь,
Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем
Один удар... О, помяни
Мои грехи в твоей святой молитве!

И он уронил голову на стол. Он начинал заикаться и завираться.

— «И через месяц!» — произнес он с новой силой.

Один короткий, быстротечный месяц!
И башмаков еще не износила,
В которых шла, в слезах,
За бедным прахом моего отца!
О небо! Зверь без разума, без слова
Грустил бы долее...

Он поднес рюмку шампанского к губам, но не выпил вина и продолжал:

Из-за Гекубы?
Что он Гекубе, что она ему,
Что плачет он об ней?..
А я... презренный, малодушный раб,—
Я трус! Кто назовет меня негодным?
Кто скажет мне: ты лжешь?
А я обиду перенес бы... Да!
Я голубь мужеством: во мне нет желчи,
И мне обида не горька...

Каратаев уронил рюмку и схватил себя за голову. Мне показалось, что я его понял.

— Ну, да что,— проговорил он наконец,— кто старое помянет, тому глаз вон... Не правда ли? (И он засмеялся.) На ваше здоровье!

— Вы останетесь в Москве? — спросил я его.

— Умру в Москве!

— Каратаев! — раздалось в соседней комнате.— Каратаев, где ты? Поди сюда, любезный че-а-эк!

— Меня зовут,— проговорил он, тяжело поднимаясь с места.— Прощайте; зайдите ко мне, если можете, я живу в ***.

Но на другой же день, по непредвиденным обстоятельствам, я должен был выехать из Москвы и не видался более с Петром Петровичем Каратаевым.

СВИДАНИЕ

Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раз-

двинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем,— или когда, в ясный ветреный день, она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремленьем, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я

не люблю этого дерева и потому, не остановясь в осиновой роще для отдыха, добрался до березового леска, угнездился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя, и, полюбовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежным и кротким сном, который знаком одним охотникам.

Не могу сказать, сколько я времени проспал, но когда я открыл глаза — вся внутренность леса была наполнена солнцем и во все направленья, сквозь радостно шумевшую листву, сквозило и как бы искрилось ярко-голубое небо; облака скрылись, разогнанные взыгравшим ветром; погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная, сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущеньем, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастья, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я вгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыханье тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими мягкими складками около ее стана; крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость; остальная часть ее лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз — она их не поднимала; но я ясно видел ее тонкие, высокие брови, ее длинные ресницы: они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившейся у самых губ, слегка побледневших. Вся ее головка была очень мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица: так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоуменья перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо хрустнуло: она тотчас подняла голову и оглянулась; в прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась

и принялась медленно перебирать цветы. Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке. Так прошло довольно много времени; бедная девушка не шевелилась,— лишь изредка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала... Снова что-то зашумело по лесу,— она встрепенулась. Шум не переставал, становился явственней, приближался, послышались наконец решительные, проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела; ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданьем. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она вгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась — и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней.

Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого, богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность: на нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно, с барского плеча, застегнутое доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрахмаленные рукавчики закрывали всю руку вплоть до красных и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы. Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее; беспрестанно щурил свои и без того крошечные молочно-серые глазки, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью то поправлял рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе,— словом, ломался нестерпимо. Начал он ломаться, как только увидал молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, передернул плечами, засунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустился на землю.

— А что,— начал он, продолжая глядеть куда-то в сторону, качая ногою и зевая,— давно ты здесь?

Девушка не могла тотчас ему отвечать.

— Давно-с, Виктор Александрыч,— проговорила она наконец едва слышным голосом.

— А! (Он снял картуз, величественно провел рукою по густым, туго завитым волосам, начинавшимся почти у самых бровей, и, с достоинством посмотрев кругом, бережно прикрыл опять свою драгоценную голову.) А я было совсем и позабыл. Притом, вишь, дождик! (Он опять зевнул.) Дела пропасть: за всем не усмотришь, а тот еще бранится. Мы завтра едем...

— Завтра? — произнесла девушка и устремила на него испуганный взор.

— Завтра... Ну, ну, ну, пожалуйста,— подхватил он поспешно и с досадой, увидев, что она затрепетала вся и тихо наклонила голову,— пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпеть не могу. (И он наморщил свой тупой нос.) А то я сейчас уйду... Что за глупости — хныкать!

— Ну, не буду, не буду,— торопливо произнесла Акулина, с усилием глотая слезы.— Так вы завтра едете? — прибавила она после небольшого молчанья.— Когда-то бог приведет опять увидеться с вами, Виктор Александрыч?

— Увидимся, увидимся. Не в будущем году — так после. Барин-то, кажется, в Петербурге на службу поступить желает,— продолжал он, выговаривая слова небрежно и несколько в нос,— а может быть, и за границу уедем.

— Вы меня забудете, Виктор Александрыч,— печально промолвила Акулина.

— Нет, отчего же? Я тебя не забуду: только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца... А я тебя не забуду — не-ет. (И он спокойно потянулся и опять зевнул.)

— Не забывайте меня, Виктор Александрыч,— продолжала она умоляющим голосом.— Уж, кажется, я на что вас любила, все, кажется, для вас... Вы говорите, отца мне слушаться, Виктор Александрыч... Да как же мне отца-то слушаться...

— А что? (Он произнес эти слова как бы из желудка, лежа на спине и подложив руки под голову.)

— Да как же, Виктор Александрыч,— вы сами знаете...

Она умолкла. Виктор поиграл стальной цепочкой своих часов.

— Ты, Акулина, девка неглупая,— заговорил он наконец,— потому вздору не говори. Я твоего же добра желаю, понимаешь ты меня? Конечно, ты не глупа, не совсем мужичка,

так сказать; и твоя мать тоже не всегда мужичкой была. Все же ты без образованья, —стало быть, должна слушаться, когда тебе говорят.

— Да страшно, Виктор Александрыч.

— И-и, какой вздор, моя любезная: в чем нашла страх! Что это у тебя,— прибавил он, подвинувшись к ней,— цветы?

— Цветы,— уныло отвечала Акулина.— Это я полевой рябинки нарвала,— продолжала она, несколько оживившись,— это для телят хорошо. А это вот череда — против золотухи. Вот поглядите-ка, какой чудный цветик; такого чудного цветика я еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина-душка... А вот это я для вас,— прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой,— хотите?

Виктор лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх. Акулина глядела на него... В ее грустном взоре было столько нежной преданности, благоговейной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз; а он лежал, развалясь, как султан, и с великодушным терпеньем и снисходительностию сносил ее обожанье. Я, признаюсь, с неодованьем рассматривал его красное лицо, на котором сквозь притворно презрительное равнодушие проглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбие. Акулина была так хороша в это мгновение; вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась и ластилась к нему, а он... он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз; но, как он ни старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом — стеклышко все вывалилось и падало ему в руку.

— Что это? — спросила наконец изумленная Акулина.

— Лорнет,— отвечал он с важностью.

— Для чего?

— А чтоб лучше видеть.

— Покажите-ка.

Виктор поморщился, но дал ей стеклышко.

— Не разбей, смотри.

— Небось, не разобью. (Она робко поднесла его к глазу.) Я ничего не вижу,— невинно проговорила она.

— Да ты глаз-то, глаз-то зажмурь,— возразил он голосом недовольного наставника. (Она зажмурила глаз, перед которым

держала стеклышко.) Да не тот, не тот, глупая! Другой! — воскликнул Виктор и, не давши ей исправить свою ошибку, отнял у ней лорнет.

Акулина покраснела, чуть-чуть засмеялась и отвернулась.

— Видно, нам не годится,— промолвила она.

— Еще бы!

Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула.

— Ах, Виктор Александрыч, как это будет нам быть без вас! — сказала она вдруг.

Виктор вытер лорнет полой и положил его обратно в карман.

— Да, да,— заговорил он наконец,— тебе сначала будет тяжело, точно. (Он снисходительно потрепал ее по плечу; она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала.) Ну, да, да, ты точно девка добрая,— продолжал он, самодовольно улыбнувшись,— но что же делать? Ты сама посуди! Нам с барином нельзя же здесь оставаться; теперь скоро зима, а в деревне зимой — ты сама знаешь — просто скверность. То ли дело в Петербурге! Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а обчество, образованье — просто удивленье!.. (Акулина слушала его с пожирающим вниманьем, слегка раскрыв губы, как ребенок.) Впрочем,— прибавил он, заворочавшись на земле,— к чему я тебе это все говорю? Ведь ты этого понять не можешь.

— Отчего же, Виктор Александрыч? Я поняла; я все поняла.

— Вишь какая!

Акулина потупилась.

— Прежде вы со мной не так говаривали, Виктор Александрыч,— проговорила она, не поднимая глаз.

— Прежде?.. прежде! Вишь ты!.. Прежде! — заметил он, как бы негодуя.

Они оба помолчали.

— Однако мне пора идти,— проговорил Виктор и уже оперся было на локоть...

— Подождите еще немножко,— умоляющим голосом произнесла Акулина.

— Чего ждать?.. Ведь уж я простился с тобой.

— Подождите,— повторила Акулина.

Виктор опять улегся и принялся посвистывать. Акулина все не спускала с него глаз. Я мог заметить, что она понемногу приходила в волненье: ее губы подергивало, бледные ее щеки слабо заалелись...

— Виктор Александрыч,— заговорила она наконец прерывающимся голосом,— вам грешно... вам грешно, Виктор Александрыч, ей-богу!

— Что такое грешно? — спросил он, нахмурив брови, и слегка приподнял и повернул к ней голову.

— Грешно, Виктор Александрыч. Хоть бы доброе словечко мне сказали на прощанье; хоть бы словечко мне сказали, горемычной сиротинушке...

— Да что я тебе скажу?

— Я не знаю; вы это лучше знаете, Виктор Александрыч. Вот вы едете, и хоть бы словечко... Чем я заслужила?

— Какая же ты странная! Что ж я могу?

— Хоть бы словечко...

— Ну, зарядила одно и то же,— промолвил он с досадой и встал.

— Не сердитесь, Виктор Александрыч,— поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы.

— Я не сержусь, а только ты глупа... Чего ты хочешь? Ведь я на тебе жениться не могу? ведь не могу? Ну, так чего ж ты хочешь? чего? (Он уткнулся лицом, как бы ожидая ответа, и растопырил пальцы.)

— Я ничего... ничего не хочу,— отвечала она, заикаясь и едва осмеливаясь простирать к нему трепещущие руки,— а так хоть бы словечко, на прощанье...

И слезы полились у ней ручьем.

— Ну, так и есть, пошла плакать,— хладнокровно промолвил Виктор, надвигая сзади картуз на глаза.

— Я ничего не хочу,— продолжала она, всхлипывая и закрыв лицо обеими руками,— но каково же мне теперь в семье, каково же мне? И что же со мной будет, что станется со мной, горемычной? За немилого выдадут сиротиночку... Бедная моя головушка!

— Припевай, припевай,— вполголоса пробормотал Виктор, переминаясь на месте.

— А он хоть бы словечко, хоть бы одно... Дескать, Акулина, дескать, я...

Внезапные, надрывающие грудь рыданья не дали ей докончить речи — она повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала... Все ее тело судорожно волновалось, затылок так и поднимался у ней... Долго сдержанное горе хлынуло наконец потоком. Виктор постоял над нею, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами.

Прошло несколько мгновений... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хотела было бежать за ним, но ноги у ней подкосились — она упала на колени... Я не выдержал и бросился к ней; но едва успела она вглядеться в меня, как откуда взялись силы — она с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, оставив разбросанные цветы на земле.

Я постоял, поднял пучок васильков и вышел из рощи в поле. Солнце стояло низко на бледно-ясном небе, лучи его тоже как будто поблекли и похолодели: они не сияли, они разливались ровным, почти водянистым светом. До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через желтое, высохшее жнивье; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо, через дорогу, вдоль опушки, маленькие, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная стеною в поле, вся дрожала и сверкала мелким сверканьем, четко, но не ярко; на красноватой траве, на былинках, на соломинках — всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин. Я остановился... Мне стало грустно; сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и резко рассекая воздух крылами, пролетел осторожный ворон, повернул голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл и, отрывисто каркая, скрылся за лесом; большое стадо голубей резво пронеслось с гумна и, внезапно закружившись столбом, хлопотливо расселось по полю — признак осени! Кто-то проехал за обнаженным холмом, громко стуча пустой телегой...

Я вернулся домой; но образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы, и васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня...

ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА

На одной из моих поездок получил я приглашение отобедать у богатого помещика и охотника, Александра Михайлыча Г. Его село находилось верстах в пяти от небольшой деревеньки, где я на ту пору поселился. Я надел фрак, без которого не советую никому выезжать даже на охоту, и отправился к Александру Михайлычу. Обед был назначен к шести часам; я приехал в пять и застал уже великое множество дворян в

мундирах, в партикулярных платьях и других, менее определительных одеждах. Хозяин встретил меня ласково, но тотчас же побежал в официантскую. Он ожидал важного сановника и чувствовал некоторое волнение, вовсе несообразное с его независимым положением в свете и богатством. Александр Михайлыч никогда женатым не был и не любил женщин; общество у него собиралось холостое. Он жил на большую ногу, увеличил и отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы тысяч на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшим уважением. Александр Михайлыч давным-давно вышел в отставку и никаких почестей не добивался... Что же заставляло его напрашиваться на посещение сановного гостя и волноваться с самого утра в день торжественного обеда? Это остается покрыто мраком неизвестности, как говаривал один мой знакомый стряпчий, когда его спрашивали: берет ли он взятки с доброхотных дателей?

Расставшись с хозяином, я начал расхаживать по комнатам. Почти все гости были мне совершенно незнакомы; человек двадцать уже сидело за карточными столами. В числе этих любителей преферанса было: два военных с благородными, но слегка изношенными лицами, несколько штатских особ, в тесных, высоких галстуках и с висячими, крашеными усами, какие только бывают у людей решительных, но благонамеренных (эти благонамеренные люди с важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали сбоку глазами на подходивших); пять или шесть уездных чиновников с круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно-неподвижными ножками (эти господа говорили мягким голосом, кротко улыбались на все стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротив, волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкий, весьма учтивый и приличный скрып). Прочие дворяне сидели на диванах, кучками жались к дверям и подле окон; один, уже немолодой, но женоподобный по наружности помещик стоял в уголку, вздрагивал, краснел и с замешательством вертел у себя на желудке печаткою своих часов, хотя никто не обращал на него внимания; иные господа, в круглых фраках и клетчатых панталонах работы московского портного, вечного цехового мастера иностранца Фирса Клюхина, рассуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками; молодой человек лет двадцати, подслеповатый и белокурый, с ног до голо-

вы одетый в черную одежду, видимо робел, но язвительно улыбался...

Однако я начинал несколько скучать, как вдруг ко мне присоседился некто Войницын, недоучившийся молодой человек, проживавший в доме Александра Михайлыча в качестве... мудрено сказать, в каком именно качестве. Он стрелял отлично и умел дрессировать собак. Я его знавал еще в Москве. Он принадлежал к числу молодых людей, которые, бывало, на всяком экзамене «играли столбняка», то есть не отвечали ни слова на вопросы профессора. Этих господ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (Дела давно минувших дней, как изволите видеть.) Вот как это делалось: вызывали, например, Войницына. Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами,— вставал, торопливо застегивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу. «Извольте взять билет»,— с приятностью говорил ему профессор. Войницын протягивал руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетов. «Да не извольте выбирать»,— замечал дребезжащим голосом какой-нибудь посторонний, но раздражительный старичок, профессор из другого факультета, внезапно возненавидевший несчастного бакенбардиста. Войницын покорялся своей участи, брал билет, показывал нумер и шел садиться к окну, пока предшественник его отвечал на свой вопрос. У окна Войницын не спускал глаз с билета, разве только для того, чтобы по-прежнему медленно посмотреть кругом, а впрочем, не шевелился ни одним членом. Вот, однако, предшественник его кончил; говорят ему: «Хорошо, ступайте», или даже: «Хорошо-с, очень хорошо-с», смотря по его способностям. Вот вызывают Войницына; Войницын встает и твердым шагом приближается к столу. «Прочтите билет»,— говорят ему. Войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Ну-с, извольте отвечать»,— лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. «Что же вы?» Войницын молчит. Постороннего старичка начинает дергать. «Да скажите же что-нибудь!» Молчит мой Войницын, словно замер. Стриженый его затылок круто и неподвижно торчит навстречу любопытным взорам всех товарищей. У постороннего старичка глаза готовы выскочить: он окончательно ненавидит Войницына. «Однако ж это странно,— замечает другой экзаменатор,— что же вы, как

немой, стоите? ну, не знаете, что ли? Так так и скажите».— «Позвольте другой билет взять»,— глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте»,— махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы думаете: теперь он, по крайней мере, уйдет? Как бы не так! Он возвращается на свое место, так же неподвижно сидит до конца экзамена, а уходя восклицает: «Ну баня! экая задача!» И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро та же повторяется история.

Вот этот-то Войницын присоседился ко мне. Мы с ним говорили о Москве, об охоте.

— Не хотите ли,— шепнул он мне вдруг,— я познакомлю вас с первым здешним остряком?

— Сделайте одолжение.

Войницын подвел меня к человеку маленького роста, с высоким хохлом и усами, в коричневом фраке и пестром галстуке. Его желчные, подвижные черты действительно дышали умом и злостью. Беглая, едкая улыбка беспрестанно кривила его губы; черные, прищуренные глазки дерзко выглядывали из-под неровных ресниц. Подле него стоял помещик, широкий, мягкий, сладкий — настоящий Сахар-Медович — и кривой. Он заранее смеялся остротам маленького человека и словно таял от удовольствия. Войницын представил меня остряку, которого звали Петром Петровичем Лупихиным. Мы познакомились, обменялись первыми приветствиями.

— А позвольте представить вам моего лучшего приятеля,— заговорил вдруг Лупихин резким голосом, схватив сладкого помещика за руку.— Да не упирайтесь же, Кирила Селифаныч,— прибавил он,— вас не укусят. Вот-с,— продолжал он, между тем как смущенный Кирила Селифаныч так неловко раскланивался, как будто у него отваливался живот,— вот-с, рекомендую-с, превосходный дворянин. Пользовался отличным здоровьем до пятидесятилетнего возраста, да вдруг вздумал лечить себе глаза, вследствие чего и окривел. С тех пор лечит своих крестьян с таковым же успехом... Ну, а они, разумеется, с таковою же преданностию...

— Ведь этакой,— пробормотал Кирила Селифаныч и засмеялся.

— Договаривайте, друг мой, эх, договаривайте,— подхватил Лупихин.— Ведь вас, чего доброго, в судьи могут избрать, и изберут, посмотрите. Ну, за вас, конечно, будут думать заседатели, положим; да ведь надобно ж на всякий случай хоть чужую-то мысль уметь выговорить. Неравно заедет губернатор — спросит: отчего судья заикается? Ну, положим, скажут: паралич приключился; так бросьте ему, скажет, кровь. А оно в вашем положении, согласитесь сами, неприлично.

Сладкий помещик так и покатился.

— Ведь вишь смеется,— продолжал Лупихин, злобно глядя на колыхающийся живот Кирилы Селифаныча.— И отчего ему не смеяться? — прибавил он, обращаясь ко мне,— сыт, здоров, детей нет, мужики не заложены — он же их лечит,— жена с придурью. (Кирила Селифаныч немножко отвернулся в сторону, будто не расслыхал, и все продолжал хохотать.) Смеюсь же я, а у меня жена с землемером убежала. (Он оскалился.) А вы этого не знали? Как же! Так-таки взяла да и убежала и письмо мне оставила: любезный, дескать, Петр Петрович, извини; увлеченная страстью, удаляюсь с другом моего сердца... А землемер только тем и взял, что не стриг ногтей да панталоны носил в обтяжку. Вы удивляетесь? Вот, дескать, откровенный человек... И, боже мой! наш брат-степняк так прав-ду-матку и режет. Однако отойдемте-ка в сторону... Что нам подле будущего судьи стоять-то...

Он взял меня под руку, и мы отошли к окну.

— Я слыву здесь за остряка,— сказал он мне в течение разговора,— вы этому не верьте. Я просто озлобленный человек и ругаюсь вслух: оттого я так и развязен. И зачем мне церемониться, в самом деле? Я ничье мнение в грош не ставлю и ничего не добиваюсь; я зол — что ж такое? Злому человеку, по крайней мере, ума не нужно. А как оно освежительно, вы не поверите... Ну вот, например, ну вот посмотрите на нашего хозяина! Ну из чего он бегает, помилуйте, то и дело на часы смотрит, улыбается, потеет, важный вид принимает, нас с голоду морит? Эка невидаль — сановное лицо! Вот, вот, опять побежал — заковылял даже, посмотрите.

И Лупихин визгливо засмеялся.

— Одна беда, барынь нету,— продолжал он с глубоким вздохом,— холостой обед,— а то вот где нашему брату пожива. Посмотрите, посмотрите,— воскликнул он вдруг,— идет князь Козельский — вон этот высокий мужчина с бородой, в желтых перчатках. Сейчас видно, что за границей побывал... И всегда так поздно приезжает. Глуп, скажу я вам, один, как пара

купеческих лошадей, а изволили бы вы поглядеть, как снисходительно он с нашим братом заговаривает, как великодушно изволит улыбаться на любезности наших голодных матушек и дочек!.. И сам иногда острит, даром что проездом здесь живет; зато как и острит! Ни дать ни взять тупым ножом бечевку пилит. Он меня терпеть не может... Пойду поклонюсь ему.

И Лупихин побежал навстречу князю.

— А вот мой личный враг идет,— промолвил он, вдруг вернувшись ко мне,— видите этого толстого человека с бурым лицом и щетиной на голове,— вон, что шапку сгреб в руку да по стенке пробирается и на все стороны озирается, как волк? Я ему продал за четыреста рублей лошадь, которая стоила тысячу, и это бессловесное существо имеет теперь полное право презирать меня; а между тем сам до того лишен способности соображенья, особенно утром, до чаю, или тотчас после обеда, что ему скажешь: здравствуйте, а он отвечает: чего-с? А вот генерал идет,— продолжал Лупихин,— штатский генерал в отставке, разоренный генерал. У него дочь из свекловичного сахару и завод в золотухе... Виноват, не так сказал... ну, да вы понимаете. А! и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает,— чудеса!.. А впрочем, на что ему и знать свое дело-то: лишь бы взятки брал да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян!

Лупихин опять захохотал... Но вдруг тревожное волнение распространилось по всему дому. Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю. За ним устремились несколько приверженных домочадцев и усердных гостей... Шумный разговор превратился в мягкий, приятный говор, подобный весеннему жужжанью пчел в родимых ульях. Одна неугомонная оса — Лупихин и великолепный трутень — Козельский не понизили голоса... И вот вошла наконец матка — вошел сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись; даже помещик, дешево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал свое достоинство как нельзя лучше: покачивая головой назад, будто кланяясь, он выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждое начиналось буквою *а*, произнесенною протяжно и в нос,— с негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разоренному штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что

не опоздал к обеду, все общество отправилось в столовую, тузами вперед.

Нужно ли рассказывать читателю, как посадили сановника на первом месте между штатским генералом и губернским предводителем, человеком с свободным и достойным выражением лица, совершенно соответствовавшим его накрахмаленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке с французским табаком,— как хозяин хлопотал, бегал, суетился, потчевал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, стоя в углу, как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины,— как дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с букетом во рту,— как слуги, в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали к каждому дворянину то с малагой, то с дрей-мадерой и как почти все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой,— как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться заздравные тосты: все это, вероятно, слишком известно читателю. Но особенно замечательным показался мне анекдот, рассказанный самим сановником среди всеобщего радостного молчанья. Кто-то, кажется, разоренный генерал, человек, ознакомленный с новейшей словесностью, упомянул о влиянии женщин вообще и на молодых людей в особенности. «Да, да,—подхватил сановник,—это правда; но молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они, пожалуй, от всякой юбки с ума сходят». (Детски веселая улыбка промчалась по лицам всех гостей; у одного помещика даже благодарность заиграла во взоре.) «Ибо́ молодые люди глупы». (Сановник, вероятно, ради важности, иногда изменял общепринятые ударения слов.) «Вот хоть бы у меня, сын Иван,— продолжал он,— двадцатый год всего дураку пошел, а он вдруг мне и говорит: «Позвольте, батюшка, жениться». Я ему говорю: «Дурак, послужи сперва...» Ну, отчаянье, слезы... но у меня... того...» (Слово «того» сановник произнес более животом, чем губами; помолчал и величаво взглянул на своего соседа, генерала, причем гораздо более поднял брови, чем бы следовало ожидать. Штатский генерал приятно наклонил голову несколько набок и чрезвычайно быстро заморгал глазом, обращенным к сановнику.) «И что ж,— заговорил сановник опять,— теперь он сам мне пишет, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научил... Так вот как надобно поступать». Все гости, разумеется, вполне согласились с рассказчиком и как будто оживились от полученного удовольствия и наставления... После обеда все общество поднялось и двинулось в гостиную

с бóльшим, но все же приличным и словно на этот случай разрешенным шумом... Сели за карты.

Кое-как дождался я вечера и, поручив своему кучеру заложить мою коляску на другой день в пять часов утра, отправился на покой. Но мне предстояло еще в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком.

Вследствие множества наехавших гостей никто не спал в одиночку. В небольшой, зеленоватой и сыроватой комнате, куда привел меня дворецкий Александра Михайлыча, уже находился другой гость, совершенно раздетый. Увидев меня, он проворно нырнул под одеяло, закрылся им до самого носа, повозился немного на рыхлом пуховике и притих, зорко выглядывая из-под круглой каймы своего бумажного колпака. Я подошел к другой кровати (их всего было две в комнате), разделся и лег в сырые простыни. Мой сосед заворочался на своей постели... Я пожелал ему доброй ночи.

Прошло полчаса. Несмотря на все мои старания, я никак не мог заснуть: бесконечной вереницей тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли, упорно и однообразно, словно ведра водоподъемной машины.

— А вы, кажется, не спите? — проговорил мой сосед.

— Как видите,— отвечал я.— Да и вам не спится?

— Мне никогда не спится.

— Как же так?

— Да так. Я засыпаю сам не знаю отчего; лежу, лежу, да и засну.

— Зачем же вы ложитесь в постель, прежде чем вам спать захочется?

— А что ж прикажете делать?

Я не отвечал на вопрос моего соседа.

— Удивляюсь я,— продолжал он после небольшого молчания, — отчего здесь блох нету. Кажется, где бы им и быть?

— Вы словно о них сожалеете,— заметил я.

— Нет, не сожалею; но я во всем люблю последовательность.

«Вот как,— подумал я,— какие слова употребляет».

Сосед опять помолчал.

— Хотите со мной об заклад побиться? — заговорил он вдруг довольно громко.

— О чем?

Меня мой сосед начинал забавлять.

— Гм... о чем? А вот о чем: я уверен, что вы меня принимаете за дурака.

— Помилуйте,— пробормотал я с изумлением.

— За степняка, за невежу... Сознайтесь...

— Я вас не имею удовольствия знать,— возразил я.— Почему вы могли заключить...

— Почему! Да по одному звуку вашего голоса: вы так небрежно мне отвечаете... А я совсем не то, что вы думаете...

— Позвольте...

— Нет, *вы* позвольте. Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше; во-вторых, я три года провел за границей: в одном Берлине прожил восемь месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь, знаю Гете наизусть; сверх того, я долго был влюблен в дочь германского профессора и женился дома на чахоточной барышне, лысой, но весьма замечательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода; я не степняк, как вы полагаете... Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего.

Я поднял голову и с удвоенным вниманием посмотрел на чудака. При тусклом свете ночника я едва мог разглядеть его черты.

— Вот вы теперь смотрите на меня,— продолжал он, поправив свой колпак,— и, вероятно, самих себя спрашиваете: как же это я не заметил его сегодня? Я вам скажу, отчего вы меня не заметили,— оттого, что я не возвышаю голоса; оттого, что я прячусь за других, стою за дверьми, ни с кем не разговариваю; оттого, что дворецкий с подносом, проходя мимо меня, заранее возвышает свой локоть в уровень моей груди... А отчего все это происходит? От двух причин: во-первых, я беден, а во-вторых, я смирился... Скажите правду, ведь вы меня не заметили?

— Я действительно не имел удовольствия...

— Ну да, ну да,— перебил он меня,— я это знал.

Он приподнялся и скрестил руки; длинная тень его колпака перегнулась со стены на потолок.

— А признайтесь-ка,— прибавил он, вдруг взглянув на меня сбоку,— я должен вам казаться большим чудаком, как говорится, оригиналом, или, может быть, пожалуй, еще чем-нибудь похуже: может быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудаком?

— Я вам опять-таки должен повторить, что я вас не знаю...

Он на мгновение потупился.

— Почему я с вами, вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился — господь, господь один ведает! (Он вздохнул.) Не вследствие же родства наших душ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты: ни вам до меня, ни мне до вас нет ни малейшего дела; не так ли? Но нам обоим не спится... Отчего ж не поболтать? Я же в ударе, а это со мной редко случается. Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, нечиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, ни определить, ни предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно, как вот теперь, например. Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой,— я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется?

— Напротив,— поспешно возразил я,— мне очень приятно с вами разговаривать.

— То есть я вас потешаю, хотите вы сказать... Тем лучше... Итак-с, доложу вам, меня здесь величают оригиналом, то есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придет и мое имя на язык. «Моей судьбою очень никто не озабочен». Они думают уязвить меня... О боже мой! если б они знали... да я именно и гибну оттого, что во мне решительно нет ничего оригинального, ничего, кроме таких выходок, как, например, мой теперешний разговор с вами; но ведь эти выходки гроша медного не стоят. Это самый дешевый и самый низменный род оригинальности.

Он повернулся ко мне лицом и взмахнул руками.

— Милостивый государь! — воскликнул он.— Я того мнения, что вообще одним оригиналам житье на земле; они одни имеют право жить. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre [1], сказал кто-то. Видите ли,— прибавил он вполголоса,— как я чисто выговариваю французский язык. Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна и что понимаешь ты все, много знаешь, за веком следишь,— да своего-то, особенного, собственного, у тебя ничего нету! Одним складочным местом общих мест на свете больше,— да какое кому от этого удовольствие? Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему! Запах свой имей, свой собственный запах, вот что! И не думайте, чтобы требования мои насчет этого запаха были велики... Сохрани бог! Таких оригиналов пропасть: куда ни

---

[1] Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана *(франц.)*.— *Ред.*

погляди — оригинал; всякий живой человек оригинал, да я-то в их число не попал!

— А между тем,— продолжал он после небольшого молчания,— в молодости моей какие возбуждал я ожидания! Какое высокое мнение я сам питал о своей особе перед отъездом за границу, да и в первое время после возвращения! Ну, за границей я держал ухо востро, все особнячком пробирался, как оно и следует нашему брату, который все смекает себе, смекает, а под конец, смотришь,— ни аза не смекнул!

— Оригинал, оригинал! — подхватил он, с укоризной качая головой...— Зовут меня оригиналом... А на деле-то оказывается, что нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга. Я, должно быть, и родился-то в подражание другому... Ей-богу! Живу я тоже словно в подражание разным мною изученным сочинителям, в поте лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не то долг, не то урок,— кто его разберет!

Он сорвал колпак с головы и бросил его на постель.

— Хотите, я вам расскажу жизнь мою,— спросил он меня отрывистым голосом,— или, лучше, несколько черт из моей жизни?

— Сделайте одолжение.

— Или нет, расскажу-ка я вам лучше, как я женился. Ведь женитьба дело важное, пробный камень всего человека; в ней, как в зеркале, отражается... Да это сравнение слишком избито... Позвольте, я понюхаю табачку.

Он достал из-под подушки табакерку, раскрыл ее и заговорил опять, размахивая раскрытой табакеркой.

— Вы, милостивый государь, войдите в мое положение... Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... скажу более — науку?

Он подпрыгнул на постели и забормотал вполголоса, злобно стиснув зубы:

— А, вот как, вот как!.. Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее узнал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел... Да помилуйте,— продолжал он, опять переменив голос,

словно оправдываясь и робея,— где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал! Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то,— да молчит она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, так; а мне это не под силу: мне вы подайте вывод, заключенье мне представьте... Заключенье? — Вот тебе, говорят, и заключенье: послушай-ка наших московских — не соловьи, что ли? — Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, а не по-людскому говорят... Вот я подумал, подумал — ведь наука-то, кажись, везде одна, и истина одна,— взял да и пустился, с богом, в чужую сторону, к нехристям... Что прикажете! — молодость, гордость обуяла. Не хотелось, знаете, до времени заплыть жиром, хоть оно, говорят, и здорово. Да, впрочем, кому природа не дала мяса, не видать тому у себя на теле и жиру!

— Однако,— прибавил он, подумав немного,— я, кажется, обещал вам рассказать, каким образом я женился. Слушайте же. Во-первых, доложу вам, что жены моей уже более на свете не имеется, во-вторых... а во-вторых, я вижу, что мне придется рассказать вам мою молодость, а то вы ничего не поймете... Ведь вам не хочется спать?

— Нет, не хочется.

— И прекрасно. Вы послушайте-ка... вот в соседней комнате господин Кантагрюхин храпит как неблагородно! Родился я от небогатых родителей — говорю родителей, потому что, по преданью, кроме матери, был у меня и отец. Я его не помню; сказывают, недалекий был человек, с большим носом и веснушками, рыжий и в одну ноздрю табак нюхал; в спальне у матушки висел его портрет, в красном мундире с черным воротником по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, сечь водили, и матушка моя мне в таких случаях всегда на него показывала, приговаривая: он бы еще тебя не так. Можете себе представить, как это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры; то есть, по правде сказать, был какой-то братишка завалящий, с английской болезнью на затылке, да что-то скоро больно умер... И зачем, кажись, английской болезни забраться Курской губернии в Щигровский уезд? Но дело не в том. Воспитанием моим занималась матушка со всем стремительным рвением степной помещицы: занималась она им с самого великолепного дня моего рождения до тех пор, пока мне стукнуло шестнадцать лет... Вы следите за ходом моего рассказа?

— Как же, продолжайте.

— Ну, хорошо. Вот, как стукнуло мне шестнадцать лет, матушка моя, нимало не медля, взяла да прогнала моего фран-

пузского гувернера, немца Филипóвича из нежинских греков; свезла меня в Москву, записала в университет, да и отдала всемогущему свою душу, оставив меня на руки родному дяде моему, стряпчему Колтуну-Бабуре, птице, не одному Щигровскому уезду известной. Родной дядя мой, стряпчий Колтун-Бабура, ограбил меня, как водится, дочиста... Но дело опять-таки не в том. В университет вступил я — должно отдать справедливость моей родительнице — довольно хорошо подготовленный; но недостаток оригинальности уже и тогда во мне замечался. Детство мое нисколько не отличалось от детства других юношей: я так же глупо и вяло рос, словно под периной, так же рано начал твердить стихи наизусть и киснуть, под предлогом мечтательной наклонности... к чему бишь? — да, к прекрасному... и прочая. В университете я не пошел другой дорогой: я тотчас попал в кружок. Тогда времена были другие... Но вы, может быть, не знаете, что такое кружок? Помнится, Шиллер сказал где-то:

Gefährlich ist's den Leu zu wecken,
Und schreklich ist des Tigers Zahn,
Doch das schrecklichste der Schrecken —
Das ist der Mensch in seinem Wahn! [1]

Он, уверяю вас, он не то хотел сказать; он хотел сказать: Das ist ein «кружок»... in der Stadt Moskau!

— Да что ж вы находите ужасного в кружке? — спросил я.

Мой сосед схватил свой колпак и надвинул его себе на нос.

— Что я нахожу ужасного? — вскрикнул он.— А вот что: кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни; кружок... о, да постойте; я вам скажу, что такое кружок! Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность

---

[1] Опасно будить льва, И страшен зуб тигра, Но самое ужасное из всех ужасов — Это человек в его безумии! *(нем.) — Ред.*

товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаенными» мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой,— да и о чем говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников... О кружок! ты не кружок: ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!

— Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вам заметить,— прервал я его.

Мой сосед молча посмотрел на меня.

— Может быть, господь меня знает, может быть. Да ведь нашему брату только одно удовольствие и осталось — преувеличивать. Вот-с таким-то образом прожил я четыре года в Москве. Не в состоянии я описать вам, милостивый государь, как скоро, как страшно скоро прошло это время; даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру, и словно с горы на салазках покатишься... Смотришь, уж и примчался к концу; вот уж и вечер; вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук — оденешься и поплетешься к приятелю и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах. Но и тут встречал я оригинальных, самобытных людей: иной, как себя ни ломал, как ни гнул себя в дугу, а все природа брала свое; один я, несчастный, лепил самого себя, словно мягкий воск, и жалкая моя природа ни малейшего не оказывала сопротивления! Между тем мне стукнуло двадцать один год. Я вступил во владение своим наследством, или, правильнее, тою частью своего наследства, которую мой опекун заблагорассудил мне оставить, дал доверенность на управление всеми вотчинами вольноотпущенному дворовому человеку Василью Кудряшеву и уехал за границу, в Берлин. За границей пробыл я, как я уже имел удовольствие вам донести, три года. И что ж? И там, и за границей, я остался тем же неоригинальным существом. Во-первых, нечего и говорить, что собственно Европы, европейского быта я не узнал ни на волос; я слушал немецких профессоров и читал немецкие книги на самом месте рождения их... вот в чем состояла вся разница. Жизнь вел я уединенную, словно монах какой; снюхивался с отставными поручиками, удрученными, подобно мне, жаждой

знанья, весьма, впрочем, тугими на понимание и не одаренными даром слова; якшался с тупоумными семействами из Пензы и других хлебородных губерний; таскался по кофейным, читал журналы, по вечерам ходил в театр. С туземцами знался я мало, разговаривал с ними как-то напряженно и никого из них у себя не видал, исключая двух или трех навязчивых молодчиков еврейского происхождения, которые то и дело забегали ко мне да занимали у меня деньги,— благо der Russe верит. Странная игра случая занесла меня наконец в дом одного из моих профессоров; а именно вот как: я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми да и пригласи меня к себе на вечер. У этого профессора было две дочери, лет двадцати семи, коренастые такие,— бог с ними — носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледно-голубые, а руки красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую Минхен. Начал я ходить к профессору. Надобно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушибен: с кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки всё на лбу держал; притом ученейший был человек... И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен,— да целых шесть месяцев этак все казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало,— больше так на нее смотрел; но читал ей вслух разные трогательные сочинения, пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал с ней рядом, упорно глядя на луну, а не то просто вверх. Притом она так отлично варила кофе!.. Кажется, чего бы еще? Одно меня смущало: в самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня отчего-то все под ложечкой сосало и тоскливая, холодная дрожь пробегала по желудку. Я наконец не выдержал такого счастья и убежал. Целых два года я провел еще после того за границей: был в Италии, постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял; внезапно повергался в преувеличенный восторг, словно злость на меня находила; по вечерам пописывал стишки, начинал дневник; словом, и тут вел себя, как все. А между тем посмотрите, как легко быть оригинальным. Я, например, ничего не смыслю в живописи и ваянии... Сказать бы мне это просто вслух... нет, как можно! Бери чичерона, беги смотреть фрески...

Он опять потупился и опять скинул колпак.

— Вот вернулся я наконец на родину,— продолжал он усталым голосом,— приехал в Москву. В Москве удивительная произошла со мною перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтал о себе бог ведает что. Нашлись снисходительные

люди, которым я показался чуть не гением; дамы с участием выслушивали мои разглагольствования; но я не сумел удержаться на высоте своей славы. В одно прекрасное утро родилась на мой счет сплетня (кто ее произвел на свет божий, не знаю: должно быть, какая-нибудь старая дева мужеского пола,— таких старых дев в Москве пропасть), родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотел выскочить, разорвать прилипчивые нити,— не тут-то было... Я уехал. Вот и тут я оказался вздорным человеком; мне бы преспокойно переждать эту напасть, вот как выжидают конца крапивной лихорадки, и те же снисходительные люди снова раскрыли бы мне свои объятия, те же дамы снова улыбнулись бы на мои речи... Да вот в чем беда: не оригинальный человек. Добросовестность вдруг, изволите видеть, во мне проснулась: мне что-то стыдно стало болтать, болтать без умолку, болтать — вчера на Арбате, сегодня на Трубе, завтра на Сивцевом-Вражке, и всё о том же... Да коли этого требуют? Посмотрите-ка на настоящих ратоборцев на этом поприще: им это нипочем; напротив, только этого им и нужно; иной двадцатый год работает языком, и все в одном направлении... Что значит уверенность в самом себе и самолюбие! И у меня оно было, самолюбие, да и теперь еще не совсем угомонилось... Да тем-то и плохо, что я, опять-таки скажу, не оригинальный человек, на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить либо вовсе его не дать. Но на первых порах мне действительно круто пришлось; притом и поездка за границу окончательно истощила мои средства, а на купчихе с молодым, но уже дряблым телом, вроде желе, я жениться не хотел,— и удалился к себе в деревню. Кажется,— прибавил мой сосед, опять взглянув на меня сбоку,— я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее...

— Можете, можете,— возразил я.

— Тем более,— продолжал рассказчик,— что это все вздор, по крайней мере что до меня касается. Я в деревне скучал, как щенок взаперти, хотя, признаюсь, проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожидания. Но эти смутные ожидания, вы сами знаете, никогда не сбываются, а напротив, сбываются другие вещи, которых вовсе не ожидаешь, как-то: падежи, недоимки, продажи с публичного торгу и прочая, и прочая. Перебиваясь кое-как со дня на день при помощи бурмистра Якова, заменившего прежнего

управляющего и оказавшегося впоследствии времени таким же, если не бо́льшим, грабителем да сверх того отравлявшего мое существование запахом своих дегтярных сапогов, вспомнил я однажды об одном знакомом соседнем семействе, состоявшем из отставной полковницы и двух дочерей, велел заложить дрожки и поехал к соседям. Этот день должен навсегда остаться мне памятным: шесть месяцев спустя женился я на второй дочери полковницы!..

Рассказчик опустил голову и поднял руки к небу.

— И между тем,— продолжал он с жаром,— я бы не желал внушить вам дурное мнение о покойнице. Сохрани бог! Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на всякие жертвы, хотя я должен, между нами, сознаться, что, если бы я не имел несчастия ее лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами, ибо еще до сих пор цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься!

— Иным грушам,— начал он опять после небольшого молчания,— нужно некоторое время полежать под землей в подвале, для того чтобы войти, как говорится, в настоящий свой вкус; моя покойница, видно, тоже принадлежала к подобным произведениям природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, например, воспоминания об иных вечерах, проведенных мною с ней до свадьбы, не только не возбуждают во мне ни малейшей горечи, но, напротив, трогают меня чуть не до слез. Люди они были небогатые; дом их, весьма старинный, деревянный, но удобный, стоял на горе, между заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами; на каждом конце клумбы росли две акации, еще в молодости переплетенные в виде винта покойным хозяином. Немного подальше, в самой глуши заброшенного и одичалого малинника, стояла беседка, прехитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. С террасы стеклянная дверь вела в гостиную; а в гостиной вот что представлялось любопытному взору наблюдателя: по углам изразцовые печи, кисленькое фортепьяно направо, заваленное рукописными нотами, диван, обитый полинялым голубым штофом с беловатыми разводами, круглый стол, две горки с фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининского времени, на стене известный портрет белокурой девицы с голубком на груди и закативши́мися

глазами, на столе ваза с свежими розами... Видите, как я подробно описываю. В этой-то гостиной, на этой-то террасе и разыгралась вся трагикомедия моей любви. Сама соседка была скверная баба, с постоянной хрипотой злобы в горле, притеснительное и сварливое существо; из дочерей одна — Вера, ничем не отличалась от обыкновенных уездных барышень, другая — Софья,— я в Софью влюбился. У обеих сестер была еще другая комнатка, общая их спальня, с двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резедой, с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом довольно плохо (между ними отличался один господин с необыкновенно энергическим выражением лица и еще более энергическою подписью, в юности своей возбудивший несоразмерные ожидания, а кончивший, как все мы — ничем), с бюстами Гете и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память. Но в эту комнату я ходил редко и неохотно: мне там отчего-то дыхание сдавливало. Притом — странное дело! Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной или еще, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней, особенно вечером, на террасе. Я глядел тогда на зарю, на деревья, на зеленые мелкие листья, уже потемневшие, но еще резко отделявшиеся от розового неба; в гостиной, за фортепьянами, сидела Софья и беспрестанно наигрывала какую-нибудь любимую, страстно задумчивую фразу из Бетховена; злая старуха мирно похрапывала, сидя на диване; в столовой, залитой потоком алого света, Вера хлопотала за чаем; самовар затейливо шипел, словно чему-то радовался; с веселым треском ломались кренделькн, ложечки звонко стучали по чашкам; канарейка, немилосердно трещавшая целый день, внезапно утихала и только изредка чирикала, как будто о чем-то спрашивала; из прозрачного, легкого облачка мимоходом падали редкие капли... А я сидел, сидел, слушал, слушал, глядел, сердце у меня расширялось, и мне опять казалось, что я любил. Вот, под влиянием такого-то вечера я однажды спросил у старухи руку ее дочери и месяца через два женился. Мне казалось, что я ее любил... Да и теперь — пора бы знать, а я, ейбогу, и теперь не знаю, любил ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, с теплым сердцем; но, бог знает отчего, от долгого ли житья в деревне, от других ли каких причин, у ней на дне души (если только есть дно у души) таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничем невозможно было излечить, да и назвать ее ни она не умела, ни я не мог. О существовании этой раны я, разумеется, догадался

только после брака. Уж я ли не бился над ней — ничто не помогало! У меня в детстве был чиж, которого кошка раз подержала в лапах; его спасли, вылечили, но не исправился мой бедный чиж; дулся, чах, перестал петь... Кончилось тем, что однажды ночью в открытую клетку забралась к нему крыса и откусила ему нос, вследствие чего он наконец решился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою в своих лапах, только и она так же дулась и чахла, как мой несчастный чиж. Иногда ей самой, видимо, хотелось встрепенуться, взыграть на свежем воздухе, на солнце да на воле; попробует — и свернется в клубочек. И ведь она меня любила: сколько раз уверяла меня, что ничего более ей не остается желать,— тьфу, черт возьми! — а у самой глаза так и меркнут. Думал я, нет ли чего в прошедшем? Собрал справки: ничего не оказалось. Ну вот, теперь посудите сами: оригинальный человек пожал бы плечом, может быть, вздохнул бы раза два да и принялся бы жить по-своему; а я, неоригинальное существо, начал заглядываться на балки. В жену мою до того въелись все привычки старой девицы — Бетховен, ночные прогулки, резеда, переписка с друзьями, альбомы и прочее,— что ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла; а между тем смешно же замужней женщине томиться безыменной тоской и петь по вечерам: «Не буди ты ее на заре».

Вот-с, таким-то образом-с мы блаженствовали три года; на четвертый Софья умерла от первых родов, и — странное дело — мне словно заранее сдавалось, что она не будет в состоянии подарить меня дочерью или сыном, землю — новым обитателем. Помню я, как ее хоронили. Дело было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостас почернел, стены голые, кирпичный пол местами выбит; на каждом клиросе большой старинный образ. Внесли гроб, поместили на самой середине, пред царскими дверями, одели полинялым покровом, поставили кругом три подсвечника. Служба началась. Дряхлый дьячок, с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленым кушаком, печально шампил перед налоем; священник, тоже старый, с добреньким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с желтыми разводами, служил за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шевелились и лепетали молодые, свежие листья плакучих берез; со двора несло травяным запахом; красное пламя восковых свечей бледнело в веселом свете весеннего дня; воробьи так и чирикали на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое восклицание влетевшей

ласточки. В золотой пыли солнечного луча проворно опускались и поднимались русые головы немногочисленных мужиков, усердно молившихся за покойницу; тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий кадила. Я глядел на мертвое лицо моей жены... Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ее раны: то же болезненное, робкое, немое выражение,— ей словно и в гробу неловко... Горько во мне шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя же хорошо сделала, что умерла!

У рассказчика раскраснелись щеки и потускнели глаза.

— Отделавшись наконец,— заговорил он опять,— от тяжелого унынья, которое овладело мною после смерти моей жены, я вздумал было приняться, как говорится, за дело. Вступил в службу в губернском городе; но в больших комнатах казенного заведения у меня голова разбаливалась, глаза тоже плохо действовали; другие кстати подошли причины... я вышел в отставку. Хотел было съездить в Москву, да, во-первых, денег недостало, а во-вторых... я вам уже сказывал, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдруг и не вдруг. Духом-то я уже давно смирился, да голове моей все еще не хотелось нагнуться. Я приписывал скромное настроение моих чувств и мыслей влиянию деревенской жизни, несчастья... С другой стороны, я уже давно замечал, что почти все мои соседи, молодые и старые, запуганные сначала моей ученостию, заграничной поездкой и прочими удобствами моего воспитания, не только успели совершенно ко мне привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то с кондачка, не дослушивали моих рассуждений и, говоря со мной, уже «слово-ерика» более не употребляли. Я вам также забыл сказать, что в течение первого года после моего брака я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть; но через несколько времени получил от редактора учтивое письмо, в котором, между прочим, было сказано, что мне в уме невозможно отказать, но в таланте должно, а что в литературе только талант и нужен. Сверх того, дошло до моего сведения, что один проезжий москвич, добрейший, впрочем, юноша, мимоходом отозвался обо мне на вечере у губернатора как о человеке выдохшемся и пустом. Но мое полудобровольное ослепление все еще продолжалось: не хотелось, знаете, самого себя «заушить»; наконец в одно прекрасное утро я открыл глаза. Вот как это случилось. Ко мне заехал исправник с намерением обратить мое внимание на провалившийся мост в моих владениях, который мне решительно не на что

было починить. Заедая рюмку водки куском балыка, этот снисходительный блюститель порядка отечески попенял мне за мою неосмотрительность, впрочем, вошел в мое положение и посоветовал только велеть мужичкам понакидать навозцу, закурил трубочку и принялся говорить о предстоящих выборах. Почетного звания губернского предводителя в то время добивался некто Орбассанов, пустой крикун, да еще и взяточник в придачу. Притом же он не отличался ни богатством, ни знатностию. Я высказал свое мнение на его счет, и довольно даже небрежно: я, признаюсь, глядел на г. Орбассанова свысока. Исправник посмотрел на меня, ласково потрепал меня по плечу и добродушно промолвил: «Эх, Василий Васильич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать,— где нам?.. Знай сверчок свой шесток».— «Да помилуйте,— возразил я с досадой,— какая же разница между мною и г. Орбассановым?» Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза — и так и прыснул. «Ну, потешник,— проговорил он наконец сквозь слезы,— ведь экую штуку выкинул... а! каков?» — и до самого отъезда он не переставал глумиться надо мною, изредка поталкивая меня локтем под бок и говоря мне уже «ты». Он уехал наконец. Этой капли только недоставало; чаша перелилась. Я прошелся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, долго, долго смотрел на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой. Завеса спала с глаз моих: я увидел ясно, яснее, чем лицо свое в зеркале, какой я был пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человек!

Рассказчик помолчал.

— В одной трагедии Вольтера,— уныло продолжал он,— какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния; я испытал, как сладко, в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения,— я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите: безденежье меня приковывало к ненавистной мне деревне; ни хозяйство, ни служба, ни литература — ничто ко мне не пристало; помещиков я чуждался, книги мне опротивели; для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово «жызнь»,— я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не умел и не мог... Я стал, что вы

думаете? я стал таскаться по соседям. Словно опьяненный презреньем к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным униженьям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец не замечали вовсе; мне не давали даже вмешиваться в общий разговор, и я сам, бывало, нарочно поддакивал из угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который во время оно, в Москве, с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели... Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии... Помилуйте, что за ирония в одиночку! Вот-с как я поступал несколько лет сряду и как поступаю еще до сих пор...

— Однако это ни на что не похоже,— проворчал из соседней комнаты заспанный голос г. Кантагрюхина,— какой там дурак вздумал ночью разговаривать?

Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем.

— Тс... тс...— прошептал он — и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил: — Слушаю-с, слушаю-с, извините-с... Ему позволительно спать, ему следует спать,— продолжал он снова шепотом,— ему должно набраться новых сил, ну хоть бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. Притом же я, кажется, вам все сказал, что хотел; вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи.

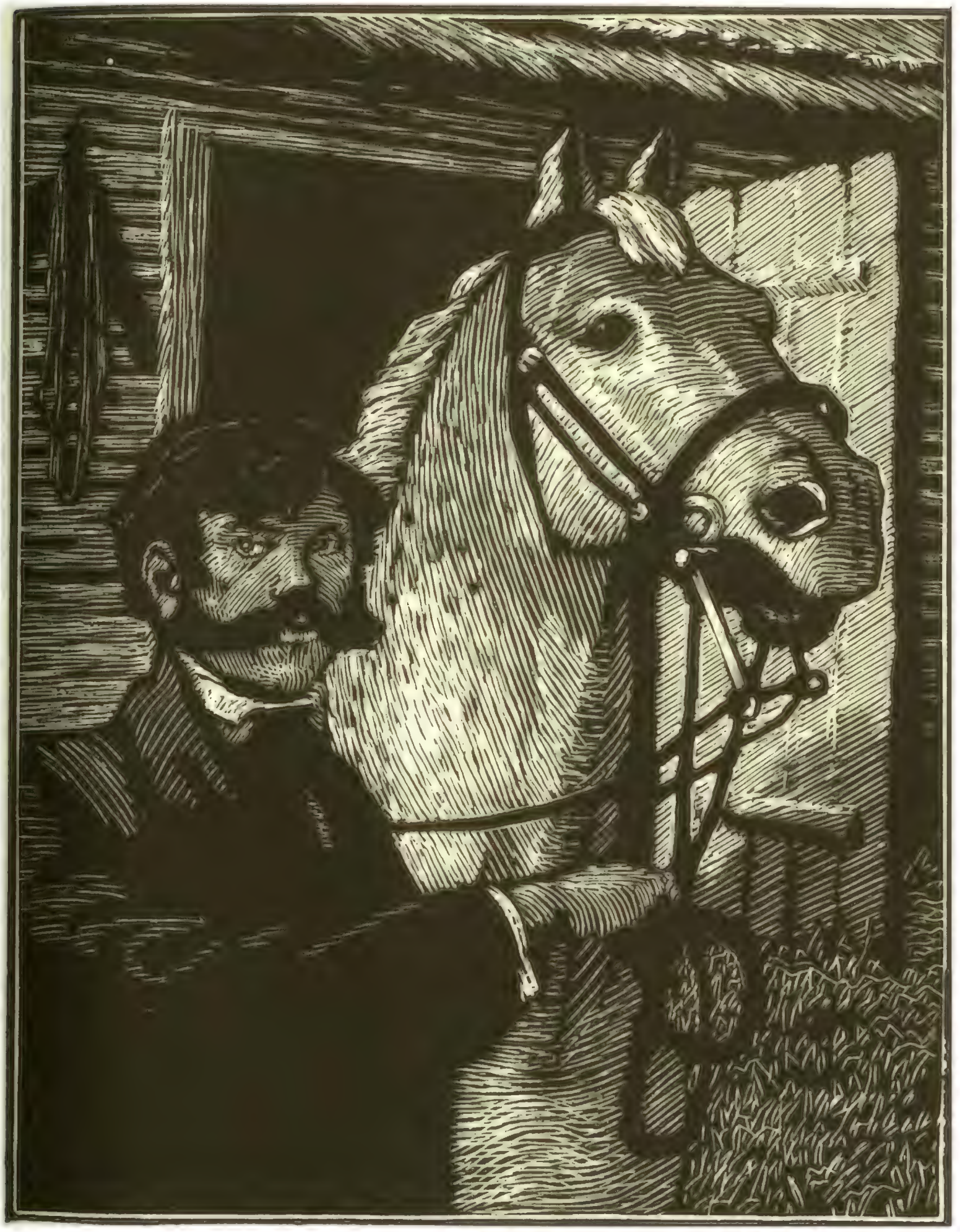
Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушки.

— Позвольте, по крайней мере, узнать,— спросил я,— с кем я имел удовольствие...

Он проворно поднял голову.

— Нет, ради бога,— прервал он меня,— не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени... А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите... пазовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не сталкивались... Засим прощайте.

Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уж не было в комнате. Он уехал до зари.



«Записки охотника».
«Конец Чертопханова».

ЧЕРТОПХАНОВ И НЕДОПЮСКИН

В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге; Ермолай дремал, сидя возле меня, и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые, у нас под ногами. Кучер то и дело сгонял кнутом оводов с лошадей. Белая пыль легким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога стала ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом... «Э! — заговорил он,— да здесь должны быть тетерева. Слезе́мте-ка». Мы остановились и вошли в «площадь». Собака моя наткнулась на выводок. Я выстрелил и начал было заряжать ружье, как вдруг позади меня поднялся громкий треск, и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А па-азвольте узнать,— заговорил он надменным голосом,— по какому праву вы здесь а-ахотитесь, мюлсвый сдарь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо: отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый, истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полиняльми серебряными галунами по всем швам; через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая горбоносая рыжая лошадь металась под ним как угорелая; две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движенье — все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой; его бледно-голубые, стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного; он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно из избытка достоинства,— ни дать ни взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос.

— Я не знал, что здесь запрещено стрелять,— отвечал я.

— Вы здесь, милостивый государь,— продолжал он,— на моей земле.

— Извольте, я уйду.

— А па-азвольте узнать,— возразил он,— я с дворянином имею честь объясняться?

Я назвал себя.

— В таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину... А зовут меня Чер-топ-хановым, Пантелеем.

Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее; лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил наземь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты; он за ней на одной ноге вприпрыжку, однако наконец-таки попал в седло; как исступленный завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я еще прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг, почти безо всякого шуму, выехал из кустов толстенький человек лет сорока, на маленькой вороненькой лошаденке. Он остановился, снял с головы зеленый кожаный картуз и тоненьким и мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади? Я отвечал, что видел.

— В какую сторону они изволили поехать? — продолжал он тем же голосом и не надевая картуза.

— Туда-с.

— Покорнейше вас благодарю-с.

Он чмокнул губами, заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой — трюхи, трюхи,— по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, как шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение; нос, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличал сластолюбца. На голове его спереди не оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькие русые косицы; глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали; сладко улыбались красные и сочные губки. На нем был сюртук с стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый; суконные его панталончики высоко вздернулись; над желтыми оторочками сапогов виднелись жирненькие икры.

— Кто это? — спросил я Ермолая.

— Это? Недопюскин, Тихон Иваныч. У Чертопханова живет.

— Что он, бедный человек?

— Небогатый; да ведь и у Чертопханова-то гроша нет медного.

— Так зачем же он у него поселился?

— А, вишь, подружились. Друг без дружки никуда... Вот уж подлинно: куда конь с копытом, туда и рак с клешней...

Мы вышли из кустов; вдруг подле нас «затякали» две гончие, и матерой беляк покатил по овсам, уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из опушки собаки, гончие и борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не атукал: он задыхался, захлебывался; из разинутого рта изредка вырывались отрывистые, бессмысленные звуки; он мчался, выпуча глаза, и бешено сек нагайкой несчастную лошадь. Борзые «приспели»... беляк присел, круто повернул назад и ринулся, мимо Ермолая, в кусты... Борзые пронеслись. «Бе-е-ги, бе-е-ги! — с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник,— родимый, береги!» Ермолай выстрелил... раненый беляк покатился кубарем по гладкой и сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах рассовавшегося пса. Гончие тотчас подвалились.

Турманом слетел Чертопханов с коня, выхватил кинжал, подбежал, растопыря ноги, к собакам, с яростными заклинаниями вырвал у них истерзанного зайца и, перекосясь всем лицом, погрузил ему в горло кинжал по самую рукоятку... погрузил и загоготал. Тихон Иваныч показался в опушке. «Го-го-го-го-го-го-го-го!» — завопил вторично Чертопханов... «Го-го-го-го»,— спокойно повторил его товарищ.

— А ведь, по-настоящему, летом охотиться не следует,— заметил я, указывая Чертопханову на измятый овес.

— Мое поле,— отвечал, едва дыша, Чертопханов.

Он отпазончил, второчил зайца и роздал собакам лапки.

— За мною заряд, любезный, по охотничьим правилам,— проговорил он, обращаясь к Ермолаю.— А вас, милостивый государь,— прибавил он тем же отрывистым и резким голосом,— благодарю.

Он сел на лошадь.

— Па-азвольте узнать... забыл... имя и фамилию?

Я опять назвал себя.

— Очень рад с вами познакомиться. Коли случится, милости просим ко мне... Да где же этот Фомка, Тихон Иваныч? — с сердцем продолжал он.— Без него беляка затравили.

— А под ним лошадь пала,— с улыбкой отвечал Тихон Иваныч.

— Как пала? Орбассан пал? Пфу, пфить!.. Где он, где?

— Там, за лесом.

Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. Тихон Иваныч поклонился мне два раза — за себя и за товарища, и опять поплелся рысцой в кусты.

Эти два господина сильно возбудили мое любопытство... Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа, столь разнородные? Я начал наводить справки. Вот что я узнал.

Чертопханов, Пантелей Еремеич, слыл во всем околотке человеком опасным и сумасбродным, гордецом и забиякой первой руки. Служил он весьма недолгое время в армии и вышел в отставку «по неприятности», тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица. Происходил он от старинного дома, некогда богатого; деды его жили пышно, по-степному, то есть принимали званых и незваных, кормили их на убой, отпускали по четверти овса чужим кучерам на тройку, держали музыкантов, песельников, гаеров и собак, в торжественные дни поили народ вином и брагой, по зимам ездили в Москву на своих, в тяжелых колымагах, а иногда по целым месяцам сидели без гроша и питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремеича досталось имение уже разоренное; он, в свою очередь, тоже сильно «пожуировал» и, умирая, оставил единственному своему наследнику, Пантелею, заложенное сельцо Бессоново, с тридцатью пятью душами мужеска и семидесятью шестью женска пола да четырнадцать десятин с осьминником неудобной земли в пустоши Колобродовой, на которые, впрочем, никаких крепостей в бумагах покойника не оказалось. Покойник, должно сознаться, престранным образом разорился: «хозяйственный расчет» его сгубил. По его понятиям, дворянину не следовало зависеть от купцов, горожан и тому подобных «разбойников», как он выражался; он завел у себя всевозможные ремесла и мастерские. «И приличнее и дешевле,— говаривал он,— хозяйственный расчет!» С этой пагубной мыслью он до конца жизни не расстался; она-то его и разорила. Зато потешился! Ни в одной прихоти себе не отказывал. Между прочими выдумками соорудил он однажды, по собственным соображениям, такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружные усилия согнанных со всего села крестьянских лошадей вместе с их владельцами, она на первом же косогоре завалилась и рассыпалась. Еремей Лукич (Пантелеева отца звали Еремеем Лукичом) приказал памятник поставить на косогоре, а впрочем, нисколько не смутился. Вздумал он также построить церковь, разумеется, сам, без помощи архитектора. Сжег целый лес на кирпичи, заложил фундамент огромный, хоть бы под губерн-

ский собор, вывел стены, начал сводить купол: купол упал. Он опять — купол опять обрушился; он третий раз — купол рухнул в третий раз. Призадумался мой Еремей Лукич: дело, думает, не ладно... колдовство проклятое замешалось... да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли — а купол все-таки не свели. Избы крестьянам по новому плану перестроивать начал, и всё из хозяйственного расчета; по три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал: то из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то лен собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами... Вычитал он однажды в «Московских ведомостях» статейку харьковского помещика Хряка́-Хрупёрского о пользе нравственности в крестьянском быту и на другой же день отдал приказ всем крестьянам немедленно выучить статью харьковского помещика наизусть. Крестьяне выучили статью; барин спросил их: понимают ли они, что там написано? Приказчик отвечал, что как, мол, не понять! Около того же времени повелел он всех подданных своих, для порядка и хозяйственного расчета, перенумеровать и каждому на воротнике нашить его нумер. При встрече с барином всяк, бывало, так уж и кричит: такой-то нумер идет! а барин отвечает ласково: ступай с богом!

Однако, несмотря на порядок и хозяйственный расчет, Еремей Лукич понемногу пришел в весьма затруднительное положение: начал сперва закладывать свои деревеньки, а там и к продаже приступил; последнее прадедовское гнездо, село с недостроенною церковью, продала уже казна, к счастью, не при жизни Еремея Лукича,— он бы не вынес этого удара,— а две недели после его кончины. Он успел умереть у себя в доме, на своей постели, окруженный своими людьми и под надзором своего лекаря; но бедному Пантелею досталось одно Бессоново.

Пантелей узнал о болезни отца уже на службе, в самом разгаре вышеупомянутой «неприятности». Ему только что пошел девятнадцатый год. С самого детства не покидал он родительского дома и под руководством своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины, Василисы Васильевны, вырос баловнем и барчуком. Она одна занималась его воспитанием; Еремею Лукичу, погруженному в свои хозяйственные соображения, было не до того. Правда, он однажды собственноручно наказал своего сына за то, что он букву «рцы» выговаривал: «арцы», но в тот день Еремей Лукич скорбел глубоко и тайно: лучшая его собака убилась об дерево. Впрочем, хлопоты Васи-

лисы Васильевны насчет воспитания Пантюши ограничились одним мучительным усилием: в поте лица наняла она ему в гувернеры отставного солдата из эльзасцев, некоего Биркопфа, и до самой смерти трепетала как лист перед ним: ну, думала она, коли откажется — пропала я! куда я денусь? Где другого учителя найду? Уж и этого насилу-насилу у соседки сманила! И Биркопф, как человек сметливый, тотчас воспользовался исключительностью своего положения: пил мертвую и спал с утра до вечера. По окончании «курса наук» Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Она скончалась за полгода до этого важного события, от испуга: ей во сне привиделся белый человек верхом на медведе. Еремей Лукич вскоре последовал за своей половиной.

Пантелей, при первом известии о его нездоровье, прискакал сломя голову, однако не застал уже родителя в живых. Но каково было удивление почтительного сына, когда он совершенно неожиданно из богатого наследника превратился в бедняка! Немногие в состоянии вынести такой крутой перелом. Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями,— богатых он стыдился, бедных гнушался,— и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями: я, мол, столбовой дворянин. Раз чуть-чуть не застрелил станового, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Разумеется, власти, с своей стороны, ему тоже не спускали и при случае давали себя знать; но все-таки его побаивались, потому что горячка он был страшная и со второго слова предлагал резаться на ножах. От малейшего возражения глаза Чертопханова разбегались, голос прерывался... «А ва-ва-ва-ва-ва,— лепетал он,— пропадай моя голова!»... и хоть на стену! Да и сверх того, человек он был чистый, не замешанный ни в чем. Никто к нему, разумеется, не ездил... И при всем том душа в нем была добрая, даже великая по-своему: несправедливости, притеснения он вчуже не выносил; за мужиков своих стоял горой. «Как? — говорил он, неистово стуча по собственной голове,— моих трогать, моих? Да не будь я Чертопханов...»

Тихон Иваныч Недопюскин не мог, подобно Пантелею Еремеичу, гордиться своим происхождением. Родитель его вышел из однодворцев и только сорокалетней службой добился дворянства. Г-н Недопюскин-отец принадлежал к числу людей, которых несчастие преследует с ожесточением неослабным, неутомимым, с ожесточением, похожим на личную ненависть. В течение целых шестидесяти лет, с самого рождения до самой кон-

чины, бедняк боролся со всеми нуждами, недугами и бедствиями, свойственными маленьким людям; бился как рыба об лед, недоедал, недосыпал, кланялся, хлопотал, унывал и томился, дрожал над каждой копейкой, действительно «невинно» пострадал по службе и умер наконец не то на чердаке, не то в погребе, не успев заработать ни себе, ни детям куска насущного хлеба. Судьба замотала его, словно зайца на угонках. Человек он был добрый и честный, а брал взятки — «по чину» — от гривенника до двух целковых включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахоточная; были и дети; к счастию, они все скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры, по прозванию «купецкая щеголиха», вышедшей, после многих печальных и смешных приключений, за отставного стрянчего. Г-н Недопюскин-отец успел было еще при жизни поместить Тихона заштатным чиновником в канцелярию; но тотчас после смерти родителя Тихон вышел в отставку. Вечные тревоги, мучительная борьба с холодом и голодом, тоскливое уныние матери, хлопотливое отчаяние отца, грубые притеснения хозяев и лавочника — все это ежедневное, непрерывное горе развило в Тихоне робость неизъяснимую: при одном виде начальника он трепетал и замирал, как пойманная птичка. Он бросил службу. Равнодушная, а может быть и насмешливая, природа влагает в людей разные способности и наклонности, нисколько не соображаясь с их положением в обществе и средствами; с свойственною ей заботливостию и любовию вылепила она из Тихона, сына бедного чиновника, существо чувствительное, ленивое, мягкое, восприимчивое — существо, исключительно обращенное к наслаждению, одаренное чрезвычайно тонким обонянием и вкусом... вылепила, тщательно отделала и — предоставила своему произведению вырастать на кислой капусте и тухлой рыбе. И вот оно выросло, это произведение, начало, как говорится, «жить». Пошла потеха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина-отца, принялась и за сына: видно, разлакомилась. Но с Тихоном она поступила иначе; она не мучила его — она им забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаяния, не заставляла испытать постыдных мук голода, но мыкала им по всей России, из Великого-Устюга в Царево-Кокшайск, из одной унизительной и смешной должности в другую: то жаловала его в «мажордомы» к сварливой и желчной барыне-благодетельнице, то помещала в нахлебники к богатому скряге-купцу, то определяла в начальники домашней канцелярии лупоглазого барина, стриженного на английский манер, то производила в полудворецкие, полушпуты к псовому охотнику... Словом, судьба заста-

вила бедного Тихона выпить по капле и до капли весь горький и ядовитый напиток подчиненного существования. Послужил он на своем веку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скуке праздного барства... Сколько раз, наедине, в своей комнатке, отпущенный наконец «с богом» натешившейся всласть ватагою гостей, клялся он, весь пылая стыдом, с холодными слезами отчаяния на глазах, на другой же день убежать тайком, попытать своего счастия в городе, сыскать себе хоть писарское местечко или уж за один раз умереть с голоду на улице. Да, во-первых, силы бог не дал; во-вторых, робость разбирала, а в-третьих, наконец, как себе место выхлопотать, кого просить? «Не дадут,— шептал, бывало, несчастный, уныло переворачиваясь на постели,— не дадут!» И на другой день снова принимался тянуть лямку. Тем мучительнее было его положение, что та же заботливая природа не потрудилась наделить его хоть малой толикой тех способностей и дарований, без которых ремесло забавника почти невозможно. Он, например, не умел ни плясать до упаду в медвежьей шубе навыворот, ни балагурить и любезничать в непосредственном соседстве расходившихся арапников; выставленный нагишом на двадцатиградусный мороз, он иногда простужался, желудок его не варил ни вина, смешанного с чернилами и прочей дрянью, ни крошеных мухоморов и сыроежек с уксусом. Господь ведает, что бы сталось с Тихоном, если бы последний из его благодетелей, разбогатевший откупщик, не вздумал в веселый час приписать в своем завещании: а Зёзе (Тихону тож) Недопюскину предоставляю в вечное и потомственное владение благоприобретенную мною деревню Бесселендеевку со всеми угодьями. Несколько дней спустя благодетеля, за стерляжьей ухой, прихлопнул паралич. Поднялся гвалт, суд нагрянул, опечатал имущество, как следует. Съехались родные; раскрыли завещание; прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскин. Бóльшая часть собранья знала, какую должность Тихон Иваныч занимал при благодетеле: оглушительные восклицания, насмешливые поздравления посыпались ему навстречу. «Помещик, вот он, новый помещик!» — кричали прочие наследники. «Вот уж того,— подхватил один, известный шутник и остряк,— вот уж точно, можно сказать... вот уж действительно... того... что называется... того... наследник».— И все так и прыснули. Недопюскин долго не хотел верить своему счастию. Ему показали завещание — он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собранья превратился в густой и слитный рев. Деревня Бесселендеевка состояла всего из двадцати двух душ крестьян; никто о ней не

сожалел сильно, так почему же, при случае, не потешиться? Один только наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамыч Штоппель, не вытерпел, пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь,— заговорил он презрительно-небрежно,— состояли у почтенного Феодора Феодорыча в должности потешного, так сказать, прислужника?» Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли; остряк снисходительно улыбнулся. Г-н Штоппель потер себе руки и повторил свой вопрос. Недопюскин с изумлением поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамыч язвительно прищурился.

— Поздравляю вас, милостивый государь, поздравляю,— продолжал он,— правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом зарррработывать себе насущный хлеб; но de gustibus non est disputandum, то есть у всякого свой вкус... Не правда ли?

Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга.

— Скажите,— подхватил г. Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собрания,— какому таланту в особенности вы обязаны своим счастием? Нет, не стыдитесь, скажите; мы все здесь, так сказать, свои, en famille. Но правда ли, господа, мы здесь en famille?

Наследник, к которому Ростислав Адамыч случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй, вуй, разумеется».

— Может быть,— снова заговорил г. Штоппель,— вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?

Недопюскин с тоской поглядел кругом — все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия.

— Или, может быть, вы умеете петь, как петух?

Взрыв хохота раздался кругом и стих тотчас, заглушенный ожиданием.

— Или, может быть, вы на носу...

— Перестаньте! — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос.— Как вам не стыдно мучить бедного человека!

Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих.

— Перестаньте,— повторил он, гордо закинув голову.

Г-н Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, вполголоса спросил у соседа (осторожность никогда не мешает):

— Кто это?

— Чертопханов, не важная птица,— отвечал ему тот на ухо.

Ростислав Адамыч принял надменный вид.

— А вы что за командир? — проговорил он в нос и прищурил глаза.— Вы что за птица, позвольте спросить?

Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыханье.

— Дз-дз-дз-дз,— зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел: — Кто я? кто я?. Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин, мой прапращур царю служил, а ты кто?

Ростислав Адамыч побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора.

— Я птица, я, я птица... О, о, о!..

Чертопханов ринулся вперед; Штоппель отскочил в большом волнении, гости бросились навстречу раздраженному помещику.

— Стреляться, стреляться, сейчас стреляться через платок! — кричал рассвирепевший Пантелей,— или проси извинения у меня, да и у него...

— Просите, просите извинения,— бормотали вокруг Штоппеля встревоженные наследники,— он ведь такой сумасшедший, готов зарезать.

— Извините, извините, я не знал,— залепетал Штоппель,— я не знал...

— И у него проси! — возопил неугомонный Пантелей.

— Извините и вы,— прибавил Ростислав Адамыч, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал, как в лихорадке.

Чертопханов успокоился, подошел к Тихону Иванычу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно, среди глубокого молчания, вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бесселендеевки.

С того самого дня они уже более не расставались. (Деревня Бесселендеевка отстояла всего на восемь верст от Бессонова.) Неограниченная благодарность Недопюскина скоро пере-

шла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий и не совсем чистый Тихон склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело,— думал он иногда про себя,— с губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит... вот те Христос,— так и смотрит!»

Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым. И то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, все же, в сравнении с воспитанием Тихона, оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев: «Vous parlez français, monsieur? [1]» — отвечал: «Жэ не разумею,— и, подумав немного, прибавил: — па»; но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, преострый сочинитель, что французы с англичанами много воевали и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком...

Несколько дней спустя после первой моей встречи с обоими приятелями отправился я в сельцо Бессоново к Пантелею Еремеичу. Издали виднелся небольшой его домик; он торчал на голом месте, в полуверсте от деревни, как говорится, «на юру́», словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из четырех ветхих срубов разной величины, а именно: из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе: ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Возле сарая несколько худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно Орбассана; один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глодать обнаженные ребра. Подле лошади стоял малый лет семнадцати, с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногий; он с важностью посматривал на собак, порученных его надзору, и изредка постегивал арапником самых алчных.

— Дома барин? — спросил я.

— А господь его знает! — отвечал малый.— Постучитесь.

Я соскочил с дрожек и подошел к крыльцу флигеля.

Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный: бревна почернели и высунулись вперед «брюхом», труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись, небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под

---

[1] Вы говорите по-французски, сударь? *(франц.)* — *Ред.*

косматой, нахлобученной крыши: у иных старух-потаскушек бывают такие глаза. Я постучался; никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова:

— Аз, буки, веди; да ну же, дурак,— говорил сиплый голос,— аз, буки, веди, глаголь... да нет! глаголь, добро, есть! есть!.. Ну же, дурак!

Я постучался в другой раз.

Тот же голос закричал:

— Войди,— кто там...

Я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидал самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле, одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом.

— А! — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места,— очень рад вашему посещению. Милости прошу садиться. А я вот с Вензором вожусь... Тихон Иваныч,— прибавил он, возвысив голос,— пожалуй-ка сюда. Гость приехал.

— Сейчас, сейчас,— отвечал из соседней комнаты Тихон Иваныч.— Маша, подай галстук.

Чертопханов снова обратился к Вензору и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме разбитого покоробленного стола на тринадцати ножках неравной длины да четырех продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели; давным-давно выбеленные стены, с синими пятнами в виде звезд, во многих местах облупились; между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья; с потолка спускались толстые и черные нити паутин.

— Аз, буки, веди, глаголь, добро,— медленно произносил Чертопханов и вдруг неистово воскликнул: — Есть! есть! есть!.. Экое глупое животное!.. есть!..

Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот; он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говорил про себя: известно, воля ваша!

— Да ешь, на! пиль! — повторял неугомонный помещик.

— Вы его запугали,— заметил я.

— Ну, так прочь его!

Он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сронил хлеб долой с носа и пошел, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный. И действительно: чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают.

Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и г. Недопюскин вошел, приятно раскланиваясь и улыбаясь.

Я встал и поклонился.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь,— залепетал он.

Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату.

— Давно вы пожаловали в наши палестины? — заговорил Недопюскин мягким голосом, осторожно кашлянув в руку и, для приличья, подержав пальцы перед губами.

— Другой месяц пошел.

— Вот как-с.

Мы помолчали.

— Приятная нонеча стоит погода,— продолжал Недопюскин и с благодарностию посмотрел на меня, как будто бы погода от меня зависела,— хлеба, можно сказать, удивительные.

Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять помолчали.

— Пантелей Еремеич вчера двух русаков изволили затравить,— не без усилия заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор,— да-с, пребольших-с русаков-с.

— Хорошие у господина Чертопханова собаки?

— Преудивительные-с! — с удовольствием возразил Недопюскин,— можно сказать, первые по губернии. (Он пододвинулся ко мне.) Да что-с! Пантелей Еремеич такой человек! Что только пожелает, вот что только вздумает — глядишь, уж и готово, все уж так и кипит-с. Пантелей Еремеич, скажу вам...

Чертопханов вошел в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк и показал мне на него глазами, как бы желая сказать: вот вы сами убедитесь. Мы пустились толковать об охоте.

— Хотите, я вам покажу свою свору? — спросил меня Чертопханов и, не дождавшись ответа, позвал Карпа.

Вошел дюжий парень в нанковом кафтане зеленого цвета с голубым воротником и ливрейными пуговицами.

— Прикажи Фомке,— отрывисто проговорил Чертопханов,— привести Аммалата и Сайгу, да в порядке, понимаешь?

Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределенный звук и вышел. Явился Фомка, причесанный, затянутый, в сапогах и с собаками. Я, ради приличия, полюбовался глупыми животными (борзые все чрезвычайно глупы). Чертопханов поплевал Аммалату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади поласкал Аммалата. Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал петушиться и фыркать; выраженье лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина...

— Э! — воскликнул он вдруг,— что ей там сидеть одной? Маша! а Маша! поди-ка сюда.

Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было.

— Ма-а-ша,— ласково повторил Чертопханов,— поди сюда. Ничего, не бойся.

Дверь тихонько растворилась, и я увидал женщину лет двадцати, высокую и стройную, с цыганским смуглым лицом, изжелта-карими глазами и чернóю как смоль косою; большие белые зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье; голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие, породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.

— Вот, рекомендую,— промолвил Пантелей Еремеич: — жена не жена, а почитай что жена.

Маша слегка вспыхнула и с замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные, чуть-чуть впалые щеки — все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков — признак крови и силы.

Она подошла к окну и села. Я не хотел увеличить ее смущенья и заговорил с Чертопхановым. Маша легонько повернула голову и начала исподлобья на меня поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин подсел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение...

«О, да ты «не тронь меня»,— подумал я, в свою очередь украдкой посматривая на ее гибкий стан, впалую грудь и угловатые, проворные движения.

— А что, Маша,— спросил Чертопханов,— надобно бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?

— У нас есть варенье,— отвечала она.

— Ну, подай сюда варенье, да уж и водку кстати. Да послушай, Маша,— закричал он ей вслед,— принеси тоже гитару.

— Для чего гитару? Я петь не стану.

— Отчего?

— Не хочется.

— Э, пустяки, захочется, коли...

— Что? — спросила Маша, быстро наморщив брови.

— Коли попросят,— договорил Чертопханов не без смущения.

— А!

Она вышла, скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу ее еще виднелась морщинка; обе брови поднимались и опускались, как усики у осы... Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? Ну, подумал я, быть грозе. Разговор не клеился. Недопюскин притих совершенно и напряженно улыбался; Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза; я уже собирался уехать... Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и с сердцем закричала проходившей бабе: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлепнулась наземь. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала; Чертопханов тоже засмеялся, Недопюскин запищал от восторга. Мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией... воздух очистился.

Полчаса спустя нас бы никто не узнал: мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех,— Чертопханов так и пожирал ее глазами. Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензор выполз из-под прилавка в передней, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Ее голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик, вспыхивал и замирал... Любо и жутко становилось на сердце. «Ай жги, говори!..» Чертопханов пустился в пляс. Недопюскин затопал и засеменил ногами. Машу всю поводило, как бересту на огне; тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможенье, словно неохотно щипала струны, и Чертопханов останавливался, только плечиком подергивал да на месте переминался, а Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец; то снова заливалась она как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь, и Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертелся юлой, вскрикивал: «Жива!»...

— Живо, живо, живо, живо! — скороговоркой подхватывал Недопюскин.

Поздно вечером уехал я из Бессонова...

КОНЕЦ ЧЕРТОПХАНОВА

I

Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеича начались его бедствия — именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастия случались с ним и до того времени, но он не обращал на них внимания и «царствовал» по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное: Маша рассталась с ним.

Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась,— сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр, по прозвищу Яфф, который, по словам Пантелея Еремеича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал; но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома.

Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица,— и хоть бы слово кому промолвила — все только глазами поводила, да задумывалась, да подрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой «стих» и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался; Чертопханов это знал,— а потому и сам не беспокоился, и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие «окочурились», он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфиевна велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернутся,— Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой — да кстати захватил с собой пистолет.

Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном — и все кругом внезапно побагровело: деревья, травы и земля.

— К Яффу! к Яффу! — простонал Чертопханов, как только завидел Машу,— к Яффу! — повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге.

Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиною к свету — и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза — зрачки — еще более потемнели.

Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки.

— К Яффу отправилась, негодница! — повторил Чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте.

— Не к господину Яффу я пошла, Пантелей Еремеич,— ответила Маша ровно и тихо,— а только с вами я уже больше жить не могу.

— Как не можешь жить? Это отчего? Я разве чем тебя обидел?

Маша покачала головою.

— Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеич, а только стосковалась я у вас... За прошлое спасибо, а остаться не могу — нет!

Чертопханов изумился; он даже руками себя по ляжкам хлопнул и подпрыгнул.

— Как же это так? Жила, жила, кроме удовольствия и спокойствия, ничего не видала — и вдруг: стосковалась! Сём-мол, брошу я его! Взяла, платок на голову накинула — да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни...

— Этого мне хоть бы и не надо,— перебила Маша.

— Как не надо? Из цыганки-проходимицы в барыни попала — да не надо? Как не надо, хамово ты отродье? Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена!

Он опять зашипел.

— Никакой измены у меня в мыслях нету и не было,— проговорила Маша своим певучим и четким голосом,— а я уж вам сказывала: тоска меня взяла.

— Маша! — воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком,— ну, перестань, полно, помучила... ну, довольно! Ей-богу же! подумай только, что Тиша скажет; ты бы хоть его пожалела!

— Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему...

Чертопханов взмахнул руками.

— Да нет, врешь же — не уйдешь! Не дождется тебя твой Яфф!

— Господин Яфф,— начала было Маша...

— Какой он *гас-па-дин* Яфф,— передразнил ее Чертопханов.— Он самый, как есть, выжига, пройдоха — и рожа у него, как у обезьяны!

Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бранился...

— Не могу,— твердила Маша,— грустно мне таково... Тоска замучит.— Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом?

— Тоска,— проговорила она в десятый раз.

— А ну как я тебя убью? — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана.

Маша улыбнулась; ее лицо оживилось.

— Что ж? убейте, Пантелей Еремеич: в вашей воле; а вернуться я не вернусь.

— Не вернешься? — Чертопханов взвел курок.

— Не вернусь, голубчик. Ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко.

Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю.

— Ну, так убей *ты* меня! Без тебя я жить не желаю. Опостылел я тебе — и все мне стало постыло.

Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова, и пододвинулась к нему.

— Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужу-дальню сторонушку — где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни — другой такой подруги тебе не найти,— и я тебя не забуду, сокола моего; а жизнь наша с тобой кончена!

— Я тебя любил, Маша,— пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо...

— И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеич!

— Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти — и как подумаю я теперь, что ты этак, ни с того ни с сего, здорово живешь, меня покидаешь да по свету скитаться станешь — ну, и представляется мне, что не будь я голяк горемычный, не бросила ты бы меня!

На эти слова Маша только усмехнулась.

— А еще бессеребреницей меня звал! — промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу.

Он вскочил на ноги.

— Ну, хоть денег у меня возьми — а то как же так без гроша? Но лучше всего: убей ты меня! Сказываю я тебе толком: убей ты меня зараз!

Маша опять головою покачала.

— Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?

Чертопханов дрогнул.

— Так ты только из-за этого, из-за страха каторги...

Он опять повалился на траву.

Маша молча постояла над ним.

— Жаль мне тебя, Пантелей Еремеич,— сказала она со вздохом,— человек ты хороший... а делать нечего: прощай!

Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя.

— Так ты уходишь, змея? К Яффу!

— Прощай! — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла.

Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил... Но прежде чем пожать пружинку курка, он дернул рукою кверху: пуля прожужжала над головою Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо — и отправилась дальше, вразвалочку, словно дразня его.

Он закрыл лицо — и бросился бежать...

Но он не отбежал еще пятидесяти шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. «Век юный, прелестный»,— пела она; каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе — жалобно и знойно. Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил; то замирал, то опять набегал чуть слышной, но все еще жгучей струйкой...

«Это мне она в пику,— подумал Чертопханов; но тут же простонал: — Ох, нет! это она со мною прощается навеки»,— и залился слезами.

На следующий день он явился в квартиру г-на Яффа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе, «поближе к барышням», как он выражался. Чертопханов не застал Яффа: он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву.

— Так и есть! — яростно воскликнул Чертопханов,— у них стачка была; она с ним бежала... но постой!

Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными

красками. «А, вот где ты, обезьяна бесхвостая!» — прогремел Чертопханов, вскочил на диван — и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру.

— Скажи твоему бездельнику барину,— обратился он к камердинеру,— что, за неименьем его собственной гнусной рожи, дворянин Чертопханов изуродовал его писанную; и коли он желает от меня удовлетворенья, он знает, где найти дворянина Чертопханова! А то я сам его найду! На дне моря сыщу подлую обезьяну!

Сказав эти слова, Чертопханов соскочил с дивана и торжественно удалился.

Но ротмистр Яфф никакого удовлетворения от него не потребовал — он даже не встретился нигде с ним,— и Чертопханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было; однако «очувствовался». Но тут постигло его второе бедствие.

II

А именно: закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Года за два до кончины здоровье стало изменять ему: он начал страдать одышкой, беспрестанно засыпал и, проснувшись, не скоро мог прийти в себя; уездный врач уверял, что это с ним происходили «ударчики». В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она «затосковала», Недопюскин пролежал у себя в Бесселендеевке: он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши: он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертопханова. По кротости и робости своего нрава он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле да болезненного недоумения, ничего не выказал... но все в пем лопнуло и опустилось. «Вынула она из меня душу»,— шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда Чертопханов оправился, он, Недопюскин, не оправился — и продолжал чувствовать, что «пусто у него внутри». «Вот тут»,— говаривал он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышке полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти; он мог еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицание своего друга: «Что, мол, как это ты,

Тиша, без моего разрешения оставляешь меня, не хуже Маши?» — ответил коснеющим языком: «А я П...а...сей Е...е...еич, се...да ад вас су...ша...ся». Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознаньем бренности всего земного потребовать «водочки с балычком». Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю, «Пантелею Еремеичу Чертопханову»; но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо вскорости было продано с публичного торга — частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статуи, которую Чертопханов (а в нем, видно, отозвалась отцовская жилка!) вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы; но отрекомендованный ему комиссионер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов екатерининского времени,— благо эта статуя, весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо́, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой роз на обнаженной груди и изогнутым станом, досталась ему, комиссионеру, даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку, над могилой Тихона Ивановича и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец, этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ.

III

Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил, и на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеича наступило совершенное: не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умалилась. Напротив: чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее, и высокомернее, и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость осталась у него: удивительный верховой конь,

серой масти, донской породы, прозванный им Малек-Аделем, действительно замечательное животное.

Достался ему этот конь следующим образом.

Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертопханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы, на одном и том же месте, беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки.

— Что там такое происходит? — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы.

Опершись о притолоку и как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашонке, с кипарисным крестиком на голой грудке, сидел, растопыря ножки и сжав кулачонки, между ее лаптями; цыпленок тут же долбил задеревенелую корку ржаного хлеба.

— А господь ведает, батюшка,— отвечала старуха,— и, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки,— слышно, наши ребята жида бьют.

— Как жида? какого жида?

— А господь его ведает, батюшка. Проявился у нас жид какой-то; и отколе его принесло — кто его знает? Вася, иди, сударик, к маме; кш, кш, поскудный!

Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ее поневу.

— Так вот его и бьют, сударь ты мой.

— Как бьют? за что?

— А не знаю, батюшка. Стало, за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял!

Чертопханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу — и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом:

— Само...управство! Само...у...правство! Закòн должен наказывать, а не част...ны...е ли...ца! Закон! Закон!! За...ко...он!!!

Двух минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны — и на земле, перед дверью кабака, оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в нанковом кафтане, растрепанное и истерзанное... Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот... Что это? замирание ужаса или уже самая смерть?

— Это вы зачем жида убили? — громогласно воскликнул Чертопханов, грозно потрясая нагайкой.

Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой за бок, третий за нос.

— Здоров драться-то! — послышалось в задних рядах.

— С нагайкой-то! этак-то всякий! — промолвил другой голос.

— Жида зачем убили? — спрашиваю я вас, азиаты оглашенные! — повторил Чертопханов.

Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилось за край его седла.

Дружный хохот грянул среди толпы.

— Живуч! — послышалось опять в задних рядах.— Та же кошка!

— Васе высокоблагоуродие, заступитесь, спасите! — лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертопханова,— а то они убьют, убьют меня, васе высокоблагоуродие!

— За что они тебя? — спросил Чертопханов.

— Да ей зе богу не могу сказать! Тут вот у них скотинка помирать стала... так они и подозревают... а я зе...

— Ну, это мы разберем после! — перебил Чертопханов,— а теперь ты держись за седло да ступай за мною. А вы! — прибавил он, обернувшись к толпе,— вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов, живу в сельце Бессонове,— ну, и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится, да и на жида кстати!

— Зачем жаловаться? — проговорил с низким поклоном седобородый, степенный мужик, ни дать ни взять древний патриарх. (Жида он, впрочем, тузил не хуже других.) Мы, батюшка Пантелей Еремеич, твою милость знаем хорошо; много твоей милостью довольны, что поучил нас!

— Зачем жаловаться! — подхватили другие.— А с нехриста того мы свое возьмем! Он от нас не уйдет! Мы его, значит, как зайца в поле...

Чертопханов повел усами, фыркнул — и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина.

IV

Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертопханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жидка, верхом на прекрас-

ном донском коне, неподвижно и гордо стоявшем посреди двора. На жидке не было шапки: он держал ее под мышкой, ноги он вдел не в самые стремена, а в ремни стремян; разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами, и локтями задергал, и ногами заболтал. Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился; так весь и вспыхнул вдруг: паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади... какое неприличие!

— Эй ты, эфиопская рожа! — закричал он,— сейчас слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!

Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукою повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопханову.

— Чего тебе? — с достоинством спросил Пантелей Еремеич.

— Васе благородие, извольте посмотреть, каков конек? — промолвил жид, не переставая кланяться.

— Н...да... лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть?

— Как зе мозно, васе благородие! Я честный зид, я не украл, а для васего благородия достал, точно! И уз старался я, старался! Зато и конь! Такого коня по всему Дону другого найти никак невозмозно. Посмотрите, васе благородие, что это за конь такой! Вот позалуйте, сюда! Тпру... тпру... повернись, стань зе боком! А мы седло снимем. Каков! Васе благородие?

— Лошадь добрая,— повторил Чертопханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до «конского мяса» и знал в нем толк.

— Да вы, васе благородие, его погладьте! По сейке его погладьте, хи-хи-хи! Вот так.

Чертопханов, словно нехотя, положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка, по-охотницки, подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами.

Жид засмеялся и в ладоши слегка захлопал.

— Хозяина признает, васе благородие, хозяина!

— Ну, не ври,— с досадой перебил Чертопханов.— Купить мне у тебя этого коня... не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого господа бога не принимал!

— И как зе я смею вам что-нибудь дарить, помилосердуйте! — воскликнул жид.— Вы купите, васе благородие... а денезек — я подозду.

Чертопханов задумался.

— Ты что возьмешь?— промолвил он наконец сквозь зубы.

Жид пожал плечами.

— А что сам заплатил. Двести рублей.

Лошадь стоила вдвое — а пожалуй, что и втрое против этой суммы.

Чертопханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно.

— А когда... деньги? — спросил он, насильственно нахмуря брови и не глядя на жида.

— А когда будет васему благородию угодно.

Чертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял.

— Это не ответ. Ты говори толком, иродово племя! Одолжаться я у тебя стану, что ли?

— Ну, сказем так,— поспешно проговорил жид,— через шесть месяцев... согласны?

Чертопханов ничего не отвечал.

Жид старался заглянуть ему в глаза.

— Согласны? Приказете на конюшню поставить?

— Седло мне не нужно,— произнес отрывисто Чертопханов.— Возьми седло — слышишь?

— Как зе, как зе, возьму, возьму,— залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо.

— А деньги, — продолжал Чертопханов...— через шесть месяцев. И не двести, а двести пятьдесят. Молчать! Двести пятьдесят, говорю тебе! За мною.

Чертопханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость. «Явно, что подарок,— думалось ему,— из благодарности, черт, подносит!» И обнял бы он этого жида, и побил бы его...

— Васе благородие,— начал жид, приободрившись и осклабясь,— надо бы, по русскому обычаю, из полы в полу...

— Вот еще что вздумал? Еврей... а русские обычаи! Эй! кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню. Да овса ему засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю. И знай: имя ему — Малек-Адель!

Чертопханов взобрался было на крыльцо, но круто повернул на каблуках и, подбежав к жиду, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянул, но Чертопханов отскочил назад и, промолвив вполголоса: «Никому не сказывай!» — исчез за дверью.

V

С самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертопханова стал Малек-Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был! Огонь, как есть огонь, просто порох — а степенство, как у боярина! Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безответный; а прокормить его ничего не стоит: коли нет ничего другого, землю под собой глодает. Шагом идет — как в руках несет; рысью — что в зыбке качает, а поскачет, так и ветру за ним не угнаться! Никогда-то он не запыхается: потому — отдушин много. Ноги — стальные; чтобы он когда спотыкнулся — и в помине этого не бывало! Перескочить ров ли, тын ли — это ему нипочем; а уж умница какая! На голос так и бежит, задравши голову; прикажешь ему стоять и сам уйдешь — он не ворохнется; только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет: «Здесь, мол, я». И ничего-то он не боится: в самую тѐмять, в метель дорогу сыщет; а чужому ни за что не дастся: зубами загрызет! И собака не суйся к нему: сейчас передней ножкой ее по лбу — тюк! только она и жила. С амбицией конь: плеткой разве что для красы над ним помахивай — а сохрани бог его тронуть! Да что тут долго толковать: сокровище, а не лошадь!

Примется Чертопханов расписывать своего Малек-Аделя — откуда речи берутся! А уж как он его холил и лелеял! Шерсть на нем отливала серебром — да не старым, а новым, что с темным глянцем; повести по ней ладонью — тот же бархат! Седло, чепрачок, уздечка — вся как есть сбруя до того была ладно пригнана, в порядке, вычищена — бери карандаш и рисуй! Чертопханов — чего больше? — сам, собственноручно, и челку заплетал своему любимцу, и гриву и хвост мыл пивом, и даже копыта не раз мазью смазывал...

Бывало, сядет он на Малек-Аделя и поедет — не по соседям,— он с ними по-прежнему не знался,— а через их поля, мимо усадеб... Полюбуйтесь, мол, издали, дураки! А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась — в отъезжее поле богатый барин собрался,— он сейчас туда — и гарцует в отдалении, на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротою своего коня и близко никого к себе не подпуская. Раз какой-то охотник даже погнался за ним со всей свитой; видит, что уходит от него Чертопханов, и начал он ему кричать изо всей мочи, на всем скаку: «Эй, ты! Слушай! Бери что хочешь за

свою лошадь! Тысячи не пожалею! Жену отдам, детей! Бери последнее!»

Чертопханов вдруг осадил Малек-Аделя. Охотник подлетел к нему.

— Батюшка! — кричит,— говори: чего желаешь? Отец родной!

— Коли ты царь,— промолвил с расстановкой Чертопханов (а он отроду и не слыхивал о Шекспире),— подай мне все твое царство за моего коня — так и того не возьму! — Сказал, захохотал, поднял Малек-Аделя на дыбы, повернул им на воздухе, на одних задних ногах, словно волчком или юлою — и марш-марш! Так и засверкал по жнивью. А охотник (князь, говорят, был богатейший) шапку о́земь — да как грянется лицом в шапку! С полчаса так пролежал.

И как было Чертопханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями?

VI

Между тем время шло, срок платежа приближался, а у Чертопханова не только двухсот пятидесяти рублей, не было и пятидесяти. Что было делать, чем помочь? «Что ж? — решил он наконец,— коли не смилостивится жид, не захочет еще подождать — отдам я ему дом и землю, а сам на коня, куда глаза глядят! С голоду умру — а Малек-Аделя не отдам!» Волновался он очень и даже задумывался; но тут судьба — в первый и в последний раз — сжалилась над ним, улыбнулась ему: какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертопханову, оставила ему по духовному завещанию сумму, огромную в его глазах, целых две тысячи рублей! И получил он эти деньги в самую, как говорится, пору: за день до прибытия жида. Чертопханов чуть не обезумел от радости — но и не подумал о водке: с самого того дня, как Малек-Адель поступил к нему, он капли в рот не брал. Он побежал в конюшню и облобызал своего друга с обеих сторон морды над ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся!» — восклицал он, хлопая Малек-Аделя по шее, под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет двести пятьдесят рублей. Потом помечтал, лежа на спине и покуривая трубочку, о том, как он распорядится с остальными деньгами,— а именно, каких он раздобудет

собак: настоящих костромских и непременно красно-пегих! Побеседовал даже с Перфишкой, которому обещал новый казакин с желтыми по всем швам басонами, и лег спать в блаженнейшем настроении духа.

Ему привиделся нехороший сон. Будто он выехал на охоту, только не на Малек-Аделе, а на каком-то странном животном вроде верблюда; навстречу ему бежит белая-белая, как снег, лиса... Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак — а вместо арапника у него в руках мочалка, и лиса бегает перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает с своего верблюда, спотыкается, падает... и падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору и в котором он узнает Яффа...

Чертопханов проснулся. В комнате было темно; вторые петухи только что пропели...

Где-то далеко-далеко проржала лошадь.

Чертопханов приподнял голову... Еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание.

«Это Малек-Адель ржет! — подумалось ему...— Это его ржание! Но отчего же так далеко? Батюшки мои... Не может быть...»

Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги, платье, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор.

VII

Конюшня находилась на самом конце двора; одной стеной она выходила в поле. Чертопханов не сразу вложил ключ в замок — руки у него дрожали — и не тотчас повернул ключ... Он постоял неподвижно, притаив дыхание: хоть бы что шевельнулось за дверью! «Малешка! Ма́лец!» — крикнул он вполго́лоса: тишина мертвая! Чертопханов невольно дернул ключом: дверь скрыпнула и отворилась... Стало быть, не была заперта. Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем: «Малек-Адель!» Но не отозвался верный товарищ, только мышь прошуршала по соломе. Тогда Чертопханов бросился в то из трех стойл конюшни, в котором помещался Малек-Адель. Он попал прямо в это стойло, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи... Пусто! Голова закружилась у Чертопханова; словно колокол загудел у него под черепом. Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря

руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь с подгибавшимися коленками, перебрался из одного стойла в другое... в третье, почти доверху набитое сеном, толкнулся в одну стену, в другую, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь на двор...

— Украли! Перфишка! Перфишка! Украли! — заревел он благим матом.

Казачок Перфишка кубарем, в одной рубашке, вылетел из чулана, в котором спал...

Словно пьяные столкнулись оба — и барин, и единственный его слуга — посреди двора; словно угорелые завертелись они друг перед другом. Ни барин не мог растолковать, в чем было дело, ни слуга не мог понять, чего требовалось от него. «Беда! беда!» — лепетал Чертопханов. «Беда! беда!» — повторял за ним казачок. «Фонарь! Подай, зажги фонарь! Огня! Огня!» — вырвалось наконец из замиравшей груди Чертопханова. Перфишка бросился в дом.

Но зажечь фонарь, добыть огня было нелегко: серные спички в то время считались редкостью на Руси; в кухне давно погасли последние угольи — огниво и кремень не скоро нашлись и плохо действовали. С зубовным скрежетом вырвал их Чертопханов из рук оторопелого Перфишки, стал высекать огонь сам: искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны,— но трут либо не загорался, либо погасал, несмотря на дружные усилия четырех напряженных щек и губ! Наконец, минут через пять, не раньше, затеплился сальный огарок на дне разбитого фонаря, и Чертопханов, в сопровождении Перфишки, ринулся в конюшню, поднял фонарь над головою, оглянулся...

Все пусто!

Он выскочил на двор, обежал его во всех направлениях — нет коня нигде! Плетень, окружавший усадьбу Пантелея Еремеича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и приникал к земле... Рядом с конюшней он совсем повалился, на целый аршин в ширину. Перфишка указал на это место Чертопханову.

— Барин! посмотрите-ка сюда: этого сегодня не было. Вон и колья торчат из земли: знать, их кто вывернул.

Чертопханов подскочил с фонарем, повел им по земле...

— Копыта, копыта, следы подков, следы, свежие следы! — забормотал он скороговоркой.— Тут его перевели, тут, тут!

Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком: «Малек-Адель! Малек-Адель!» — побежал прямо в поле.

Перфишка остался в недоуменье у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи.

Все слабей и слабей раздавались отчаянные возгласы Чертопханова...

VIII

Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем, грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид, угрюмо и тупо глядели глаза. Сиплым шепотом прогнал он от себя Перфишку и запер-ся в своей комнате. Он едва держался на ногах от усталости — но он не лег в постель, а присел на стул у двери и схватился за голову.

— Украли!.. украли!

Но каким образом умудрился вор украсть ночью, из запертой конюшни, Малек-Аделя? Малек-Аделя, который и днем никого чужого к себе не подпускал,— украсть его без шума, без стука? И как растолковать, что ни одна дворняжка не пролаяла? Правда, их было всего две, два молодых щенка, и те от холоду и голоду в землю зарывались — но все-таки!

«И что я стану теперь делать без Малек-Аделя? — думалось Чертопханову.— Последней радости я теперь лишился — настала пора умирать. Другую лошадь купить, благо деньги завелись? Да где такую другую лошадь найти?»

— Пантелей Еремеич! Пантелей Еремеич! — послышался робкий возглас за дверью.

Чертопханов вскочил на ноги.

— Кто это? — закричал он не своим голосом.

— Это я, казачок ваш, Перфишка.

— Чего тебе? Аль нашелся, домой прибежал?

— Никак нет-с, Пантелей Еремеич; а тот жидовин, что его продал...

— Ну?

— Он приехал.

— Го-го-го-го-го! — захолкал Чертопханов — и разом распахнул дверь.— Тащи его сюда, тащи! тащи!

При виде внезапно появившейся всклокоченной, одичалой фигуры своего «благодетеля» жид, стоявший за спиною Перфишки, хотел было дать стречка; но Чертопханов в два прыжка настиг его и, как тигр, вцепился ему в горло.

— А! за деньгами пришел! за деньгами! — захрипел он, словно не *он* душил, а *его* душили.— Ночью украл, а днем за деньгами пришел? А? А?

— Помилуйте, ва...се благо...родие,— застонал было жид.

— Сказывай, где моя лошадь? Куда ты ее дел? Кому сбыл? Сказывай, сказывай, сказывай же!

Жид уже и стонать не мог; на посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли; все его тело, яростно встряхиваемое Чертопхановым, качалось взад и вперед, как тростник.

— Деньги я тебе заплачу, я тебе заплачу, сполна, до последней копейки,— кричал Чертопханов,— а только я задушу тебя, как последнего цыпленка, если ты сейчас не скажешь мне...

— Да вы уже задушили его, барин,— смиренно заметил казачок Перфишка.

Тут только опомнился Чертопханов.

Он выпустил шею жида; тот так и грохнулся на пол. Чертопханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки — привел его в чувство. И, приведши его в чувство, вступил с ним в разговор.

Оказалось, что жид о краже Малек-Аделя не имел ни малейшего понятия. Да и с какой стати было ему красть лошадь, которую он же сам достал для «почтеннейшего Пантелея Еремеича»?

Тогда Чертопханов повел его в конюшню.

Вдвоем они осмотрели стойла, ясли, замок на двери, перерыли сено, солому, перешли потом на двор; Чертопханов указал жиду следы копыт у плетня — и вдруг ударил себя по ляжкам.

— Стой! — воскликнул он.— Ты где лошадь купил?

— В Малоархангельском уезде, на Верхосенской ярмарке,— отвечал жид.

— У кого?

— У казака.

— Стой! Казак этот из молодых был или старый?

— Средних лет, степенный человек.

— А из себя каков? На вид каков? Небось плут продувной?

— Должно быть, плут, васе благородие.

— И что, как он тебе говорил, плут-то этот,— лошадью он владел давно?

— Помнится, говорил, что давно.

— Ну, так и некому было украсть, как именно ему! Ты посуди, слушай, стань сюда... как тебя зовут?

Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертопханова.

— Как *меня* зовут?

— Ну, да: как твоя кличка?

— Мошель Лейба.

— Ну, посуди, Лейба, друг мой,— ты умный человек: кому, как не старому хозяину, дался бы Малек-Адель в руки! Ведь он и оседлал его, и взнуздал, и попону с него снял — вон она на сене лежит!.. Просто как дома распоряжался! Ведь всякого другого, не хозяина, Малек-Адель под ноги бы смял! Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил! Согласен ты со мною?

— Согласен-то согласен, васе благородие...

— Ну и, значит, надо прежде всего отыскать казака того!

— Да как зе отыскать его, васе благородие? Я его всего только разочек видел — и где зе он теперь — и как его зовут? Ай, вай, вай! — прибавил жид, горестно потрясая пейсиками.

— Лейба! — закричал вдруг Чертопханов,— Лейба, посмотри на меня! Ведь я рассудка лишился, я сам не свой!.. Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь!

— Да как зе я могу...

— Поедем со мною и станем вора того разыскивать!

— Да куда зе мы поедем?

— По ярмаркам, по большим трахтам, по малым трахтам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам — всюду, всюду! А насчет денег ты не беспокойся: я, брат, наследство получил! Последнюю копейку просажу — а уж добуду своего друга! И не уйдет от нас казак, наш лиходей! Куда он — туда и мы! Он под землю — и мы под землю! Он к дьяволу — а мы к самому сатане!

— Ну, зацем зе к сатане,— заметил жид,— можно и без него.

— Лейба! — подхватил Чертопханов,— Лейба, ты хотя еврей и вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской! Сжалься ты надо мною! Одному мне ехать незачем, один я этого дела не обломаю. Я горячка — а ты голова, золотая голова! Племя ваше уж такое: без науки все постигло! Ты, может, сомневаешься: откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату, я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест с шеи возьми — только отдай мне Малек-Аделя, отдай, отдай!

Чертопханов дрожал, как в лихорадке; пот градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбе, он умолял, он чуть не целовал его... Он пришел в исступление. Жид попытался было возражать, уверять, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела... Куда! Чертопханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать: согласился бедный Лейба.

На другой день Чертопханов вместе с Лейбой выехал из Бессонова на крестьянской телеге. Жид являл вид несколько смущенный, держался одной рукой за грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье; другую руку он прижимал к пазухе, где у него лежала пачка ассигнаций, завернутых в газетную бумагу; Чертопханов сидел как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью; за поясом у него торчал кинжал.

— Ну, злодей-разлучник, берегись теперь! — пробормотал он, выезжая на большую дорогу.

Дом он свой поручил казачку Перфишке и бабе-стряпухе, глухой и старой женщине, которую он призрел у себя из сострадания.

— Я к вам вернусь на Малек-Аделе,— крикнул он им на прощанье,— или уж вовсе не вернусь!

— Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли! — сострил Перфишка, толкнув стряпуху локтем в бок.— Все равно нам барина не дождаться, а то ведь со скуки пропадешь!

IX

Минул год... целый год: никакой вести о Пантелее Еремеиче не доходило. Стряпуха умерла; сам Перфишка собирался уже бросить дом да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший подмастерьем у парикмахера,— как вдруг распространился слух, что барин возвращается! Приходский дьякон получил от самого Пантелея Еремеича письмо, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть в Бессоново и просил его предуведомить прислугу — для устроения надлежащей встречи. Слова эти Перфишка понял так, что надо, мол, хоть пыль немножечко постереть — впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел; пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду, когда, несколько дней спустя, Пантелей Еремеич сам, собственной особой, появился на дворе усадьбы, верхом на Малек-Аделе.

Перфишка бросился к барину — и, придерживая стремя, хотел было помочь ему слезть с коня; но тот соскочил сам и, кинув вокруг торжествующий взгляд, громко воскликнул: «Я сказал, что отыщу Малек-Аделя,— и отыскал его, назло врагам и самой судьбе!» Перфишка подошел к нему к ручке, но Чертопханов не обратил внимания на усердие своего слуги. Ведя за собою Малек-Аделя в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина — и заробел: «Ох, как он похудел и постарел в течение года — и лицо какое стало строгое и суровое!» А кажется, следовало бы Пантелею Еремеичу радоваться, что, вот, мол, достиг-таки своего; да он и радовался, точно... и все-таки Перфишка заробел, даже жутко ему стало. Чертопханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил: «Ну, вот ты и дома опять! Смотри же!..» В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягольных бобылей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему...

Не совсем, однако, по-прежнему... Но об этом впереди.

На другой день после своего возвращения Пантелей Еремеич призвал к себе Перфишку и, за неимением другого собеседника, принялся рассказывать ему — не теряя, конечно, чувства собственного достоинства и басом,— каким образом ему удалось отыскать Малек-Аделя. В течение рассказа Чертопханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука; а Перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и, почтительно взирая на затылок своего господина, слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеич наконец попал в Ромны на ярмарку, уже один, без жида Лейбы, который, по слабости характера, не вытерпел и бежал от него; как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал, между тремя другими лошадьми, привязанного к хребтуку,— увидал Малек-Аделя! Как он тотчас его узнал и как Малек-Адель его узнал, стал ржать, и рваться, и копытом рыть землю.

— И не у казака он был,— продолжал Чертопханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом,— а у цыгана-барышника; я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить; но бестия цыган заорал как ошпаренный на всю площадь, стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана, и свидетелей хотел представить... Я плюнул — и заплатил ему деньги: черт с ним совсем! Мне главное

то дорого, что друга я своего отыскал и покой душевный получил. А то вот я в Карачевском уезде, по словам жида Лейбы, вклепался было в казака — за моего вора его принял, всю рожу ему избил; а казак-то оказался поповичем и бесчестия с меня содрал — сто двадцать рублев. Ну, деньги дело наживное, а главное: Малек-Адель опять у меня! Я теперь счастлив — и буду наслаждаться спокойствием. А для тебя, Порфирий, одна инструкция: как только ты, чего боже оборони, завидишь в окрестностях казака, так сию же секунду, ни слова не говоря, беги и неси мне ружье, а я уж буду знать, как мне поступить!

Так говорил Пантелей Еремеич Перфишке; так выражались его уста; но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял.

Увы! в глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Малек-Адель!

X

Настало трудное время для Пантелея Еремеича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни: возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой; он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою; но выпадали также дни дурные: неотступная мысль снова принималась исподтишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь,— и он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малек-Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость... но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого дворика стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло... Он только головой мотнул — однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой (оно продолжалось с неделю) сомнения в нем возбуждались редко: они стали сильней и явственней, как только он вернулся в свое Бессоново, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малек-Адель... Дорогой он ехал больше шагом, враскачку, глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял; разве возьмет да подумает про себя: «Чертопхановы чего захотят — уж добьются! шалишь!» — и ухмыльнется; ну, а с прибытием домой пошла статья другая. Все это

он берег, конечно, про себя; одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы «перервал пополам» всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек-Адель, кажись, не старый; он принимал поздравления с «благополучной находкой» от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться; но он не искал этих поздравлений, он пуще прежнего избегал столкновений с людьми — знак плохой! Он почти постоянно, если можно так выразиться, экзаменовал Малек-Аделя; уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу; или уходил украдкой в конюшню, запирал за собою дверь и, ставши перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли? Ты ли?..» — а не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бормоча: «Да! он! конечно, он!» — то недоумевая и даже смущаясь.

И не столько смущали Чертопханова физические несходства *этого* Малек-Аделя с *тем*... впрочем, их насчитывалось немного: у *того* хвост и грива словно были пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей — но это могло только так казаться; а смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у *того* были другие, вся повадка была не та. Например: *тот* Малек-Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню; а *этот* жевал себе сено как ни в чем не бывало или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла; но *тот*, когда его звали, тотчас шел на голос, а *этот* продолжал стоять, как пень. *Тот* скакал так же быстро, но прыгал выше и дальше; *этот* шагом шел вольнее, а рысью трясче и «хлябал» иногда подковами, то есть стучал задней о переднюю: за тем никогда такого сраму не водилось — сохрани бог! *Этот*, думалось Чертопханову, все ушами прядет, глупо так,— а *тот* напротив: заложил одно ухо назад да так и держит — хозяина наблюдает! *Тот*, бывало, как увидит, что около него нечисто,— сейчас задней ногой стук в стенку стойла; а *этому* ничего — хоть по самое брюхо навали ему навозу. *Тот*, если, например, против ветра его поставить,— сейчас всеми легкими вздохнет и встряхнется, а *этот* знай пофыркивает; *того* сырость дождевая беспокоила — *этому* она нипочем... Грубее этот, грубее! И приятности нет как у того, и туг на поводу — что и говорить! Та была лошадь милая — а эта...

Вот что думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались в нем эти думы. Зато в другое время — пустит он своего коня во всю прыть по только что вспаханному полю или

заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять, и замирает в нем сердце от восторга, громкое гикание вырывается из уст, и знает он, знает наверное, что это под ним настоящий, несомненный Малек-Адель, ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает эта?

Однако и тут не обходилось без греха и беды. Продолжительные поиски за Малек-Аделем стоили Чертопханову много денег; о костромских собаках он уже не помышлял и разъезжал по окрестностям в одиночку, по-прежнему. Вот в одно утро Чертопханов верстах в пяти от Бессонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, перед которой он так молодецки гарцевал года полтора тому назад. И надо ж было случиться такому обстоятельству: как и в тот день, так и теперь — русак возьми да вскочи перед собаками из-под межи на косогоре! «Ату его, ату!» Вся охота так и понеслась, и Чертопханов понесся тоже, только не вместе с нею, а шагов от нее на двести в сторону,— точно так же, как и тогда. Громадная водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее — и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее,— в ней все еще было шагов восемь ширины да сажени две глубины. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс нагайкой — охотники сами скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника,— конь его летел стрелою — вот уже водомоина перед самым носом — ну, ну, разом, как тогда!..

Но Малек-Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал *вдоль* обрыва, как ни дергал ему Чертопханов голову набок, к водомоине.

Струсил, значит, не понадеялся на себя!

Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводья и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз!

С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой Малек-Адель, и Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате.

«Нет, это не он, это не друг мой! Тот бы шею сломил — а меня бы не выдал!»

XI

Окончательно «доехал», как говорится, Чертопханова следующий случай. Верхом на Малек-Аделе пробирался он однажды по задворкам поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состояло сельцо Бессоново. Нахлобучив на глаза папаху, сгорбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно подвигался вперед; на душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул.

Он остановил коня, поднял голову и увидал своего корреспондента, дьякона. С бурым треухом на бурых, в косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже тальи голубеньким обрывочком, служитель алтаря вышел свое «одóньишко» проведать — и, улицезрев Пантелея Еремеича, почел долгом выразить ему свое почтение — да кстати хоть что-нибудь у него выпросить. Без такого рода задней мысли, как известно, духовные лица со светскими не заговаривают.

Но Чертопханову было не до дьякона; он едва отвечал на его поклон и, промычав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой...

— А какой у вас конь богатейший! — поспешил прибавить дьякон.— Вот уж точно можно чести приписать. Истинно: вы муж ума чудного, просто аки лев! — Отец дьякон славился красноречием, чем сильно досаждал отцу попу, которому дар слова присущ не был: даже водка не развязывала ему язык.— Одного живота, по навету злых людей, лишились,— продолжал дьякон,— и, нимало не унывая, а, напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай даже что и лучшего... потому...

— Что ты врешь? — сумрачно перебил Чертопханов,— какой такой другой конь? Это тот же самый; это Малек-Адель... Я его отыскал. Болтает зря...

— Э! э! э! э! — промолвил с расстановкой, как бы с оттяжкой, дьякон, играя перстами в бороде и озирая Чертопханова своими светлыми жадными глазами.— Как же так, господин? Коня-то вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки две после покрова украли, а теперь у нас ноябрь на исходе.

— Ну да, что же из этого?

Дьякон все продолжал играть перстами в бороде.

— Значит, с лишком год с тех пор протек, а конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь; даже словно темнее стал. Как же так? Серые-то лошади в один год много белеют.

Чертопханов дрогнул... словно кто рогатиной толкнул его против сердца. И в самом деле: серая масть-то ведь меняется! Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла?

— Пучòк анафемский! отвяжись! — гаркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами, и мгновенно скрылся из виду у изумленного дьякона.

— Ну! все кончено!

Вот когда действительно все кончено, все лопнуло, последняя карта убита! Все разом рухнуло от одного этого слова: «белеют»!

Серые лошади белеют!

Скачи, скачи, проклятый! Не ускачешь от этого слова!

Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ.

XII

Что эта дрянная кляча не Малек-Адель, что между ею и Малек-Аделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий мало-мальски путный человек должен был с первого разу это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся — нет! что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман,— во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения! Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо; но не одна боль уязвленного самолюбия терзала его: отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отмстить? Жиду, Яффу, Маше, дьякону, вору казаку, всем соседям, всему свету, самому себе наконец? Ум в нем мешался. Последняя карта убита! (Это сравнение ему нравилось.) И он опять ничтожнейший, презреннейший из людей, общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки — для дьякона!! Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина... О, проклятие!! Напрасно Чертопханов старался унять расходившуюся желчь; напрасно он пытался уверить себя, что эта... лошадь хотя и не Малек-Адель, однако все же... добра и может много лет прослужить ему: он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль, точно в ней заключалось новое оскорбление для *того* Малек-Аделя, перед которым он уж и без того считал себя виноватым... Еще бы! Этот одёр, эту клячу он, как слепой, как олух, приравнял ему, Малек-Аделю! А что насчет

службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему... да разве он когда-нибудь удостóит сесть на нее верхом? Ни за что! Никогда!! Татарину ее отдать, собакам на снедь — другого она не стóит... Да! Этак лучше всего!

Часа два с лишком бродил Чертопханов по своей комнате.

— Перфишка! — скомандовал он вдруг.— Сию минуту ступай в кабак; полведра водки притащи! Слышишь? Полведра, да живо! Чтобы водка сию секунду тут у меня на столе стояла.

Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеича, и он начал пить.

XIII

Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом,— тот наверное почувствовал бы невольный страх. Ночь наступила; сальная свечка тускло горела на столе. Чертопханов перестал скитаться из угла в угол; он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно; вставал, наливал себе водки, выпивал ее, опять садился, опять уставлял глаза в одну точку и не шевелился — только дыхание его учащалось и лицо все более краснело. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал; одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе, один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди, а в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства, и зловещая усмешка появлялась на губах...

— Ну, однако, пора! — промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном,— будет прохлаждаться-то!

Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет — тот самый пистолет, из которого выстрелил в Машу, зарядил его, положил на «всякий случай» несколько пистонов в карман — и отправился на конюшню.

Сторож побежал было к нему, когда он стал отворять дверь, но он крикнул на него: «Это я! Аль не видишь? Отправляйся!» Сторож отступил немного в сторону. «Спать отправляйся! — опять крикнул на него Чертопханов,— нечего тебе тут стеречь! Эку невидаль, сокровище какое!» Он вошел в конюшню. Малек-Адель... ложный Малек-Адель лежал на подстилке. Чертопханов толкнул его ногою, примолвив: «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от яслей, снял и сбросил на землю попону — и,

грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле, к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда это барин отправляется ночью, с невзнузданною лошадью в поводу? Спросить его — он, разумеется, побоялся, а только проводил его глазами, пока он не исчез на повороте дороги, ведущей к соседнему лесу.

XIV

Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь; Малек-Адель — будем называть его этим именем до конца — покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно светлая; Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы... если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Голова его отяжелела, кровь раскатисто стучала в горло и в уши, но он шел твердо и знал, куда шел.

Он решился убить Малек-Аделя; целый день он только об этом думал... Теперь он решился!

Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта «штука» казалась очень «простою»: уничтожив самозванца, он разом поквитается со «всем» — и самого себя казнит за свою глупость, и перед настоящим своим другом оправдается, и целому свету докажет (Чертопханов очень заботился о «целом свете»), что с ним шутить нельзя... А главное: самого себя он уничтожит вместе с самозванцем, ибо на что ему еще жить? Как это все укладывалось в его голове и почему это казалось ему так просто — объяснить не легко, хотя и не совсем невозможно: обиженный, одинокий, без близкой души человеческой, без гроша медного, да еще с кровью, зажженной вином, он находился в состоянии, близком к помешательству, а нет сомнения в том, что в самых нелепых выходках людей помешанных есть, на их глаза, своего рода логика и даже право. В праве своем Чертопханов был во всяком случае вполне уверен; он не колебался, он спешил исполнить приговор над виновным, не отдавая себе, впрочем, ясного отчета: кого он собственно обзывал этим именем?.. Правду говоря, он размышлял мало о том, что собирался сделать. «Надо, надо кончить,— вот что он твердил самому себе, тупо и строго,— кончить надо!»

А безвинный виновный трусил покорной рысцой за его спиною... Но в сердце Чертопханова не было жалости.

XV

Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда... Малек-Адель споткнулся и чуть не упал на него.

— Аль задавить меня хочешь, проклятый! — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувства, которая, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный голос испугал его — так дико прозвучал он под навесом темных ветвей, в гнилой и спертой сырости лесного оврага! К тому же, в ответ на его восклицание, какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою... Чертопханов дрогнул. Точно он разбудил свидетеля своему делу — и где же? в этом глухом месте, где он не должен был встретить ни одного живого существа...

— Ступай, черт, на все четыре стороны! — проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод Малек-Аделя, с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малек-Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага... и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки.

В свою очередь, Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою; тяжесть, которую он чувствовал в голове, в сердце, распространилась по всем членам; он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу...

Самоубийце, которому помешали исполнить его намерение, знакомы подобные ощущения.

Вдруг что-то толкнуло его сзади, между плеч. Он оглянулся... Малек-Адель стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином, он тронул его мордой... доложил о себе...

— А! — закричал Чертопханов,— ты сам, сам за смертью пришел! Так на же!

В мгновенье ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло ко лбу Малек-Аделя, выстрелил...

Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвилась на дыбы, отскочила шагов на десять и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле...

Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним. И хмель, и злоба, и тупая самоуверенность — все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия — да сознание, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил.

XVI

Недель шесть спустя казачок Перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо бессоновской усадьбы станового пристава.

— Чего тебе? — спросил блюститель порядка.

— Пожалуйте, ваше благородие, к нам в дом,— ответил казачок с низким поклоном,— Пантелей Еремеич, кажись, умирать собираются; так вот я и боюсь.

— Как? умирать? — переспросил становой.

— Точно так-с. Сперва они кажинный день водку кушали, а теперь вот в постель слегли, и уж оченно они худы стали. Я так полагаю, они теперь и понимать-то ничего не понимают. Без языка совсем.

Становой слез с телеги.

— Что же ты, за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался твой барин? Причастился?

— Никак нет-с.

Становой нахмурился.

— Как же ты это так, братец? Разве этак можно, а? Иль ты не знаешь, что за это... ответственность бывает большая, а?

— Да я их и третьёго дня и вчерась спрашивал,— подхватил оробевший казачок,— не прикажете ли, говорю, Пантелей Еремеич, за священником сбегать? «Молчи, говорит, дурак. Не в свое дело не суйся». А сегодня, как я стал докладывать,— только посмотрели на меня да усом повели.

— И много он пил водки? — спросил становой.

— Дюже много! Да вы уж сделайте милость, ваше благородие, пожалуйте к ним в комнату.

— Ну, веди! — проворчал становой и последовал за Перфишкой.

Удивительное зрелище его ожидало.

В задней комнате дома, сырой и темной, на убогой кровати, покрытой конскою попоной, с лохматой буркой вместо подушки, лежал Чертопханов, уже не бледный, а изжелта-зеленый, как бывают мертвецы, со ввалившимися глазами под глянцевитыми

веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Лежал он одетый в неизменный свой архалук с патронами на груди и в черкесские синие шаровары. Папаха с малиновым верхом закрывала ему лоб до самых бровей. В одной руке Чертопханов держал охотничью нагайку, в другой — шитый кисет, последний подарок Маши. На столе возле кровати стоял пустой штоф; а в головах, пришпиленные булавками к стене, виднелись два акварельных рисунка: на одном, сколько можно было понять, был представлен толстый человек с гитарой в руках,— вероятно, Недопюскин; другой изображал скачущего всадника... Лошадь походила на тех сказочных животных, которых рисуют дети на стенах и заборах; но старательно оттушеванные яблоки ее масти и патроны на груди всадника, острые носки его сапогов и громадные усы не оставляли места сомнению: этот рисунок долженствовал изобразить Пантелея Еремеича верхом на Малек-Аделе.

Изумленный становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в комнате. «Да уж он скончался»,— подумал он и, возвысив голос, промолвил: — Пантелей Еремеич! А, Пантелей Еремеич!

Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо, остановились на посетителе, увидали его... Что-то замерцало в их тусклой белизне, подобие взора в них проявилось; посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос:

— Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает; кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует... Оставьте его, люди! Идите!

Рука с нагайкой попыталась приподняться... Напрасно! Губы опять склеились, глаза закрылись — и по-прежнему лежал Чертопханов на своей жесткой кровати, вытянувшись как пласт и сдвинув подошвы.

— Дай знать, когда скончается,— шепнул, выходя из комнаты, становой Перфишке,— а за попом, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо ж порядок соблюсти, особоровать его.

Перфишка в тот же день сходил за попом; а на следующее утро ему пришлось дать знать становому: Пантелей Еремеич скончался в ту же ночь.

Когда его хоронили, гроб его провожали два человека: казачок Перфишка да Мошель Лейба. Весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида — и он не преминул отдать последний долг своему благодетелю.

ЖИВЫЕ МОЩИ

Край родной долготерпенья —
Край ты русского народа!
Ф. Тютчев

Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться! И резинковые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало... Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями — точно, на первых порах, как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта... А уж это последнее дело, как выражался Ермолай.

— Нет, Петр Петрович,— воскликнул он наконец.— Этак нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакам *чучье* заливает; ружья осекаются... Тьфу! Задача!

— Что же делать? — спросил я.

— А вот что. Поедемте в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит; отсюда верст восемь. Переночуем там, а завтра...

— Сюда вернемся?

— Нет, не сюда... Мне за Алексеевкой места известны... многим лучше здешних для тетеревов!

Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существования которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но нежилой и потому чистый; я провел в нем довольно спокойную ночь.

На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; все кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я

пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они наверно унесли капли росы, и песни их казались орошенными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно — всею грудью... На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, бог ведает откуда занесенные, остроконечные стебли темно-зеленой конопли.

Я отправился по этой тропинке; дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошел было прочь...

— Барин, а барин! Петр Петрович! — послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Петр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. Он доносился до меня из угла с тех, замеченных мною, подмостков.

Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать — только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое,— но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу — силится... силится и не может расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, барин? — прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ.— Да и где узнать! Я Лукерья... Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила... помните, я еще запевалой была?

— Лукерья! — воскликнул я.— Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин,— я. Я — Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которою ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!

— Помилуй, Лукерья,— проговорил я наконец,— что это с тобой случилось?

— А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастием моим,— сядьте вон на кадушечку, поближе, а то вам меня не слышно будет... вишь я какая голосистая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидала вас! Как это вы в Алексеевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки.

— Меня Ермолай-охотник сюда завез. Но расскажи же ты мне...

— Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова — помните, такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки вашей служил? Да вас уже тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью... уж и до зари недалеко... а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поет сладко!.. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг мне почудилось: зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!..» Я глядь в сторону, да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о́ землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось... Дайте дух перевести... с минуточку... барин.

Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая,— продолжала Лукерья,— стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне

никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего. Совсем я окостенела под конец... Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно... ну и переслали меня сюда — потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это, однако же, ужасно, твое положение! — воскликнул я... и, не зная, что прибавить, спросил: — А что же Поляков Василий? — Очень глуп был этот вопрос.

Лукерья отвела глаза немного в сторону.

— Что Поляков? Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалече. Аграфеной ее звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава богу, хорошо.

— И так ты все лежишь да лежишь? — спросил я опять.

— Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно станет — меня в предбанник перенесут. Там лежу.

— Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?

— А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то почитай что не ем ничего, а вода — вон она в кружке-то: всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть; сиротка; нет, нет — да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была... Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет,— были, да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш... на что приятнее!

— И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?

— А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает.

— Это каким же образом?

— А у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать

могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что бога гневить? — многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: «Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоем состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила: «А мысленный грех, батюшка?» — «Ну,— говорит, а сам смеется,— это грех не великий».

— Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна,— продолжала Лукерья,— потому я так себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорей проходит.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты все одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не дает спать как следует. Нет... а так лежу я себе, лежу-полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!

— Я ласточек не стреляю,— поспешил я заметить.

— А то раз,— начала опять Лукерья,— вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близехонько и долго таки сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы.

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были, как я буду держать ее, книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принес календарь; да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю,— продолжала, отдохнув немного, Лукерья.—Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану господу богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест — значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту «Отче наш», «Богородицу», акафист «Всем скорбящим» — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты две. Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел.

— Послушай, Лукерья,— начал я наконец.— Послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряжусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу? Кто знает, быть может, тебя еще вылечат? Во всяком случае, ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями.

— Ох, нет, барин,— промолвила она озабоченным шепотом,— не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить!.. Вот так-то раз доктор сюда приезжал; осматривать меня захотел. Я его прошу: «Не тревожьте вы меня, Христа ради». Куда! переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгинал; говорит: «Это я для учености делаю; на то я служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь». Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь — мудрено таково,— да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смирная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже лучше, ей-ей!.. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу... Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.

— Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал...

— Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно.

— О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.

Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась — так же, как и остальные члены.

— Как погляжу я, барин, на вас,— начала она снова,— очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая я была в свое время веселая? Бой-девка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. Ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится.

— Как же ты поешь их... про себя?

— И про себя и голосом. Громко-то не могу, а всё — понять можно. Вот я вам сказывала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...

Лукерья собралась с духом... Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук... за ним последовал другой, третий. «Во лузях» пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить... Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу! — проговорила она вдруг,— силушки не хватает... Очень уж я вам обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики... Она взглянула на меня — и ее темные веки, опушенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновенье они заблистали в полутьме... Слеза их смочила.

Я не шевелился по-прежнему.

— Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу.— Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось... с самого того дня, как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал — ну, ничего; а как ушел он — поплакала я таки в одиночку! Откуда бралось!.. Да ведь у нашей сестры слезы некупленные. Барин,— прибавила Лукерья,— чай, у вас платочек есть... Не побрезгуйте, утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить ее желание — и платок ей оставил. Она сперва отказывалась... на что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице — так, по крайней мере, мне казалось — следы его бывалой красоты.

— Вот вы, барин, спрашивали меня,— заговорила опять Лукерья,— сплю ли я? Сплю я, точно, редко, но всякий раз сны вижу,— хорошие сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я — потянуться хочу хорошенько — ан я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам?.. Ну, слушайте. Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, зот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался — так вот я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я ме-

сяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу,— таким его не пишут,— а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом,— только пояс золотой,— и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки,— и я за ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видела я сон,— начала она снова,— а быть может, это было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка да матушка, мне кланяетесь? А затем говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину.

— А то вот еще какой мне был сон,— продолжала Лукерья.— Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу остроганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня всё странники; идут они тихо, словно нехотя, всё в одну сторону; лица у всех унылые и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радехонька, крещусь! И говорит мне та жен-

щина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собою не могу. Прощай!» Господи! как мне тут грустно стало!.. «Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!» И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно... После, мол, петровок... С этим я проснулась... Такие-то у меня бывают сны удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху... задумалась...

— Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня, да и дала мне скляночку с лекарством против бессонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь давно та скляночка выпита... Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?

Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую скляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпенью.

— Эх, барин! — возразила она.— Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое: тридцать лет на столбу простоял? А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели... А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всех жителев они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненною смертью за свой народ помереть». И агаряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился! Вот это подвиг! А я что!

Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет?

— Двадцать восемь... али девять... Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам еще вот что доложу...

Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула...

— Ты много говоришь,— заметил я ей,— это может тебе повредить.

— Правда,— прошептала она едва слышно,— разговорке нашей конец; да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности, душу отвела...

Я стал прощаться с нею, повторил ей мое обещание при-

слать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава богу,— с величайшим усилием, но умиленно произнесла она.— Дай бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить: крестьяне здешние бедные — хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас богу помолились... А мне ничего не нужно — всем довольна.

Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу и подходил уже к дверям... она подозвала меня опять.

— Помните, барин,— сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах,— какая у меня была коса? Помните — до самых колен! Я долго не решалась... Этакие волосы!.. Но где же их было расчесывать? В моем-то положении!.. Так уж я их и обрезала... Да... Ну, простите, барин. Больше не могу...

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «Живые мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слыхать, ни жалоб. «Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая,— так заключил десятский,— стало быть, за грехи; по мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пущай ее!»

Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней... и «после петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба.

СТУЧИТ!

— Что я вам доложу,— промолвил Ермолай, входя ко мне в избу,— а я только что пообедал и прилег на походную кроватку, чтоб отдохнуть немного после довольно удачной, но утомительной охоты на тетеревов — дело было в десятых числах июля и жары стояли страшные,— что я вам доложу: у нас вся дробь вышла.

Я вскочил с кроватки.

— Вышла дробь! Как же так! Ведь мы с собой из деревни почитай что фунтов тридцать взяли! целый мешок!

— Оно точно; и мешок был большой: на две недели бы хватило. Да кто его знает! Прореха, что ль, в нем произошла,— а только, как есть, нету дроби... так, зарядов на десять осталось.

— Что же мы станем теперь делать? Самые лучшие места впереди — на завтрешний день нам обещали шесть выводков...

— А пошлите меня в Тулу. Тут недалече: всего сорок пять верст. Духом слетаю и дроби привезу, коли прикажете, целый пуд.

— Да когда же ты поедешь?

— А хоть сейчас. Чего мешкать? Только вот что: надо будет лошадей нанять.

— Как лошадей нанять! А свои-то на что?

— На своих ехать нельзя. Коренник захромал... страсть!

— Это с каких пор?

— А вот намеднись,— кучер его ковать водил. Ну и заковал. Кузнец, должно́, попался неладный. Теперь даже на ногу ступить не может. Передняя нога. Так и несет ее... как собака.

— Что ж? расковали его, по крайней мере?

— Нет, не расковали; а непременно расковать его следует. Гвоздь-то ему, чай, в самое мясо вогнат.

Я велел позвать кучера. Оказалось, что Ермолай не солгал: коренник действительно не ступал на ногу. Я немедленно распорядился, чтобы его расковали и поставили на сырую глину.

— Что ж? Лошадей нанять в Тулу прикажете? — пристал ко мне Ермолай.

— Да разве можно в этом захолустье найти лошадей? — воскликнул я с невольной досадой...

Деревня, в которой мы находились, была заглазная, глухая; все ее обитатели казались голышами; мы с трудом отыскали одну — не то что белую, а мало-мальски просторную избу.

— Можно,— ответил Ермолай с обычной своей невозмутимостью.— Вы про здешнюю деревню сказали верно; а только в этом самом месте проживал один крестьянин. Умнеющий! богатый! Девять лошадей имел. Сам-то он помер, и старший сын теперь всем орудует. Человек — из глупых глупый, ну, однако, отцовское добро протрясти еще не успел. Мы у него лошадьми раздобудемся. Прикажите, я его приведу. Братья у него, слышно, ребята шустрые... а все-таки он им голова.

— Почему же это так?

— А потому — старшой! Значит, младшие — покоряйся! — Тут Ермолай сильно и непечатно отозвался о младших братьях вообще.— Я его приведу. Он простой. С ним — да не сговориться?

Пока Ермолай ходил за «простым» человеком, мне пришло в голову: не лучше ли мне самому съездить в Тулу? Во-первых, я, наученный опытом, плохо надеялся на Ермолая; я послал его однажды в город за покупками, он обещался исполнить все мои поручения в течение одного дня — и пропадал целую неделю, пропил все деньги и вернулся пеший — а поехал на беговых дрожках. Во-вторых, у меня был в Туле барышник знакомый; я мог купить у него лошадь на место охромевшего коренника.

«Решенное дело! — подумал я.— Съезжу сам; а спать можно и в дороге — благо тарантас покойный».

— Привел! — воскликнул четверть часа спустя Ермолай, вваливаясь в избу. Вслед за ним вошел рослый мужик в белой рубахе, синих портах и лаптях, белобрысый, подслеповатый, с рыжей бородкой клинушком, длинным пухлым носом и разинутым ртом. Он, точно, смотрел «простецом».

— Вот извольте,— промолвил Ермолай,— лошади у него есть, и он согласен.

— То ись, значит, я...— заговорил мужик сиповатым голосом и с запинкой, встряхивая свои жидкие волосы и перебирая пальцами околыш шапки, которую держал в руках.— Я, значит...

— Как тебя зовут? — спросил я.

Мужик потупился и словно задумался.

— Как меня зовут-то?

— Да; как твое имя?

— А имя мне будет — Филофей.

— Ну вот что, братец Филофей; у тебя, я слышал, есть лошади. Приведи-ка сюда тройку, мы их заложим в мой тарантас,— он у меня легкий,— и свези ты меня в Тулу. Теперь ночь лунная, светло и ехать прохладно. Дорога у вас тут какова?

— Дорога? Дорога — ничего. До большака верст двадцать будет — всего. Одно есть местечко... неладное; а то ничего.

— Какое такое местечко неладное?

— А речку вброд переезжать надоть.

— Да разве вы сами в Тулу поедете? — осведомился Ермолай.

— Да, сам.

— Ну! — промолвил мой верный слуга и тряхнул головою.— Н-н-у! — повторил он, сплюнул и вышел вон.

Поездка в Тулу, очевидно, уже не представляла ему ничего привлекательного; она стала для него пустым и незанимательным делом.

— Ты дорогу хорошо знаешь? — обратился я к Филофею.

— Как нам дороги не знать! Только я, значит, воля ваша, не могу... потому как же этак вдруг...

Оказалось, что Ермолай, нанимая Филофея, заявил ему, чтобы он не сомневался, что ему, дураку, заплатят... и только! Филофей, хотя и дурак,— по словам Ермолая,— не удовлетворился одним этим заявлением. Он запросил с меня пятьдесят рублей ассигнациями — цену громадную; я предложил ему десять рублей — цену низкую. Принялись мы торговаться; Филофей сперва упорствовал, потом стал сдаваться, но туго. Вошедший на минутку Ермолай начал меня уверять, что «этот дурак» (вишь, полюбилось слово! — заметил вполголоса Филофей), «этот дурак совсем счету деньгам не знает»,— и кстати напомнил мне, как лет двадцать тому назад постоялый двор, устроенный моей матушкой на бойком месте, на перекрестке двух больших дорог, пришел в совершенный упадок оттого, что старый дворовый, которого посадили туда хозяйничать, действительно не знал счета деньгам, а ценил их по количеству — то есть отдавал, например, серебряный четвертак за шесть медных пятаков, причем, однако, сильно ругался.

— Эх ты, Филофей, прямой Филофей! — воскликнул наконец Ермолай и, уходя, в сердцах хлопнул дверью.

Филофей ничего ему не возразил, как бы сознавая, что называться Филофеем, точно, не совсем ловко и что за такое имя даже упрекать можно человека, хотя собственно виноват тут поп, которого при крещении не ублаготворили как следует.

Наконец мы, однако, сошлись с ним на двадцати рублях. Он отправился за лошадьми и чрез час привел их целых пять на выбор. Лошади оказались порядочные, хотя гривы и хвосты у них были спутанные и животы — большие, растянутые, как барабан. С Филофеем пришло двое его братьев, нисколько на него не похожих. Маленькие, черноглазые, востроносые, они, точно, производили впечатление ребят «шустрых», говорили много и скоро — «лопотали», как выразился Ермолай,— но старшому покорялись.

Они выкатили тарантас из-под навеса да часа полтора возились с ним и с лошадьми; то отпускали веревочные постромки, то прикручивали их туго-натуго! Обоим братьям непременно хотелось запречь в корень «чалого», потому «ён с горы спущать могит»,— но Филофей решил: кудластого! Так кудластого и заложили в корень.

Тарантас набили сеном, подсунули под сиденье хомут с хромого коренника — в случае, если б пришлось пригонять его в Туле на новокупленную лошадь... Филофей, успевший сбегать

домой и возвратившийся оттуда в длинном белом отцовском балахоне, высоком гречневике и смазных сапогах, взобрался торжественно на козла. Я сел, посмотрев на часы: четверть одиннадцатого. Ермолай даже не простился со мною, он принялся бить своего Валетку; Филофей задергал вожжами, закричал тонким-тонким голосом: «Эх вы, махонькие!» — братья его подскочили с обеих сторон, подстегнули под брюхо пристяжных — и тарантас тронулся, свернул из ворот на улицу; кудластый хотел было махнуть к себе на двор, но Филофей образумил его несколькими ударами кнута — и вот мы уже выскочили из деревни и покатили по довольно ровной дороге, между сплошными кустами густого орешника.

Ночь была тихая, славная, самая удобная для езды. Ветер то прошелестит в кустах, закачает ветки, то совсем замрет; на небе кое-где виднелись неподвижные серебристые облачка; месяц стоял высоко и ясно озарял окрестность. Я растянулся на сене и уже вздремнул было... да вспомнил о «неладном месте» и встрепенулся.

— А что, Филофей? До брода далеко?

— До броду-то? Верст восемь будет.

«Восемь верст,— подумалось мне.— Раньше часу не доедем. Соснуть пока можно».

— Ты, Филофей, дорогу хорошо знаешь? — спросил я опять.

— Да как *ее* не знать-то, дорогу-то? Не впервой едем...

Он еще что-то прибавил, но я уже не расслушал его... Я спал.

Разбудило меня не собственное намерение проснуться ровно через час, как это часто случается, а какое-то странное, хоть и слабое, хлюпанье и бульканье под самым моим ухом. Я поднял голову...

Что за чудеса? Лежу я в тарантасе по-прежнему, а вокруг тарантаса — и на пол-аршина, не более, от его края — водная гладь, освещенная луною, дробится и дрожит мелкой, четкой рябью. Я — глядь вперед: на козлах, понурив голову, согнув спину, сидит, как истукан, Филофей, а еще подальше — над журчащею водою — кривая линия дуги и лошадиные головы и спины. И всё так неподвижно, так бесшумно — словно в заколдованном царстве, во сне, в сказочном сне... Что за притча? Я — глядь назад из-под балчука тарантаса... Да мы на самой середине реки... берег от нас шагов за тридцать!

— Филофей! — воскликнул я.

— Чего? — возразил он.

— Как чего? Помилуй! Где же это мы?

— В реке.

— Я вижу, что в реке. Да мы этак сейчас потонем. Так-то ты в брод переезжаешь? А? Да ты спишь, Филофей! Отвечай же!

— Маленечко ошибся,— промолвил мой возница,— в сторону, знать, взял грешным делом, а теперь подождать надоть.

— Как ждать *надоть!* Чего же мы будем ждать?

— А вот пущай кудластый оглядится: куда он ворохнется, туда, значит, и ехать надоть.

Я приподнялся на сене. Голова коренника не шевелилась над водою. Только и можно было видеть при ясном свете месяца, как одно его ухо чуть-чуть двигалось то взад, то вперед.

— Да он тоже спит, твой кудластый!

— Нет,— отвечал Филофей,— он теперь воду нюхает.

И все опять замолкло, только по-прежнему слабо хлюпала вода. Я тоже оцепенел.

Лунный свет, да ночь, да река, да мы в ней...

— Это что такое сипит? — спросил я Филофея.

— Это? Утята в камыше... а не то змеи.

Вдруг голова коренника замоталась, уши навострились, он зафыркал, заворошился.

— Но-но-но-ноо! — внезапно заорал во все горло Филофей, и приподнялся, и замахал кнутом. Тарантас тотчас сдернуло с места, он рванулся вперед наперерез речной волне — и пошел, дрыгая и колыхаясь... Сперва мне показалось, что мы погружаемся, идем вглубь, однако после двух-трех толчков и нырков водная гладь как будто вдруг понизилась... Она понижалась все больше и больше, тарантас вырастал из нее,— вот уже показались колеса и конские хвосты и вот, вздымая сильные и крупные брызги, алмазными — нет, не алмазными — сапфирными снопами разлетавшиеся в матовом блеске луны,— весело и дружно выхватили нас лошади на песчаный берег и пошли по дороге в гору, вперебивку переступая глянцевитыми мокрыми ногами.

«Что,— пришло мне в голову,— скажет теперь Филофей: а ведь я был прав! или что-нибудь в этом роде?» Но он ничего не сказал. Потому и я не почел за нужное упрекнуть его в неосторожности и, уложившись спать на сене, опять попытался заснуть.

Но я не мог заснуть,— не потому, что не устал от охоты, и не потому, что испытанная мною тревога разогнала мой сон,— а уж очень красивыми местами нам приходилось ехать.

То были раздольные, пространные, поемные, травянистые луга, со множеством небольших лужаек, озёрец, ручейков, заводей, заросших по концам ивняком и лозами, прямо русские, русским людом любимые места, подобные тем, куда езживали богатыри наших древних былин стрелять белых лебедей и серых утиц. Желтоватой лентой вилась наезженная дорога, лошади бежали легко, и я не мог сомкнуть глаза — любовался! И все это так мягко и стройно плыло мимо, под дружелюбной луной. Филофея — и того проняло.

— Эти у нас луга Святоегорьевскими прозываются,— обратился он ко мне.— А за ними — так Великокняжеские пойдут; других таких лугов по всей Расеи нету... Уж на что красиво! — Коренник фыркнул и встряхнулся...— Господь с тобою!..— промолвил Филофей степенно и вполголоса.— На что красиво! — повторил он и вздохнул, а потом протяжно крякнул.— Вот скоро сенокосы начнутся, и что тут этого самого сена нагребут — беда! А в заводях рыбы тоже много. Лещи такие! — прибавил он нараспев.— Одно слово: умирать не надо.

Он вдруг поднял руку.

— Эва! глянь-ка! над озером-то... аль чапля стоит? Неужели она и ночью рыбу ловит? Эхма! сук это — не чапля. Вот маху-то дал! а все месяц обманывает.

Так мы ехали, ехали... Но вот уж и конец подошел лугам, показались лесочки, распаханные поля; деревушка в стороне мигнула двумя-тремя огоньками,— до большой дороги оставалось всего верст пять. Я заснул.

Снова я не сам собой проснулся. На этот раз меня разбудил голос Филофея.

— Барин... а барин!

Я приподнялся. Тарантас стоял на ровном месте по самой середине большой дороги; обернувшись с козел ко мне лицом, широко раскрыв глаза (я даже удивился, я не воображал, что они у него такие большие), Филофей значительно и таинственно шептал:

— Стучит!.. Стучит!

— Что ты говоришь?

— Я говорю: стучит! Нагнитесь-ка и послухайте. Слышите?

Я высунул голову из тарантаса, притаил дыхание — и действительно услыхал где-то далеко-далеко за нами слабый прерывистый стук, как бы от катившихся колес.

— Слышите? — повторил Филофей.

— Ну да,— ответил я.— Едет какой-то экипаж.

— А не слышите... чу! Во... бубенцы... и свист тоже... Слышите? Да шапку-то снимите... слышней будет.

Я шапки не снял, но приник ухом.

— Ну, да... может быть. Да что ж из этого?

Филофей повернулся лицом к лошадям.

— Телега катит... налегке, колеса кованые,— промолвил он и подобрал вожжи.— Это, барин, недобрые люди едут; здесь ведь, под Тулой, шалят... много.

— Какой вздор! Почему ты полагаешь, что это непременно недобрые люди?

— Верно говорю. С бубенцами... да в пустой телеге... Кому быть?

— А что — до Тулы еще далеко?

— Да верст еще пятнадцать будет, и жилья тут никакого нету.

— Ну так ступай живее, нечего мешкать-то.

Филофей взмахнул кнутом, и тарантас опять покатился.

Хотя я не дал веры Филофею, однако заснуть уже не мог. А что, если в самом деле? Неприятное чувство шевельнулось во мне. Я сел в тарантасе — до тех пор я лежал — и стал глядеть по сторонам. Пока я спал, тонкий туман набежал — не на землю, на́ небо; он стоял высоко, месяц в нем повис беловатым пятном, как бы в дыме. Все потускнело и смешалось, хотя книзу было виднее. Кругом — плоские, унылые места: поля, всё поля, кое-где кустики, овраги — и опять поля, и больше все пар, с редкой сорной травою. Пусто... мертво! Хоть бы перепел где крикнул.

Ехали мы с полчаса. Филофей то и дело помахивал кнутом и чмокал губами, но ни он, ни я, мы не говорили ни слова. Вот взобрались мы на пригорок... Филофей остановил тройку и тотчас же промолвил:

— Стучит... Стучи-ит, барин!

Я опять высунулся из тарантаса; но я бы мог остаться под навесом балчука, до того теперь явственно, хотя еще издалека, доносился до слуха моего стук тележных колес, людской посвист, бряцанье бубенчиков и даже топот конских ног; даже пенье и смех почудились мне. Ветер, правда, тянул оттуда, но не было сомненья в том, что незнакомые проезжие на целую версту, а может, и на две, стали к нам ближе.

Мы с Филофеем переглянулись — он только шляпу сдвинул с затылка на лоб и тотчас же, нагнувшись над вожжами, принялся стегать лошадей. Они пустились вскачь, но долго ска-

кать не могли и опять побежали рысью. Филофей продолжал стегать их. Надо ж было уходить!

Я не мог себе дать отчета, почему в этот раз я, сначала не разделявший подозрений Филофея, вдруг получил убеждение, что следом за нами ехали точно недобрые люди... Ничего нового не услыхал я: те же бубенцы, тот же стук ненагруженной телеги, то же посвистывание, тот же смутный гам... Но я теперь уже не сомневался. Филофей не мог ошибиться!

И вот опять прошло минут двадцать... В течение последних из этих двадцати минут сквозь стук и грохот собственного экипажа нам уже слышался другой стук и другой грохот...

— Остановись, Филофей,—сказал я,—все равно один конец!

Филофей трусливо тпрукнул. Лошади мгновенно стали, как бы обрадовавшись возможности отдохнуть.

Батюшки! бубенцы просто ревут за самой нашей спиною, телега гремит с дребезгом, люди свистят, кричат и поют, лошади фыркают и бьют копытами землю...

Нагнали!

— Би-и-да,— с расстановкой, вполголоса, промолвил Филофей и, нерешительно чмокнув, стал понукать лошадей. Но в это самое мгновенье что-то вдруг словно сорвалось, рявкнуло, ухнуло — и большущая развалистая телега, запряженная тройкой поджарых коней, круто, вихрем обогнула нас, заскакала вперед и тотчас пошла шагом, загораживая дорогу.

— Самая разбойничья повадка,— прошептал Филофей.

Признаться, у меня на сердце захолонуло... Принялся я глядеть с напряженьем в полумрак лунного, парами застланного света. В телеге перед нами не то сидело, не то лежало человек шесть в рубахах, в армяках нараспашку; у двоих на головах не было шапок; большие ноги в сапогах болтались, свесившись через грядку, руки поднимались, падали зря... тела тряслись... Явное дело: пьяный народ. Иные горланили — так, что ни попало; один свистал очень пронзительно и чисто, другой ругался; на облучке сидел какой-то великан в полушубке и правил. Ехали они шагом, как будто не обращая на нас внимания.

Что было делать? Мы поехали за ними тоже шагом... поневоле.

С четверть версты двигались мы таким манером. Ожидание мучительное... Спасаться, защищаться... где уж тут! Их шестеро, а у меня хоть бы палка! Повернуть оглоблями назад? но они тотчас догонят. Вспомнился мне стих Жуковского (там, где он говорит об убийстве фельдмаршала Каменского):

Топор разбойника презренный...

А не то — горло сдавят грязной веревкой... да в канаву... хрипи там да бейся, как заяц в силке...

Эх, скверно!

А они по-прежнему едут шагом и не обращают на нас внимания.

— Филофей,— шепнул я,— попробуй-ка возьми правее, ступай будто мимо.

Филофей попробовал — взял вправо... но те тотчас тоже взяли вправо... проехать стало невозможно.

Филофей попытался еще: взял налево... Но и тут ему не дали миновать телегу... Даже засмеялись. Значит, не пропускают.

— Как есть разбойники,— шепнул мне Филофей через плечо.

— Да чего же они ждут? — спросил я тоже шепотом.

— А вон там впереди, в ложбине, над ручьем, мостик... Они нас там! Они всегда этак... возле мостов. Наше дело, барин, чисто! — прибавил он со вздохом,— вряд ли живых отпустят; потому им главное: концы в воду. Одного мне жаль, барин: пропала моя троечка,— и братьям-то она не достанется.

Подивился бы я тут, как это Филофей в подобную минуту может еще о своих лошадях заботиться, да, признаюсь, мне самому было не до него... «Неужто же убьют? — твердил я мысленно.— За что? Ведь я им все отдам, что у меня есть».

А мостик все приближался, все становился видней да видней.

Вдруг раздалось резкое гиканье, тройка перед нами словно взвилась, понеслась и, доскакав до мостика, разом остановилась как вкопанная немного сбоку дороги. Сердце во мне так и упало.

— Ох, брат Филофей,— промолвил я,— едем мы с тобою на смерть. Прости меня, коли я тебя загубил.

— Какая твоя вина, барин! Своей судьбы не минуешь! Ну, кудластый, лошадушка моя верная,— обратился Филофей к коренному,— ступай, брат, вперед! Сослужи последнюю службу! Все едино... Господи! бо-слови!

И он пустил свою тройку рысцой.

Стали мы приближаться к мостику, к той неподвижной, грозной телеге... На ней, как нарочно, все затихло. Ни гугу! Так затихает щука, ястреб, всякий хищный зверь, когда приближается добыча. Вот поравнялись мы с телегой... вдруг великан в полушубке прыг с нее долой — и прямо к нам!

Ничего-то он не сказал Филофею, но тот сам тотчас натянул вожжи... Тарантас остановился.

Великан положил обе руки на дверцы и, наклонив вперед

свою мохнатую голову и осклабясь, произнес тихим, ровным голосом и фабричным говорком следующее:

— Господин почтенный, едем мы с честного пирка, со свадебки; нашего молодца, значит, женили; как есть, уложили; ребята у нас всё молодые, головы удалые — выпито было много, а опохмелиться нечем; то не будет ли ваша такая милость, не пожалуете ли нам деньжонок самую чуточку,— так, чтобы по косушке на брата? Выпили бы мы за ваше здоровье, помянули бы ваше степенство; а не будет вашей к нам милости — ну, просим не осерчать!

«Что это такое? — подумалось мне...— Насмешка?.. Глумление?»

Великан продолжал стоять, понурив голову. В самый этот миг месяц выбрался из тумана и осветил ему лицо. Оно ухмылялось, это лицо — и глазами и губами. А угрозы на нем не видать... только словно все оно насторожилось... и зубы такие белые да большие...

— Я с удовольствием... возьмите...— поспешно проговорил я и, достав кошелек из кармана, вынул оттуда два целковых; в то время серебряные деньги еще водились на Руси.— Вот, коли этого довольно.

— Много благодарны! — гаркнул по-солдатски великан, и толстые его пальцы мигом выхватили у меня — не весь кошелек, а только те два рубля.— Много благодарны! — Он встряхнул волосами, подбежал к телеге.

— Ребята! — крикнул он,— два целковых жалует нам господин проезжий! — Те все вдруг как загогочут... Великан взвалился на облучок...

— Счастливо оставаться!

И только мы их и видели! Лошади подхватили, телега загремела в гору,— вот еще раз мелькнула она на темной черте, отделявшей землю от неба, завалилась и пропала.

Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слыхать...

Стала тишина мертвая.

Мы с Филофеем не вдруг опомнились.

— Ах ты, шут этакой! — промолвил он наконец и, сняв шляпу, начал креститься.— Право, шут,— прибавил он и обернулся ко мне, весь радостный.— А хороший должен быть человек — право. Но-но-но, махонькие! поворачивайтесь! Целы будете! Все целы будем! Ведь это он проехать не давал; он лошадьми-то правил. Экой шут парень! Но-но-но-ноо! с бо-гам!

Я молчал — но и у меня хорошо стало на душе. «Целы

будем! — повторил я про себя и разлегся на сене.— Дешево отделались!»

Мне даже несколько совестно стало, зачем это я стих Жуковского вспомнил.

Вдруг пришла мне в голову мысль:

— Филофей!

— Чего?

— Ты женат?

— Женат.

— И дети есть?

— Есть и дети.

— Как же ты об них не вспомнил? О лошадях пожалел — а о жене, о детях?

— Да чего их жалеть-то? Ведь ворам в руки они бы не попались. А в уме я их все время держал — и теперь держу... во как.— Филофей помолчал.— Может... из-за них господь бог нас с тобой помиловал.

— Да коли то не были разбойники?

— А почем знать? В чужую душу разве влезешь? Чужая душа — известно — потемки. А с богом-то завсегда лучше. Не... я свою семью завсегда... Но-но-но, махонькие, с бо-га́м!

Уже почти рассвело, когда мы стали подъезжать к Туле. Я лежал в забытьи полусна...

— Барин,— сказал мне вдруг Филофей,— посмотрите-ка; вон они стоят у кабака... ихняя телега-то.

Я поднял голову... точно, они: и телега их, и лошади. На пороге питейного заведения внезапно показался знакомый великан в полушубке.

— Господин! — воскликнул он, помахивая шапкой,— ваши денежки пропиваем! А что, кучер,— прибавил он, качнув головой на Филофея,— чай, заробел этта-ась?

— Превеселый человек,— заметил Филофей, отъехавши сажен на двадцать от кабака.

Прибыли мы наконец в Тулу; купил я дроби, да кстати чаю, да вина, и даже лошадь у барышника взял. В полдень мы отправились обратно. Проезжая тем местом, где в первый раз мы услыхали за собою стук телеги, Филофей, который, подвыпив в Туле, оказался весьма разговорчивым человеком,— он мне даже сказки рассказывал,— проезжая тем местом, Филофей вдруг засмеялся.

— А помнишь, барин, как я тебе все говорил: стучит... стучит, мол, стучит!

Он несколько раз повел рукою наотмашь... Очень уж ему это слово казалось забавным.

В тот же вечер мы вернулись в его деревню.

Я сообщил бывший с нами случай Ермолаю. Будучи трезвым, он не высказал никакого сочувствия и только хмыкнул — одобрительно или укоризненно,— этого, я полагаю, он сам не ведал. Но дня два спустя он с удовольствием известил меня, что в ту самую ночь, когда мы с Филофеем ездили в Тулу,— и на той же самой дороге — какого-то купца ограбили и убили. Я сперва не поверил этому известию; но потом пришлось поверить; справедливость его мне подтвердил проскакавший на следствие становой. Уж не с этой ли «свадьбы» возвращались наши удальцы и не этого ли «молодца» они, по выражению шутника-великана, уложили? Я в деревне Филофея оставался еще дней пять. Бывало, как только встречу его, всякий раз говорю ему: «А? стучит?»

— Веселый человек,— ответит он мне всякий раз и сам засмеется.

ЛЕС И СТЕПЬ

...И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет над тучной нивой,
Где пахнет конопелью да крапивой...
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами,
И падает тяжелый желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там хорошо . . . . . .

(Из поэмы, преданной сожжению)

Читателю, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, виднеей дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, ме-

дом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли — звучный лязг косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.

— Где бы, брат, тут напиться? — спрашиваете вы у косаря.

— А вон, в овраге, колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул громом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай... скорее!.. Вы добежали, вошли... Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные тени исчезают, воздух

наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснеет... Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин...

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес глохнет... Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед...

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами.

Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шуму...

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, — когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней...

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом! Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас — всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнется — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу — и вот опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине...

Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозри-

мые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот она, наконец, — безграничная, необозримая степь!

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потоки...

Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

НАКАНУНЕ

I

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных

задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

— Отчего ты не лежишь, как я, на груди? — начал Шубин.— Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку — вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж — смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфекты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

— Что? — проговорил, встрепенувшись, Берсенев.

— Что! — повторил Шубин.— Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

— Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.)

— Важный пущен ко́лер,— промолвил Шубин.— Одно слово, натура!

Берсенев покачал головой.

— Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

— Нет-с; это не по моей части-с,— возразил Шубин и надел шляпу на затылок.— Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить,

плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны... Пойди поймай!

— Да ведь и тут красота,— заметил Берсенев.— Кстати, кончил ты свой барельеф?

— Какой?

— Ребенка с козлом.

— К черту! к черту! к черту! — воскликнул нараспев Шубин.— Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда — бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулим. Клюнет — браво! а не клюнет...

Шубин высунул язык.

— Постой, постой,— возразил Берсенев.— Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоем искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...

— Эх ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенев задумался.— Нет, брат,— продолжал Шубин,— ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах... в девушках, да и то с некоторых пор...

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.

Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.

— Кстати, о женщинах,— заговорил опять Шубин.— Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

— Нет.

— Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо... Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством бог благословил этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.

— А Елены Николаевны бюст,— спросил Берсенев,— подвигается?

— Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо... странное существо,— прибавил он после короткого молчания.

— Да; она удивительная девушка,— повторил за ним Берсенев.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал. Берсенев вообще не грешил многоглаголанием и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу,— тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа — все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокоивало его, и волновало, и обессиливало... Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и при-

ятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.

— Заметил ли ты,— начал вдруг Берсенев, помогая своей речи движениями рук,— какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любуемся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?

— Гм,— возразил Шубин,— я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа — та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь... какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» — или нет,— прибавил он,— не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компрене [1].

Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

— Зачем насмешка,— проговорил он, не глядя на своего товарища,— зачем глумление? Да, ты прав: любовь — великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

— О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил...

— От всей души,— подхватил Берсенев.

---

[1] Вы меня понимаете (от *франц.* vous me comprenez).— *Ред.*

— Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел *ее* глазами, чувствовал не своим, одиноким, а *ее* чувством,— не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

— Я не совсем согласен с тобою,— начал он,— не всегда природа намекает нам на... любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.

— И в любви жизнь и смерть,— перебил Шубин.

— А потом,— продолжал Берсенев,— когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсеневу стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова),— разве и это...

— Жажда любви, жажда счастия, больше ничего! — подхватил Шубин.— Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастия, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог — бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! — продолжал Шубин с внезапным

порывом,— мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастие!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенев поднял на него глаза.

— Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо.

— А например? — спросил Шубин и остановился.

— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их не мало; и ты их знаешь.

— Ну-ка? какие это слова?

— Да хоть бы искусство,— так как ты художник,— родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь? — спросил Шубин.

— И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

— Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

— Номером первым,— повторил Берсенев.— А мне кажется, поставить себя номером вторым — все назначение нашей жизни.

— Если все так будут поступать, как ты советуешь,— промолвил с жалобною гримасой Шубин,— никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Оба приятеля помолчали.

— Я на днях опять встретил Инсарова,— начал Берсенев,— я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой... и с Стаховыми.

— Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли?

— Может быть.

— Необыкновенный он индивидуум, что ли?

— Да.

— Умный? Даровитый?

— Умный?.. Да. Даровитый? Не знаю, не думаю

— Нет? Что же в нем замечательного?

— Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?

— Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута... я недаром артист: я на все заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..

Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенев двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.

II

Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.

— Я бы опять выкупался,— заговорил Шубин,— да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.

— У нас есть русалки,— заметил Берсенев.

— Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора... Когда же, боже мой, поеду я в Италию? Когда...

— То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?

— Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста,— перебил Берсенев.

— И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидал там такие типы, особенно женские... Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!

— Ты поедешь в Италию,— проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему,— и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!

— Ставассер полетел же... И не он один. А не полечу — значит, я пингуин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу,— продолжал Шубин,— там солнце, там красота...

Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.

— Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! — крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:

— Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.

— Что я слышу? — заговорил, всплеснув руками, Шубин.— Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

— Ах, перестаньте, Павел Яковлевич,— возразила не без досады девушка,— отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь,— прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.

— Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну исступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.

Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу.

— Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.

— О, боже! — простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча.

Девушка топнула ножкой.

— Павел Яковлевич! Я рассержусь! Hélène пошла было со мною,— продолжала она,— да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица.

Приятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутились перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцево. Небольшой деревянный домик с мезони-

ном, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и както наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головой для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.

III

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные — бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом платье с куафюрой из маленьких роз». Она берегла эту куафюру... Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться; с первою мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском,— и всегда держался того мнения, что нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; со-

шелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето 53-го года он не переехал в Кунцево: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его frondeur; это название очень ему понравилось. «Да,— думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь,— меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» — или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Все это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его: Mein Pinselchen [1].

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила: стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери,

---

[1] Мой дурачок *(нем.).— Ред.*

нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию, тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера — и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным,— его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.

IV

— Пойдемте же кушать, пойдемте,— проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую.— Сядьте подле меня, Zoé,— промолвила Анна Васильевна,— а ты, Hélène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoé. У меня голова болит сегодня.

Шубин опять возвел глаза к небу; Zoé ответила ему полуулыбкой. Эта Zoé, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские роман-

сы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.

Обед продолжался довольно долго; Берсенев разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенною жадностию, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматической улыбочкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять?» — но, не дождавшись ответа, прибавила: «Сыграйте мне что-нибудь такое грустное...»

— «La dernière pensée» de Weber? [1] — спросила Зоя.

— Ах да, Вебера,— промолвила Анна Васильевна, опустилась в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.

Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шепотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь.

— Опять старые шутки,— произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.

— Старые шутки,— повторил Шубин.— Предмет-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения выводит.

— Это почему? — спросила Елена.— Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка...

— Конечно,— перебил Шубин,— она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично... польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей приятно... К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать,— прибавил он сквозь зубы.— Впрочем, вы теперь другим заняты.

---

[1] «Последнюю думу» Вебера? *(франц.) — Ред.*

И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.

— Итак, вы желали бы быть профессором? — спросила Елена Берсенева.

— Да,— возразил тот, втискивая между колен свои красные руки.— Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда...

Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепетывал.

— Вы хотите быть профессором истории? — спросила Елена.

— Да, или философии,— прибавил он, понизив голос,— если это будет возможно.

— Он уже теперь силен, как черт, в философии,— заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине,— на что ему за границу ездить?

— И вы будете вполне довольны вашим положением? — спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.

— Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича... Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да... смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело... Я никогда не забуду его последних слов.

— Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?

— Да, Елена Николаевна, в феврале.

— Говорят,— продолжала Елена,— он оставил замечательное сочинение в рукописи; правда ли это?

— Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.

— Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?

— Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные...

— Андрей Петрович,— перебила его Елена,— извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?

Берсенев слегка улыбнулся.

— Шеллингианец, это значит последователь Шеллинга, немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга...

— Андрей Петрович! — воскликнул вдруг Шубин,— ради самого бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!

— Вовсе не лекцию,— пробормотал Берсенев и покраснел,— я хотел...

— А почему ж бы и не лекцию,— подхватила Елена.— Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.

Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.

— Чему же вы смеетесь? — спросила она холодно и почти резко.

Шубин умолк.

— Ну полноте, не сердитесь,— промолвил он спустя немного.— Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках.

— Да; и о французских романах, о женских тряпках,— продолжала Елена.

— Пожалуй, и о тряпках,— возразил Шубин,— если они красивы.

— Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах.

Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.

— А, вот как? — начал он неверным голосом.— Я понимаю ваш намек; вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний?

— Я не думала отсылать вас отсюда.

— Вы хотите сказать,— продолжал запальчиво Шубин,— что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка? Не так ли-с?

Елена нахмурила брови.

— Вы не всегда так о ней отзывались, Павел Яковлевич,— заметила она.

— А! упрек! упрек теперь! — воскликнул Шубин.— Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти

свежие, пошлые щечки... Но если б *я* захотел отплатить вам упреком и напомнить вам... Прощайте-с,— прибавил он вдруг,— я готов завраться.

И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.

— Дитя,— проговорила Елена, поглядев ему вслед.

— Художник,— промолвил с тихой улыбкой Берсенев.— Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы. Это их право.

— Да,— возразила Елена,— но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки.

Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился; Берсенев снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем свободно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удается высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполовину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем.

V

Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе, Млечный Путь забелел и звезды запестрели, когда Бересенев, простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучался.

— Кто там? — раздался голос Шубина.

— Я,— отвечал Берсенев.

— Чего тебе?

— Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не стыдно?

— Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.

— Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня. Мне нужно с тобою поговорить.

— Ты не наговорился еще с Еленой?

— Полно же, полно; впусти меня!

Шубин отвечал притворным храпеньем. Берсенев пожал плечами и отправился домой.

Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило; и Берсенев, охваченный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы,— ему бы хотелось выступать совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку: он чуть-чуть вздрогнул и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу; Берсенев тихо воскликнул: «А!» — и опять остановился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом: осталось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки; всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенев шел, потупя голову, и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он приник ухом: кто-то бежал, кто-то догонял его; послышалось прерывистое дыхание, и вдруг перед ним, из черного круга тени, падавшей от большого дерева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при свете луны, вынырнул Шубин.

— Я рад, что ты пошел по этой дороге,— с трудом проговорил он,— я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя. Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?

— Домой.

— Я тебя провожу.

— Да как же ты пойдешь без шапки?

— Ничего. Я и галстух снял. Теперь тепло.

Приятели сделали несколько шагов.

— Не правда ли, я был очень глуп сегодня? — спросил внезапно Шубин.

— Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй! Из-за каких пустяков?

— Гм,— промычал Шубин.— Вот как ты выражаешься, а мне не до пустяков. Видишь ли,— прибавил он,— я должен тебе заметить, что я... что... Думай обо мне что хочешь... я... ну да! я влюблен в Елену.

— Ты влюблен в Елену! — повторил Берсенев и остановился.

— Да,— с принужденною небрежностию продолжал Шубин.— Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила другого.

— Другого? кого же?

— Кого? Тебя! — воскликнул Шубин и ударил Берсенева по плечу.

— Меня!

— Тебя,— повторил Шубин.

Берсенев отступил шаг назад и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него.

— И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.

— Что за вздор ты мелешь! — произнес наконец с досадой Берсенев.

— Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим? Пойдем вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился; но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически опрятная личность, ты... постой, я не кончил, ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми,— нет, не которыми,— *коими* столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства! А во-вторых, Елена на днях застала меня целующим руки у Зои!

— У Зои?

— Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хороши.

— Плечи?

— Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обедом я в ее присутствии бранил Зою. Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противоречий. Тут *ты* подвернулся: ты идеалист, ты веришь... во что бишь ты веришь?.. ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она

же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить... и... и... между тем...

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы.

Берсенев приблизился к нему.

— Павел,— начал он,— что это за детство? Помилуй! Что с тобою сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову, и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.

Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось.

— Андрей Петрович, — заговорил он, — ты можешь думать обо мне что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание.

Он встал.

— Какая ночь! серебристая, темная, молодая! Как хорошо теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петрович?

Берсенев ничего не отвечал и ускорил шаги.

— Куда ты торопишься? — продолжал Шубин. — Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня службу; но ты все-таки не спеши. Пой, если умеешь, пой еще громче; если не умеешь — сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звезды только и делают что смотрят на влюбленных людей, — оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович?.. Ты не отвечаешь мне... Отчего ты не отвечаешь? — заговорил опять Шубин.— О, если ты чувствуешь себя счастливым, молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных струях, под этими звездами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!.. Берсенев, ты счастлив?

Берсенев по-прежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами, находилась мелочная лавочка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и

торговалась с хозяином: из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света, Шубин глянул во внутренность лавки, остановился и кликнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Аннушка!» — повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу, налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные мелочные торговцы, крякнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсеневу со словами: «Это... это, вот видишь... тут есть у меня знакомое семейство... так это у них... ты не подумай...» — и, не докончив речи, побежал за уходившею девушкой.

— Утри, по крайней мере, свои слезы! — крикнул ему Берсенев и не мог удержаться от смеха. Но когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения; он не смеялся более. Он ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово, им произнесенное, запало глубоко ему в душу. «Павел меня дурачил, — думал он... — но она когда-нибудь полюбит... Кого полюбит она?»

У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенев присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке и, как почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Павел, — думал он, — я предчувствую: этот вечер не повторится». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том «Истории Гогенштауфенов» Раумера — и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.

VI

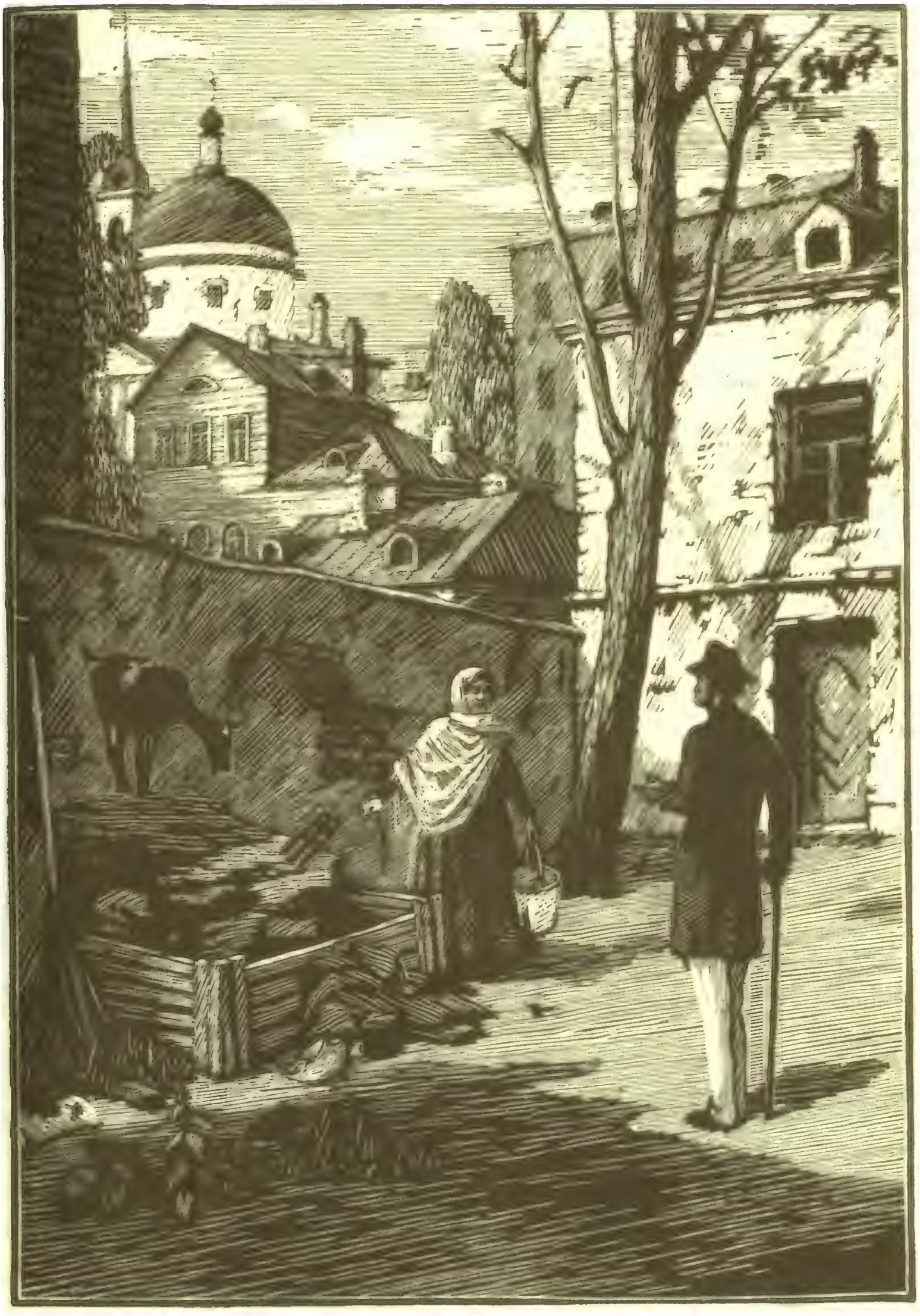
Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имела бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие: она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, бог знает в кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, — а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, — и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила докончить воспитание своей дочери, — воспитание, заметим в скобках, даже не начатое скучавшей барыней, — была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо; она то и дело влюблялась и кончила тем, что в пятидесятом году (когда Елене минуло семнадцать лет) вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стишки; она приохотила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее

занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольною важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей; зато отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничанье и уверял, что от собак да кошек в доме ступить негде. «Леночка,— кричал он ей, бывало,— иди скорей, паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибегала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая», — иронически замечал отец; но она его не слушала. На десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривенники — игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши, за кустом крапивы; с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на *всей божьей воле;* с тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на Катю, и все в ней тогда — ее черные, быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье — казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о божьей воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков: она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свиданье с Катей и запачкала себе платье; отец увидал ее и назвал замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся — и страшно и чудно стало ей на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую солдатскую песенку; Елена выучилась у ней этой песенке... Анна Васильевна подслушала ее и пришла в негодование.

— Откуда ты набралась этой мерзости? — спросила она свою дочь.

Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно и



«Накануне».

сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут...

А годы шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: изо всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима; она зажила собственною своею жизнию, но жизнию одинокою. Ее душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви? а любить некого!» — думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки; потрясенный до основания, весь ее организм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог справиться: последние следы болезни исчезли наконец, но отец Елены Николаевны все еще не без озлобления толковал об ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые, не взлетевшие крылья; но эти порывы не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее «странностей».

В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о Берсеневе, о своем разговоре с ним. Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда еще так не говорил с ней, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его

несмелых глаз, его улыбки — и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть «в ночь» через открытое окно. Долго глядела она на темное, низко нависшее небо; потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки; потом она их уронила, стала на колени перед своею постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами.

VII

На другой день, часу в двенадцатом, Берсенев отправился на обратном извозчике в Москву. Ему нужно было получить с почты деньги, купить кой-какие книги, да, кстати, ему хотелось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним. Берсеневу, во время последней беседы с Шубиным, пришла мысль пригласить Инсарова к себе на дачу. Но он не скоро отыскал его: с прежней своей квартиры он переехал на другую, до которой добраться было нелегко: она находилась на заднем дворе безобразного каменного дома, построенного на петербургский манер между Арбатом и Поварской. Тщетно Берсенев скитался от одного грязного крылечка к другому, тщетно взывал то к дворнику, то к «кому-нибудь». Дворники и в Петербурге стараются избегать взоров посетителей, а в Москве подавно: никто не откликнулся Берсеневу; только любопытный портной, в одном жилете и с мотком серых ниток на плече, выставил молча из высокой форточки свое тусклое и небритое лицо с подбитым глазом да черная безрогая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, проблеяла жалобно и проворнее прежнего зажевала свою жвачку. Какая-то женщина в старом салопе и стоптанных сапогах сжалилась наконец над Берсеневым и указала ему квартиру Инсарова. Берсенев застал его дома. Он нанимал комнату у самого того портного, который столь равнодушно взирал из форточки на затруднение забредшего человека, — большую, почти совсем пустую комнату с темно-зелеными стенами, тремя квадратными окнами, крошечною кроваткой в одном углу, кожаным диванчиком в другом и громадной клеткой, подвешенной под самый потолок; в этой клетке когда-то жил соловей. Инсаров пошел навстречу Берсеневу, как только тот переступил порог дверей, но не воскликнул: «А, это вы!» или: «Ах, боже мой! какими судьбами?», не сказал

даже: «Здравствуйте», а просто стиснул ему руку и подвел его к единственному, находившемуся в комнате стулу.

— Сядьте, — сказал он и сам присел на край стола.

— У меня, вы видите, еще беспорядок, — прибавил Инсаров, указывая на груду бумаг и книг на полу, — еще не обзавелся как должно. Некогда еще было.

Инсаров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произнося каждое слово; но его гортанный, впрочем, приятный голос звучал чем-то нерусским. Иностранное происхождение Инсарова (он был болгар родом) еще яснее сказывалось в его наружности: это был молодой человек лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалою грудью, с узловатыми руками; черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ. Одет он был в старенький, но опрятный сюртучок, застегнутый доверху.

— Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? — спросил его Берсенев.

— Эта дешевле; к университету ближе.

— Да ведь теперь вакации... И что вам за охота жить в городе летом! Наняли бы дачу, коли уж решились переезжать.

Инсаров ничего не отвечал на это замечание и предложил Берсеневу трубку, примолвив: «Извините, папирос и сигар не имею».

Берсенев закурил трубку.

— Вот я, — продолжал он, — нанял себе домик возле Кунцева. Очень дешево и очень удобно. Так что даже лишняя есть комната наверху.

Инсаров опять ничего не отвечал.

Берсенев затянулся.

— Я даже думал, — заговорил он снова, выпуская дым тонкою струей,— что если бы, например, нашелся кто-нибудь... вы, например, так думал я... который бы захотел... который бы согласился поместиться у меня там наверху... как бы это хорошо было! Как вы полагаете, Дмитрий Никанорыч?

Инсаров вскинул на него свои небольшие глазки.

— Вы мне предлагаете жить у вас на даче?

— Да; у меня наверху там есть лишняя комната.

— Очень вам благодарен, Андрей Петрович; но я полагаю, средства мои мне не позволяют этого.

— То есть как же не позволяют?

— Не позволяют жить на даче. Мне две квартиры держать невозможно.

— Да ведь я...— начал было Берсенев и остановился.— Вам от этого никаких лишних расходов бы не было, — продолжал он. — Здешняя квартира осталась бы, положим, за вами; зато там все очень дешево; можно бы даже так устроиться, чтоб обедать, например, вместе.

Инсаров молчал. Берсеневу стало неловко.

— По крайней мере, навестите меня когда-нибудь, — начал он, погодя немного. — От меня в двух шагах живет семейство, с которым мне очень хочется вас познакомить. Какая там есть чудная девушка, если бы вы знали, Инсаров! Там также живет один мой близкий приятель, человек с большим талантом; я уверен, что вы с ним сойдетесь. (Русский человек любит потчевать — коли нечем иным, так своими знакомыми.) Право, приезжайте. А еще лучше, переселяйтесь к нам, право. Мы бы могли вместе работать, читать... Я, вы знаете, занимаюсь историей, философией. Все это вас интересует, у меня и книг много.

Инсаров встал и прошелся по комнате.

— Позвольте узнать, — спросил он наконец, — сколько вы платите за вашу дачу?

— Сто рублей серебром.

— А сколько в ней всего комнат?

— Пять.

— Стало быть, по расчету, приходилось бы за одну комнату двадцать рублей?

— По расчету... Да помилуйте, она мне совсем не нужна. Просто стоит пустая.

— Может быть; но послушайте,— прибавил Инсаров с решительным и в то же время простодушным движением головы.— Я только в таком случае могу воспользоваться вашим предложением, если вы согласитесь взять с меня деньги по расчету. Двадцать рублей дать я в силах, тем более что, по вашим словам, я буду там делать экономию на всем прочем.

— Разумеется; но, право же, мне совестно.

— Иначе нельзя, Андрей Петрович.

— Ну, как хотите; только какой же вы упрямый!

Инсаров опять ничего не ответил.

Молодые люди условились насчет дня, в который Инсаров должен был переселиться. Позвали хозяина; но он сперва прислал свою дочку, девочку лет семи, с огромным пестрым плат-

ком на голове; она внимательно, чуть не с ужасом, выслушала все, что ей сказал Инсаров, и ушла молча; вслед за ней появилась ее мать, беременная на сносе, тоже с платком на голове, только крошечным. Инсаров объяснил ей, что он переезжает на дачу возле Кунцева, но оставляет квартиру за собой и поручает ей все свои вещи; портниха тоже словно испугалась и удалилась. Наконец, пришел хозяин; этот сначала как будто все понял и только задумчиво проговорил: «Возле Кунцева?» — а потом вдруг отпер дверь и закричал: «За вами, што ль, фатера?» Инсаров его успокоил. «Потому, надо знать»,— повторил портной сурово и скрылся.

Берсенев отправился восвояси, очень довольный успехом своего предложения. Инсаров проводил его до двери с любезною, в России мало употребительною вежливостью и, оставшись один, бережно снял сюртук и занялся раскладыванием своих бумаг.

VIII

Вечером того же дня Анна Васильевна сидела в своей гостиной и собиралась плакать. Кроме ее, в комнате находился ее муж да еще некто Увар Иванович Стахов, троюродный дядя Николая Артемьевича, отставной корнет лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал, а если и думал, так берег свои думы про себя. Раз только в жизни он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно: он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке — «контробомбардоне» и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и через какую контору? Увар Иванович носил просторный сюртук табачного цвета и белый платок на шее, ел часто и много, и только в затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы... как-нибудь, того...»

Увар Иванович сидел в креслах возле окна и дышал напряженно. Николай Артемьевич ходил большими шагами по ком-

нате, засунув руки в карманы; лицо его выражало неудовольствие.

Он остановился наконец и покачал головой.

— Да,— начал он,— в наше время молодые люди были иначе воспитаны. Молодые люди не позволяли себе манкировать старшим. (Он произнес: *ман,* в нос, по-французски.) А теперь я только гляжу и удивляюсь. Может быть, не прав *я*, а *они* правы; может быть. Но все же у меня есть свой взгляд на вещи: не олухом же я родился. Как вы об этом думаете, Увар Иванович?

Увар Иванович только поглядел на него и поиграл пальцами.

— Елену Николаевну, например,— продолжал Николай Артемьевич,— Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нее не довольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу, до малейшего таракана или лягушки, словом все, за исключением родного отца. Ну, прекрасно; я это знаю и уж не суюсь. Потому тут и нервы, и ученость, и паренье в небеса, это все не по нашей части. Но господин Шубин... положим, он артист удивительный, необыкновенный; я об этом не спорю; однако манкировать старшему, человеку, которому он все-таки, можно сказать, обязан многим,— это я, признаюсь, dans mon gros bon sens [1], допустить не могу. Я от природы не взыскателен, нет; но всему есть мера.

Анна Васильевна позвонила с волнением. Вошел казачок.

— Что же Павел Яковлевич не идет? — проговорила она.— Что это я его дозваться не могу?

Николай Артемьевич пожал плечами.

— Да на что, помилуйте, вы хотите его позвать? Я этого вовсе не требую, не желаю даже.

— Как на что, Николай Артемьевич? Он вас обеспокоил; может быть, помешал курсу вашего лечения. Я хочу объясниться с ним. Я хочу знать, чем он мог вас прогневать.

— Я вам повторяю, что я этого не требую. И что за охота... devant les domestiques...[2]

Анна Васильевна слегка покраснела.

— Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевич. Я никогда... devant... les domestiques... Ступай, Федюшка, да, смотри, сейчас приведи сюда Павла Яковлевича.

Казачок вышел.

---

[1] по моему простому здравому смыслу *(франц.).— Ред.*

[2] при слугах... *(франц.) — Ред.*

— И нисколько это все не нужно,— проговорил сквозь зубы Николай Артемьевич и снова принялся шагать по комнате.— Я совсем не к тому речь вел.

— Помилуйте, Paul должен извиниться перед вами.

— Помилуйте, на что мне его извинения? И что такое извинения? Это всё фразы.

— Как на что? Его вразумить надо.

— Вразумите его вы сами. Он вас скорей послушает. А я на него не в претензии.

— Нет, Николай Артемьевич, вы сегодня с самого вашего приезда не в духе. Вы даже, на мои глаза, похудели в последнее время. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает.

— Курс лечения мне необходим,— заметил Николай Артемьевич,— у меня печень не в порядке.

В это мгновение вошел Шубин. Он казался усталым. Легкая, чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах.

— Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? — промолвил он.

— Да, конечно, спрашивала. Помилуй, Paul, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать Николаю Артемьевичу?

— Николай Артемьевич вам жаловался на меня? — спросил Шубин и с тою же усмешкой на губах глянул на Стахова.

Тот отвернулся и опустил глаза.

— Да, жаловался. Я не знаю, чем ты перед ним провинился, но ты должен сейчас извиниться, потому что его здоровье очень теперь расстроено, и, наконец, мы все в молодых летах должны уважать своих благодетелей.

«Эх, логика!» — подумал Шубин и обратился к Стахову:

— Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич,— проговорил он с учтивым полупоклоном,— если я вас точно чем-нибудь обидел.

— Я вовсе... не с тем,— возразил Николай Артемьевич, по-прежнему избегая взоров Шубина.— Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек.

— О, это не подвержено никакому сомнению! — промолвил Шубин.— Но позвольте полюбопытствовать: известно ли Анне Васильевне, в чем именно состоит моя вина?

— Нет, я ничего не знаю,— заметила Анна Васильевна и вытянула шею.

— О боже мой! — торопливо воскликнул Николай Артемьевич,— сколько раз уж я просил, умолял, сколько раз говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены! В кои-то

веки приедешь домой, хочешь отдохнуть,— говорят: семейный круг, intérieur, будь семьянином,— а тут сцены, неприятности. Минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб... или... или куда-нибудь. Человек живой, у него физика, она имеет свои требования, а тут...

И, не докончив начатой речи, Николай Артемьевич быстро вышел вон и хлопнул дверью. Анна Васильевна посмотрела ему вслед.

— В клуб? — горько прошептала она.— Не в клуб вы едете, ветреник! В клубе некому дарить лошадей собственного завода — да еще серых! Любимой моей масти. Да, да, легкомысленный человек,— прибавила она, возвысив голос,— не в клуб вы едете. А ты, Paul,— продолжала она, вставая,— как тебе не стыдно? Кажется, не маленький. Вот теперь у меня голова заболела. Где Зоя, не знаешь?

— Кажется, у себя наверху. Рассудительная сия лисичка в такую погоду всегда в свою норку прячется.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста! — Анна Васильевна поискала вокруг себя.— Рюмочку мою с натертым хреном ты не видел? Paul, сделай одолжение, вперед не серди меня.

— Где вас рассердить, тетушка? Дайте мне вашу ручку поцеловать. А хрен ваш я видел в кабинете на столике.

— Дарья его вечно где-нибудь позабудет,— промолвила Анна Васильевна и удалилась, шумя шелковым платьем.

Шубин хотел было пойти за ней, но остановился, услышав за собою медлительный голос Увара Ивановича.

— Не так бы тебя, молокососа... следовало,— говорил вперемежку отставной корнет.

Шубин подошел к нему.

— А за что же бы меня следовало, достохвальный Увар Иванович?

— За что? Млад ты, так уважай. Да.

— Кого?

— Кого? Известно кого. Скаль зубы-то.

Шубин скрестил руки на груди.

— Ах вы, представитель хорового начала,— воскликнул он,— черноземная вы сила, фундамент вы общественного здания!

Увар Иванович заиграл пальцами.

— Полно, брат, не искушай.

— Ведь вот,— продолжал Шубин,— не молодой, кажется, дворянин, а сколько в нем еще таится счастливой, детской веры! Уважать! Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за что

Николай Артемьевич гневается на меня? Ведь я с ним сегодня целое утро провел у его немки; ведь мы сегодня втроем пели «Не отходи от меня»; вот бы вы послушали. Вас, кажется, это берет. Пели мы, сударь мой, пели — ну и скучно мне стало; вижу я: дело неладно, нежности много. Я и начал дразнить обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассердилась, а потом на него; а потом он на нее рассердился и сказал ей, что он только дома счастлив и что у него там рай; а она ему сказала, что он нравственности не имеет; а я ей сказал «Ах!» по-немецки; он ушел, а я остался; он приехал сюда, в рай то есть, а в раю ему тошно. Вот он и принялся брюзжать. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват?

— Конечно, ты,— возразил Увар Иванович.

Шубин уставился на него.

— Осмелюсь спросить у вас, почтенный витязь,— начал он подобострастным голосом,— эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности или же под наитием мгновенной потребности произвести сотрясение в воздухе, называемое звуком?

— Не искушай, говорят! — простонал Увар Иванович.

Шубин засмеялся и выбежал вон.

— Эй! — воскликнул четверть часа спустя Увар Иванович,— того... рюмку водки.

Казачок принес водки и закуску на подносе. Увар Иванович тихонько взял с подноса рюмку и долго, с усиленным вниманием глядел на нее, как будто не понимая хорошенько, что у него такое в руке. Потом он посмотрел на казачка и спросил: не Васькой ли его зовут? Потом он принял огорченный вид, выпил водки, закусил и полез доставать носовой платок из кармана. Но казачок уже давно отнес поднос и графин на место, и остаток селедки съел, и уже успел соснуть, прикорнув к барскому пальто, а Увар Иванович все еще держал платок перед собой на растопыренных пальцах и с тем же усиленным вниманием посматривал то в окно, то на пол и стены.

IX

Шубин вернулся к себе во флигель и раскрыл было книгу. Камердинер Николая Артемьевича осторожно вошел в его комнату и вручил ему небольшую трехугольную записку, запечатанную крупною гербовою печатью. «Я надеюсь,— стояло в этой записке,— что вы, как честный человек, не позволите себе

намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь. Вам известны мои отношения и мои правила, незначительность самой суммы и другие обстоятельства; наконец, есть семейные тайны, которые должно уважать, и семейное спокойствие есть такая святыня, которую одни êtres sans coeur [1], к которым я не имею причины вас причислить, отвергают! (Сию записку возвратите.) Н. С.».

Шубин начертил внизу карандашом: «Не беспокойтесь — я еще пока платков из карманов не таскаю»; возвратил записку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро выскользнула у него из рук. Он посмотрел на заалевшееся небо, на две молодые могучие сосны, стоявшие особняком от остальных деревьев, подумал: «Днем сосны синеватые бывают, а какие они великолепно-зеленые вечером»,— и отправился в сад, с тайною надеждой встретить там Елену. Он не обманулся. Впереди, на дороге между кустами, мелькнуло ее платье. Он нагнал ее и, поравнявшись с нею, промолвил:

— Не глядите в мою сторону, я не стóю.

Она бегло взглянула на него, бегло улыбнулась и пошла дальше, в глубь сада. Шубин отправился вслед за нею.

— Я прошу вас не смотреть на меня,— начал он,— а заговариваю с вами: противоречие явное! Но это все равно, мне не впервой. Я сейчас вспомнил, что я еще не попросил у вас как следует прощения в моей глупой вчерашней выходке. Вы не сердитесь на меня, Елена Николаевна?

Она остановилась и не тотчас отвечала ему — не потому, чтоб она сердилась, а ее мысли были далеко.

— Нет,— сказала она наконец,— я нисколько не сержусь.

Шубин закусил губу.

— Какое озабоченное... и какое равнодушное лицо! — пробормотал он.— Елена Николаевна,— продолжал он, возвысив голос,— позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя, как следует порядочному человеку, а потом запил. Вот однажды рано поутру мой приятель встречает его на улице (а уж они, заметьте, раззнакомились), встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да отвернулся от него. А тот-то подошел, да и говорит: «Я бы не рассердился, говорит, если б вы не поклонились, но зачем отворачиваться? Может быть, это я с горя. Мир моему праху!»

Шубин умолк.

---

[1] бессердечные существа *(франц.).— Ред.*

— И только? — спросила Елена.

— Только.

— Я вас не понимаю. На что вы намекаете? Сейчас вы говорили мне, чтоб я не глядела в вашу сторону.

— Да, а теперь я вам рассказал, как нехорошо отворачиваться.

— Да разве я...— начала было Елена.

— А разве нет?

Елена слегка покраснела и протянула Шубину руку. Он крепко пожал ее.

— Вот вы меня как будто поймали на дурном чувстве,— сказала Елена,— а ваше подозрение не справедливо. Я и не думала чуждаться вас.

— Положим, положим. Но сознайтесь, что у вас в эту минуту тысяча мыслей в голове, из которых вы мне ни одной не поверите. Что? небось не правду я сказал?

— Может быть.

— Да отчего же это? отчего?

— Мои мысли мне самой не ясны,— проговорила Елена.

— Тут-то их и доверять другому,— подхватил Шубин.— Но я вам скажу, в чем дело. Вы дурного мнения обо мне.

— Я?

— Да, вы. Вы воображаете, что во мне все наполовину притворно, потому что я художник; что я не способен не только ни на какое дело,— в этом вы, вероятно, правы,— но даже ни к какому истинному, глубокому чувству: что я и плакать-то искренно не могу, что я болтун и сплетник,— и все потому, что я художник. Что же мы после этого за несчастные, богом убитые люди? Вы, например, я побожиться готов, не верите в мое раскаяние.

— Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю. Но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже.

Шубин дрогнул.

— Ну, я вижу, это, как выражаются доктора, неизлечимый казус, casus incurabilis. Тут остается только поникнуть головой да покориться. А между тем, господи! неужели это правда, неужели же я все с собой вожусь, когда рядом живет такая душа? И знать, что никогда не проникнешь в эту душу, никогда не будешь ведать, отчего она грустит, отчего она радуется, что́ в ней бродит, чего ей хочется, куда она идет... Скажите,— промолвил он после небольшого молчания,— вы никогда, ни за что, ни в каком случае не полюбили бы художника?

Елена посмотрела ему прямо в глаза.

— Не думаю, Павел Яковлевич; нет.

— Что и требовалось доказать,— проговорил с комической унылостию Шубин.— Засим, я полагаю, мне приличнее не мешать вашей уединенной прогулке. Профессор спросил бы вас: а на основании каких данных вы сказали нет? Но я не профессор, я дитя, по вашим понятиям; но от детей не отворачиваются, помните. Прощайте. Мир моему праху!

Елена хотела было остановить его, но подумала и тоже сказала:

— Прощайте.

Шубин вышел со двора. В недальнем расстоянии от дачи Стаховых встретился ему Берсенев. Он шел проворными шагами, наклонив голову и сдвинув шляпу на затылок.

— Андрей Петрович! — крикнул Шубин.

Тот остановился.

— Ступай, ступай,— продолжал Шубин,— я только так, я тебя не задерживаю,— и проберись прямо в сад; там ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждет... кого-то она ждет во всяком случае... Понимаешь ты силу этих слов: она ждет! А знаешь, брат, какое удивительное обстоятельство? Представь, вот уже два года, как я живу с ней в одном доме, я в нее влюблен, и только сейчас, сию минуту, не то что понял, а увидал ее. Увидал и руки расставил. Не взирай на меня, пожалуйста, с этою лжеязвительною усмешкой, которая мало идет к твоим степенным чертам. Ну да, разумею, ты хочешь напомнить мне об Аннушке. Что же? Я не отказываюсь. Нашему брату Аннушки под стать. Да здравствуют же Аннушки, и Зои, и самые даже Августины Христиановны! Ты ступай к Елене теперь, а я отправлюсь... ты думаешь, к Аннушке? Нет, брат, хуже: к князю Чикурасову. Есть такой меценат из казанских татар, вроде Волгина. Видишь ты это пригласительное письмо, эти буквы: R. S. V. P.? [1] И в деревне мне нет покоя. Addio! [2]

Берсенев выслушал тираду Шубина молча и как будто конфузясь немножко за него; потом он вошел на двор стаховской дачи. А Шубин действительно поехал к князю Чикурасову, которому наговорил, с самым любезным видом, самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело, и, расставшись, все злились.

---

[1] Répondez s'il vous plaît.— Ответьте, пожалуйста *(франц.).— Ред.*

[2] Прощай! *(итал.) — Ред.*

Так два малознакомых господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, приторно съежат глаза, нос и щеки и тотчас же, миновав друг друга, принимают прежнее, равнодушное или угрюмое, большею частию геморроидальное выражение.

X

Елена дружелюбно встретила Берсенева, уже не в саду, а в гостиной, и тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вчерашний разговор. Она была одна: Николай Артемьевич тихонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала наверху с мокрою повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и сложив на коленях ручки; Увар Иванович почивал в мезонине на широком и удобном диване, получившем прозвище «Самосон». Берсенев снова упомянул о своем отце: он свято чтил его память. Скажем и мы несколько слов о нем.

Владелец восьмидесяти двух душ, которых он освободил перед смертию, иллюминат, старый геттингенский студент, автор рукописного сочинения о «Проступлениях или прообразованиях духа в мире», сочинения, в котором шеллингианизм, сведенборгианизм и республиканизм смешались самым оригинальным образом, отец Берсенева привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его матери, и сам занялся его воспитанием. Он подготовлялся к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно и совершенно неуспешно: он был мечтатель, книжник, мистик, говорил с запинкой, глухим голосом, выражался темно и кудряво, все больше сравнениями, дичился даже сына, которого любил страстно. Не мудрено, что сын только хлопал глазами за его уроками и не подвигался ни на волос. Старик (ему было под пятьдесят лет, он женился очень поздно) догадался наконец, что дело не идет на лад, и поместил своего Андрюшу в пансион. Андрюша стал учиться, но из-под родительского присмотра не вышел: отец навещал его беспрестанно, надоедая содержателю своими наставлениями и беседами; надзиратели также тяготились незваным гостем: он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудреные книги о воспитании. Даже школьникам становилось неловко при виде смуглого и рябого лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной в какой-то вострополый серый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрюмый, никогда не улыбавшийся господин, с журавлиной походкой и длинным носом — сердцем

сокрушался и болел о каждом из них почти так же, как о собственном сыне. Он однажды вздумал побеседовать с ними о Вашингтоне. «Юные питомцы!» — начал он, но при первых звуках его странного голоса юные питомцы разбежались. Честный геттингенец жил не на розах: он был постоянно подавлен ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой Берсенев поступил в университет, он ездил с ним на лекции; но уже здоровье начинало изменять ему. События 48-го года потрясли его до основания (надо было всю книгу переделать), и он умер зимой 53-го года, не дождавшись выхода сына из университета, но заранее поздравив его кандидатом и благословив его на служение науке. «Передаю тебе светоч,— говорил он ему за два часа до смерти,— я держал его, покамест мог, не выпускай и ты сей светоч до конца».

Берсенев долго говорил с Еленой о своем отце. Неловкость, которую он чувствовал в ее присутствии, исчезла, и пришепетывал он не так сильно. Разговор перешел к университету.

— Скажите,— спросила его Елена,— между вашими товарищами были замечательные люди?

Берсенев вспомнил слова Шубина.

— Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между нами ни одного замечательного человека. Да и где! Было, говорят, время в Московском университете! Только не теперь. Теперь это училище — не университет. Мне было тяжело с моими товарищами,— прибавил он, понизив голос.

— Тяжело?..— прошептала Елена.

— Впрочем,— продолжал Берсенев,— я должен оговориться. Я знаю одного студента,— правда, он не моего курса,— это действительно замечательный человек.

— Как его зовут? — с живостью спросила Елена.

— Инсаров, Дмитрий Никанорович. Он болгар.

— Не русский?

— Нет, не русский.

— Зачем же он живет в Москве?

— Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какою целью он учится? У него одна мысль: освобождение его родины. И судьба его необыкновенная. Отец его был довольно зажиточный купец, родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой городок, а в старину это была столица Болгарии, когда еще Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношения с Россией; сестра его, родная тетка Инсарова, до сих пор живет в Киеве, замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В тысяча восемьсот тридцать пятом

году, стало быть восемнадцать лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Инсарова вдруг пропала без вести; через неделю ее нашли зарезанною.— Елена содрогнулась. Берсенев остановился.

— Продолжайте, продолжайте,— проговорила она.

— Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага; ее муж, отец Инсарова, дознался правды, хотел отмстить, но он только ранил кинжалом агу... Его расстреляли.

— Расстреляли? без суда?

— Да. Инсарову в то время пошел восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участи братниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, а оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски.

— Он говорит по-русски?

— Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет (это было в начале сорок восьмого года), он пожелал вернуться на родину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль и поперек, провел в ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался большим опасностям; я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно быть след раны; но он об этом говорить не любит. Он тоже в своем роде молчальник. Я пытался его расспрашивать — не тут-то было. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В пятидесятом году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими, а потом, когда он выйдет из университета...

— Что же тогда? — перебила Елена.

— А что бог даст. Мудрено вперед загадывать.

Елена долго не спускала глаз с Берсенева.

— Вы очень заинтересовали меня своим рассказом,— промолвила она.— Каков он из себя, этот ваш, как вы его назвали... Инсаров?

— Как вам сказать? По-моему, недурен. Да вот вы сами его увидите.

— Как так?

— Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире.

— Неужели? Да захочет ли он прийти к нам?

— Еще бы! Он очень будет рад.

— Он не горд?

— Он? Нимало. То есть, если хотите, он горд, только не

в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, взаймы ни от кого не возьмет.

— А он беден?

— Да, не богат. Ездивши в Болгарию, он собрал кой-какие крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему помогает; но все это безделица.

— У него, должно быть, много характера,— заметила Елена.

— Да. Это железный человек. И в то же время, вы увидите, в нем есть что-то детское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность — не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего... Да вот я его к вам приведу, погодите.

— И не застенчив он? — спросила опять Елена.

— Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.

— А разве вы самолюбивы?

Берсенев смешался и развел руками.

— Вы возбуждаете мое любопытство,— продолжала Елена.— Ну, а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?

Берсенев улыбнулся.

— Мстят только в романах, Елена Николаевна; да и притом в двенадцать лет этот ага мог умереть.

— Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил?

— Ничего.

— Зачем он ездил в Софию?

— Там отец его жил.

Елена задумалась.

— Освободить свою родину! — промолвила она.— Эти слова даже выговорить страшно, так они велики...

В это мгновение вошла в комнату Анна Васильевна, и разговор прекратился.

Странные ощущения волновали Берсенева, когда он возвращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Елену с Инсаровым, он находил весьма естественным то глубокое впечатление, которое произвели на нее его рассказы о молодом болгаре... не сам ли он старался усилить это впечатление! Но тайное и темное чувство скрытно гнездилось в его сердце; он грустил нехорошею грустию. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за «Историю Гогенштауфенов» и начать читать ее с самой той страницы, на которой он остановился накануне.

XI

Два дня спустя Инсаров, по обещанию, явился к Берсеневу с своею поклажей. Слуги у него не было, но он без всякой помощи привел свою комнату в порядок, уставил мебель, подтер пыль и вымел пол. Особенно долго возился он с письменным столом, который никак не хотел поместиться в назначенный для него простенок; но Инсаров, с свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего. Устроившись, он попросил Берсенева взять с него десять рублей вперед и, вооружившись толстой палкой, отправился осматривать окрестности своего нового жилища. Он вернулся часа через три и на приглашение Берсенева разделить с ним его трапезу отвечал, что он не отказывается обедать с ним сегодня, но что он уже переговорил с хозяйкой дома и будет вперед получать свою еду от нее.

— Помилуйте,— возразил Берсенев,— вас будут скверно кормить: эта баба совсем стряпать не умеет. Отчего вы не хотите обедать со мною? Мы бы расход пополам делили.

— Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете,— отвечал с спокойной улыбкой Инсаров.

В этой улыбке было что-то такое, что не позволяло настаивать: Берсенев слова не прибавил. После обеда он предложил Инсарову свести его к Стаховым; но тот отвечал, что располагает посвятить весь вечер на переписку с своими болгарами и потому просит его отсрочить посещение Стаховых до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже прежде известна Берсеневу; но только теперь, находясь с ним под одной кровлей, он мог окончательно убедиться в том, что Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною; но он скоро привык к ней и кончил тем, что находил ее если не почтенною, то, по крайней мере, весьма удобною.

На второй день после своего переселения Инсаров встал в четыре часа утра, обегал почти все Кунцево, искупался в реке, выпил стакан холодного молока и принялся за работу; а работы у него было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, переводил болгарские песни и летописи, собирал материалы о восточном вопросе, составлял русскую грамматику для болгар, болгарскую для русских. Берсенев зашел к нему и потолковал с ним о Фейербахе. Инсаров слушал его внимательно, возражал редко, но дельно; из возра-

жений его видно было, что он старался дать самому себе отчет в том, нужно ли ему заняться Фейербахом, или же можно обойтись без него. Берсенев навел потом речь на его занятия и спросил: не покажет ли он ему что-нибудь? Инсаров прочел ему свой перевод двух или трех болгарских песен и пожелал узнать его мнение. Берсенев нашел перевод правильным, но не довольно оживленным. Инсаров принял его замечание к сведению. От песен Берсенев перешел к современному положению Болгарии, и тут он впервые заметил, какая совершалась перемена в Инсарове при одном упоминовении его родины: не то чтобы лицо его разгоралось или голос возвышался — нет! но все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь. Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. Он говорил, не спеша, о турках, об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об их надеждах; сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась в каждом его слове.

«А ведь, чего доброго,— подумал между тем Берсенев,— турецкий ага, пожалуй, поплатился ему за смерть матери и отца».

Инсаров не успел еще умолкнуть, как дверь растворилась и на пороге появился Шубин.

Он вошел в комнату как-то слишком развязно и добродушно; Берсенев, который знал его хорошо, тотчас понял, что его что-то коробило.

— Рекомендуюсь без церемоний,— начал он с светлым и открытым выражением лица,— моя фамилия Шубин; я приятель вот этого молодого человека. (Он указал на Берсенева.) Ведь вы господин Инсаров, не так ли?

— Я Инсаров.

— Так дайте же руку и познакомимтесь. Не знаю, говорил ли вам Берсенев обо мне, а мне он много говорил об вас. Вы здесь поселились? Отлично! Не сердитесь на меня, что я так пристально на вас гляжу. Я по ремеслу моему ваятель и предвижу, что в скором времени попрошу у вас позволения слепить вашу голову.

— Моя голова к вашим услугам,— проговорил Инсаров.

— Что же мы делаем сегодня, а? — заговорил Шубин, внезапно садясь на низенький стул и опираясь обеими руками на широко расставленные колени.— Андрей Петрович, есть какой-нибудь план на нынешний день у вашего благородия? Погода

славная; сеном и сухою земляникой пахнет так... словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь фокус. Покажем новому обитателю Кунцева все его многочисленные красоты. («А его коробит»,— продолжал думать про себя Берсенев.) Ну, что ж ты молчишь, мой друг Горацио? Раскрой свои вещие уста. Сочиним мы фокус или нет?

— Я не знаю,— заметил Берсенев,— как Инсаров. Он, кажется, собирается работать.

Шубин повернулся на стуле.

— Вы хотите работать? — спросил он как-то в нос.

— Нет,— отвечал тот,— нынешний день я могу посвятить прогулке.

— А! — промолвил Шубин.— Ну и прекрасно. Ступайте, друг мой Андрей Петрович, прикройте шляпой вашу мудрую голову, и пойдемте куда глаза глядят. Наши глаза молодые — глядят далеко. Я знаю трактирчик прескверненький, где нам дадут обедишко препакостный; а нам будет очень весело. Пойдемте.

Полчаса спустя они все трое шли по берегу Москвы-реки. У Инсарова оказался довольно странный, ушастый картуз, от которого Шубин пришел в не совсем естественный восторг. Инсаров выступал не спеша, глядел, дышал, говорил и улыбался спокойно: он отдал этот день удовольствию и наслаждался вполне. «Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям»,— шепнул Шубин Берсеневу на ухо. Сам Шубин очень дурачился, выбегал вперед, становился в позы известных статуй, кувыркался на траве: спокойствие Инсарова не то чтобы раздражало его, а заставляло его кривляться. «Что ты так егозишь, француз!» — раза два заметил ему Берсенев. «Да, я француз, полуфранцуз,— возражал ему Шубин,— а ты держи середину между шуткою и серьезом, как говаривал мне один половой». Молодые люди повернули прочь от реки и пошли по узкой и глубокой рытвине между двумя стенами золотой высокой ржи; голубоватая тень падала на них от одной из этих стен; лучистое солнце, казалось, скользило по верхушкам колосьев; жаворонки пели, перепела кричали; повсюду зеленели травы; теплый ветерок шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов. После долгих странствований, отдыхов, болтовни (Шубин пробовал даже играть в чехарду с каким-то прохожим беззубым мужичком, который все смеялся, что с ним ни делали господа) молодые люди добрели до «скверненького» трактирчика. Слуга чуть не сшиб каждого из них с ног и действительно накормил их очень дурным обедом, с каким-то забалканским

вином, что, впрочем, не мешало им веселиться от души, как предсказывал Шубин; сам он веселился громче всех - и меньше всех. Он пил здоровье непонятного, но великого Венелина, здоровье болгарского короля Крума, Хрума или Хрома, жившего чуть не в Адамовы времена.

— В девятом столетии,— поправил его Инсаров.

— В девятом столетии? — воскликнул Шубин.— О, какое счастье!

Берсенев заметил, что посреди всех своих проказ, выходок и шуток Шубин все как будто бы экзаменовал Инсарова, как будто щупал его и волновался внутренно,— а Инсаров оставался по-прежнему спокойным и ясным.

Наконец они вернулись домой, переоделись и, чтобы уже не выходить из колеи, в которую попали с утра, решились отправиться в тот же вечер к Стаховым. Шубин побежал вперед известить об их приходе.

XII

— *Ирой* Инсаров сейчас сюда пожалует! — торжественно воскликнул он, входя в гостиную Стаховых, где в ту минуту находились только Елена да Зоя.

— Wer? [1] — спросила по-немецки Зоя. Взятая врасплох, она всегда выражалась на родном языке. Елена выпрямилась. Шубин поглядел на нее с игривою улыбочкой на губах. Ей стало досадно, но она ничего не сказала.

— Вы слышали,— повторил он,— господин Инсаров сюда идет.

— Слышала,— отвечала она,— и слышала, как вы его назвали. Удивляюсь вам, право. Нога господина Инсарова еще здесь не была, а вы уже считаете за нужное ломаться.

Шубин вдруг опустился.

— Вы правы, вы всегда правы, Елена Николаевна,— пробормотал он,— но это я только так, ей-богу. Мы целый день с ним вместе гуляли, и он, я уверяю вас, отличный человек.

— Я об этом вас не спрашивала,— промолвила Елена и встала.

— Господин Инсаров молод? — спросила Зоя.

— Ему сто сорок четыре года,— отвечал с досадой Шубин.

Казачок доложил о приходе двух приятелей. Они вошли. Берсенев представил Инсарова. Елена попросила их сесть и

---

[1] Кто? *(нем.) — Ред.*

сама села, а Зоя отправилась наверх: надо было предуведомить Анну Васильевну. Начался разговор, довольно незначительный, как все первые разговоры. Шубин наблюдал молчком из уголка, но наблюдать было не за чем. В Елене он замечал следы сдержанной досады против него, Шубина,— и только. Он глядел на Берсенева и на Инсарова и, как ваятель, сравнивал их лица. «Оба,— думал он,— не красивы собой; у болгара характерное, скульптурное лицо; вот теперь оно хорошо осветилось; у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть. А пожалуй, и в того и в другого влюбиться можно. Она еще не любит, но полюбит Берсенева»,— решил он про себя. Анна Васильевна появилась в гостиную, и разговор принял оборот совершенно *дачный,* именно дачный, не деревенский. То был разговор весьма разнообразный по обилию обсуждаемых предметов; но коротенькие, довольно томительные паузы прерывали его каждые три минуты. В одну из этих пауз Анна Васильевна обратилась к Зое. Шубин понял ее немой намек и скорчил кислую рожу, а Зоя села за фортепьяно, сыграла и спела все свои штучки. Увар Иванович показался было из-за двери, но пошевелил перстами и отретировался. Потом подали чай, потом прошлись всем обществом по саду... На дворе стемнело, и гости удалились.

Инсаров действительно произвел на Елену меньше впечатления, чем она сама ожидала, или, говоря точнее, он произвел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, и лицо его ей понравилось; но все существо Инсарова, спокойно твердое и обыденно простое, как-то не ладилось с тем образом, который составился у нее в голове от рассказов Берсенева. Елена, сама того не подозревая, ожидала чего-то более «фатального». «Но,— думала она,— он сегодня говорил очень мало, я сама виновата; я не расспрашивала его; подождем до другого раза... а глаза у него выразительные, честные глаза!» Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку, и она недоумевала: не такими воображала она себе людей, подобных Инсарову, «героев». Это последнее слово напомнило ей Шубина, и она, уже лежа в постели, вспыхнула и рассердилась.

— Как вам понравились ваши новые знакомые? — спросил на возвратном пути Берсенев у Инсарова.

— Они мне очень понравились,— отвечал Инсаров,— особенно дочь. Славная, должно быть, девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение.

— Надо будет к ним ходить почаще,— заметил Берсенев.

— Да, надо,— проговорил Инсаров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас заперся в своей комнате, но свеча горела у него далеко за полночь.

Берсенев не успел еще прочесть страницу из Раумера, как горсть брошенного мелкого песку стукнула о стекла его окна. Он невольно вздрогнул, раскрыл окно и увидал Шубина, бледного как полотно.

— Экой ты неугомонный! ночная ты бабочка! — начал было Берсенев.

— Тс! — перебил его Шубин,— я пришел к тебе украдкой, как Макс к Агате. Мне непременно нужно сказать тебе два слова наедине.

— Да войди же в комнату.

— Нет, не нужно,— возразил Шубин и облокотился на оконницу,— этак веселее, больше на Испанию похоже. Во-первых, поздравляю тебя: твои акции поднялись. Твой хваленый необыкновенный человек провалился. За это я тебе поручиться могу. А чтоб тебе доказать мою беспристрастность, слушай: вот формулярный список господина Инсарова. Талантов никаких, поэзии *нема,* способностей к работе пропасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здравый и живой; сушь и сила, и даже дар слова, когда речь идет об его, между нами сказать, скучнейшей Болгарии. Что? ты скажешь, я несправедлив? Еще замечание: ты с ним никогда на *ты* не будешь, и никто с ним на *ты* не бывал; я, как артист, ему противен, чем я горжусь. Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука! Но все эти качества, слава богу, не нравятся женщинам. Обаяния нет, *шарму;* не то что в нас с тобой.

— К чему ты меня приплел? — пробормотал Берсенев.— И в остальном ты не прав: ты ему нисколько не противен, и с своими соотечественниками он на *ты*... я это знаю.

— Это другое дело! Для них он герой; а, признаться сказать, я себе героев иначе представляю; герой не должен уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом — стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра.

— Что тебя Инсаров так занимает? — спросил Берсенев.— Неужели ты только для того прибежал сюда, чтоб описать мне его характер?

— Я пришел сюда,— начал Шубин,— потому что мне дома очень было грустно.

— Вот как! Уже не хочешь ли ты опять заплакать?

— Смейся! Я пришел сюда, потому что я готов локти себе кусать, потому что отчаяние меня грызет, досада, ревность...

— Ревность? к кому?

— К тебе, к нему, ко всем. Меня терзает мысль, что если б я раньше понял ее, если б я умеючи взялся за дело... Да что толковать! Кончится тем, что я буду все смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит, а там возьму да удавлюсь.

— Ну, удавиться ты не удавишься,— заметил Берсенев.

— В такую ночь, конечно, нет; но дай нам только дожить до осени. В такую ночь люди умирают тоже, только от счастья. Ах, счастье! Каждая вытянутая через дорогу тень от дерева так, кажется, и шепчет теперь: «Знаю я, где счастье... Хочешь, скажу?» Я бы позвал тебя гулять, да ты теперь под влиянием прозы. Спи, и да снятся тебе математические фигуры! А у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что человек смеется, значит, по-вашему, ему легко; вы можете доказать ему, что он самому себе противоречит,— значит, он не страдает... Бог с вами!

Шубин быстро отошел от окошка. «Аннушка!» — хотел было крикнуть ему вслед Берсенев, но удержался: на Шубине действительно лица не было. Минуты две спустя Берсеневу даже почудились рыдания: он встал, отворил окно; все было тихо; только где-то вдали какой-то, должно быть, проезжий мужичок тянул «Степь моздокскую».

XIII

В течение первых двух недель после переселения Инсарова в соседство Кунцева он не более четырех или пяти раз посетил Стаховых; Берсенев ходил к ним через день. Елена всегда ему была рада, всегда завязывалась между им и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печальным лицом. Шубин почти не показывался; он с лихорадочною деятельностию занялся своим искусством: либо сидел взаперти у себя в комнате и выскакивал оттуда в блузе, весь выпачканный глиной, либо проводил дни в Москве, где у него была студия, куда приходили к нему модели и италиянские формов-

щики, его приятели и учители. Елена ни разу не поговорила с Инсаровым так, как бы она хотела; в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом, но когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. Самое спокойствие Инсарова ее смущало: ей казалось, что она не имеет права заставить его высказываться, и она решалась ждать; со всем тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были обмененные между ними слова, он привлекал ее более и более; но ей не пришлось остаться с ним наедине, а чтобы сблизиться с человеком — нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз. Она много говорила о нем с Берсеневым. Берсенев понимал, что воображение Елены поражено Инсаровым, и радовался, что его приятель не провалился, как утверждал Шубин; он с жаром, до малейших подробностей, рассказывал ей все, что знал о нем (мы часто, когда сами хотим понравиться другому человеку, превозносим в разговоре с ним наших приятелей, почти никогда притом не подозревая, что мы тем самих себя хвалим), и лишь изредка, когда бледные щеки Елены слегка краснели, а глаза светлели и расширялись, та нехорошая, уже им испытанная, грусть щемила его сердце.

Однажды Берсенев пришел к Стаховым не в обычную пору, часу в одиннадцатом утра. Елена вышла к нему в залу.

— Вообразите себе,— начал он с принужденной улыбкой,— наш Инсаров пропал.

— Как пропал? — проговорила Елена.

— Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и с тех пор его нет.

— Он не сказал вам, куда он пошел?

— Нет.

Елена опустилась на стул.

— Он, вероятно, в Москву отправился,— промолвила она, стараясь казаться равнодушной и в то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.

— Не думаю,— возразил Берсенев.— Он ушел не один.

— С кем же?

— К нему третьего дня, перед обедом, явились два каких-то человека, должно быть его соотечественники.

— Болгары? почему вы это думаете?

— А потому, что, сколько я мог расслышать, они говорили с ним на языке, мне не известном, но славянском... Вот вы всё находите, Елена Николаевна, что в Инсарове таинственного мало: уж на что таинственнее этого посещения? Представьте:

вошли к нему — и ну кричать и спорить, да так дико, злобно... И он кричал.

— И он?

— И он. Кричал на них. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей! Лица смуглые, широкоскулые, тупые, с ястребиными носами, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду ремесленники — не ремесленники и не господа... Бог знает что за люди.

— И он с ними отправился?

— С ними. Накормил их да ушел с ними. Хозяйка мне сказывала,— они вдвоем целый огромный горшок каши съели. Так, говорит, вперегонку и глотали, словно волки.

Елена слабо усмехнулась.

— Вы увидите,— промолвила она,— все это разрешится чем-нибудь очень прозаическим.

— Дай бог! Только напрасно вы употребили это слово. В Инсарове нет ничего прозаического, хотя Шубин и уверяет...

— Шубин! — перебила Елена и пожала плечом.— Но сознайтесь, что эти два господина, глотающие кашу...

— И Фемистокл ел накануне Саламинского сражения,— с улыбкой заметил Берсенев.

— Так; но зато на другой день и было сражение.— А вы все-таки дайте мне знать, когда он вернется,— прибавила Елена и попыталась переменить разговор, но разговор не клеился.

Появилась Зоя и стала ходить по комнате на цыпочках, давая тем знать, что Анна Васильевна еще не проснулась.

Берсенев ушел.

В тот же день, вечером, принесли от него записку Елене. «Вернулся,— писал он ей,— загорелый и в пыли по самые брови; но зачем и куда ездил, не знаю; не узнаете ли вы?»

— Не узнаете ли вы! — прошептала Елена.— Разве он говорит со мной?

XIV

На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду перед небольшою закуткой, где у ней воспитывались два дворовых щенка. (Садовник нашел их заброшенными под забором и принес их барышне, про которую ему сказали прачки, что она, мол, всяких зверей и скотов жалует. Он не ошибся в расчете: Елена дала ему четвертак.) Она заглянула в закутку,

убедилась, что щенки живы и здоровы и что солому им постлали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула: прямо к ней, по аллее, шел Инсаров, один.

— Здравствуйте,— промолвил он, приближаясь к ней и снимая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в последние три дня.— Я хотел прийти сюда с Андреем Петровичем, да он что-то замешкался; вот я и отправился без него. В доме у вас никого нет: все спят или гуляют, я и пришел сюда.

— Вы как будто извиняетесь,— отвечала Елена.— Это совсем не нужно. Мы все очень рады вас видеть... Сядемте тут на скамейке, в тени.

Она села. Инсаров поместился возле нее.

— Вас, кажется, дома не было это время? — начала она.

— Да,— отвечал он,— я уходил... Вам Андрей Петрович сказывал?

Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть картузом. Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед губы, что придавало ему очень добродушный вид.

— Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я ушел с какими-то... безобразными людьми,— проговорил он, продолжая улыбаться.

Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду.

— Да,— сказала она решительно.

— Что же вы подумали обо мне? — спросил он ее вдруг.

Елена подняла на него глаза.

— Я подумала,— промолвила она...— я подумала, что вы всегда знаете, что́ делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.

— Ну, и спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Николаевна,— начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней,— наших здесь небольшая семейка; есть между нами люди мало образованные; но все крепко преданы общему делу. К несчастию, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня разобрать одну ссору. Я отправился.

— Далеко отсюда?

— Я за шестьдесят верст ездил, в Троицкий посад. Там, при монастыре, тоже есть наши. По крайней мере, недаром хлопотал: уладил дело.

— И трудно вам было?

— Трудно. Один все упрямился. Деньги не хотел отдать.

— Как? Из-за денег была ссора?

— Да; и деньги-то небольшие. А вы что полагали?

— И вы для таких пустяков за шестьдесят верст ездили? Три дня потеряли?

— То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки замешаны. Тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

— Кому же?

— А всем, кому в нас нужда. Я вам все это так сбухта-барахта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я воображаю, как Андрей Петрович вас удивил!

— Вы дорожите моим мнением,— проговорила Елена вполголоса,— почему?

Инсаров опять улыбнулся.

— Потому что вы хорошая барышня, не аристократка... вот и все.

Настало небольшое молчание.

— Дмитрий Никанорович,— сказала Елена,— знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны?

— Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам все, что думал.

— Нет, это в первый раз, и я очень этому рада, и я тоже хочу быть откровенною с вами. Можно?

Инсаров засмеялся и сказал:

— Можно.

— Предваряю вас, что я очень любопытна.

— Ничего, говорите.

— Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жизни, о вашей молодости. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Я знаю, что вы ездили потом к себе на родину... Не отвечайте мне, ради бога, если мой вопрос вам покажется нескромным, но меня мучит одна мысль... Скажите, встретились ли вы с тем человеком...

Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно и страшно своей смелости. Инсаров глядел на нее пристально, слегка прищурив глаза и трогая пальцами подбородок.

— Елена Николаевна,— начал он наконец, и голос его был тише обыкновенного, что почти испугало Елену,— я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним, и слава богу! Я не искал его. Я не искал его не потому, чтоб я не почитал себя вправе убить его,— я бы очень спокойно убил его,— но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет о народном, общем отмщении... или нет, это слово не

годится... когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет... И то не уйдет,— повторил он и покачал головой.

Елена посмотрела на него сбоку.

— Вы очень любите свою родину? — произнесла она робко.

— Это еще не известно,— отвечал он.— Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил.

— Так что, если бы вас лишили возможности возвратиться в Болгарию,— продолжала Елена,— вам было бы очень тяжело в России?

Инсаров потупился.

— Мне кажется, я бы этого не вынес,— проговорил он.

— Скажите,— начала опять Елена,— трудно выучиться болгарскому языку?

— Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам принесу болгарские книги? Вы увидите, как это легко. Какие у нас песни! не хуже сербских. Да вот постойте, я вам переведу одну из них. В ней говорится про... Да вы знаете ли хоть немножко нашу историю?

— Нет, я ничего не знаю,— ответила Елена.

— Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть главные факты узнаете. Так слушайте же песню... Впрочем, я вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полюбите нас: вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, его терзают,— подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело,— у нас всё отняли, всё: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут...

— Дмитрий Никанорович! — воскликнула Елена.

Он остановился.

— Извините меня. Я не могу говорить об этом хладнокровно. Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после бога? И когда эта родина нуждается в тебе... Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Инсаров замолк на мгновение и снова заговорил о Болгарии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его:

— Так вы ни за что не остались бы в России?

А когда он ушел, она долго смотрела ему вслед. Он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила его за два часа тому назад.

С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Берсенев все реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись. Так прошел месяц.

XV

Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю; но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной partie de plaisir; [1] и чем затруднительнее была эта partie de plaisir, чем больше требовала она приготовлений и сборов, чем больше волновалась сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. Находил ли на нее этот *стих* зимой — она приказывала нанять две-три ложи рядом, забирала всех своих знакомых и отправлялась в театр или даже в маскарад; летом — она ехала за город, куда-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца через два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного». То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и приготовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей; сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем partie de plaisir чуть не расстроилась: Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном, фрондерском расположении духа (он все еще дулся на Августину Христиановну) и, узнав в чем дело, решительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять

---

[1] увеселительной прогулки *(франц.).— Ред.*

в Кунцево — нелепость,— и, наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от partie de plaisir, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и, к общему изумлению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал: «Quelle bourde!» [1] (он любил при случае употреблять «шикарные» французские слова) — а на следующее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах; а в коляске находились Увар Иванович и Шубин. Увар Иванович сам движением пальца подозвал к себе Шубина; он знал, что тот будет дразнить его всю дорогу, но между «черноземной силой» и молодым художником существовала какая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочем, на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое: он был молчалив, рассеян и мягок.

Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, мрачным и грозным даже в полдень. Все общество спустилось на траву и тотчас же двинулось в сад. Впереди шли Елена и Зоя с Инсаровым; за ними, с выражением полного счастия на лице, выступала Анна Васильевна под руку с Уваром Ивановичем. Он пыхтел и переваливался, новая соломенная шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах, но и ему было хорошо; Шубин и Берсенев замыкали шествие. «Мы будем, братец, в резерве, как некие ветераны,— шепнул Берсеневу Шубин.— Там теперь Болгария»,— прибавил он, показав бровями на Елену.

Погода была чудесная. Все кругом цвело, жужжало и пело; вдали сияли воды прудов; праздничное, светлое чувство охватывало душу. «Ах, хорошо! ах, хорошо!» — беспрестанно твердила Анна Васильевна; Увар Иванович потряхивал одобрительно головой в ответ на ее восторженные восклицания и раз даже промолвил: «Что толковать!» Елена изредка менялась словами с Инсаровым; Зоя придерживала двумя пальчиками край широ-

[1] Какая нелепость! *(франц.)* —*Ред.*

кой шляпы, кокетливо выносила из-под розового барежевого платья свои маленькие ножки, обутые в светло-серые ботинки с тупыми носками, и посматривала то вбок, то назад. «Эге! — воскликнул вдруг вполголоса Шубин,— Зоя Никитишна никак оглядывается. Пойду-ка я к ней. Елена Николаевна теперь меня презирает, а тебя, Андрей Петрович, уважает, что на одно выходит. Пойду; довольно я кис. Тебе же, мой друг, советую ботанизировать: в твоем положении это самое лучшее, что̀ ты придумать можешь; оно же и в ученом отношении полезно. Прощай!» Шубин подбежал к Зое, подставил ей руку кренделем и, сказав: «Ihre Hand, Madame» [1], подхватил ее и пустился с ней вперед. Елена остановилась, подозвала Берсенева и тоже взяла его руку, но продолжала говорить с Инсаровым. Она спрашивала у него, как на его языке называются ландыш, клен, дуб, липа... («Болгария!» — подумал бедный Андрей Петрович.)

Вдруг впереди раздался крик; все подняли голову: сигарочница Шубина летела в куст, брошенная рукой Зои. «Погодите, я с вами за это рассчитаюсь!» — воскликнул он, полез в куст, нашел там сигарочницу и вернулся было к Зое; но не успел он к ней приблизиться, как уже опять его сигарочница летела через дорожку. Раз пять повторилась эта проделка, он все хохотал и грозился, а Зоя только втихомолку улыбалась и пожималась, как кошечка. Наконец он поймал ее пальцы и так их тиснул, что она пискнула и долго потом дула на руку, притворно сердилась, а он ей напевал что-то на ухо.

— Шалуны, молодой народ,— весело заметила Анна Васильевна Увару Ивановичу.

Тот поиграл перстами.

— Какова Зоя Никитишна? — сказал Берсенев Елене.

— А Шубин? — отвечала она.

Между тем все общество подошло к беседке, известной под именем Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем Царицынских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст; сплошные леса темнели за ними. Мурава, покрывавшая весь скат холма до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркий, изумрудный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела пена; даже ряби не пробегало по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла тяжело и светло улеглась в огромной купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно гляделись в ее прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом; даже Шубин при-

---

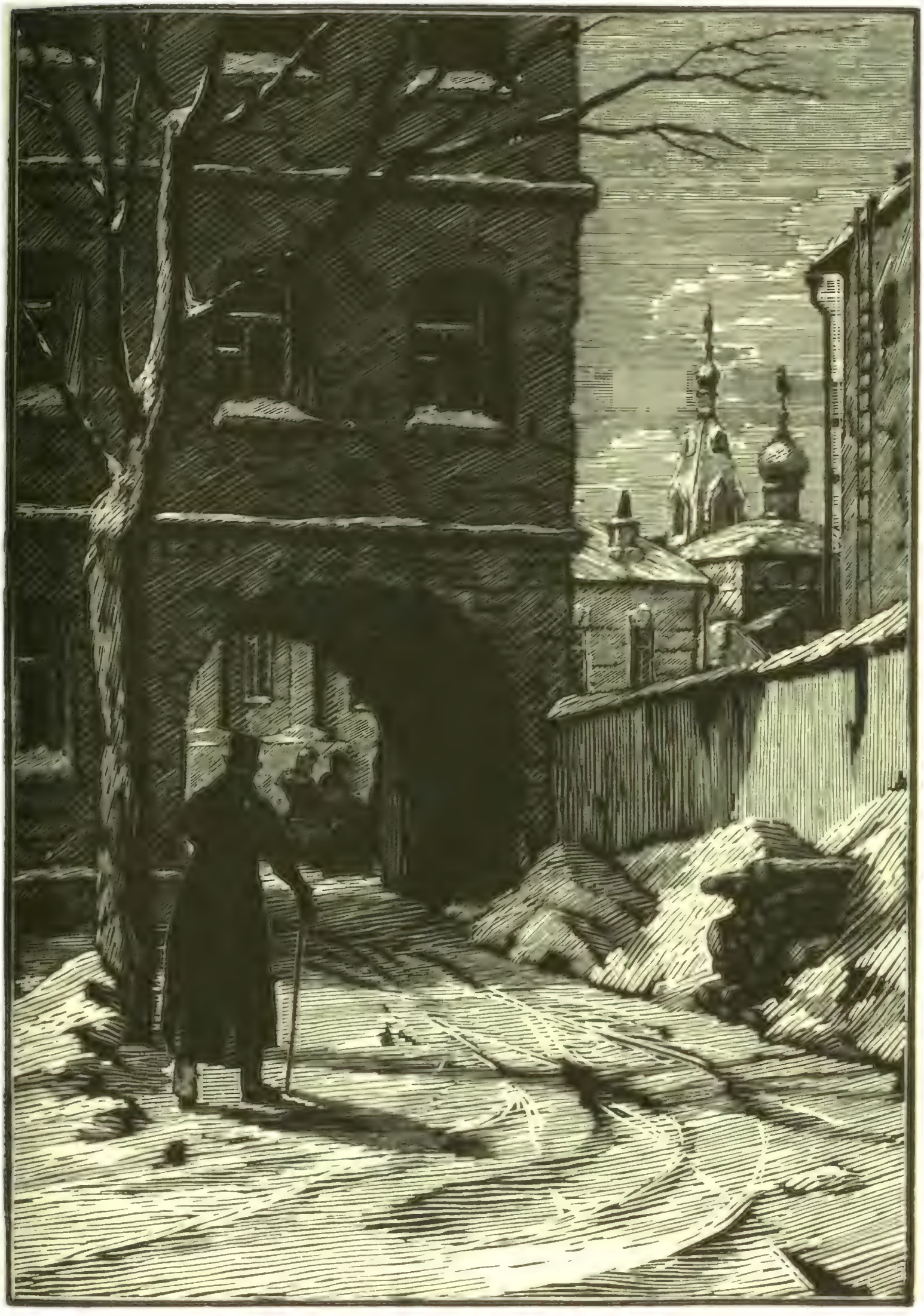
[1] Вашу руку, сударыня *(нем.).— Ред.*

тих, даже Зоя задумалась. Наконец все единодушно захотели покататься по воде. Шубин, Инсаров и Берсенев побежали вниз по траве взапуски. Они отыскали большую раскрашенную лодку; отыскали двух гребцов и позвали дам. Дамы сошли к ним; Увар Иванович осторожно спустился за дамами. Пока он входил в лодку, пока усаживался, много было смеху. «Смотрите, барин, не затопите нас»,— заметил один из гребцов, молодой курносый парень в александрийской рубахе. «Ну, ну, фуфыря!» — проговорил Увар Иванович. Лодка отчалила. Молодые люди взялись было за весла, но грести умел из них один Инсаров. Шубин предложил спеть хором какую-нибудь русскую песню и сам затянул: «Вниз по матушке...» Берсенев, Зоя и даже Анна Васильевна подхватили (Инсаров не умел петь), но вышла разноголосица; на третьем стихе певцы запутались, один Берсенев пытался продолжать басом: «Ничего в волнах не видно»,— но тоже скоро сконфузился. Гребцы перемигнулись и оскалили зубы молча. «Что? — обратился к ним Шубин,— видно, господа петь-то не умеют?» Малый в александрийской рубахе только головой тряхнул. «Так погоди ж, курносый,— возразил Шубин,— мы тебе покажем. Зоя Никитишна, спойте нам: «Le lac» [1] Нидермейера. Не гребите, вы!» Мокрые весла поднялись на воздух, как крылья, и так и замерли, звонко роняя капли; лодка проплыла еще немного и остановилась, чуть-чуть закружившись на воде, как лебедь. Зоя поломалась... «Allons!» [2] — ласково промолвила Анна Васильевна... Зоя скинула шляпу и запела: «O lac! l'année à peine a fini sa carrière...» [3]

Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зеркалу пруда; далеко в лесах отзывалось каждое слово; казалось, и там кто-то пел четким и таинственным, но нечеловеческим, нездешним голосом. Когда Зоя кончила, громкое браво раздалось из одной прибрежной беседки и оттуда выскочило несколько красноролжих немцев, приехавших *покнейпировать* в Царицыно. Некоторые из них были без сюртуков, без галстухов и даже без жилетов и до того неистово кричали bis!, что Анна Васильевна велела поскорее отъехать на другой конец пруда. Но прежде чем лодка пристала к берегу, Увару Ивановичу еще раз удалось удивить своих знакомых: заметив, что в одном месте леса эхо особенно ясно повторяло каждый звук, он вдруг начал кричать перепелом. Сперва все вздрогнули, но тотчас же почувствовали

---

[1] «Озеро» *(франц.).— Ред.*
[2] «Ну же!» *(франц.) — Ред.*
[3] «О озеро! год едва закончил свой бег...» *(франц.)-- Ред.*



«Накануне».

[illegible]ное удовольствие, тем более что Увар Иванович кричал очень верно и похоже. Это его поощрило, и он попробовал мяукать; но мяуканье выходило у него не так хорошо; он крикнул еще раз перепелом, посмотрел на всех и умолк. Шубин бросился его целовать; он оттолкнул его. В это мгновение лодка причалила, и все общество вышло на берег.

Между тем кучер с лакеем и горничной принесли корзинки из кареты и приготовили обед на траве под старыми липами. Все уселись вокруг разостланной скатерти и принялись за паштет и прочие яства. У всех аппетит был отличный, а Анна Васильевна то и дело угащивала и уговаривала своих гостей, чтобы побольше ели, уверяя, что на воздухе это очень здорово; она обращалась с такими речами к самому Увару Ивановичу. «Будьте спокойны»,— промычал он ей с набитым ртом. «Дал же господь такой славный день!» — твердила она беспрестанно. Ее нельзя было узнать: она точно двадцатью годами помолодела. Берсенев заметил ей это. «Да, да,— сказала она,— была и я в мое время хоть куда: из десятка бы меня не выкинули». Шубин присоседился к Зое и беспрестанно наливал ей вина; она отказывалась, он ее потчевал и кончал тем, что сам выпивал стакан и потом опять ее потчевал; он также уверял ее, что желает преклонить свою голову к ней на колени; она никак не хотела позволить ему «этакую большую вольность». Елена казалась серьезнее всех, но на сердце у ней было чудное спокойствие, какого она давно не испытала. Она чувствовала себя бесконечно доброю, и ей все хотелось иметь возле себя не одного только Инсарова, но и Берсенева... Андрей Петрович смутно понимал, что это значило, и вздыхал украдкой.

Часы летели; вечер приближался. Анна Васильевна вдруг всполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно,— заговорила она.— Пожито, попито, господа; пора и бороду утирать». Она засуетилась, и все засуетились, встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Царицыным. Везде горели яркие, передвечерние краски; небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком; растопленным золотом струились отдаленные воды; резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, Царицыно, не забудем мы сегодняшнюю поездку!» — промолвила Анна Васильевна... Но в это мгновенье, и как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть.

А именно: не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от нее, за высоким кустом сирени, раздались нестройные восклицания, хохотня и крики — и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали Зое, высыпала на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам; но один из них, огромного росту, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне.

— Бонжур, мадам,— проговорил он сиплым голосом,— как ваше здоровье?

Анна Васильевна пошатнулась назад.

— А отчего вы,— продолжал великан дурным русским языком,— не хотел петь bis, когда наш компани кричал bis, и браво, и форо?

— Да, да, отчего? — раздалось в рядах компании.

Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну.

— Позвольте,— начал он,— почтенный незнакомец, выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени; следовательно, мы должны предполагать в вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечаю в вас такое феноменальное развитие мускулов biceps, triceps и deltoïdeus, что, как ваятель, почел бы за истинное счастие иметь вас своим натурщиком; но на сей раз оставьте нас в покое.

«Почтенный незнакомец» выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока.

— Я ничего не понимайт, что вы говорит такое,— промолвил он наконец.— Вы думает, может быть, я сапожник или часовых дел мастер? Э! Я официр, я чиновник, да.

— Я не сомневаюсь в этом,— начал было Шубин...

— А я вот что говорю,— продолжал незнакомец, отстраняя его своею мощною рукой, как ветку с дороги,— я говорю: отчего вы не пел bis, когда мы кричал bis? А теперь я сейчас, сей минутой уйду, только вот нушна, штоп эта фрейлейн, не эта мадам, нет, эта не нушна, а вот эта или эта (он указал на Елену и

Зою) дала мне einen Kuss, как мы это говорим по-немецки, поцалуйшик, да; что ж? это ничего.

— Ничего, einen Kuss, это ничего,— раздалось опять в рядах компании.

— Ih! der Sakramenter! [1] — проговорил, давясь от смеху, один уже совершенно чирый немец.

Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом.

— Извольте идти прочь,— сказал он ему не громким, но резким голосом.

Немец тяжело захохотал.

— Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гуляйт? Как это прочь? Отчего прочь?

— Оттого что вы осмелились беспокоить даму,— проговорил Инсаров и вдруг побледнел,— оттого что вы пьяны.

— Как? я пьян? Слышить? Hören Sie das, Herr Provisor? [2] Я официр, а он смеет... Теперь я требую Satisfaction! Einen Kuss will ich! [3]

— Если вы сделаете еще шаг,— начал Инсаров...

— Ну? И что тогда?

— Я вас брошу в воду.

— В воду? Herr Je! [4] И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно, как это в воду...

Господин *официр* поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто необыкновенное: он крякнул, все огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли, ноги брыкнули на воздухе, и, прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин *официр*, всей своей массой, с тяжким плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой.

— Ай! — дружно взвизгнули дамы.

— Mein Gott! [5] — послышалось с другой стороны.

Прошла минута... и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой; она пускала пузыри, эта голова; две руки судорожно барахтались у самых ее губ...

— Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша.

---

[1] Ох! вот чудодей! *(нем.) — Ред.*
[2] Вы слышите это, господин провизор? *(нем.) — Ред.*
[3] Удовлетворения! Я хочу поцелуя! *(нем.) — Ред.*
[4] Господи Исусе! *(нем.) — Ред.*
[5] Боже мой! *(нем.) — Ред.*

— Выплывет,— проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью.— Пойдемте,— прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку,— пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна.

— А... а... о... о...— раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник.

Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой «компании». Но, лишившись своего главы, гуляки присмирели и ни словечка не вымолвили; один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой: «Ну, это, однако... это бог знает что... после этого»; а другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошенникам», что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон Кизериц пойдет...

Но «русские мошенники» не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку. Все молчали, пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но вот они приблизились к экипажам, остановились, и неудержимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожителей Гомера. Первый визгливо, как безумный, залился Шубин, за ним горохом забарабанил Берсенев, там Зоя рассыпалась тонким бисером, Анна Васильевна тоже вдруг так и покатилась, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаров не устоял наконец. Но громче всех, и дольше всех, и неистовее всех хохотал Увар Иванович: он хохотал до колотья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного, да проговорит сквозь слезы: «Я... думаю... что́ это хлопнуло?.. а это... он... плашмя...» И вместе с последним, судорожно выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, говорит, вижу, ноги по воздуху...» — «Да, да,— подхватит Увар Иванович,— ноги, ноги... а там хлоп! а это он п-п-плашмя!..» — «Да и как они это ухитрились, ведь немец-то втрое больше их был?» — спросила Зоя. «А я вам доложу,— ответил, утирая глаза, Увар Иванович,— я видел: одною рукой за поясницу, ногу подставил, да как хлоп! Я слышу: что это?.. а это он, плашмя...»

Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся из виду, а Увар Иванович все не мог успокоиться.

Шубин, который опять с ним поехал в коляске, пристыдил его наконец.

А Инсарову было совестно. Он сидел в карете против Елены (на козлах поместился Берсенев) и молчал; она тоже молчала. Он думал, что она его осуждает; а она не осуждала его. Она очень испугалась в первую минуту; потом ее поразило выражение его лица; потом она все размышляла. Ей не было совершенно ясно, о чем размышляла она. Чувство, испытанное ею в течение дня, исчезло: это она сознавала; но оно заменилось чем-то другим, чего она пока не понимала. Partie de plaisir продолжалась слишком долго: вечер незаметно перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух был душен, и душист, и отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапная их свежесть била легкою волной по лицу. Небо словно дымилось по краям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала; Зоя высунулась из окна и глядела на дорогу. Елене пришло наконец в голову, что она более часу не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незначительным вопросом; он тотчас радостно ответил ей. В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки; казалось, будто вдали говорили тысячи голосов: Москва неслась им навстречу. Впереди замелькали огоньки; их становилось все более и более; наконец под колесами застучали камни. Анна Васильевна проснулась; все заговорили в карете, хотя никто уже не мог расслышать, о чем шла речь: так сильно гремела мостовая под двумя экипажами и тридцатью двумя лошадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд из Москвы в Кунцево; все спали или молчали, прижавшись головами к разным уголкам; одна Елена не закрывала глаз: она не сводила их с темной фигуры Инсарова. На Шубина напала грусть: ветерок дул ему в глаза и раздражал его; он завернулся в воротник шинели и чуть-чуть было не всплакнул. Увар Иванович благополучно похрапывал, качаясь направо и налево. Экипажи остановились наконец. Два лакея вынесли Анну Васильевну из кареты; она совсем расклеилась и, прощаясь с своими спутниками, объявила им, что она чуть жива; они стали ее благодарить, а она только повторила: «Чуть жива». Елена пожала в первый раз руку Инсарову и долго не раздевалась, сидя под окном; а Шубин улучил время шепнуть уходившему Берсеневу:

— Ну как же не герой: в воду пьяных немцев бросает!

— А ты и того не сделал,— возразил Берсенев и отправился домой с Инсаровым.

Заря уже занималась в небе, когда оба приятеля возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная последняя звезда.

XVI

Елена вскоре после знакомства с Инсаровым начала (в пятый или шестой раз) дневник. Вот отрывки из этого дневника:

Июня... Андрей Петрович мне приносит книги, но я их читать не могу. Сознаться ему в этом — совестно; отдать книги, солгать, сказать, что читала,— не хочется. Мне кажется, это его огорчит. Он все за мной замечает. Он, кажется, очень ко мне привязан. Очень хороший человек Андрей Петрович.

...Чего мне хочется? Отчего у меня так тяжело на сердце, так томно? Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела — куда, не знаю, только далеко, далеко отсюда. И не грешно ли это желание? У меня здесь мать, отец, семья. Разве я не люблю их? Нет, я не люблю их так, как бы хотелось любить. Мне страшно вымолвить это, но это правда. Может быть, я большая грешница; может быть, оттого мне так грустно, оттого мне нет покоя. Какая-то рука лежит на мне и давит меня. Точно я в тюрьме, и вот-вот сейчас на меня повалятся стены. Отчего же другие этого не чувствуют? Кого же я буду любить, если я к своим холодна? Видно, папенька прав: он упрекает меня, что я люблю одних собак да кошек. Надо об этом подумать. Я мало молюсь; надо молиться... А кажется, я бы умела любить!

...Я все еще робею с господином Инсаровым. Не знаю, отчего; я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть, не до нас. Я это чувствую, и мне как будто совестно отнимать у него время. Андрей Петрович — другое дело. Я с ним готова болтать хоть целый день. Но и он мне все говорит об Инсарове. И какие страшные подробности! Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: «Я тебя убью и себя убью». Какие глупости!

...О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да; это главное в жизни. Но как делать добро? О, если б я могла овладеть собою! Не понимаю, отчего я так часто думаю о господине Инсарове. Когда он приходит, и сидит и слушает внимательно, а сам

не старается, не хлопочет, я гляжу на него, и мне приятно — но только; а когда он уйдет, я все припоминаю его слова и досадую на себя и даже волнуюсь... сама не знаю отчего. (Он плохо говорит по-французски, и не стыдится — это мне нравится.) Впрочем, я всегда много думаю о новых лицах. Разговаривая с ним, я вдруг вспомнила нашего буфетчика Василия, который вытащил из горевшей избы безногого старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его молодцом, мамаша дала ему пять рублей, а мне хотелось ему в ноги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и он потом сделался пьяницей.

...Я сегодня подала грош одной нищей, а она мне говорит: отчего ты такая печальная? А я и не подозревала, что у меня печальный вид. Я думаю, это оттого происходит, что я одна, все одна, со всем моим добром, со всем моим злом. Некому протянуть руку. Кто подходит ко мне, того не надобно; а кого бы хотела... тот идет мимо.

...Я не знаю, что со мною сегодня; голова моя путается, я готова упасть на колени и просить и умолять пощады. Не знаю, кто и как, но меня как будто убивают, и внутренно я кричу и возмущаюсь; я плачу и не могу молчать... Боже мой! боже мой! укроти во мне эти порывы! Ты один это можешь, все другое бессильно: ни мои ничтожные милостыни, ни занятия — ничего, ничего мне помочь не может. Пошла бы куда-нибудь в служанки, право: мне было бы легче.

К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все это?

...Инсаров, господин Инсаров,— я, право, не знаю, как писать,— продолжает занимать меня. Мне хочется знать, что у него там, в душе? Он, кажется, так открыт, так доступен, а мне ничего не видно. Иногда он глядит на меня какими-то испытующими глазами... или это одна моя фантазия? Поль меня все дразнит — я сердита на Поля. Что ему надобно? Он в меня влюблен... да мне не нужно его любви. Он и в Зою влюблен. Я к нему несправедлива; он мне вчера сказал, что я не умею быть несправедливой вполовину... это правда. Это очень дурно.

Ах, я чувствую, человеку нужно несчастье, или бедность, или болезнь, а то как раз зазнаешься.

...Зачем Андрей Петрович рассказал мне сегодня об этих двух болгарах! Он как будто с намерением рассказал мне это. Что мне до господина Инсарова? Я сердита на Андрея Петровича.

...Берусь за перо и не знаю, как начать. Как неожиданно он сегодня заговорил со мною в саду! Как он был ласков и довер-

чив! Как это скоро сделалось! Точно мы старые, старые друзья и только сейчас узнали друг друга. Как я могла не понимать его до сих пор! Как он теперь мне близок! И вот что удивительно: я теперь гораздо спокойнее стала. Мне смешно: вчера я сердилась на Андрея Петровича, на него, я даже назвала его *господин Инсаров,* а сегодня... Вот наконец правдивый человек; вот на кого положиться можно. Этот не лжет; это первый человек, которого я встречаю, который не лжет; все другие лгут, все лжет. Андрей Петрович, милый, добрый, за что же я вас обижаю? Нет! Андрей Петрович, может быть, ученее его, может быть, даже умнее... Но, я не знаю, он перед ним такой маленький. Когда *тот* говорит о своей родине, он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит — он делал и будет делать. Я его расспрошу... Как он вдруг обернулся ко мне и улыбнулся мне!.. Только братья так улыбаются. Ах, как я довольна! Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не думала, что мы так скоро сблизимся. А теперь мне даже нравится, что я в первый раз осталась равнодушною... Равнодушною! Разве я теперь не равнодушна?

...Я давно не чувствовала такого внутреннего спокойствия. Так тихо во мне, так тихо. И записывать нечего. Я его часто вижу, вот и все. Что еще записывать?

...Поль заперся; Андрей Петрович стал реже ходить... бедный! Мне кажется, он... Впрочем, это быть не может. Я люблю говорить с Андреем Петровичем: никогда ни слова о себе, все о чем-нибудь дельном, полезном. Не то, что Шубин. Шубин наряден, как бабочка, да любуется своим нарядом; этого бабочки не делают. Впрочем, и Шубин и Андрей Петрович... я знаю, что я хочу сказать.

...*Ему* приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? что он нашел во мне? Правда, у нас вкусы похожи: и он и я, мы оба стихов не любим, оба не знаем толка в художестве. Но насколько он лучше меня! Он спокоен, а я в вечной тревоге; у него есть дорога, есть цель — а я, куда я иду? где мое гнездо? Он спокоен, но все его мысли далеко. Придет время, и он покинет нас навсегда, уйдет к себе, туда, за море. Что ж? Дай бог ему! А я все-таки буду рада, что я его узнала, пока он здесь был.

Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским.

И мамаша его любит; говорит: скромный человек. Добрая мамаша! Она его не понимает. Поль молчит: он догадался, что мне его намеки неприятны, но он к нему ревнует. Злой мальчик! И с какого права? Разве я когда-нибудь...

Все это пустяки! Зачем мне это все в голову приходит?

...А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Димитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не *я* хочу: *то* хочет. Кстати, и он и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала розу. Один лепесток упал, он его поднял... Я ему отдала всю розу.

Я с некоторых пор вижу странные сны. Что бы это значило?

...Д. к нам ходит часто. Вчера он просидел целый вечер. Он хочет учить меня по-болгарски. Мне с ним хорошо, как дома. Лучше, чем дома.

...Дни летят... И хорошо мне, и почему-то жутко, и бога благодарить хочется, и слезы недалеко. О, теплые, светлые дни!

...Мне все по-прежнему легко и только изредка, изредка немножко грустно. Я счастлива. Счастлива ли я?

...Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные, новые, страшные впечатления! Когда он вдруг взял этого великана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась... но он меня испугал. И потом — какое лицо зловещее, почти жестокое! Как он сказал: выплывет! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потом, когда все смеялись, когда я смеялась, как мне было больно за него! Он стыдился, я это чувствовала, он меня стыдился. Он мне это сказал потом в карете, в темноте, когда я старалась его разглядеть и боялась его. Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; он не согласился с Д. Кто из них прав? А как начался этот день! Как мне было хорошо идти с ним рядом, даже молча... Но я рада тому, что случилось. Видно, так следовало.

...Опять беспокойство... Я не совсем здорова.

...Я все эти дни ничего не записывала в этой тетрадке, потому что писать не хотелось. Я чувствовала: что бы я ни написала, все будет не то, что у меня на душе... А что у меня на душе? Я имела с ним большой разговор, который мне открыл многое. Он мне рассказал свои планы (кстати, я теперь знаю, отчего у него рана на шее... Боже мой! когда я подумаю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его изранили...). Он предчувствует войну и радуется ей. И со всем тем

я никогда не видала Д. таким грустным. О чем он... он!.. может грустить? Папенька из города вернулся, застал нас обоих и как-то странно поглядел на нас. Андрей Петрович пришел; я заметила, что он очень стал худ и бледен. Он упрекнул меня, будто бы я уже слишком холодно и небрежно обращаюсь с Шубиным. А я совсем забыла о Поле. Увижу его, постараюсь загладить свою вину. Мне теперь не до него... и ни до кого в мире. Андрей Петрович говорил со мною с каким-то сожалением. Что все это значит? Отчего так темно вокруг меня и во мне? Мне кажется, что вокруг меня и во мне происходит что-то загадочное, что нужно найти слово...

...Я не спала ночь, голова болит. К чему писать? Он сегодня ушел так скоро, а мне хотелось поговорить с ним... Он как будто избегает меня. Да, он меня избегает.

...Слово найдено, свет озарил меня! Боже! сжалься надо мною... Я влюблена!

XVII

В тот самый день, когда Елена вписывала это последнее, роковое слово в свой дневник, Инсаров сидел у Берсенева в комнате, а Берсенев стоял перед ним, с выражением недоумения на лице. Инсаров только что объявил ему о своем намерении на другой же день переехать в Москву.

— Помилуйте! — воскликнул Берсенев.— Теперь наступает самое красное время. Что вы будете делать в Москве? Что за внезапное решение! Или вы получили какое-нибудь известие?

— Я никакого известия не получал,— возразил Инсаров,— но, по моим соображениям, мне нельзя здесь оставаться.

— Да как же это можно...

— Андрей Петрович,— проговорил Инсаров,— будьте так добры, не настаивайте, прошу вас. Мне самому тяжело расстаться с вами, да делать нечего.

Берсенев пристально посмотрел на него.

— Я знаю,— проговорил он наконец,— вас не убедишь. Итак, это дело решенное?

— Совершенно решенное,— отвечал Инсаров, встал и удалился.

Берсенев прошелся по комнате, взял шляпу и отправился к Стаховым.

— Вы имеете сообщить мне что-то,— сказала ему Елена, как только они остались вдвоем.

— Да; почему вы догадались?

— Это все равно. Говорите, что такое?

Берсенев передал ей решение Инсарова.

Елена побледнела.

— Что это значит? — произнесла она с трудом.

— Вы знаете,— промолвил Берсенев,— что Дмитрий Никанорович не любит отдавать отчета в своих поступках. Но я думаю... Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не совсем здоровы... Я, кажется, могу догадаться, какая, собственно, причина этого внезапного отъезда.

— Какая, какая причина? — повторила Елена, крепко стискивая, и сама того не замечая, руку Берсенева в своей похолодевшей руке.

— Вот видите ли,— начал Берсенев с грустною улыбкой,— как бы это вам объяснить? Придется мне возвратиться к нынешней весне, к тому времени, когда я ближе познакомился с Инсаровым. Я тогда встретился с ним в доме одного родственника; у этого родственника была дочка, очень хорошенькая. Мне показалось, что Инсаров к ней неравнодушен, и я сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось, так как он не желает,— это были его собственные слова,— для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу. «Я болгар,— сказал он,— и мне русской любви не нужно...»

— Ну... и что же... вы теперь...— прошептала Елена, невольно отворачивая голову, как человек, ожидающий удара, но все не выпуская схваченной руки Берсенева.

— Я думаю,— промолвил он и сам понизил голос,— я думаю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предполагал.

— То есть... вы думаете... не мучьте меня! — вырвалось вдруг у Елены.

— Я думаю,— поспешно подхватил Берсенев,— что Инсаров полюбил теперь одну русскую девушку и, по обещанию своему, решается бежать.

Елена еще крепче стиснула его руку и еще ниже наклонила голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец стыда, обливший внезапным пламенем все лицо ее и шею.

— Андрей Петрович, вы добры как ангел,— проговорила она,— но ведь он придет проститься?

— Да, я полагаю, наверное, он придет, потому что не захочет уехать...

— Скажите ему, скажите...

Но тут бедная девушка не выдержала: слезы хлынули у ней из глаз, и она выбежала из комнаты.

«Так вот как она его любит,— думал Берсенев, медленно возвращаясь домой.— Я этого не ожидал; я не ожидал, что это уже так сильно. Я добр, говорит она,— продолжал он свои размышления...— Кто скажет, в силу каких чувств и побуждений я сообщил все это Елене? Но не по доброте, не по доброте. Все проклятое желание убедиться, действительно ли кинжал сидит в ране? Я должен быть доволен — они любят друг друга, и я им помог... «Будущий посредник между наукой и российскою публикой»,— зовет меня Шубин; видно, мне на роду написано быть посредником. Но если я ошибся? Нет, я не ошибся...»

Горько было Андрею Петровичу, и не шел ему в голову Раумер.

На следующий день, часу во втором, Инсаров явился к Стаховым. Как нарочно, о ту пору в гостиной Анны Васильевны сидела гостья, соседка протопопица, очень хорошая и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность с полицией за то, что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду, близ дороги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство. Присутствие постороннего лица было сперва даже приятно Елене, у которой кровинки в лице не осталось, как только она услышала походку Инсарова; но сердце у ней замерло при мысли, что он может проститься, не поговоривши с ней наедине. Он же казался смущенным и избегал ее взгляда. «Неужели он сейчас будет прощаться?» — думала Елена. Действительно, Инсаров обратился было к Анне Васильевне; Елена поспешно встала и отозвала его в сторону, к окну. Протопопица удивилась и попыталась обернуться; но она так туго затянулась, что корсет скрипел на ней при каждом движении. Она осталась неподвижною.

— Послушайте,— торопливо проговорила Елена,— я знаю, зачем вы пришли; Андрей Петрович сообщил мне ваше намерение, но я прошу вас, я вас умоляю не прощаться с нами сегодня, а прийти завтра сюда пораньше, часов в одиннадцать. Мне нужно сказать вам два слова.

Инсаров молча наклонил голову.

— Я вас не буду удерживать... Вы мне обещаете?

Инсаров опять поклонился, но ничего не сказал.

— Леночка, поди сюда,— промолвила Анна Васильевна,— посмотри, какой у матушки чудесный ридикюль.

— Сама вышивала,— заметила протопопица.

Елена отошла от окна.

Инсаров остался не более четверти часа у Стаховых. Елена наблюдала за ним украдкой. Он переминался на месте, по-прежнему не знал, куда девать глаза, и ушел как-то странно, внезапно; точно исчез.

Медлительно прошел этот день для Елены; еще медлительнее протянулась долгая, долгая ночь. Елена то сидела на кровати, обняв колени руками и положив на них голову, то подходила к окну, прикладывалась горячим лбом к холодному стеклу и думала, думала, до изнурения думала всё одни и те же думы. Сердце у ней не то окаменело, не то исчезло из груди; она его не чувствовала, но в голове тяжко бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. «Он придет... он не простился с мамашей... он не обманет... Неужели Андрей Петрович правду сказал? Быть не может... Он словами не обещал прийти... Неужели я навсегда с ним рассталась?» Вот какие мысли не покидали ее... именно не покидали: они не приходили, не возвращались — они беспрестанно колыхались в ней, как туман. «Он меня любит!» — вспыхивало вдруг во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту; никому не видимая тайная улыбка раскрывала ее губы... но она тотчас встряхивала головой, заносила к затылку сложенные пальцы рук, и снова, как туман, колыхались в ней прежние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но заснуть не могла. Первые огнистые лучи солнца ударили в ее комнату... «О, если он меня любит!» — воскликнула она вдруг и, не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объятия...

Она встала, оделась, сошла вниз. Еще никто не просыпался в доме. Она пошла в сад; но в саду так было тихо, и зелено, и свежо, так доверчиво чирикали птицы, так радостно выглядывали цветы, что ей жутко стало. «О! — подумала она,— если это правда, нет ни одной травки счастливее меня, да правда ли это?» Она вернулась в свою комнату и, чтоб как-нибудь убить время, стала менять платье. Но все у ней падало и скользило из рук, и она еще сидела полураздетая перед своим туалетным зеркальцем, когда ее позвали чай пить. Она сошла вниз; мать заметила ее бледность, но сказала только: «Какая ты сегодня интересная,— и, окинув ее взглядом, прибавила: — Это платье очень к тебе идет; ты его всегда надевай, когда вздумаешь кому понравиться». Елена ничего не отвечала и села в уголок. Между тем пробило девять часов; до одиннадцати оставалось еще два часа. Елена взялась за книгу, потом за шитье, потом опять за книгу; потом она дала себе слово пройтись сто раз по одной аллее и прошлась сто раз; потом она долго смотрела, как Анна Васильевна пасьянс раскладывала... да взглянула на часы: еще

десяти не было. Шубин пришел в гостиную. Она попыталась заговорить с ним и извинилась перед ним, сама не зная в чем... Каждое ее слово не то чтоб усилий ей стоило, но возбуждало в ней самой какое-то недоумение. Шубин нагнулся к ней. Она ожидала насмешки, подняла глаза и увидела перед собою печальное и дружелюбное лицо... Она улыбнулась этому лицу, Шубин тоже улыбнулся ей, молча, и тихонько вышел. Она хотела удержать его, но не тотчас вспомнила, как позвать его. Наконец пробило одиннадцать часов. Она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ничего не могла делать; она перестала даже думать. Сердце в ней ожило и стало биться громче, все громче, и странное дело! время как будто помчалось быстрее. Прошло четверть часа, прошло полчаса, прошло еще несколько минут, по мнению Елены, и вдруг она вздрогнула: часы пробили не двенадцать, они пробили час. «Он не придет, он уедет, не простясь...» Эта мысль, вместе с кровью, так и бросилась ей в голову. Она почувствовала, что дыхание ей захватывает, что она готова зарыдать... Она побежала в свою комнату и упала, лицом на сложенные руки, на постель.

Полчаса пролежала она неподвижно; сквозь ее пальцы на подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села; что-то странное совершалось в ней: лицо ее изменилось, влажные глаза сами собою высохли и заблестели, брови надвинулись, губы сжались. Прошло еще полчаса. Елена в последний раз приникла ухом: не долетит ли до нее знакомый голос? встала, надела шляпу, перчатки, накинула мантилью на плечи и, незаметно выскользнув из дома, пошла проворными шагами по дороге, ведущей к квартире Берсенева.

XVIII

Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотела еще раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге... Крупный дождик закапал, она и его не замечала; но он пошел все чаще, все сильнее, сверкнула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела вокруг... К ее счастию, невдалеке от того места, где застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем. Она добежала до нее

и вошла под низенький навес. Дождь хлынул ручьями; небо кругом обложилось. С немым отчаянием глядела Елена на частую сетку быстро падавших капель. Последняя надежда увидеться с Инсаровым исчезала. Старушка нищая вошла в часовенку, отряхнулась, проговорила с поклоном: «От дождя, матушка»,— и, кряхтя и охая, присела на уступчик возле колодца. Елена опустила руку в карман: старушка заметила это движение, и лицо ее, сморщенное и желтое, но когда-то красивое, оживилось. «Спасибо тебе, кормилица, родная»,— начала она. В кармане Елены не нашлось кошелька, а старушка протягивала уже руку...

— Денег у меня нет, бабушка,— сказала Елена,— а вот возьми, на что-нибудь пригодится.

Она подала ей свой платок.

— О-ох, красавица ты моя,— проговорила нищая,— да на что же мне платочек твоїй? Разве внучке подарить, когда замуж выходить будет. Пошли тебе господь за твою доброту!

Раздался удар грома.

— Господи Иисусе Христе,— пробормотала нищая и перекрестилась три раза.— Да, никак, я уже тебя видела,— прибавила она погодя немного.— Никак, ты мне Христову милостыню подавала?

Елена вгляделась в старуху и узнала ее.

— Да, бабушка,— отвечала она.— Ты еще меня спросила, отчего я такая печальная.

— Так, голубка, так. То-то я тебя признала. Да ты и теперь словно кручинна живешь. Вот и платочек твой мокрый, знать, от слез. Ох вы, молодушки, всем вам одна печаль, горе великое!

— Какая же печаль, бабушка?

— Какая? Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной, со старухой, лукавить. Знаю я, о чем ты тужишь: не сиротское твое горе. Ведь и я была молода, светик, мытарства-то эти я тоже проходила. Да. А я тебе, за твою доброту, вот что скажу: попался тебе человек хороший, не ветреник, ты уже держись одного; крепче смерти держись. Уж быть, так быть, а не быть, видно, богу так угодно. Да. Ты что на меня дивишься? Я та же ворожея. Хошь, унесу с твоим платочком все твое горе? Унесу, и полно. Вишь, дождик реденький пошел; ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить. Помни же, голубка: была печаль, сплыла печаль, и помину ей нет. Господи, помилуй!

Нищая приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и поплелась своею дорогой. Елена с изумлением посмотрела ей вслед. «Что это значит?» — прошептала она невольно.

Дождик сеялся все мельче и мельче, солнце заиграло на мгновение. Елена уже собиралась покинуть свое убежище... Вдруг в десяти шагах от часовни она увидела Инсарова. Закутанный плащом, он шел по той же самой дороге, по которой пришла Елена; казалось, он спешил домой.

Она оперлась рукой о ветхое перильце крылечка, хотела позвать его, но голос изменил ей... Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы...

— Дмитрий Никанорович! — проговорила она наконец.

Инсаров внезапно остановился, оглянулся... В первую минуту он не узнал Елены, но тотчас же подошел к ней.

— Вы! вы здесь! — воскликнул он.

Она отступила молча в часовню. Инсаров последовал за Еленой.

— Вы здесь? — повторил он.

Она продолжала молчать и только глядела на него каким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза.

— Вы шли от нас? — спросила она его.

— Нет... не от вас.

— Нет? — повторила Елена и постаралась улыбнуться.— Так-то вы держите ваши обещания? Я вас ждала с утра.

— Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обещал.

Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И лицо и рука были очень бледны.

— Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?

— Да,— сурово и глухо промолвил Инсаров.

— Как? После нашего знакомства, после этих разговоров, после всего... Стало быть, если б я вас здесь не встретила случайно (голос Елены зазвенел, и она умолкла на мгновение)... так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в последний раз, и вам бы не было жаль?

Инсаров отвернулся.

— Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того невесело. Поверьте, мое решение мне стоило больших усилий. Если б вы знали...

— Я не хочу знать,— с испугом перебила его Елена,— зачем вы едете... Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Вы без причины не захотели бы огорчить ваших друзей. Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли?

— Нет,— сказал Инсаров.

— Как?..— промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким румянцем.

— Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу.

— Вы прежде были со мной откровенны,— с легким упреком произнесла Елена.— Помните?

— Тогда я мог быть откровенным, тогда мне скрывать было нечего; а теперь...

— А теперь? — спросила Елена.

— А теперь... А теперь я должен удалиться. Прощайте.

Если бы в это мгновение Инсаров поднял глаза на Елену, он бы заметил, что лицо ее все больше светлело, чем больше он сам хмурился и темнел; но он упорно глядел на пол.

— Ну, прощайте, Дмитрий Никанорович,— начала она.— Но по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне теперь вашу руку.

Инсаров протянул было руку.

— Нет, и этого я не могу,— промолвил он и отвернулся снова.

— Не можете?

— Не могу. Прощайте.

И он направился к выходу часовни.

— Погодите еще немножко,— сказала Елена.— Вы как будто боитесь меня. А я храбрее вас,— прибавила она с внезапной легкой дрожью во всем теле.— Я могу вам сказать... хотите?.. отчего вы меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла?

Инсаров с изумлением посмотрел на Елену.

— Я шла к вам.

— Ко мне?

Елена закрыла лицо.

— Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю,— прошептала она,— вот... я сказала.

— Елена! — вскрикнул Инсаров.

Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь.

Он крепко обнял ее и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он ее любит. Из одного его восклицания, из этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он молчал, и ей не нужно было слов. «Он тут, он любит... чего ж еще?» Тишина блаженства,

тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой смерти придает и смысл и красоту, наполнила ее всю своею божественной волной. Она ничего не желала, потому что она обладала всем. «О мой брат, мой друг, мой милый!..» — шептали ее губы, и она сама не знала, чье это сердце, его ли, ее ли, так сладостно билось и таяло в ее груди.

А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал на груди это новое, бесконечно дорогое бремя; чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу, и никогда еще не изведанные слезы навернулись на его глаза...

А она не плакала; она твердила только: «О мой друг, о мой брат!»

— Так ты пойдешь за мною всюду? — говорил он ей четверть часа спустя, по-прежнему окружая и поддерживая ее своими объятиями.

— Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду.

— И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак?

— Я себя не обманываю; я это знаю.

— Ты знаешь, что я беден, почти нищий?

— Знаю.

— Что я не русский, что мне не суждено жить в России, что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными?

— Знаю, знаю.

— Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне... что нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может?

— Знаю, все знаю... Я тебя люблю.

— Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там, одна, между чужими, ты, может быть, принуждена будешь работать...

Она положила ему руку на губы.

— Я люблю тебя, мой милый.

Он начал горячо целовать ее узкую розовую руку. Елена не отнимала ее от его губ и с какою-то детскою радостью, с смеющимся любопытством глядела, как он покрывал поцелуями то самую руку ее, то пальцы...

Вдруг она покраснела и спрятала свое лицо на его груди.

Он ласково приподнял ее голову и пристально посмотрел ей в глаза.

— Так здравствуй же,— сказал он ей,— моя жена перед людьми и перед богом!

XIX

Час спустя Елена, с шляпою в одной руке, с мантильей в другой, тихо входила в гостиную дачи. Волосы ее слегка развились, на каждой щеке виднелось маленькое розовое пятнышко, улыбка не хотела сойти с ее губ, глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались. Она едва переступала от усталости, и ей была приятна эта усталость: да и все ей было приятно. Все казалось ей милым и ласковым. Увар Иванович сидел под окном; она подошла к нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась.

— Чему? — спросил он, удивившись.

Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать Увара Ивановича.

— Плашмя!..— промолвила она наконец.

Но Увар Иванович даже бровью не повел и продолжал с удивлением глядеть на Елену. Она уронила на него и мантилью и шляпу.

— Милый Увар Иванович,— проговорила она,— я спать хочу, я устала,— и она опять засмеялась и упала на кресло возле него.

— Гм,— крякнул Увар Иванович и заиграл пальцами.— Это, надо бы, да...

А Елена глядела вокруг себя и думала: «Со всем этим я скоро должна расстаться... и странно: нет во мне ни страха, ни сомнения, ни сожаления... Нет, мамаши жалко!» Потом опять возникла перед ней часовенка, прозвучал опять его голос, она почувствовала вокруг себя его руки. Сердце ее радостно, но слабо шевельнулось: истома счастия лежала и на нем. Вспомнилась ей старушка нищая. «Точно, унесла она мое горе,— подумала она.— О, как я счастлива! как незаслуженно! как скоро!» Ей бы стоило дать себе крошечку воли, и полились бы у нее сладкие, нескончаемые слезы. Она удерживала их только тем, что посмеивалась. Какое положение она ни принимала, ей казалось, что уж лучше и ловчее нельзя: точно ее баюкали. Все движения ее были медленны и мягки; куда девалась ее торопливость,

ее угловатость? Вошла Зоя: Елена решила, что она не видала прелестнее личика; Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену, но с какою нежностию она обняла свою добрую мать и поцеловала ее в лоб, подле волос, уже слегка поседелых! Потом она отправилась в свою комнатку: как там ей все улыбнулось! С каким чувством стыдливого торжества и смирения села она на свою кроватку, на ту самую кроватку, где три часа тому назад она провела такие горькие мгновения! «А ведь уж я тогда знала, что он меня любит,— подумала она,— да и прежде... Ай, нет! нет! это грех». «Ты моя жена...» — прошептала она, закрывшись руками, и бросилась на колени.

К вечеру она стала задумчивее. Грусть ее взяла при мысли, что она не скоро увидится с Инсаровым. Он не мог, не возбуждая подозрения, оставаться у Берсенева, и потому вот на чем они с Еленой порешили: Инсаров должен был вернуться в Москву и приехать к ним в гости раза два до осени; с своей стороны, она обещалась писать ему письма и, если будет можно, назначить ему свидание где-нибудь около Кунцева. К чаю она сошла в гостиную и застала там всех своих домашних и Шубина, который зорко посмотрел на нее, как только она появилась; она хотела было заговорить с ним дружески, по-старому, да боялась его проницательности, боялась самой себя. Ей сдавалось, что он недаром более двух недель оставлял ее в покое. Скоро пришел Берсенев и передал Анне Васильевне поклон от Инсарова вместе с извинением его в том, что он вернулся в Москву, не засвидетельствовав ей своего почтения. Имя Инсарова в первый раз в течение дня произносилось перед Еленой; она почувствовала, что покраснела; она поняла в то же время, что ей следовало выразить сожаление о внезапном отъезде такого хорошего знакомого, но она не могла принудить себя к притворству и продолжала сидеть неподвижно и безмолвно, между тем как Анна Васильевна охала и горевала. Елена старалась держаться около Берсенева; она его не боялась, хоть он и знал часть ее тайны; она спасалась под его крылышко от Шубина, который все продолжал посматривать на нее — не насмешливо, но внимательно. На Берсенева в течение вечера тоже находило недоумение: он ожидал, что увидит Елену более печальной. К счастию ее, между ним и Шубиным завязался спор об искусстве; она отодвинулась и словно сквозь сон слушала их голоса. Понемногу не только они, но и вся комната, все, что окружало ее, показалось ей как бы сном — все: и самовар на столе, и коротенький жилет Увара Ивановича, и гладкие ногти Зои, и масляный портрет

великого князя Константина Павловича на стене: все уходило, все покрывалось дымкой, все переставало существовать. Только жаль ей было их всех. «Для чего живут?» — думала она.

— Ты спать хочешь, Леночка? — спросила ее мать.

Она не слышала вопроса матери.

— Полусправедливый намек, говоришь ты?..— Эти слова, резко произнесенные Шубиным, внезапно возбудили внимание Елены.— Помилуй,— продолжал он,— в этом-то самый вкус и есть. Справедливый намек возбуждает уныние — это не по-христиански; к несправедливому человек равнодушен — это глупо, а от полусправедливого он и досаду чувствует и нетерпение. Например, если я скажу, что Елена Николаевна влюблена в одного из нас, какого рода это будет намек, ась?

— Ах, мсье Поль,— проговорила Елена,— я бы хотела показать вам мою досаду, да право, не могу. Я очень устала.

— Что ж ты не ляжешь? — промолвила Анна Васильевна, которая вечером сама всегда дремала и оттого охотно посылала спать других.— Простись со мной да ступай с богом. Андрей Петрович извинит.

Елена поцеловала свою мать, поклонилась всем и пошла. Шубин проводил ее до двери.

— Елена Николаевна,— шепнул он ей на пороге,— вы топчете мсье Поля, вы безжалостно ходите по нем, а мсье Поль благословляет вас, и ваши ножки, и башмаки на ваших ножках, и подошвы ваших башмаков.

Елена пожала плечом, нехотя протянула ему руку — не ту, которую целовал Инсаров,— и вернувшись к себе в комнату, тотчас разделась, легла и заснула. Она спала глубоким, безмятежным сном... Так даже дети не спят: так спит только выздоровевший ребенок, когда мать сидит возле его колыбельки и глядит на него и слушает его дыхание.

XX

— Зайди ко мне на минутку,— сказал Берсеневу Шубин, как только тот простился с Анной Васильевной,— у меня есть кое-что тебе показать.

Берсенев отправился к нему во флигель. Его поразило множество студий, статуэток и бюстов, окутанных мокрыми тряпками и расставленных по всем уголкам комнаты.

— Да ты, я вижу, работаешь не на шутку,— заметил он Шубину.

— Что-нибудь надобно ж делать,— ответил тот.— Одно не везет, надо пробовать другое. Впрочем, я, как корсиканец, занимаюсь больше вендеттой, нежели чистым искусством. Trema, Bisanzia! [1]

— Я тебя не понимаю,— проговорил Берсенев.

— А вот погоди. Вот извольте поглядеть, любезный друг и благодетель, мою месть номер первый.

Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенев увидел отменно схожий, отличный бюст Инсарова. Черты лица были схвачены Шубиным верно до малейшей подробности, и выражение он им придал славное: честное, благородное и смелое.

Берсенев пришел в восторг.

— Да это просто прелесть! — воскликнул он.— Поздравляю тебя. Хоть на выставку! Почему ты называешь это великолепное произведение местью?

— А потому, сэр, что я намерен поднести это, как вы изволили выразиться, великолепное произведение Елене Николаевне в день ее именин. Понимаете вы сию аллегорию? Мы не слепые, мы видим, что́ около нас происходит, но мы джентльмены, милостивый государь, и мстим по-джентльменски.

— А вот,— прибавил Шубин, раскутывая другую фигурку,— так как художник, по новейшим эстетикам, пользуется завидным правом воплощать в себе всякие мерзости, возводя их в перл создания, то мы, при возведении сего перла, номера второго, мстили уже вовсе не как джентльмены, а просто en canaille [2].

Он ловко сдернул полотно, и взорам Берсенева предстала статуэтка, в дантановском вкусе, того же Инсарова. Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии «супруга овец тонкорунных», и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться.

— Что? забавно? — промолвил Шубин,— узнал героя? На выставку тоже советуешь послать? Это, братец ты мой, я сам себе в собственные именины подарю... Ваше высокоблагородие, позвольте выкинуть коленце!

И Шубин прыгнул раза три, ударяя себя сзади подошвами.

Берсенев поднял с полу полотно и забросил им статуэтку.

---

[1] Трепещи, Византия! *(итал.)* — *Ред.*

[2] как канальи *(франц.)*.— *Ред.*

— Ох ты, великодушный,— начал Шубин,— кто бишь в истории считается особенно великодушным? Ну, все равно! А теперь,— продолжал он, торжественно и печально раскутывая третью, довольно большую массу глины,— ты узришь нечто, что докажет тебе смиренномудрие и прозорливость твоего друга. Ты убедишься в том, что он, опять-таки как истинный художник, чувствует потребность и пользу собственного заушения. Взирай!

Полотно взвилось, и Берсенев увидел две, рядом и близко поставленные, точно сросшиеся, головы... Он не тотчас понял, в чем дело, но, приглянувшись, узнал в одной из них Аннушку, в другой самого Шубина. Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты. Аннушка была представлена красивою жирною девкой с низким лбом, заплывшими глазами и бойко вздернутым носом. Ее крупные губы нагло ухмылялись; все лицо выражало чувственность, беспечность и удаль, не без добродушия. Себя Шубин изобразил испитым, исхудалым жуиром, с ввалившимися щеками, с бессильно висящими косицами жидких волос, с бессмысленным выражением в погасших глазах, с заостренным, как у мертвеца, носом.

Берсенев отвернулся с отвращением.

— Какова двоешка, брат?—промолвил Шубин.—Не соблаговолишь ли сочинить приличную подпись? К первым двум штукам я уже подписи придумал. Под бюстом будет стоять: «Герой, намеревающийся спасти свою родину». Под статуэткой: «Берегитесь, колбасники!» А под этой штукой — как ты думаешь? — «Будущность художника Павла Яковлева Шубина...» Хорошо?

— Перестань,— возразил Берсенев.— Стоило терять время на такую...— Он не тотчас подобрал подходящее слово.

— Гадость? — хочешь ты сказать. Нет, брат, извини, уж коли чему на выставку идти, так этой группе.

— Именно гадость,— повторил Берсенев.— Да и что за вздор? В тебе вовсе нет тех залогов подобного развития, которыми до сих пор, к несчастию, так обильно одарены наши артисты. Ты просто наклеветал на себя.

— Ты полагаешь? — мрачно проговорил Шубин.— Если во мне их нет и если они ко мне привьются, то в этом будет виновата... одна особа. Ты знаешь ли,— прибавил он, трагически нахмурив брови,— что я уже пробовал пить?

— Врешь?!

— Пробовал, ей-богу,— возразил Шубин и вдруг осклабился и просветлел,— да невкусно, брат, в горло не лезет, и голова потом, как барабан. Сам великий Лущихин — Харлампий Лущихин, первая московская, а по другим, великороссийская

воронка — объявил, что из меня проку не будет. Мне, по его словам, бутылка ничего не говорит.

Берсенев замахнулся было на группу, но Шубин остановил его.

— Полно, брат, не бей; это как урок годится, как пугало.

Берсенев засмеялся.

— В таком случае, пожалуй, пощажу твое пугало,— промолвил он,— и да здравствует вечное, чистое искусство!

— Да здравствует! — подхватил Шубин.— С ним и хорошее лучше и дурное не беда!

Приятели крепко пожали друг другу руку и разошлись.

XXI

Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? неужели?» — спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастия. Воспоминания нахлынули на нее... она потонула в них. Потом опять ее осенила та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра Еленой понемногу овладело беспокойство, а в следующие дни ей стало и томно, и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой колеи: она уже не стояла в ней, она была далеко, а между тем кругом все совершалось обычным порядком, все шло своим чередом, как будто ничего не изменилось; прежняя жизнь по-прежнему двигалась, по-прежнему рассчитывая на участие и содействие Елены. Она пыталась начать письмо к Инсарову, но и это не удалось: слова выходили на бумаге не то мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила: она под последнею строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей, выслушивать ее, отвечать ей, говорить с ней — казалось Елене чем-то преступным; она чувствовала в себе присутствие какой-то фальши; она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что; не раз поднималось в ее душе почти непреодолимое желание высказать все без утайки, что бы там ни было потом. «Для чего,— думала она,— Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел меня, куда хотел? Не сказал ли он мне, что я его жена перед богом? Зачем я здесь?» Она вдруг стала дичиться всех, даже Увара Ивановича, который более чем когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым, ни милым, ни

даже сном не казалось ей все окружающее: оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело... Ты, мол, все-таки наша. Даже ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее,— по крайней мере так чудилось ей,— недоверчиво и враждебно. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом,— думала она,— моя семья, моя родина...» — «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья»,— твердил ей другой голос. Страх овладевал ею, и она досадовала на свое малодушие. Беда только начиналась, а уж она теряла терпение... То ли она обещала?

Не скоро она совладела с собою. Но прошла неделя, другая... Елена немного успокоилась и привыкла к новому своему положению. Она написала две маленькие записочки Инсарову и сама отнесла их на почту — она бы ни за что, и из стыдливости и из гордости, не решилась довериться горничной. Она начинала уже поджидать его самого... Но вместо его, в один прекрасное утро, прибыл Николай Артемьевич.

Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова не видал его таким кислым и в то же время таким самоуверенным и важным, как в тот день. Он вошел в гостиную в пальто и шляпе — вошел медленно, широко расставляя ноги и стуча каблуками; приблизился к зеркалу и долго смотрел на себя, с спокойною строгостью покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнением и тайною радостью (она его иначе никогда не встречала); он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его расспрашивать о курсе лечения — он ничего не отвечал ей; явился Увар Иванович — он взглянул на него и сказал: «Ба!» С Уваром Ивановичем он вообще обходился холодно и свысока, хотя признавал в нем «следы настоящей стаховской крови». Известно, что почти все русские дворянские фамилии убеждены в существовании исключительных, породистых особенностей, им одним свойственных: нам не однажды довелось слышать толки «между своими» о «подсаласкинских» носах и «перепреевских» затылках. Зоя вошла и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крякнул, опустился в кресла, потребовал себе кофею и только тогда снял шляпу. Ему принесли кофею; он выпил чашку и,

посмотрев поочередно на всех, промолвил сквозь зубы: «Sortez, s'il vous plaît» [1], и, обратившись к жене, прибавил: «Et vous, madame, restez, je vous prie» [2].

Все вышли, кроме Анны Васильевны. У нее голова задрожала от волнения. Торжественность приемов Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенного.

— Что такое! — воскликнула она, как только дверь затворилась.

Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Анну Васильевну.

— Ничего особенного, что это у вас за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы? — начал он, безо всякой нужды опуская углы губ на каждом слове.— Я только хотел вас предуведомить, что у нас сегодня будет обедать новый гость.

— Кто такой?

— Курнатовский, Егор Андреевич. Вы его не знаете. Обер-секретарь в сенате.

— Он будет сегодня у нас обедать?

— Да.

— И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти?

Николай Артемьевич снова бросил на Анну Васильевну взгляд, на этот раз уже иронический.

— Вас это удивляет? Погодите удивляться.

Он умолк. Анна Васильевна тоже помолчала немного.

— Я желала бы,— заговорила она...

— Я знаю, вы меня всегда считали за «имморального» человека,— начал вдруг Николай Артемьевич.

— Я! — с изумлением пробормотала Анна Васильевна.

— И, может быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что действительно я вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию («серые лошади!» — промелькнуло в голове Анны Васильевны), хотя вы сами должны согласиться, что при известном вам состоянии вашей конституции...

— Да я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемьевич.

— C'est possible [3]. Во всяком случае, я не намерен себя оправдывать. Меня оправдает время. Но я почитаю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею радеть о... о пользах вверенного мне... вверенного мне семейства.

---

[1] «Выйдите, пожалуйста» *(франц.).— Ред.*

[2] «А вы, сударыня, останьтесь, прошу вас» *(франц.).— Ред.*

[3] Возможно *(франц.).— Ред.*

«Что все это значит?» — думала Анна Васильевна. (Она не могла знать, что накануне, в английском клубе, в углу диванной, поднялось прение о неспособности русских произносить *спичи*. «Кто у нас умеет говорить? Назовите кого-нибудь?» — воскликнул один из споривших. «Да хоть бы Стахов, например»,— отвечал другой и указал на Николая Артемьевича, который тут же стоял и чуть не пискнул от удовольствия.)

— Например,— продолжал Николай Артемьевич,— дочь моя, Елена. Не находите ли вы, что пора ей наконец ступить твердой стопою на стезю... выйти замуж, я хочу сказать. Все эти умствования и филантропии хороши, но до известной степени, до известных лет. Пора ей покинуть свои туманы, выйти из общества разных артистов, школяров и каких-то черногорцев и сделаться как все.

— Как я должна понять ваши слова? — спросила Анна Васильевна.

— А вот извольте выслушать,— отвечал Николай Артемьевич все с тем же опусканием губ.— Скажу вам прямо, без обиняков: я познакомился, я сблизился с этим молодым человеком — господином Курнатовским, в надежде иметь его своим зятем. Смею думать, что, увидевши его, вы не обвините меня в пристрастии или в опрометчивости суждений. (Николай Артемьевич говорил и сам любовался своим красноречием.) Образования отличного, он правовед, манеры прекрасные, тридцать три года, обер-секретарь, коллежский советник, и Станислав на шее. Вы, надеюсь, отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех pères de comédie [1], которые бредят одними чинами; но вы сами мне говорили, что Елене Николаевне нравятся дельные, положительные люди: Егор Андреевич первый по своей части делец; теперь, с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам: так знайте же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, вы понимаете меня, возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу своих братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец.

— А кто его отец? — спросила Анна Васильевна.

— Отец его? Отец его тоже известный в своем роде человек, нравственности самой высокой, un vrai stoïcien [2], отставной, кажется, майор, всеми имениями графов Б... управляет.

— А! — промолвила Анна Васильевна.

---

[1] отцов из комедии *(франц.).— Ред.*
[2] истинный стоик *(франц.).— Ред.*

— А! что: а? — подхватил Николай Артемьевич.— Ужели и вы заражены предрассудками?

— Да я ничего не сказала,— начала было Анна Васильевна...

— Нет, вы сказали: а!.. Как бы то ни было, я счел нужным вас предупредить о моем образе мыслей и смею думать... смею надеяться, что господин Курнатовский будет принят à bras ouverts [1]. Это не какой-нибудь черногорец.

— Разумеется; надо будет только Ваньку-повара позвать, блюдо приказать прибавить.

— Вы понимаете, что я в это не вхожу,— проговорил Николай Артемьевич, встал, надел шляпу и, посвистывая (он от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя на даче и в манеже), отправился гулять в сад. Шубин поглядел на него из окошка своего флигеля и молча высунул ему язык.

В четыре часа без десяти минут к крыльцу стаховской дачи подъехала ямская карета, и человек еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одетый, вышел из нее и велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Курнатовский.

Вот что, между прочим, писала на следующий день Инсарову Елена.

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский; он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильные, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то; точно она у него дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает. «Как она его изучила!» — думаешь ты, может быть, в эту минуту. Да; для того, чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем есть что-то железное... и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он точно очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях: говорят, он

---

[1] с распростертыми объятьями *(франц.).— Ред.*

в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре; господин Курнатовский объявил, и — я должна сознаться — без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художества. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к comme il faut он, впрочем, довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие. Я подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось, а этот пускай себе говорит! пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то *есть правила* — это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках...

— Я понимаю,— сказал он,— что во многих случаях берущий взятку не виноват; он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула.

— Раздавить невиноватого!

— Да, ради принципа.

— Какого? — спросил Шубин.

Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал:

— Этого нечего объяснять.

Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего, и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д. ... а между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на все это как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал: «Вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) — оба практические люди, а посмотрите, какая разница; там настоящий, живой, жизнью данный идеал; а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания». Шубин умен, и я для тебя запомнила его слова; а по-моему, что же общего между вами?

Ты *веришь*, а тот нет, потому что только в самого себя *верить нельзя*.

Он уехал поздно, но мамаша успела мне сообщить, что я ему понравилась, что папенька в восторге... Уж не сказал ли он обо мне, что и у меня есть правила? А я чуть было не ответила мамаше, что мне очень жалко, но что у меня уже есть муж. Отчего тебя папенька так не любит? С мамашей еще можно было бы как-нибудь...

О мой милый! Я тебе так подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без тебя, я беспрестанно тебя вижу, слышу... Я жду тебя, только не у нас, как ты было хотел,— представь, как нам будет тяжело и неловко! — а знаешь, где я тебе писала — в той роще... О мой милый! Как я тебя люблю!»

XXIII

Недели три после первого посещения Курнатовского Анна Васильевна, к великой радости Елены, переселилась в Москву, в свой большой деревянный дом возле Пречистенки, дом с колоннами, белыми лирами и венками над каждым окном, с мезонином, службами, палисадником, огромным зеленым двором, колодцем на дворе и собачьей конуркой возле колодца. Анна Васильевна никогда так рано не съезжала с дачи, но в тот год у ней от первых осенних холодов *разыгрались* флюсы; Николай Артемьевич, с своей стороны, окончивши курс лечения, соскучился по жене; притом же Августина Христиановна уехала погостить к своей кузине в Ревель; в Москву прибыло какое-то иностранное семейство, показывавшее *пластические позы*, des poses plastiques, описание которых в «Московских ведомостях» сильно возбудило любопытство Анны Васильевны. Словом, дальнейшее пребывание на даче оказалось неудобным и даже, по словам Николая Артемьевича, несовместным с исполнением его «предначертаний». Последние две недели показались очень длинными Елене. Курнатовский приезжал два раза, по воскресеньям; в другие дни он был занят. Он приезжал, собственно, для Елены, но разговаривал больше с Зоей, которой он очень понравился. «Das ist ein Mann!» [1] — думала она про себя, глядя на его смуглое и мужественное лицо, слушая его самоуверенные, снисходительные речи. По ее мнению, ни у кого не было такого чудного голоса, никто не умел так отлично произнести:

---

[1] «Это — мужчина!» *(нем.) — Ред.*

ся имел чес-с-ть» или «я весьма доволен». Инсаров не был у Стаховых, но Елена видела его раз украдкой в небольшой рощице над Москвой-рекой, где она назначила ему свидание. Они едва успели сказать несколько слов друг другу. Шубин возвратился в Москву вместе с Анной Васильевной; Берсенев несколькими днями позже.

Инсаров сидел у себя в комнате и в третий раз перечитывал письма, доставленные ему из Болгарии с «оказией»; по почте их боялись посылать. Он был очень встревожен ими. События быстро развивались на Востоке; занятие княжеств русскими войсками волновало все умы; гроза росла, слышалось уже веяние близкой, неминуемой войны. Кругом занимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится; старые обиды, давние надежды — все зашевелилось. Сердце Инсарова сильно билось: и *его* надежды сбывались. «Но не рано ли? не напрасно ли? — думал он, стискивая руки.— Мы еще не готовы. Но так и быть! Надо будет ехать».

Что-то слегка зашумело за дверью, она быстро распахнулась — и в комнату вошла Елена.

Инсаров затрепетал весь, бросился к ней, упал перед нею на колени, обнял ее стан и крепко прижался к нему головой.

— Ты меня не ждал? — заговорила она, едва переводя дух. (Она быстро взбежала по лестнице.) — Милый! милый! — Она положила ему обе руки на голову и оглянулась.— Так вот где ты живешь? Я тебя скоро нашла. Дочь твоего хозяина меня проводила. Мы третьего дня переехали. Я хотела тебе написать, но подумала, лучше я сама пойду. Я к тебе на четверть часа. Встань, запри дверь.

Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к ней и взял ее за руки. Он не мог говорить; радость его душила. Она с улыбкой глядела ему в глаза... в них было столько счастия... Она застыдилась.

— Постой,— сказала она, ласково отнимая у него руки,— дай мне шляпу снять.

Она развязала ленты шляпы, сбросила ее, спустила с плеч мантилью, поправила волосы и села на маленький старенький диванчик. Инсаров не шевелился и глядел на нее как очарованный.

— Сядь же,— проговорила она, не поднимая на него глаз и указывая ему на место возле себя.

Инсаров сел, но не на диван, а на пол, у ее ног.

— На, сними с меня перчатки,— промолвила она неровным голосом. Ей становилось страшно.

Он принялся сперва расстегивать, потом стаскивать одну перчатку, стащил ее до половины и жадно прильнул губами к забелевшей под нею тонкой и нежной кисти.

Елена вздрогнула и хотела отслонить его другой рукою, он начал целовать другую руку. Елена потянула ее к себе, он откинул голову, она посмотрела ему в лицо, нагнулась — и губы их слились...

Прошло мгновение... Она вырвалась, встала, шепнула: «Нет, нет»,— и быстро подошла к письменному столу.

— Ведь я здесь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны,— проговорила она, стараясь казаться беспечной и становясь к нему спиной.— Сколько бумаг! Это что за письма?

Инсаров наморщил брови.

— Эти письма? — промолвил он, вставая с полу.— Ты можешь их прочесть.

Елена повертела их в руке.

— Их так много, и они так мелко написаны, а я сейчас должна уйти... Бог с ними! Не от соперницы?.. Да они и не по-русски,— прибавила она, перебирая тонкие листы.

Инсаров приблизился к ней и коснулся ее стана. Она вдруг обернулась к нему, светло ему улыбнулась и оперлась на его плечо.

— Эти письма из Болгарии, Елена; друзья мне пишут, они меня зовут.

— Теперь? Туда?

— Да... теперь. Пока еще время, пока проехать можно.

Она вдруг бросила ему обе руки вокруг шеи.

— Ведь ты меня возьмешь с собой?

Он прижал ее к сердцу.

— О моя милая девушка, о моя героиня, как ты произнесла это слово! Но не грешно ли, не безумно ли мне, мне, бездомному, одинокому, увлекать тебя с собою... И куда же!

Она зажала ему рот.

— Тсс... или я рассержусь и никогда больше не приду к тебе. Разве не все решено, не все кончено между нами? Разве я не твоя жена? Разве жена расстается с мужем?

— Жены не идут на войну, — промолвил он с полупечальной улыбкой.

— Да, когда они могут остаться. А разве я могу остаться здесь?

— Елена, ты ангел!.. Но подумай, мне, может быть, придется выехать из Москвы... через две недели. Мне уже нельзя помышлять ни об университетских лекциях, ни об окончании работ.

— Что же такое? — перебила Елена.— Ты должен скоро уехать? Да хочешь ли, я теперь же, сейчас, сию минуту останусь у тебя, с тобой навсегда, и домой не вернусь, хочешь? Поедем сейчас, хочешь?

Инсаров с удвоенною силой заключил ее в свои объятия.

— Так пусть же бог накажет меня,— воскликнул он,— если я делаю дурное дело! С нынешнего дня мы соединены навек!

— Я остаюсь? — спросила Елена.

— Нет, моя чистая девушка; нет, мое сокровище. Ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Это дело нельзя разом сделать; надо хорошенько все обдумать. Тут нужны деньги, паспорт...

— Деньги у меня есть,— перебила Елена,— восемьдесят рублей.

— Ну, это не много,— заметил Инсаров,— а все годится.

— Да я могу достать, я займу, я попрошу у мамаши... Нет, я у ней просить не буду... Да можно часы продать... У меня серьги есть, два браслета... кружево.

— Не в деньгах дело, Елена; паспорт, твой паспорт, как с этим быть?

— Да, как с этим быть? А непременно нужен паспорт?

— Непременно.

Елена усмехнулась.

— Что мне в голову пришло! Помнится, я была еще маленькая... У нас ушла горничная. Ее поймали, простили, и она долго жила у нас... а все-таки все ее величали: Татьяна-беглая. Не думала я тогда, что и я, может быть, буду беглая, как она.

— Елена, как тебе не стыдно!

— А что? Конечно, лучше поехать с паспортом. Но если нельзя...

— Это мы всё уладим после, после, погоди,— промолвил Инсаров.— Дай мне только осмотреться, дай подумать. Мы обо всем переговорим с тобой как следует. А деньги есть и у меня.

Елена отвела рукой волосы, падавшие на его лоб.

— О Дмитрий! как нам весело будет ехать вдвоем!

— Да,— сказал Инсаров,— а там, куда мы приедем...

— Что ж? — перебила Елена,— разве умирать вдвоем тоже не весело? Да нет, зачем умирать? Мы будем жить, мы молоды. Сколько тебе лет? Двадцать шесть?

— Двадцать шесть.

— А мне двадцать. Еще много времени впереди. А! ты хотел убежать от меня? Тебе не нужно было русской любви, бол-

гар! Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься! Но что бы было с нами, если б я тогда не пошла к тебе!

— Елена, ты знаешь, что заставляло меня удаляться.

— Знаю: ты полюбил и испугался. Но неужели ты не подозревал, что и тебя любили?

— Честью клянусь, Елена, нет.

Она быстро и неожиданно его поцеловала.

— Вот за это-то я тебя и люблю. А теперь прощай.

— Ты не можешь больше остаться? — спросил Инсаров.

— Нет, мой милый. Ты думаешь, мне легко было уйти одной? Четверть часа давно минуло.— Она надела мантилью и шляпу.— А ты приходи к нам завтра вечером. Нет, послезавтра. Будет натянуто, скучно, да делать нечего: по крайней мере, увидимся. Прощай. Выпусти меня.— Он обнял ее в последний раз.— Ай! смотри, ты мою цепочку сломал. О мой неловкий! Ну, ничего. Тем лучше. Я пройду на Кузнецкий мост, отдам ее в починку. Если меня спросят, я скажу, что была на Кузнецком мосту.— Она взялась за ручку двери.— Кстати, я тебе и забыла сказать: мусье Курнатовский, вероятно, на днях сделает мне предложение. Но я сделаю ему... вот что.— Она приставила большой палец левой руки к кончику носа и поиграла остальными пальцами на воздухе.— Прощай. До свидания. Теперь я дорогу знаю... А ты не теряй времени...

Елена открыла немножко дверь, прислушалась, обернулась к Инсарову, кивнула головой и выскользнула из комнаты.

С минуту стоял Инсаров перед затворившеюся дверью и тоже прислушивался. Дверь внизу на двор стукнула. Он подошел к дивану, сел и закрыл глаза рукой. С ним еще никогда ничего подобного не случалось. «Чем заслужил я такую любовь? — думал он.— Не сон ли это?»

Но тонкий запах резеды, оставленный Еленой в его бедной, темной комнатке, напоминал ее посещение. Вместе с ним, казалось, еще оставались в воздухе и звуки молодого голоса, и шум легких, молодых шагов, и теплота и свежесть молодого девственного тела.

XXIV

Инсаров решился подождать еще более положительных известий, а сам начал готовиться к отъезду. Дело было очень трудное. Собственно для него не предстояло никаких препятствий: стоило вытребовать паспорт,— но как быть с Еленой? Достать ей паспорт законным путем было невозможно. Обвенчаться с

ней тайно, а потом явиться к родителям... «Они тогда отпустят нас,— думал он.— А если нет? Мы все-таки уедем. А если они будут жаловаться... если... Нет, лучше постараться достать как-нибудь паспорт».

Он решился посоветоваться (разумеется, никого не называя) с одним своим знакомым, отставным или отставленным прокурором, опытным и старым докой по части всяких секретных дел. Почтенный этот человек жил не близко: Инсаров тащился к нему целый час на скверном ваньке, да еще вдобавок не застал его дома; а на возвратном пути промок до костей благодаря внезапно набежавшему ливню. На следующее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отставной прокурор выслушал его внимательно, понюхивая табачок из табакерки, украшенной изображением полногрудой нимфы, и искоса посматривая на гостя своими лукавыми, тоже табачного цвету, глазками; выслушал и потребовал «большей определительности в изложении фактических данных»; а заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности (он и приехал к нему скрепя сердце), ограничился советом вооружиться прежде всего «пенёнзами» и попросил побывать в другой раз, «когда у вас,— прибавил он, нюхая табак над раскрытою табакеркою,— прибудет доверчивости и убудет недоверчивости (он говорил на о). А паспорт,— продолжал он как бы про себя,— дело рук человеческих; вы, например, едете: кто вас знает, Марья ли вы Бредихина, или же Каролина Фогельмейер?» Чувство гадливости шевельнулось в Инсарове, но он поблагодарил прокурора и обещался завернуть на днях.

В тот же вечер он поехал к Стаховым. Анна Васильевна встретила его ласково, попеняла ему, что он совсем их забыл, и, найдя его бледным, осведомилась о его здоровье; Николай Артемьевич ни слова ему не сказал, только поглядел на него с задумчиво-небрежным любопытством; Шубин обошелся с ним холодно; но Елена удивила его. Она его ждала; она для него надела то самое платье, которое было на ней в день их первого свидания в часовне; но она так спокойно его приветствовала и так была любезна и беспечно весела, что, глядя на нее, никто бы не подумал, что судьба этой девушки уже решена и что одно тайное сознание счастливой любви придавало оживление ее чертам, легкость и прелесть всем ее движениям. Она разливала чай вместо Зои, шутила, болтала; она знала, что за ней будет наблюдать Шубин, что Инсаров не сумеет надеть маску, не сумеет прикинуться равнодушным, и вооружилась заранее. Она

не ошиблась: Шубин не спускал с нее глаз, а Инсаров был очень молчалив и пасмурен в течение всего вечера. Елена чувствовала себя до того счастливой, что ей захотелось подразнить его.

— Ну что? — спросила она его вдруг,— план ваш подвигается.

Инсаров смутился.

— Какой план? — проговорил он.

— А вы забыли? — ответила она, смеясь ему в лицо: он один мог понять значение этого счастливого смеха.— Ваша болгарская хрестоматия для русских?

— Quelle bourde! [1] — пробормотал сквозь зубы Николай Артемьевич.

Зоя села за фортепьяно. Елена едва заметно пожала плечом и показала Инсарову глазами на дверь, как бы отпуская его домой. Потом она с расстановкой два раза коснулась пальцем стола и посмотрела на него. Он понял, что она ему назначала свидание через два дня, и она быстро улыбнулась, когда увидела, что он ее понял. Инсаров встал и начал прощаться: он чувствовал себя нездоровым. Явился Курнатовский. Николай Артемьевич вскочил, поднял правую руку выше головы и мягко опустил ее на ладонь обер-секретаря. Инсаров остался еще несколько минут, чтобы посмотреть на своего соперника. Елена украдкой лукаво покачала головой, хозяин не счел нужным их представить друг другу, и Инсаров ушел, в последний раз обменявшись взором с Еленой. Шубин подумал, подумал — и яростно заспорил с Курнатовским о юридическом вопросе, в котором ничего не смыслил.

Инсаров не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно; однако он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался жар: он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру; появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена; он подумал: «Поделом я наказан, зачем таскался к этому старому плуту»,— и попытался заснуть... Но уже недуг завладел им. С страшною силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытье. Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечки дернул

---

[1] Какая нелепость! *(франц.)* — *Ред.*

по ним, как ножом... Что это? Старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне... «Каролина Фогельмейер»,— бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек — он дерево... Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: «Пирожки, пирожки, пирожки»,— а там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо... Елена!.. И все исчезло в багровом хаосе.

XXV

— К вам пришел какой-то, кто его знает, слесарь, что ль, какой,— говорил на следующий вечер Берсеневу его слуга, отличавшийся строгим обхождением с барином и скептическим направлением ума,— хочет вас видеть.

— Позови,— промолвил Берсенев.

Вошел «слесарь». Берсенев узнал в нем портного, хозяина квартиры, где жил Инсаров.

— Что ты? — спросил он его.

— Я к вашей милости,— начал портной, медленно переставляя ноги и по временам взмахивая правою рукой с захваченным тремя последними пальцами обшлагом.— Наш жилец, кто его знает, оченно болен.

— Инсаров?

— Точно так, наш жилец. Кто его знает, вчера еще с утра был на ногах, вечером только пить просил, наша хозяйка ему и воду носила, а ночью залопотал, нам-то слышно, потому перегородка; а сегодня утром уж и без языка, лежит, как пласт, а жар от него, боже ты мой! Я подумал, кто его знает, умрет, того и гляди; в квартал, думаю, надо дать знать. Потому как он один; да хозяйка мне говорит: «Сходи, мол, ты к тому жильцу, у кого наш-то на даче нанимался: может, он тебе что скажет аль сам придет». Вот я к вашей милости и пришел, потому как нам нельзя, то есть...

Берсенев схватил фуражку, сунул портному в руку целковый и тотчас поскакал с ним на квартиру Инсарова.

Он нашел его лежащего на диване в беспамятстве, не раздетого. Лицо его страшно изменилось. Берсенев тотчас приказал хозяину с хозяйкой раздеть его и перенесть на постель, а сам бросился к доктору и привез его. Доктор прописал разом пиявки, мушки, каломель и велел пустить кровь.

— Он опасен? — спросил Берсенев.

— Да, очень,— отвечал доктор.— Сильнейшее воспаление в легких; перипневмония в полном развитии, может быть, и мозг поражен, а субъект молодой. Его же силы теперь против него направлены. Поздно послали, а впрочем, мы всё сделаем, что требует наука.

Доктор был еще сам молод и верил в науку.

Берсенев остался на ночь. Хозяин и хозяйка оказались добрыми и даже расторопными людьми, как только нашелся человек, который стал им говорить, что́ надо было делать. Явился фельдшер — и начались медицинские истязания.

К утру Инсаров очнулся на несколько минут, узнал Берсенева, спросил: «Я, кажется, нездоров?» — посмотрел вокруг себя с тупым и вялым недоумением трудно больного и опять забылся. Берсенев поехал домой, переоделся, захватил с собой кое-какие книги и вернулся на квартиру Инсарова. Он решился поселиться у него, по крайней мере, на первое время. Он огородил его кровать ширмами, а себе устроил местечко около диванчика. Невесело и нескоро прошел день. Берсенев отлучился только для того, чтобы пообедать. Настал вечер. Он зажег свечку с абажуром и принялся за чтение. Все было тихо кругом. У хозяев за перегородкой слышался то сдержанный шепот, то зевок, то вздох... Кто-то у них чихнул, и его шепотом побранили; за ширмами раздавалось тяжелое и неровное дыхание, изредка прерываемое коротким стоном да тоскливым метанием головы по подушке... Странные нашли на Берсенева думы. Он находился в комнате человека, жизнь которого висела на нитке,— человека, которого, он это знал, любила Елена... Вспомнилась ему та ночь, когда Шубин нагнал его и объявил ему, что она его любит, его, Берсенева! А теперь... «Что мне теперь делать? — спрашивал он самого себя.— Известить ли Елену об его болезни? Подождать ли? Это известие печальнее того, которое я же ей сообщил когда-то: странно, как судьба меня все ставит третьим лицом между ними!» Он решил, что лучше подождать. Взоры его упали на стол, покрытый грудами бумаг... «Исполнит ли он свои замыслы? — подумал Берсенев.— Неужели все исчезнет?» И жалко ему становилось молодой погибающей жизни, и он давал себе слово ее спасти...

Ночь была нехороша. Больной много бредил. Несколько раз вставал Берсенев с своего диванчика, приближался на цыпочках к постели и печально прислушивался к его несвязному лепетанию. Раз только Инсаров произнес с внезапной ясностью: «Я не хочу, я не хочу, ты не должна...» Берсенев вздрогнул и

посмотрел на Инсарова: лицо его, страдальческое и мертвенное в то же время, было неподвижно, и руки лежали бессильно... «Я не хочу»,— повторил он едва слышно.

Доктор приехал поутру, покачал головой и прописал новые лекарства.

— Еще далеко до кризиса,— сказал он, надевая шляпу.

— А после кризиса? — спросил Берсенев.

— После кризиса? Исход бывает двоякий: aut Caesar, aut nihil [1].

Доктор уехал. Берсенев прошелся несколько раз по улице: ему нужен был чистый воздух. Он вернулся и взялся за книгу. Раумера уж он давно кончил: он теперь изучал Грота.

Вдруг дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась в комнату головка хозяйской дочери, покрытая, по обыкновению, тяжелым платком.

— Здесь,— заговорила она вполголоса,— та барышня, что тогда мне гривенничек...

Головка хозяйской дочери внезапно скрылась, и на место ее появилась Елена.

Берсенев вскочил как ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула... Казалось, она все поняла в одно мгновение. Страшная бледность покрыла ее лицо, она подошла к шир-

мам, заглянула за них, всплеснула руками и окаменела. Еще мгновение, и она бы бросилась к Инсарову, но Берсенев остановил ее.

— Что вы делаете? — проговорил он трепещущим шепотом.— Вы его погубить можете!

Она зашаталась. Он подвел ее к диванчику и посадил ее.

Она посмотрела ему в лицо, потом окинула его взглядом, потом уставилась на пол.

— Он умирает? — спросила она так холодно и спокойно, что Берсенев испугался.

— Ради бога, Елена Николаевна,— начал он,— что вы это? Он болен, точно,— и довольно опасно... Но мы его спасем; за это я вам ручаюсь.

— Он без памяти? — спросила она так же, как в первый раз.

— Да, он теперь в забытьи... Это всегда бывает в начале этих болезней, но это ничего не значит, ничего, уверяю вас. Выпейте воды.

---

[1] или — Цезарь, или — ничто *(лат.).— Ред.*

Она подняла на него глаза, и он понял, что она не слышала его ответов.

— Если он умрет,— проговорила она все тем же голосом,— и я умру.

Инсаров в это мгновение простонал слегка; она затрепетала, схватила себя за голову, потом стала развязывать ленты шляпы.

— Что это вы делаете? — спросил ее Берсенев.

Она не отвечала.

— Что вы делаете? — повторил он.

— Я остаюсь здесь.

— Как... надолго?

— Не знаю, может быть, на весь день, на ночь, навсегда... не знаю.

— Ради бога, Елена Николаевна, придите в себя. Я, конечно, никак не мог ожидать вас здесь увидеть; но я все-таки... предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. Вспомните, вас могут хватиться дома...

— И что же?

— Вас будут искать... Вас найдут...

— И что же?

— Елена Николаевна! Вы видите... Он вас теперь защитить не может.

Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платок к губам, и судорожные рыдания с потрясающею силою внезапно исторглись из ее груди... Она бросилась лицом на диван, старалась заглушить их, но все ее тело поднималось и билось, как только что пойманная птичка.

— Елена Николаевна... ради бога...— твердил над ней Берсенев.

— А? Что такое? — раздался вдруг голос Инсарова.

Елена выпрямилась, а Берсенев так и замер на месте... Погодя немного он подошел к постели... Голова Инсарова по-прежнему бессильно лежала на подушке; глаза были закрыты.

— Он бредит? — прошептала Елена.

— Кажется,— отвечал Берсенев,— но это ничего; это тоже всегда так бывает, особенно если...

— Когда он занемог? — перебила Елена.

— Третьего дня; со вчерашнего дня я здесь. Положитесь на меня, Елена Николаевна. Я не отойду от него; все средства будут употреблены. Если нужно, мы созовем консилиум.

— Он умрет без меня,— воскликнула она, ломая руки.

— Я вам даю слово извещать вас ежедневно о ходе его болезни, и если бы наступила действительно опасность...

— Клянитесь мне, что вы тотчас пошлете за мною когда бы то ни было, днем, ночью; пишите записку прямо ко мне... Мне все равно теперь. Слышите ли вы? обещаетесь ли вы это сделать?

— Обещаюсь, перед богом.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Она вдруг схватила его руку и, прежде чем он успел ее отдернуть, припала к ней губами.

— Елена Николаевна... что вы это,— пролепетал он.

— Нет... нет... не надо...— произнес невнятно Инсаров и тяжело вздохнул.

Елена подошла к ширмам, стиснула платок зубами и долго, долго глядела на больного. Безмолвные слезы потекли по ее щекам.

— Елена Николаевна,— сказал ей Берсенев,— он может прийти в себя, узнать вас; бог знает, хорошо ли это будет. Притом же я с часу на час жду доктора...

Елена взяла шляпу с диванчика, надела ее и остановилась. Глаза ее печально блуждали по комнате. Казалось, она вспоминала...

— Я не могу уйти,— прошептала она наконец.

Берсенев пожал ей руку.

— Соберитесь с силами,— промолвил он,— успокойтесь; вы оставляете его на моем попечении. Я сегодня же вечером заеду к вам.

Елена взглянула на него, проговорила: «О, мой добрый друг!» — зарыдала и бросилась вон.

Берсенев прислонился к двери. Чувство горестное и горькое, не лишенное какой-то странной отрады, сдавило ему сердце. «Мой добрый друг!» — подумал он и повел плечом.

— Кто здесь? — послышался голос Инсарова.

Берсенев подошел к нему.

— Я здесь, Дмитрий Никанорович. Что вам? Как вы себя чувствуете?

— Один? — спросил больной.

— Один.

— А она?

— Кто она? — проговорил почти с испугом Берсенев.

Инсаров помолчал.

— Резеда,— шепнул он, и глаза его опять закрылись.

XXVI

Инсаров целых восемь дней находился между жизнию и смертию. Доктор приезжал беспрестанно, интересуясь, опять-таки как молодой человек, трудным больным. Шубин услышал об опасном положении Инсарова и навестил его; явились его соотечественники — болгары; в числе их Берсенев узнал обе странные фигуры, возбудившие его изумление своим нежданным посещением на даче; все изъявляли искреннее участие, некоторые предлагали Берсеневу сменить его у постели больного; но он не соглашался, помня обещание, данное Елене. Он каждый день ее видел и украдкой передавал ей — иногда на словах, иногда в маленькой записочке — все подробности хода болезни. С каким сердечным замиранием она его ожидала, как она его выслушивала и расспрашивала! Она сама все порывалась к Инсарову, но Берсенев умолял ее этого не делать: Инсаров редко бывал один. В первый день, когда она узнала об его болезни, она сама чуть не занемогла; она, как только вернулась, заперлась у себя в комнате; но ее позвали к обеду, и она явилась в столовую с таким лицом, что Анна Васильевна испугалась и хотела непременно уложить ее в постель. Елене, однако, удалось переломить себя. «Если он умрет,— твердила она,— и меня не станет». Эта мысль ее успокоила и дала ей силу казаться равнодушною. Впрочем, никто ее слишком не тревожил: Анна Васильевна возилась со своими флюсами; Шубин работал с остервенением; Зоя предавалась меланхолии и собиралась прочесть «Вертера»; Николай Артемьевич очень был недоволен частыми посещениями «школяра», тем более что его «предначертания» насчет Курнатовского подвигались туго: практический обер-секретарь недоумевал и выжидал. Елена даже не благодарила Берсенева: есть услуги, за которые жутко и стыдно благодарить. Только однажды, в четвертое свое свидание с ним (Инсаров очень плохо провел ночь, доктор намекнул на консилиум), только в это свидание она напомнила ему об его клятве. «Ну, в таком случае пойдемте»,— сказал он ей. Она встала и пошла было одеваться. «Нет,— промолвил он,— подождемте еще до завтра». К вечеру Инсарову полегчило.

Восемь дней продолжалась эта пытка. Елена казалась покойной, но ничего не могла есть, не спала по ночам. Тупая боль стояла во всех ее членах; какой-то сухой, горячий дым, казалось, наполнял ее голову. «Наша барышня как свечка тает»,— говорила о ней ее горничная.

Наконец, на девятый день, перелом совершился. Елена сидела в гостиной подле Анны Васильевны и, сама не понимая, что делала, читала ей «Московские ведомости»; Берсенев вошел. Елена взглянула на него (как быстр, и робок, и проницателен, и тревожен был первый взгляд, который она на него всякий раз бросала!) и тотчас же догадалась, что он принес добрую весть. Он улыбался; он слегка кивал ей: она приподнялась ему навстречу.

— Он пришел в себя, он спасен, он через неделю будет совсем здоров,— шепнул он ей.

Елена протянула руки, как будто отклоняя удар, и ничего не сказала, только губы ее задрожали и алая краска разлилась по всему лицу. Берсенев заговорил с Анной Васильевной, а Елена ушла к себе, упала на колени и стала молиться, благодарить бога... Легкие, светлые слезы полились у ней из глаз. Она вдруг почувствовала крайнюю усталость, положила голову на подушку, шепнула: «Бедный Андрей Петрович!» — и тут же заснула, с мокрыми ресницами и щеками. Она давно уже не спала и не плакала.

XXVII

Слова Берсенева сбылись только отчасти: опасность миновалась, но силы Инсарова восстановлялись медленно, и доктор неговаривал о глубоком и общем потрясении всего организма. Со всем тем больной оставил постель и начал ходить по комнате; Берсенев переехал к себе на квартиру; но он каждый день заходил к своему, все еще слабому, приятелю и каждый день по-прежнему уведомлял Елену о состоянии его здоровья. Инсаров не смел писать к ней и только косвенно, в разговорах с Берсеневым, намекал на нее; а Берсенев, с притворным равнодушием, рассказывал ему о своих посещениях у Стаховых, стараясь, однако, дать ему понять, что Елена была очень огорчена и что теперь она успокоилась. Елена тоже не писала Инсарову; у ней иное было в голове.

Однажды — Берсенев только что сообщил ей с веселым лицом, что доктор уже разрешил Инсарову съесть котлетку и что он, вероятно, скоро выйдет,— она задумалась, потупилась...

— Угадайте, что я хочу сказать вам,— промолвила она.

Берсенев смутился. Он ее понял.

— Вероятно,— ответил он, глянув в сторону,— вы хотите мне сказать, что вы желаете его видеть.

Елена покраснела и едва слышно произнесла:

— Да.

— Так что ж? Это вам, я думаю, очень легко.— «Фи! — подумал он,— какое у меня гадкое чувство на сердце!»

— Вы хотите сказать, что я уже прежде...— проговорила Елена.— Но я боюсь... теперь он, вы говорите, редко бывает один.

— Этому нетрудно помочь,— возразил Берсенев, все не глядя на нее.— Предуведомить я его, разумеется, не могу; но дайте мне записку. Кто вам может запретить написать ему как хорошему знакомому, в котором вы принимаете участие? Тут ничего нет предосудительного. Назначьте ему... то есть напишите ему, когда вы будете...

— Мне совестно,— шепнула Елена.

— Дайте записку, я отнесу.

— Это не нужно, а я хотела вас попросить... Не сердитесь на меня, Андрей Петрович... не приходите завтра к нему.

Берсенев закусил губу.

— А! да, понимаю, очень хорошо, очень хорошо.— И, прибавив два-три слова, он быстро удалился.

«Тем лучше, тем лучше,— думал он, спеша домой.— Я не узнал ничего нового, но тем лучше. Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда? Я ни в чем не раскаиваюсь, я сделал, что мне совесть велела, но теперь полно. Пусть их! Недаром мне говаривал отец: «Мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики,— мы труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастие!»

На другое утро Инсаров получил по городской почте коротенькую записку. «Жди меня,— писала ему Елена,— и вели всем отказывать. А. П. не придет».

XXVIII

Инсаров прочел записку Елены — и тотчас же стал приводить свою комнатку в порядок, попросил хозяйку унести стклянки с лекарством, снял шлафрок, надел сюртук. От слабости и от радости у него голова кружилась и сердце билось. Ноги у него подкосились: он опустился на диван и стал глядеть на часы. «Теперь три четверти двенадцатого,— сказал он самому себе,— раньше двенадцати она никак прийти не может, буду

думать о чем-нибудь другом в течение четверти часа, а то я не вынесу. Раньше двенадцати она никак не может...»

Дверь распахнулась, и в легком шелковом платье, вся бледная и вся свежая, молодая, счастливая, вошла Елена и с слабым радостным криком упала к нему на грудь.

— Ты жив, ты мой,— твердила она, обнимая и лаская его голову. Он замер весь, он задыхался от этой близости, от этих прикосновений, от этого счастия.

Она села возле него, и прижалась к нему, и стала глядеть на него тем смеющимся, и ласкающим, и нежным взглядом, который светится в одних только женских любящих глазах.

Ее лицо внезапно опечалилось.

— Как ты похудел, мой бедный Дмитрий,— сказала она, проводя рукой по его щеке,— какая у тебя борода!

— И ты похудела, моя бедная Елена,— отвечал он, ловя губами ее пальцы.

Она весело встряхнула кудрями.

— Это ничего. Посмотри, как мы поправимся! Гроза налетела, как в тот день, когда мы встретились в часовне, налетела и прошла. Теперь мы будем живы!

Он отвечал ей одною улыбкой.

— Ах, какие дни, Дмитрий, какие жестокие дни! Как это люди переживают тех, кого они любят? Я наперед всякий раз знала, что́ мне Андрей Петрович скажет, право: моя жизнь падала и поднималась вместе с твоей. Здравствуй, мой Дмитрий!

Он не знал, что сказать ей. Ему хотелось броситься к ее ногам.

— Еще что я заметила,— продолжала она, откидывая назад его волосы,— (я много делала замечаний все это время, на досуге),— когда человек очень, очень несчастлив,— с каким глупым вниманием он следит за всем, что около него происходит! Я, право, иногда заглядывалась на муху, а у самой на душе такой холод и ужас! Но это все прошло, прошло, не правда ли? Все светло впереди, не правда ли?

— Ты для меня впереди,— ответил Инсаров,— для меня светло.

— А для меня-то! А помнишь ли ты, тогда, когда я у тебя была, не в последний раз... нет, не в последний раз,— повторила она с невольным содроганием,— а когда мы говорили с тобой, я, сама не знаю отчего, упомянула о смерти; я и не подозревала тогда, что она нас караулила. Но ведь ты здоров теперь?

— Мне гораздо лучше, я почти здоров.

— Ты здоров, ты не умер. О, как я счастлива!

Настало небольшое молчание.

— Елена? — спросил ее Инсаров.

— Что, мой милый?

— Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание?

Елена серьезно взглянула на него.

— Эта мысль мне в голову приходила, Дмитрий. Но я подумала: за что же я буду наказана? Какой долг я преступила, против чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не такая, как у других, но она молчала; или, может быть, я против тебя виновата? Я тебе помешаю, я остановлю тебя...

— Ты меня не остановишь, Елена, мы пойдем вместе.

— Да, Дмитрий, мы пойдем вместе, я пойду за тобой... Это мой долг. Я тебя люблю... другого долга я не знаю.

— О Елена! — промолвил Инсаров,—какие несокрушимые цепи кладет на меня каждое твое слово!

— Зачем говорить о цепях? — подхватила она.— Мы с тобой вольные люди. Да,— продолжала она, задумчиво глядя на пол, а одной рукой по-прежнему разглаживая его волосы,— многое я испытала в последнее время, о чем и понятия не имела никогда! Если бы мне предсказал кто-нибудь, что я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна из дома под разными сочиненными предлогами, и куда же уходить? к молодому человеку на квартиру;— какое я почувствовала бы негодование! И это все сбылось, и я никакого не чувствую негодования. Ей-богу! — прибавила она и обернулась к Инсарову.

Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она тихо опустила руку с его волос на его глаза.

— Дмитрий! — начала она снова,— ведь ты не знаешь, ведь я тебя видела там, на этой страшной постели, я видела тебя в когтях смерти, без памяти...

— Ты меня видела?

— Да.

Он помолчал.

— И Берсенев был здесь?

Она кивнула головой.

Инсаров наклонился к ней.

— О Елена! — прошептал он,— я не смею глядеть на тебя.

— Отчего? Андрей Петрович такой добрый! Я его не стыдилась. И чего мне стыдиться? Я готова сказать всему свету, что я твоя... А Андрею Петровичу я доверяю, как брату.

— Он меня спас! — воскликнул Инсаров.— Он благороднейший, добрейший человек!

— Да... И знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Знаешь ли ты, что он мне первый сказал, что ты меня любишь? И если б я могла все открыть... Да, он благороднейший человек.

Инсаров посмотрел пристально на Елену.

— Он влюблен в тебя, не правда ли?

Елена опустила глаза.

— Он меня любил,— проговорила она вполголоса.

Инсаров крепко стиснул ей руку.

— О вы, русские,— сказал он,— золотые у вас сердца! И он, он ухаживал за мной, он не спал ночи... И ты, ты, мой ангел... Ни упрека, ни колебания... И это всё мне, мне...

— Да, да, всё тебе, потому что тебя любят. Ах, Дмитрий! Как это странно! Я, кажется, тебе уже говорила об этом,— но все равно, мне приятно это повторить, а тебе будет приятно это слушать,— когда я тебя увидала в первый раз...

— Отчего у тебя на глазах слезы? — перебил ее Инсаров.

— У меня? слезы? — Она утерла глаза платком.— О глупый! Он еще не знает, что и от счастья плачут. Так я хотела сказать: когда я увидала тебя в первый раз, я в тебе ничего особенного не нашла, право. Я помню, сначала Шубин мне гораздо более понравился, хотя я никогда его не любила, а что касается до Андрея Петровича,— о! тут была минута, когда я подумала: уж не он ли? А ты — ничего; зато... потом... потом... так ты у меня сердце обеими руками и взял!

— Пощади меня...— проговорил Инсаров. Он хотел встать и тотчас же опустился на диван.

— Что с тобой? — заботливо спросила Елена.

— Ничего... я еще немного слаб... Мне это счастье еще не по силам.

— Так сиди смирно. Не извольте шевелиться, не волнуйтесь,— прибавила она, грозя ему пальцем.— И зачем вы ваш шлафрок сняли? Рано еще вам щеголять! Сидите, а я вам буду сказки рассказывать. Слушайте и молчите. После вашей болезни вам много разговаривать вредно.

Она начала говорить ему о Шубине, о Курнатовском, о том, что она делала в течение двух последних недель, о том, что, судя по газетам, война неизбежна и что, следовательно, как только он выздоровеет совсем, надо будет, не теряя ни минуты, найти средства к отъезду... Она говорила все это, сидя с ним рядом, опираясь на его плечо...

Он слушал ее, слушал, то бледнея, то краснея... он несколько раз хотел остановить ее — и вдруг выпрямился.

— Елена,— сказал он ей каким-то странным и резким голосом,— оставь меня, уйди.

— Как? — промолвила она с изумлением.— Ты дурно себя чувствуешь? — прибавила она с живостью.

— Нет... мне хорошо... но, пожалуйста, оставь меня.

— Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты делаешь? — проговорила она вдруг: он склонился с дивана почти до полу и приник губами к ее ногам.— Не делай этого, Дмитрий... Дмитрий...

Он приподнялся.

— Так оставь меня! Вот видишь ли, Елена, когда я сделался болен, я не тотчас лишился сознания; я знал, что я на краю гибели; даже в жару, в бреду, я понимал, я смутно чувствовал, что это смерть ко мне идет, я прощался с жизнью, с тобой, со всем, я расставался с надеждой... И вдруг это возрождение, этот свет после тьмы, ты... ты... возле меня, у меня... твой голос, твое дыхание... Это свыше сил моих! Я чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвечаю... Уйди!

— Дмитрий...— прошептала Елена и спрятала к нему на плечо голову. Она только теперь его поняла.

— Елена,— продолжал он,— я тебя люблю, ты это знаешь, я жизнь свою готов отдать за тебя... Зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собою, когда вся кровь моя зажжена... Ты моя, говоришь ты... меня любишь...

— Дмитрий,— повторила она и вспыхнула вся и еще теснее к нему прижалась.

— Елена, сжалься надо мной — уйди, я чувствую, я могу умереть — я не выдержу этих порывов... вся душа моя стремится к тебе... Подумай, смерть едва не разлучила нас... и теперь ты здесь, ты в моих объятиях... Елена...

Она затрепетала вся.

— Так возьми ж меня,— прошептала она чуть слышно...

XXIX

Николай Артемьевич ходил, нахмурив брови, взад и вперед по своему кабинету. Шубин сидел у окна и, положив ногу на ногу, спокойно курил сигару.

— Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол,— промолвил он, отряхая пепел с сигары.— Я все ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами — шея у меня заболела. Притом же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодраматическое.

— Вам бы все только балагурить,— ответил Николай Артемьевич.— Вы не хотите войти в мое положение; вы не хотите понять, что я привык к этой женщине, что я привязан к ней наконец, что отсутствие ее меня должно мучить. Вот уж октябрь на дворе, зима на носу... Что она может делать в Ревеле?

— Должно быть, чулки вяжет... себе; себе — не вам.

— Смейтесь, смейтесь; а я вам скажу, что я подобной женщины не знаю. Эта честность, это бескорыстие...

— Подала она вексель ко взысканию? — спросил Шубин.

— Это бескорыстие,— повторил, возвысив голос, Николай Артемьевич,— это удивительно. Мне говорят, на свете есть миллион других женщин; а я скажу: покажите мне этот миллион; покажите мне этот миллион, говорю я: ces femmes — qu'on me les montre! [1] И не пишет, вот что убийственно!

— Вы красноречивы, как Пифагор,— заметил Шубин,— но знаете ли, что бы я вам присоветовал?

— Что?

— Когда Августина Христиановна возвратится... вы понимаете меня?

— Ну да; что же?

— Когда вы ее увидите... Вы следите за развитием моей мысли?

— Ну да, да.

— Попробуйте ее побить: что из этого выйдет?

Николай Артемьевич отвернулся с негодованием.

— Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный совет подаст. Да что от него ожидать! Артист, человек без правил...

— Без правил! А вот, говорят, ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами, вчера вас на сто рублей серебром обыграл. Это уж неделикатно, согласитесь.

— Что ж? Мы играли в коммерческую. Конечно, я мог бы ожидать... Но его так мало умеют ценить в этом доме...

— Что он подумал: «Куда ни шла! — подхватил Шубин,— тесть ли он мне или нет — это еще скрыто в урне судьбы, а сто рублей — хорошо человеку, который взяток не берет».

— Тесть!.. Какой я, к черту, тесть? Vous rêvez, mon cher [2]. Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Посудите сами: человек бойкий, умный, сам собою в люди вышел, в двух губерниях лямку тер...

---

[1] эти женщины — пусть их мне покажут! *(франц.)* — *Ред.*

[2] Вы бредите, мой дорогой *(франц.)*.— *Ред.*

— В ...ой губернии губернатора за нос водил,— заметил Шубин.

— Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец...

— И в карты хорошо играет,— опять заметил Шубин.

— Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна... Разве ее возможно понять? Желаю я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет? То она весела, то скучает; похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее, а там вдруг поправится, и все это без всякой видимой причины...

Вошел неблаговидный лакей с чашкой кофе, сливочником и сухарями на подносе.

— Отцу нравится жених,— продолжал Николай Артемьевич, размахивая сухарем,— а дочери что до этого за дело! Это было хорошо в прежние, патриархальные времена, а теперь мы все это переменили. Nous avons changé tout ça. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно, читает, что ей угодно; отправляется одна по Москве, без лакея, без служанки, как в Париже; и все это принято. На днях я спрашиваю: где Елена Николаевна? Говорят, изволила выйти. Куда? Неизвестно. Что это — порядок?

— Возьмите же вашу чашку да отпустите человека,— промолвил Шубин.— Сами же вы говорите, что не надо devant les domestiques [1],— прибавил он вполголоса.

Лакей исподлобья взглянул на Шубина, а Николай Артемьевич взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять сухарей.

— Я хотел сказать,— начал он, как только лакей вышел,— что я ничего в этом доме не значу.— Вот и все. Потому, в наше время все судят по наружности; иной человек и пуст и глуп, да важно себя держит,— его уважают; а другой, может быть, обладает талантами, которые могли бы... могли бы принести великую пользу, но по скромности...

— Вы государственный человек, Николенька? — спросил Шубин тоненьким голоском.

— Полноте паясничать! — воскликнул с сердцем Николай Артемьевич.— Вы забываетесь! Вот вам новое доказательство, что я в этом доме ничего не значу, ничего!

— Анна Васильевна вас притесняет... бедненький! — проговорил, потягиваясь, Шубин.— Эх, Николай Артемьевич, грешно нам с вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочек для Анны

---

[1] при слугах *(франц.).— Ред.*

Васильевны приготовили. На днях ее рождение, а вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с вашей стороны.

— Да, да,— торопливо ответил Николай Артемьевич,— очень вам благодарен, что напомнили. Как же, как же; непременно. Да вот есть у меня вещица: фермуарчик, я его на днях купил у Розенштрауха; только не знаю, право, годится ли?

— Ведь вы его для той, для ревельской жительницы купили?

— То есть... я... да... я думал...

— Ну, в таком случае, наверное, годится.

Шубин поднялся со стула.

— Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлевич, а? — спросил его Николай Артемьевич, любезно заглядывая ему в глаза.

— Да ведь вы в клуб поедете.

— После клуба.... после клуба.

Шубин опять потянулся.

— Нет, Николай Артемьевич, мне нужно завтра работать. До другого раза.— И он вышел.

Николай Артемьевич насупился, прошелся раза два по комнате, достал из бюро бархатный ящичек с «фермуарчиком» и долго его рассматривал и обтирал фуляром. Потом он сел перед зеркалом и принялся старательно расчесывать свои густые черные волосы, с важностию на лице наклоняя голову то направо, то налево, упирая в щеку языком и не спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиною: он оглянулся и увидал лакея, который приносил ему кофе.

— Ты зачем? — спросил он его.

— Николай Артемьевич! — проговорил не без некоторой торжественности лакей,— вы наш барин!

— Знаю: что же дальше?

— Николай Артемьевич, вы не извольте на меня прогневаться; только я, будучи у вашей милости на службе с малых лет, из рабского, значит, усердия должóн вашей милости донести...

— Да что такое?

Лакей помялся на месте.

— Вы вот изволите говорить,— начал он,— что не изволите знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволят. Я про то известен стал.

— Что ты врешь, дурак?!

— Вся ваша воля, а только я их четвертого дня видел, как они в один дом изволили войти.

— Где? что? какой дом?

— В ...м переулке возле Поварской. Недалече отсюда. Я и у дворника спросил, что, мол, у вас тут, какие жильцы?

Николай Артемьевич затопал ногами.

— Молчать, бездельник! Как ты смеешь?.. Елена Николаевна, по доброте своей, бедных посещает, а ты... Вон, дурак!

Испуганный лакей бросился было к двери.

— Стой! — воскликнул Николай Артемьевич.— Что тебе дворник сказал?

— Да ни... ничего не сказал. Говорит, сту... студент.

— Молчать, бездельник! Слушай, мерзавец, если ты хоть во сне кому-нибудь об этом проговоришься...

— Помилуйте-с...

— Молчать! если ты хоть пикнешь... если кто-нибудь... если я узнаю... Ты у меня и под землей-то места не найдешь! Слышишь? Убирайся!

Лакей исчез.

«Господи, боже мой! Что это значит? — подумал Николай Артемьевич, оставшись один,— что мне сказал этот болван? А? Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там живет. Самому сходить. Вот до чего дошло наконец!.. Un laquais! Quelle humiliation!» [1]

И, повторив громко: «Un laquais!», Николай Артемьевич запер фермуар в бюро и отправился к Анне Васильевне. Он нашел ее в постели, с повязанною щекой. Но вид ее страданий только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.

XXX

Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась. Турция объявила России войну; срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул; уже недалек был день Синопского погрома. Последние письма, полученные Инсаровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его все еще не поправилось: он кашлял, чувствовал слабость, легкие приступы лихорадки, но он почти не сидел дома. Душа его загорелась; он уже не думал о болезни. Он беспрестанно разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам, пропадал по целым дням; хозяину он объявил, что скоро выезжает, и заранее подарил ему свою незатейливую мебель.

---

[1] Лакей! Какое унижение! *(франц.) — Ред.*

С своей стороны, Елена также готовилась к отъезду. В один ненастный вечер она сидела в своей комнате и, обрубая платки, с невольным унынием прислушивалась к завываниям ветра. Ее горничная вошла и сказала ей, что папенька в маменькиной спальне и зовет ее туда... «Маменька плачут,— шепнула она вслед уходившей Елене,— а папенька гневаются...»

Елена слегка пожала плечами и вошла в спальню Анны Васильевны. Добродушная супруга Николая Артемьевича полулежала в откидном кресле и нюхала платок с одеколоном; сам он стоял у камина, застегнутый на все пуговицы, в высоком твердом галстуке и в туго накрахмаленных воротничках, смутно напоминая своей осанкой какого-то парламентского оратора. Ораторским движением руки указал он своей дочери на стул, и когда та, не понявши его движения, вопросительно посмотрела на него, он промолвил с достоинством, но не оборачивая головы: «Прошу вас сесть». (Николай Артемьевич всегда говорил жене *вы*, дочери — в экстраординарных случаях.)

Елена села.

Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Артемьевич заложил правую руку за борт сюртука.

— Я вас призвал, Елена Николаевна,— начал он после продолжительного молчания,— с тем, чтоб объясниться с вами, или, лучше сказать, с тем, чтобы потребовать от вас объяснений. Я вами недоволен, или нет: это слишком мало сказано; ваше поведение огорчает, оскорбляет меня — меня и вашу мать... вашу мать, которую вы здесь видите.

Николай Артемьевич пускал в ход одни басовые ноты своего голоса. Елена молча посмотрела на него, потом на Анну Васильевну — и побледнела.

— Было время,— начал снова Николай Артемьевич,— когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на своих родителей, когда родительская власть заставляла трепетать непокорных. Это время прошло, к сожалению; так, по крайней мере, думают многие; но поверьте, еще существуют законы, не позволяющие... не позволяющие... словом, еще существуют законы. Прошу вас обратить на это внимание: законы существуют.

— Но, папенька,— начала было Елена...

— Прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мыслию в прошедшее. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания: ни издержек, ни попечений. Какую вы пользу извлекли изо всех этих попечений, этих издержек — это другой вопрос;

но я имел право думать... мы с Анной Васильевной имели право думать, что вы, по крайней мере, свято сохраните те правила нравственности, которые... которые мы вам, как нашей единственной дочери... que nous vous avons inculqués, которые мы вам внушили. Мы имели право думать, что никакие новые «идеи» не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. И что же? Не говорю уже о легкомыслии, свойственном вашему полу, вашему возрасту... но кто мог ожидать, что вы до того забудетесь...

— Папенька,— проговорила Елена,— я знаю, что вы хотите сказать...

— Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! — вскрикнул фальцетом Николай Артемьевич, внезапно изменив и величавости парламентской осанки, и плавной важности речи, и басовым нотам,— ты не знаешь, дерзкая девчонка!

— Ради бога, Nicolas,— пролепетала Анна Васильевна,— vous me faites mourir [1].

— Не говорите мне этого, que je vous fais mourir [2], Анна Васильевна! Вы себе и представить не можете, что́ вы сейчас услышите,— приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас!

Анна Васильевна так и обомлела.

— Нет,— продолжал Николай Артемьевич, обратившись к Елене,— ты не знаешь, что я хочу сказать!

— Я виновата перед вами,— начала она...

— А, наконец-то!

— Я виновата перед вами,— продолжала Елена,— в том, что давно не призналась...

— Да ты знаешь ли,— перебил ее Николай Артемьевич,— что я могу уничтожить тебя одним словом?

Елена подняла на него глаза.

— Да, сударыня, одним словом! Нечего глядеть-то! (Он скрестил руки на груди.) Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый дом в ...м переулке, возле Поварской? Вы посещали этот дом? (Он топнул ногой.) Отвечай же, негодная, и не думай хитрить! Люди, люди, лакеи, судырня, des vils laqúais [3] видели вас, как вы входили туда, к вашему...

Елена вся вспыхнула, и глаза ее заблистали.

— Мне незачем хитрить,— промолвила она,— да, я посещала этот дом.

---

[1] вы меня убиваете *(франц.).— Ред.*
[2] что я вас убиваю *(франц.).— Ред.*
[3] презренные лакеи *(франц.).— Ред.*

— Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет?

— Да, знаю: мой муж...

Николай Артемьевич вытаращил глаза.

— Твой...

— Мой муж,— повторила Елена.— Я замужем за Дмитрием Никаноровичем Инсаровым.

— Ты?.. замужем?..— едва проговорила Анна Васильевна.

— Да, маменька... Простите меня... Две недели тому назад мы обвенчались тайно.

Анна Васильевна упала в кресло; Николай Артемьевич отступил на два шага.

— Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Без родительского благословения! И ты думаешь, что я это так оставлю? что я не буду жаловаться? что я позволю тебе... что ты... что... В монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты! Анна Васильевна, извольте сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства.

— Николай Артемьевич, ради бога,— простонала Анна Васильевна.

— И когда, каким образом это сделалось? Кто вас венчал? где? как? боже мой! Что скажут теперь все знакомые, весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после эдакого поступка жить под родительской кровлей! Ты не побоялась... грома небесного?

— Папенька,— проговорила Елена (она вся дрожала с ног до головы, но голос ее был тверд),— вы вольны делать со мною все, что угодно, но напрасно вы обвиняете меня в бесстыдстве и в притворстве. Я не хотела... огорчать вас заранее, но я поневоле на днях сама бы все вам сказала, потому что мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем.

— Уезжаете? Куда это?

— На его родину, в Болгарию.

— К туркам! — воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувств.

Елена бросилась к матери.

— Прочь! — возопил Николай Артемьевич и схватил дочь за руку,— прочь, недостойная!

Но в это мгновение дверь спальни отворилась и показалась бледная голова с сверкающими глазами; то была голова Шубина.

— Николай Артемьевич! — крикнул он во весь голос.— Августина Христиановна приехала и зовет вас!

Николай Артемьевич с бешенством обернулся, погрозил Шубину кулаком, остановился на минуту и быстро вышел из комнаты.

Елена упала к ногам матери и обняла ее колени.

Увар Иванович лежал на своей постели. Рубашка без ворота, с крупною запонкой, охватывала его полную шею и расходилась широкими, свободными складками на его почти женской груди, оставляя на виду большой кипарисовый крест и ладанку. Легкое одеяло покрывало его пространные члены. Свечка тускло горела на ночном столике, возле кружки с квасом, а в ногах Увара Ивановича, на постели, сидел, подгорюнившись, Шубин.

— Да,— задумчиво говорил он,— она замужем и собирается уехать. Ваш племянничек шумел и орал на весь дом; заперся, для секрету, в спальню, а не только лакеи и горничные,— кучера всё слышать могли! Он и теперь так и рвет и мечет, со мной чуть не подрался, с отцовским проклятием носится, как медведь с чурбаном; да не в нем сила. Анна Васильевна убита, но ее гораздо больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество.

Увар Иванович поиграл пальцами.

— Мать,— проговорил он,— ну... и того.

— Племянник ваш,— продолжал Шубин,— грозится и митрополиту, и генерал-губернатору, и министру жалобы подать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою родную дочь губить! Попетушится и опустит хвост.

— Права... не имеют,— заметил Увар Иванович и отпил из кружки.

— Так, так. А какая поднимется по Москве туча осуждений, пересудов, толков! Она их не испугалась... Впрочем, она выше их. Уезжает она — и куда? даже страшно подумать! В какую даль, в какую глушь! Что ждет ее там? Я гляжу на нее, точно она ночью, в метель, в тридцать градусов мороза, с постоялого двора съезжает. Расстается с родиной, с семьей; а я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеневых, да нашего брата; и это еще лучшие. Чего тут жалеть? Одно худо: говорят, ее муж — черт знает, язык как-то не поворачивается на это слово,— говорят, Инсаров кровью кашляет; это худо. Я его видел на днях, лицо, хоть

сейчас лепи с него Брута... Вы знаете, кто был Брут, Увар Иванович?

— Что знать? человек.

— Именно: «Человек он был». Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое.

— Сражаться-то... все равно,— проговорил Увар Иванович.

— Сражаться-то все равно, точно; вы сегодня совершенно справедливо изволите выражаться, да жить-то не все равно. А ведь ей с ним пожить захочется.

— Дело молодое,— отозвался Увар Иванович.

— Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно, в сущности, все равно. А там — натянуты струны, звени на весь мир или порвись!

Шубин уронил голову на грудь.

— Да,— продолжал он после долгого молчания,— Инсаров ее стоит. А впрочем, что за вздор! Никто ее не стоит. Инсаров... Инсаров... К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же, что и мы, грешные, да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну хоть я, разве я дрянь, Увар Иванович? Разве бог меня так-таки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Кто знает, может быть, имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит медный грош. Кто знает, может быть, когда-нибудь, через столетие, эта медь пойдет на статую Павла Шубина, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством?

Увар Иванович оперся на локоть и уставился на разгорячившегося художника.

— Далека песня,— проговорил он наконец, с обычной игрой пальцев,— о других речь, а ты... того... о себе.

— О великий философ земли русской! — воскликнул Шубин.— Каждое ваше слово — чистое золото, и не мне — вам следует воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вот как вы теперь лежите, в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше — лени или силы? — так я вас и отолью. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие! Да! да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Всё — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные!

А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?

— Дай срок,— ответил Увар Иванович,— будут.

— Будут? Почва! черноземная сила! ты сказала: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?

— Спать хочу, прощай.

XXXI

Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла в постель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтоб она не пускала своей дочери к себе на глаза; он как будто обрадовался случаю показать себя в полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства: он беспрерывно шумел и гремел на людей, то и дело приговаривая: «Я вам докажу, кто я таков, я вам дам знать — погодите!» Пока он сидел дома, Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась присутствием Зои, которая очень усердно ей услуживала, а сама думала про себя: «Diesen Insaroff vorziehen — und wem?»[1] Но как только Николай Артемьевич уезжал (а это случалось довольно часто: Августина Христиановна взаправду вернулась), Елена являлась к своей матери —и та долго, молча, со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого другого проникал в сердце Елены; не раскаяние чувствовала она тогда, но глубокую, бесконечную жалость, похожую на раскаяние.

— Мамаша, милая мамаша! — твердила она, целуя ее руки,— что же было делать? Я не виновата, я полюбила его, я не могла поступить иначе. Вините судьбу: она меня свела с человеком, который не нравится папеньке, который увозит меня от вас.

— Ох! — перебивала ее Анна Васильевна,— не напоминай мне об этом. Как я вспомню, куда ты хочешь ехать, сердце у меня так и покатится!

---

[1] «Предпочесть этого Инсарова — и кому?» *(нем.)* — *Ред.*

— Милая мамаша,— отвечала Елена,— утешьтесь хоть тем, что могло быть и хуже: я могла бы умереть.

— Да я и так не надеюсь больше тебя видеть. Либо ты кончишь жизнь там, где-нибудь под шалашом (Анне Васильевне Болгария представлялась чем-то вроде сибирских тундр), либо я не перенесу разлуки...

— Не говорите этого, добрая мамаша, мы еще увидимся, бог даст. А в Болгарии такие же города, как и здесь.

— Какие там города! Там война теперь идет; теперь там, я думаю, куда ни поди, всё из пушек стреляют... Скоро ты ехать собираешься?

— Скоро... если только папенька... Он хочет жаловаться, он грозится развести нас.

Анна Васильевна подняла глаза к небу.

— Нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы; да ведь сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь.

Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно; потом загудел голос Николая Артемьевича, потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания... Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку; но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор — и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипыванья — и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемого бюро... Дверь раскрылась, и появился Николай Артемьевич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб; а Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:

— Все улажено, он не будет поднимать истории, и ничего теперь тебе не мешает уехать... бросить нас.

— Вы позволите Дмитрию прийти благодарить вас? — спросила Елена свою мать, как только та немного успокоилась.

— Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника... Перед отъездом успеем.

— Перед отъездом,— печально повторила Елена.

Николай Артемьевич согласился «не поднимать истории»; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объявил

Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаровым, которого продолжал величать черногорцем, а приехавши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы слышали,— промолвил он с притворною небрежностию,— дочь моя, от очень большой учености, вышла замуж за какого-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, промычал: «Гм!» — и спросил его, в чем он играет?

XXXII

А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, проходили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил: «Вам нужен теплый климат,— говорил он ему,— вы здесь не поправитесь». Нетерпение томило и Елену; ее тревожила бледность Инсарова, его худоба. Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвою, а отец обходился с ней презрительно холодно: близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца, скрывать свои чувства, свою слабость. Анна Васильевна пожелала наконец увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько, через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него: он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностию ожидал ее первого слова. Елена сидела тут же и держала в руке своей руку матери. Анна Васильевна подняла наконец глаза, промолвила: «Бог вам судья, Дмитрий Никанорович...» — и остановилась: упреки замерли на ее устах.

— Да вы больны,— воскликнула она.— Елена, он у тебя болен!

— Я был нездоров, Анна Васильевна,— ответил Инсаров,— и теперь еще не совсем поправился; но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно.

— Да... Болгария! — пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка — и она его жена, она его любит... да это сон какой-то...» Но она тотчас же спохватилась.— Дмитрий Никанорович,— проговорила она,— вы непременно... непременно должны ехать?

— Непременно, Анна Васильевна.

Анна Васильевна посмотрела на него.

— Ох, Дмитрий Никанорович, не дай вам бог испытать то, что я теперь испытываю... Но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее... Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!

Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней.

Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, а пустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они уже все вперед уехали; уехали также и известные читателю две таинственные личности (они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). Портной встретил с поклоном «доброго барина»: он, должно быть, с горя, а может, и с радости, что мебель ему доставалась, сильно выпил; жена скоро его увела. В комнате уже все было прибрано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу. Берсенев задумался: много воспоминаний прошло у него по душе.

Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а «молодые» все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую в обмороке; прощание было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! благодарствуйте!» — и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека, что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление.

— Собралось опять наше трио,— заговорил он,— в последний раз! Покоримся велениям судьбы, помянем прошлое добром — и с богом на новую жизнь! «С богом, в дальнюю дорогу»,— запел он и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник; а в это мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим... но все-таки умирало.

— Ну, Елена,— начал Инсаров, обращаясь к жене,— кажется, все? Все заплачено, уложено. Остается только этот чемодан стащить. Хозяин!

Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами.

— Теперь, по русскому обычаю, сесть надо,— заметил Инсаров.

Все сели: Берсенев поместился на старом диванчике; Елена села возле него; хозяйка с дочкой прикорнули на пороге. Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается; каждому хотелось что-то сказать на прощанье, и каждый (за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери: те только глаза таращили), каждый чувствовал, что в подобные мгновенья позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным. Инсаров поднялся первый и стал креститься... «Прощай, наша комнатка!» — воскликнул он.

Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные недосказанные желания, обещания писать, последние, полусдавленные прощальные слова...

Елена, вся в слезах, уже садилась в повозку; Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром; Шубин, Берсенев, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник, посторонний мастеровой в полосатом халате — все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич.

— Застал еще, слава богу,— воскликнул он и подбежал к повозке.— Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение,— сказал он, нагнувшись под балчук, и, достав из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки, а кучер между тем вынул из передка саней полубутылку шампанского и три бокала.

— Ну! — сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели,— надо проводить... и пожелать...— Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее.— Дай бог вам...— начал Николай Артемьевич, и не мог договорить — и выпил вино; те

тоже выпили.— Теперь вам бы следовало, господа,— прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой.— Смотри ж, пиши нам,— говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай, Россия!» — и откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал; повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо — и исчезла.

XXXIII

Был светлый апрельский день. По широкой лагуне, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера. Под низенькою ее крышей, на мягких кожаных подушках, сидели Елена и Инсаров.

Черты лица Елены не много изменились со дня ее отъезда из Москвы, но выражение их стало другое: оно было обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Все ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще лежали вдоль белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она не улыбалась, сказывалось едва заметною складкой присутствие тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротив, выражение лица осталось то же, но черты его жестоко изменились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился; он почти беспрестанно кашлял коротким, сухим кашлем, и впалые глаза его блестели странным блеском. На пути из России Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене и только в конце марта приехал с женой в Венецию: он оттуда надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию; другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае; Англия и Франция объявили России войну, все славянские земли волновались и готовились к восстанию.

Гондола пристала ко внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они умирают каждый год), на внешний край Лидо, к морю.

Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои мутно-синие волны; они пенились, шипели, набегали и, скатываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и обрывки морских трав.

— Какое унылое место! — заметила Елена.— Я боюсь, не слишком ли здесь холодно для тебя; но я догадываюсь, зачем ты хотел сюда приехать.

— Холодно! — возразил с быстрою, но горькою усмешкой Инсаров.— Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. А приехал я сюда... я тебе скажу зачем. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она там,— прибавил он, протянув руку на восток.— Вот и ветер оттуда тянет.

— Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты ждешь? — сказала Елена.— Вон белеет парус, уж не он ли это?

Инсаров посмотрел на морскую даль, куда показывала ему Елена.

— Рендич обещался через неделю все нам устроить,— заметил он.— На него, кажется, положиться можно... Слышала ты, Елена,— прибавил он с внезапным одушевлением,— говорят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками,— ты знаешь, этими тяжестями, от которых невода на дно опускаются,— на пули! Денег у них не было, они только и живут что рыбною ловлей; но они с радостию отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ!

— Aufgepasst! [1] — крикнул сзади их надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер, в короткой серой тюнике и зеленом картузе, проскакал мимо их... Они едва успели посторониться.

Инсаров мрачно посмотрел ему вслед.

— Он не виноват,— промолвила Елена,— ты знаешь, у них здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей.

— Он не виноват,— возразил Инсаров,— да кровь он мне расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом, всей своей наружностью. Вернемся.

— Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты не поберегся после твоей московской болезни и поплатился за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее.

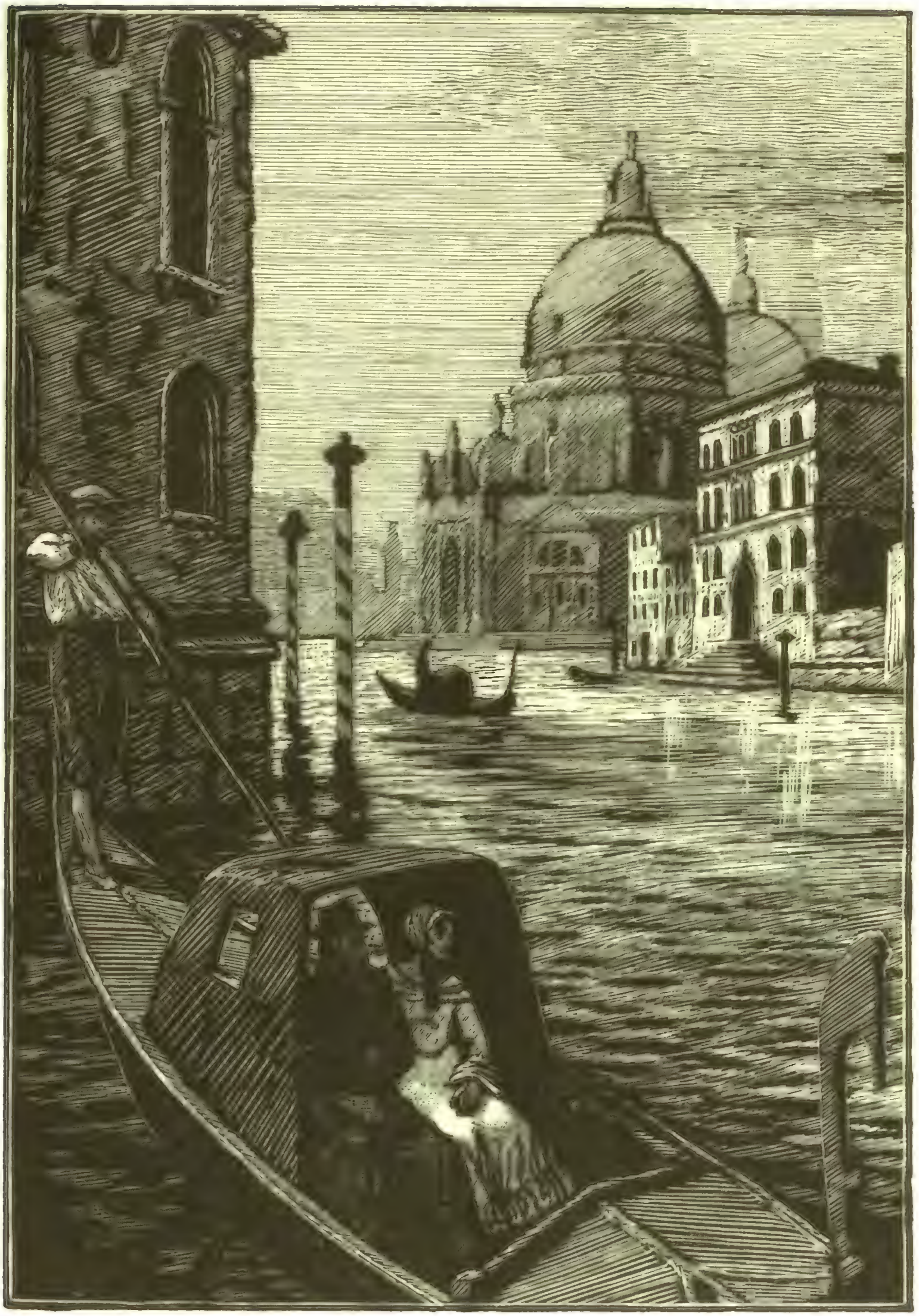
Инсаров промолчал, только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам.

— Хочешь? — продолжала Елена,— покатаемся по Canal Grande [2]. Ведь мы с тех пор, как здесь, хорошенько не видели Венеции. А вечером поедем в театр: у меня есть два билета на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынешний день

---

[1] Берегись! *(нем.)* — *Ред.*

[2] Большому каналу *(итал.).*— *Ред.*



«Накануне».

отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне, обо всем, будем знать только одно: что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда... Хочешь?

— Ты этого хочешь, Елена,— отвечал Инсаров,— стало быть, и я этого хочу.

— Я это знала,— заметила с улыбкой Елена.— Пойдем, пойдем.

Они вернулись к гондоле, сели и велели везти себя, не спеша, по Canal Grande.

Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу — Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастия. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в ней молчит, и все приветно; все в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название *Прекрасной.* Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. «Венеция умирает, Венеция опустела»,— говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти, ни Гварди (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. Отжившему, разбитому жизнию не для чего посещать Венецию: она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует себя благополучным; пусть он принесет свое счастие под ее очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неувядаемым сиянием.

Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Riva dei Schiavoni [1], Дворец дожей, Пиаццетту и вошла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы;

---

[1] Набережную Скьявони *(итал.).— Ред.*

они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко счастливою; в лазури ее неба стояло одно темное облачко — и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше в тот день. Они доплыли до крутой арки Риальто и вернулись назад. Елена боялась холода церквей для Инсарова; но она вспомнила об академии delle Belle arti [1] и велела гондольеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались перед каждой картиной, не насиловали себя: какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них. Им вдруг все показалось очень забавно. (Детям хорошо известно это чувство.) К великому скандалу трех посетителей — англичан, Елена хохотала до слез над святым Марком Тинторета, прыгающим с неба, как лягушка в воду, для спасения истязаемого раба; с своей стороны, Инсаров пришел в восторг от спины и икр того энергического мужа в зеленой хламиде, который стоит на первом плане тициановского «Вознесения» и воздымает руки вослед Мадонны; зато сама Мадонна — прекрасная, сильная женщина, спокойно и величественно стремящаяся в лоно бога-отца,— поразила и Инсарова и Елену; понравилась им также строгая и святая картина старика Чима да Конельяно. Выходя из академии, они еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинными, заячьями зубами и висячими бакенбардами — и засмеялись; увидали своего гондольера с куцою курткой и короткими панталонами — и засмеялись; увидали торговку с узелком седых волос на самой вершине головы — и засмеялись пуще прежнего; посмотрели, наконец, друг другу в лицо — и залились смехом, а как только сели в гондолу — крепко, крепко пожали друг другу руку. Они приехали в гостиницу, побежали в свою комнату и велели подать себе обедать. Веселость не покидала их и за столом. Они потчевали друг друга, пили за здоровье московских приятелей, рукоплескали камериеру за вкусное блюдо рыбы и всё требовали от него живых frutti di mare; [2] камериере пожимался и шаркал ногами, а выходя от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул: poveretti! (бедняжки!). После обеда они отправились в театр.

В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским,— «Травиату». Сезон

---

[1] изящных искусств *(итал.).— Ред.*

[2] морских плодов (съедобных ракушек) *(итал.).— Ред.*

в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одета она была до наивности пестро и плохо: красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей; да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии! И держаться на сцене она не умела; но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе, возле самой сцены; игривое расположение духа, которое нашло на них в академии delle Belle arti, все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в гороховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое *тремоло,* они чуть оба не прыснули... Но игра Виолетты подействовала на них.

— Этой бедной девушке почти не хлопают,— сказала Елена,— а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась и все била бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки; посмотри, она не замечает публики.

Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту.

— Да,— промолвил он,— она не шутит: смертью пахнет.

Елена умолкла.

Начался третий акт. Занавес поднялся... Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешенных гардин, стклянок с лекарством, заслоненной лампы... Вспомнилось ей близкое прошедшее... «А будущее? а настоящее?» — мелькнуло у ней в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова... Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение безмятежное и спокойное; Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пению.

Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все лучше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все ненужное и *нашла себя*: редкое, высочайшее счастие для художника!

Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал, как разбитый: он согрелся и окреп. Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не поднял той бури, имя которой fanatismo и перед которой ничто все наши северные завывания... Мгновение — и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший нумер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком внезапно приблизившейся смерти с таким, до неба достигающим, порывом моленья исторглись у ней слова: «Lascia mi vivere... morir si giovane!» (Дай мне жить... умереть такой молодой!), что весь театр затрещал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов.

Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своей рукою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие; но ни она не посмотрела на него, ни он на нее. Это пожатие не походило на то, которым они, несколько часов тому назад, приветствовали друг друга в гондоле.

Они поплыли в свою гостиницу опять по Canal Grande. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи; там, сям коротко и негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили Инсаров и Елена, находилась на Riva dei Schiavoni; не доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади святого Марка, под арками, где перед крошечными кофейными толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь

добра, мира и того же счастия, которым исполнен сам. Но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастия: сердце ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успокоиться; а Инсаров, проходя мимо Дворца дожей, указал молча на жерла австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым — и, взглянув в последний раз на церковь св. Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой.

Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, расстилающуюся от Riva dei Schiavoni до Джиудекки. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня св. Георгия; направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар Доганы — и, разубранная как невеста, стояла красивейшая из церквей, Redentore Палладия; налево чернели мачты и реи кораблей, трубы пароходов; кое-где висел, как больное крыло, наполовину подобранный парус, и вымпела едва шевелились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом; у него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в постель и, дождавшись, пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! «О боже! — думала Елена,— зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах,— все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? («Morir si giovane»,— зазвучало у нее в душе...) Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О боже! неужели нельзя верить чуду? — Она положила голову на сжатые руки.— Довольно?—шепнула она.—Неужели уже довольно! Я была счастлива не одни только минуты, не часы, не целые дни — нет, целые недели сряду. А с какого права?» Ей стало страшно своего счастия. «А если это нельзя? — подумала она.— Если это не дается даром? Ведь это было небо... а мы люди, бедные, грешные люди... Morir si giovane...

О темный призрак, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!»

«Но если это — наказание,— подумала она опять,— если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? О боже, неужели мы так преступны! Неужели ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так, если он виноват, если я виновата,— прибавила она с невольным порывом,— так дай ему, о боже, дай нам обоим умереть, по крайней мере, честной, славной смертью — там, на родных его полях, а не здесь, не в этой глухой комнате».

«А горе бедной, одинокой матери?» — спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастие каждого человека основано на несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя — пьедестала, невыгоды и неудобства других.

«Рендич!» — пролепетал сквозь сон Инсаров.

Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих.

Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самое себя уговаривать и уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? разве ему не лучше? — шепнула она.— Ведь если бы мы не были сегодня в театре, мне бы все это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда,— подумала Елена,— это будет хороший знак...» Чайка закружилась на месте, сложила крылья — и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.

XXXIV

Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал.

— Рендич не приходил? — было его первым вопросом.

— Нет еще,— отвечала Елена и подала ему последний нумер «Osservatore Triestino» [1], в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать; она занялась приготовлением для него кофе... Кто-то постучался в дверь.

«Рендич»,— подумали оба, но стучавший проговорил по-русски: «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с изумлением, и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.

Инсаров приподнялся со стула.

— Вы не узнаёте меня,— заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно кланяясь Елене.— Лупояров, помните, мы в Москве встретились у Е....х?

— Да, у Е....х,— произнес Инсаров.

— Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича... (он поправился): Никанора Васильевича и очень счастлив, что имею наконец честь с вами познакомиться. Вообразите,— продолжал он, обратившись к Инсарову,— я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город, эта Венеция — поэзия, да и только! Одно ужасно: проклятые австрияки на каждом шагу! Уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло решительное сражение: триста турецких офицеров убито, Силистрия взята, Сербия уже объявила себя независимою. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самом славянская кровь так и кипит! Однако я советую вам быть осторожнее; я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает: русский ли я? Я ему сказал, что я датчанин... А только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший Никанор Васильевич. Вам надобно полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера как сумасшедший бегал по дворцам и по церквам — ведь вы были во Дворце дожей? Что за богатство везде! Особенно эта большая зала и место Марино Фалиеро; так и стоит: «Decapitati pro criminibus» [2]. Я был и в знаменитых тюрьмах: вот где душа моя возмутилась — я, вы, может быть, помните, всегда любил заниматься

---

[1] «Триестинского наблюдателя» *(итал.).— Ред.*

[2] «Обезглавлен за преступления» *(лат.).— Ред.*

социальными вопросами и восставал против аристократии — вот бы я куда привел защитников аристократии: в эти тюрьмы; справедливо сказал Байрон: «I stood in Venice on the bridge of sighs»; [1] впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение все за прогресс. А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают: Бустрапá и Пальмерстон. Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужасный плут этот Бустрапá! Хотите, я вам дам «Les Châtiments» de Victor Hugo [2] — удивительно! «L'avenir — le gendarme de Dieu» [3] — смело немножко сказано, но сила, сила. Хорошо также сказал князь Вяземский: «Европа твердит: Баш-Кадык-Лар, глаз не сводя с Синопа». Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка Прудона, у меня всё есть. Не знаю, как вы, а я рад войне; только как бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим: во Францию нельзя, так я думаю в Испанию — женщины там, говорят, удивительные, только бедность и насекомых много. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, все нипочем, да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика... А вы очень нездоровы, Никанор Васильевич, я вас, может быть, утомляю, но все равно, я еще посижу немножко...

И долго еще трещал таким образом Лупояров и, уходя, обещался побывать.

Измученный нежданным посещением, Инсаров лег на диван.

— Вот,— с горечью промолвил он, взглянув на Елену,— вот ваше молодое поколение! Иной и важничает и рисуется, а в душе такой же свистун, как этот господин.

Елена не возражала своему мужу: в это мгновение ее гораздо больше беспокоила слабость Инсарова, чем состояние всего молодого поколения России... Она села возле него, взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь бледный и худой. Елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль, на его вытянутые руки, и внезапный страх защемил ей сердце.

---

[1] «Я стоял в Венеции на Мосту вздохов» *(англ.).— Ред.*
[2] «Возмездие» Виктора Гюго *(франц.).— Ред.*
[3] «Будущее — исполнитель провидения» *(франц.).— Ред.*

— Дмитрий...— начала она.

Он встрепенулся.

— Что? Рендич приехал?

— Нет еще... но как ты думаешь — у тебя жар, ты, право, не совсем здоров, не послать ли за доктором?

— Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного, и все пройдет. Мы после обеда опять поедем... куда-нибудь.

Прошло два часа... Инсаров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от него; она уронила работу на колени и не шевелилась.

— Отчего ты не спишь? — спросила она его наконец.

— А вот погоди. — Он взял ее руку и положил ее себе под голову. — Вот так... хорошо. Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся... Надобно все уложить.

— Уложить недолго, — отвечала Елена.

— Что этот человек болтал о сражении, о Сербии, — проговорил, спустя немного, Инсаров. — Должно быть, все выдумал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя... Будь готова.

Он заснул, и все затихло в комнате.

Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая мачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула.

Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что́ это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, машут руками... Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны... все закружилось, смешалось...

Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» — думает она.

— Катя, куда это мы с тобой едем?

Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами... Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно, — там Дмитрий заперт. Я должна его освободить... Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. Елена, Елена! — слышится голос из бездны.

«Елена!» — раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице.

— Елена! — произнес он, — я умираю.

Она с криком упала на колени и прижалась к его груди.

— Все кончено, — повторил Инсаров, — я умираю... Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!..

И он навзничь опрокинулся на диван.

Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь, камериере бросился за доктором. Елена припала к Инсарову.

В это мгновение на пороге двери показался человек, широкоплечий, загорелый, в толстом байковом пальто и клеенчатой низкой шляпе. Он остановился в недоумении.

— Рендич! — воскликнула Елена, — это вы! Посмотрите, ради бога, с ним дурно! Что с ним? Боже, боже! Он вчера выезжал, он сейчас говорил со мною...

Рендич ничего не сказал и только посторонился. Мимо него проворно прошмыгнула маленькая фигурка в парике и в очках: это был доктор, живший в той же гостинице. Он приблизился к Инсарову.

— Синьора, — сказал он спустя несколько мгновений, — господин иностранец скончался — il signore forestiere e morto — от аневризма, соединенного с расстройством легких.

XXXV

На другой день, в той же комнате, у окна стоял Рендич; перед ним, закутавшись в шаль, сидела Елена. В соседней комнате в гробу лежал Инсаров. Лицо Елены было и испуганно и безжизненно; на лбу, между бровями, появились две морщинки: они придавали напряженное выражение ее неподвижным глазам. На окне лежало раскрытое письмо Анны Васильевны. Она звала свою дочь в Москву, хоть на месяц, жаловалась на свое одиночество, на Николая Артемьевича, кланялась Инсарову, осведомлялась об его здоровье и просила его отпустить жену.

Рендич был далмат, моряк, с которым Инсаров познакомился во время своего путешествия на родину и которого он отыскал в Венеции. Это был человек суровый, грубый, смелый и преданный славянскому делу. Он презирал турок и ненавидел австрийцев.

— Сколько времени вы должны остаться в Венеции? — спросила его по-итальянски Елена. И голос ее был без жизни, как и лицо.

— День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозрения, а там прямо в Зару. Не обрадую я наших земляков. Его уже давно ждали; на него надеялись.

— На него надеялись, — повторила машинально Елена.

— Когда вы его хороните? — спросил Рендич.

Елена не тотчас отвечала:

— Завтра.

— Завтра? я останусь: я хочу бросить горсть земли в его могилу. Надо ж и вам помочь. А лучше было бы ему лежать в славянской земле.

Елена поглядела на Рендича.

— Капитан, — сказала она, — возьмите меня с ним и перевезите нас по ту сторону моря, прочь отсюда. Возможно это?

Рендич задумался.

— Возможно, только хлопотно. Надобно будет возиться с здешним проклятым начальством. Но положим, мы это все уладим, похороним его там; как же я вас назад доставлю?

— Вам не нужно будет доставлять меня назад.

— Как? Где же вы останетесь?

— Я уже найду себе место; только возьмите нас, возьмите меня.

Рендич почесал у себя в затылке.

— Как знаете, но все это очень хлопотно. Пойду попытаюсь; а вы ждите меня здесь часа через два.

Он ушел. Елена перешла в соседнюю комнату, прислонилась к стене и долго стояла как окаменелая. Потом она опустилась на колени, но молиться не могла. В ее душе не было упреков; она не дерзала вопрошать бога, зачем не пощадил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше вины, если и была вина? Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право жить... Но Елена молиться не могла: она окаменела.

В ту же ночь широкая лодка отчалила от гостиницы, где жили Инсаровы. В лодке сидела Елена с Рендичем и стоял длинный ящик, покрытый черным сукном. Они плыли около часа и приплыли наконец к небольшому двухмачтовому кораблику, который стоял на якоре у самого выхода гавани. Елена и Рендич взошли на корабль; матросы внесли ящик. С полуночи поднялась буря, но поутру рано корабль уже миновал Лидо. В течение дня буря разыгралась с страшною силой, и опытные моряки в конторах «Ллойда» качали головами и не ждали ничего доброго. Адриатическое море между Венецией, Триестом и далматским берегом чрезвычайно опасно.

Недели три после отъезда Елены из Венеции Анна Васильевна получила в Москве следующее письмо:

«Милые мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. Вы меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрий. Все кончено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его схороню, и что со мной будет, не знаю! Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мною будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероятно, я всего этого не перенесу — тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила недаром: кто знает, может быть, я его убила; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья — и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина... Но смерть все прикрывает и примиряет, — не правда ли? Простите мне все огорчения, которые я вам причинила; это было не в моей воле. А вернуться в Россию — зачем? Что делать в России?

Примите мои последние лобзания и благословения и не осуждайте меня.

Е.».

С тех пор минуло уже около пяти лет, и никакой вести не приходило больше об Елене. Бесплодны остались все письма, запросы; напрасно сам Николай Артемьевич, после заключения мира, ездил в Венецию, в Зару; в Венеции он узнал то, что уже известно читателю, а в Заре никто не мог дать ему положительных сведений о Рендиче и корабле, который он нанял. Ходили темные слухи, будто бы несколько лет тому назад море, после сильной бури, выкинуло на берег гроб, в котором нашли труп мужчины... По другим, более достоверным сведениям, гроб этот вовсе не был выкинут морем, но привезен и похоронен возле берега иностранной дамой, приехавшею из Венеции; некоторые прибавляли, что даму эту видели потом в Герцеговине при войске, которое тогда собиралось; описывали даже ее наряд, черный с головы до ног. Как бы то ни было, след Елены исчез навсегда и безвозвратно, и никто не знает, жива ли она еще, скрывается ли где, или уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брожение, и настала очередь смерти. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя: неужели мне уже тридцать... сорок... пятьдесят лет? Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко надвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет.

Что сталось с остальными лицами нашего рассказа?

Анна Васильевна еще жива; она очень постарела после поразившего ее удара, жалуется меньше, но гораздо больше грустит. Николай Артемьевич тоже постарел, и поседел, и расстался с Августиной Христиановной... Он теперь бранит все иностранное. Ключница его, красивая женщина лет тридцати, из русских, ходит в шелковых платьях и носит золотые кольца и сережки. Курнатовский, как человек с темпераментом и, в качестве энергического брюнета, охотник до миловидных блондинок, женился на Зое; она у него в большом повиновении и даже перестала думать по-немецки. Берсенев находится в Гейдельберге; его на казенный счет отправили за границу; он посетил Берлин, Париж и не теряет даром времени; из него выйдет дельный профессор. Ученая публика обратила внимание на его две статьи: «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний» и «О значении городского начала в вопросе цивилизации», жаль только, что

обе статьи написаны языком несколько тяжелым и испещрены иностранными словами. Шубин в Риме; он весь предался своему искусству и считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей. Строгие пуристы находят, что он не довольно изучил древних, что у него нет «стиля», и причисляют его к французской школе; от англичан и американцев у него пропасть заказов. В последнее время много шуму наделала одна его Вакханка; русский граф Бобошкин, известный богач, собирался было купить ее за 1000 скуди, но предпочел дать 3000 другому ваятелю, французу pur sang [1], за группу, изображающую «Молодую поселянку, умирающую от любви на груди Гения Весны». Шубин изредка переписывается с Уваром Ивановичем, который один нисколько и ни в чем не изменился. «Помните,— писал он ему недавно,— что вы мне сказали в ту ночь, когда стал известен брак бедной Елены, когда я сидел на вашей кровати и разговаривал с вами? Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди? и вы мне отвечали: «Будут». О, черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего «прекрасного далека», снова вас спрашиваю: «Ну, что же, Увар Иванович, будут?»

Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор.

---

[1] чистокровному *(франц.).— Ред.*

ОТЦЫ И ДЕТИ

Посвящается памяти
Виссариона Григорьевича
БЕЛИНСКОГО

I

— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать».

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать,— вторично ответствовал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму»,— в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но

подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла,— словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги

жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог,— и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын... кандидат... Аркаша...» — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... «Не дождалась!» — шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

— Никак, они едут-с,— доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

— Дай же отряхнуться, папаша,— говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки,— я тебя всего запачкаю.

— Ничего, ничего,— твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто.— Покажи-ка себя, покажика,— прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее».

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

— Папаша,— сказал он,— позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад,— начал он,— и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгений Васильев,— отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

— Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас,— продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

— Так как же, Аркадий,— заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну,— сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

— Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

— Сейчас, сейчас,— подхватил отец.— Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

— Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка,— хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей,— только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...

— Он в тарантасе поедет,— перебил вполголоса Аркадий.— Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой — ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаров к ямщику.

— Слышь, Митюха,— подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа,— барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

— Живей, живей, ребята, подсобляйте,— воскликнул Николай Петрович,— на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку — и оба экипажа покатили.

III

— Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал,— говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену.— Наконец!

— А что дядя? здоров? — спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

— Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

— А ты долго меня ждал? — спросил Аркадий.

— Да часов около пяти.

— Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

— Какую я тебе славную лошадь приготовил! — начал он,— ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

— А для Базарова комната есть?

— Найдется и для него.

— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

— Ты недавно с ним познакомился?

— Недавно.

— То-то прошлою зимой я его не видал. Он чем занимается?

— Главный предмет его — естественные науки. Да он всё знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

— А! он по медицинскому факультету,— заметил Николай Петрович и помолчал.— Петр,— прибавил он и протянул руку,— это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

— Точно так-с,— промолвил Петр.

— Куда это они едут, в город, что ли?

— Полагать надо, что в город. В кабак,— прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевельнулся: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

— Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году,— продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну.— Не платят оброка. Что ты будешь делать?

— А своими наемными работниками ты доволен?

— Да,— процедил сквозь зубы Николай Петрович.— Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется — мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

— Тени нет у вас, вот что горе,— заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

— Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал,— промолвил Николай Петрович,— теперь и обедать можно на воздухе.

— Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь...

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

— Конечно,— заметил Николай Петрович,— ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным...

— Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился.

— Однако...

— Нет, это совершенно все равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

— Не помню, писал ли я тебе,— начал Николай Петрович,— твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

— Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

— Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

— Приказчик у тебя все тот же?

— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или, по крайней мере, не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) Il est libre, en effet [1],— заметил вполголоса Николай Петрович,— но ведь он — камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем,— прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения,— я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине... Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя...

Он запнулся на мгновенье и продолжал уже по-французски.

— Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал...

— Фенечка? — развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

— Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну, да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить.

---

[1] Он в самом деле вольный *(франц.).— Ред.*

— Помилуй, папаша, зачем?

— Твой приятель у нас гостить будет... неловко...

— Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

— Ну, ты наконец,— проговорил Николай Петрович.— Флигелек-то плох — вот беда.

— Помилуй, папаша,— подхватил Аркадий,— ты как будто извиняешься; как тебе не совестно.

— Конечно, мне должно быть совестно,— отвечал Николай Петрович, все более и более краснея.

— Полно, папаша, полно, сделай одолжение! — Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» — подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу.— Перестань, пожалуйста,— повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя.

— Вот это уж наши поля пошли,— проговорил он после долгого молчания.

— А это впереди, кажется, наш лес? — спросил Аркадий.

— Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

— Зачем ты его продал?

— Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

— Которые тебе оброка не платят?

— Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

— Жаль леса,— заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и

церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей — и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... «Нет,— подумал Аркадий,— небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..»

Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, всё — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

— Теперь уж недалеко,— заметил Николай Петрович,— вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

— Конечно,— промолвил Аркадий,— но что за чудный день сегодня!

— Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным — помнишь, в Евгении Онегине:

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви!
Какое...

— Аркадий! — раздался из тарантаса голос Базарова,— пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

— Хочешь сигарку? — закричал опять Базаров.

— Давай,— отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованью, Бобылий хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

— Вот мы и дома,— промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами.— Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поесть действительно не худо,— заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее.— Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами.— Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

— Вот он, Прокофьич, — начал Николай Петрович,— приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

— В лучшем виде-с,— проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови.— На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку,— прибавил он, снимая с себя свой балахон.

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одёженку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

— Да, надо почиститься,— отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский *сьют,* модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями,— руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands» [1], он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать».

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня,— заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плеча-

---

[1] «рукопожатие» *(англ.).— Ред.*

ми и показывая прекрасные белые зубы.— Разве что на дороге случилось?

— Ничего не случилось,— отвечал Аркадий,— так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

— Постой, я с тобой пойду,— воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли.

— Кто сей? — спросил Павел Петрович.

— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

— Он у нас гостить будет?

— Да.

— Этот волосатый?

— Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

— Я нахожу, что Аркадий s'est dégourdi [1],— заметил он.— Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т. д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде «а! эге! гм!». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

— А чудаковат у тебя дядя,— говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку.— Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да ведь ты не знаешь,— ответил Аркадий,— ведь он

---

[1] стал развязнее *(франц.).— Ред.*

львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

— Пожалуй; только он, право, хороший человек.

— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

— Отец у меня золотой человек.

— Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

— Удивительное дело,— продолжал Базаров,— эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — английские рукомойники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний нумер *Galignani,* но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! — подумал он, посмотрев кругом,— местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что,— отвечал ему Базаров, который владел особенным уменьем возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно,— я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

— Разве ты дохтур?

— Да.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно́!

— Я их боюсь, лягушек-то,— заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

— Чего бояться? разве они кусаются?

— Ну, полезайте в воду, философы,— промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

— Федосья Николавна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

— Я сам разолью, сам,— поспешно подхватил Николай Петрович.— Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

— Со сливками,— отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: — Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

— Что? — промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

— Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным,— начал он,— но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?..

— Говори.

— Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не оттого ли Фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

— Может быть,— проговорил он наконец,— она предполагает... она стыдится...

Аркадий быстро вскинул глазами на отца.

— Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых — захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

— Спасибо, Аркаша,— глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу.— Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей труд-

но было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

— В таком случае я сам пойду к ней,— воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула.— Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

— Аркадий,— начал он,— сделай одолжение... как же можно... там... Я тебя не предварил...

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустился на стул. Сердце его забилось... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений — и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

— Мы познакомились, отец! — воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице.— Федосья Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею.

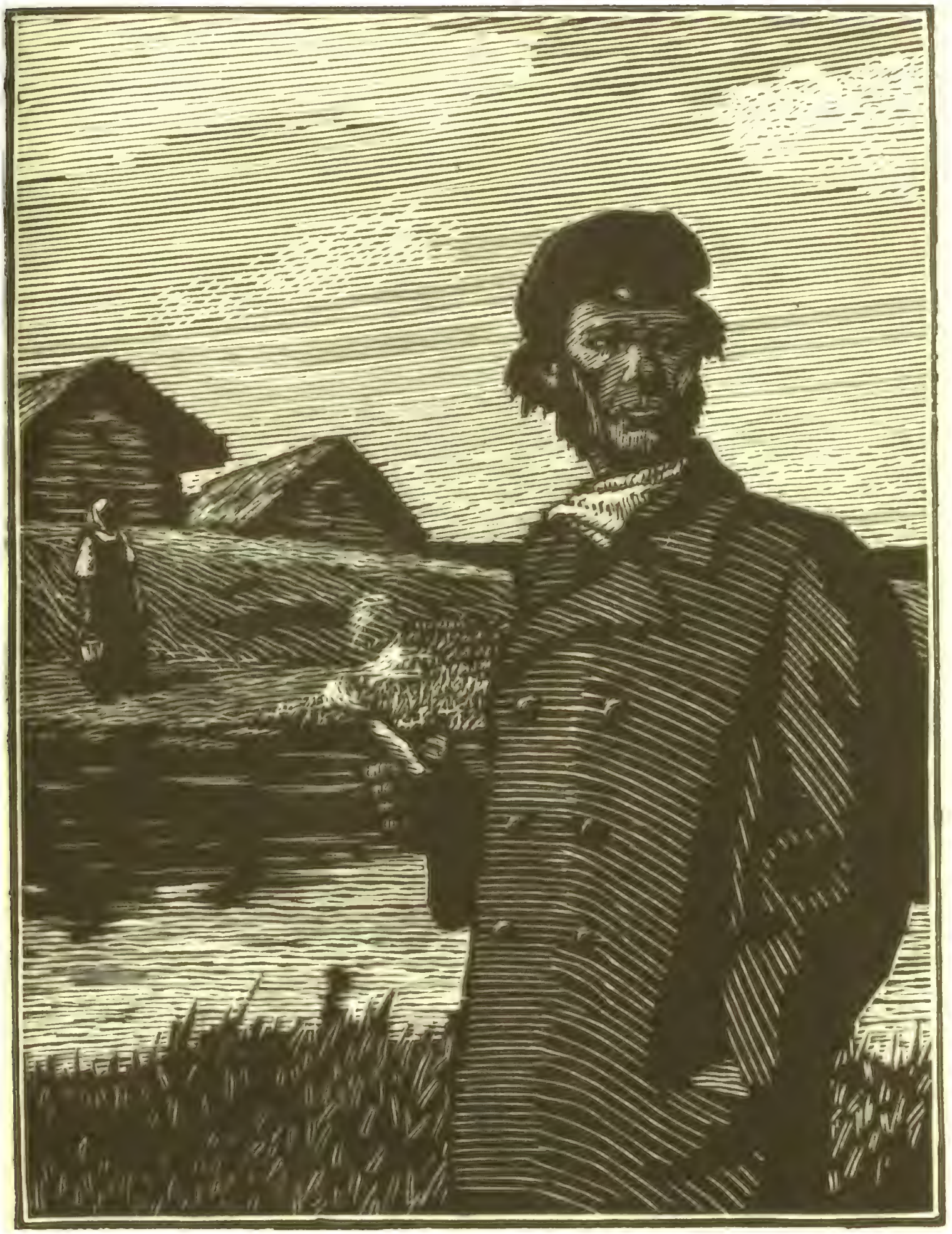
— Что это? опять обнимаетесь? — раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

— Чему ж ты удивляешься? — весело заговорил Николай Петрович.— В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

— Я вовсе не удивляюсь,— заметил Павел Петрович,— я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда



«Отцы и дети».

не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок.

— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.

— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

— Да, это заметно.— Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб.— Долго он у нас прогостит?

— Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

— А отец его где живет?

— В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именьице. Он был прежде полковым доктором.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?

— Кажется, был.

— Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! — Павел Петрович повел усами.— Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? — спросил он с расстановкой.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся.— Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое?

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист.

— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист,— повторил Аркадий.

— Нигилист,— проговорил Николай Петрович.— Это от латинского *nihil, ничего,* сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признает?

— Скажи: который ничего не уважает,— подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится с критической точки зрения,— заметил Аркадий.

— А это не все равно? — спросил Павел Петрович.

— Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.

— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принси́пов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «пры́нцип», налегая на первый слог), без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela [1], дай вам бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, господа... как бишь?

— Нигилисты,— отчетливо проговорил Аркадий.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Эта была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

— Здравствуй, Фенечка,— проговорил он сквозь зубы.

— Здравствуйте-с,— ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

— Вот и господин нигилист к нам жалует,— промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров.

---

[1] Вы все это переменили *(франц.).— Ред.*

Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, кивнув головою, промолвил:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

— Что это у вас, пиявки? — спросил Павел Петрович.

— Нет, лягушки.

— Вы их едите или разводите?

— Для опытов,— равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

— Это он их резать станет,— заметил Павел Петрович.— В принсипы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома «либоширничает» и от рук отбился. «Такой уж он Езоп,— сказал он между прочим,— всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай Петрович.

— Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий.

— А вы не охотник?

— Нет.

— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил, в свою очередь, Павел Петрович.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

— Да, немцы в этом наши учители,— небрежно отвечал Базаров.

Слово германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошние ученые дельный народ.

— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

— Пожалуй, что так.

— Это очень похвальное самоотвержение,— произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад.— Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

— А немцы всё дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

— Не все,— ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

— Что касается до меня,— заговорил он опять, не без некоторого усилия,— я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер, что ли, *Гёте*... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли всё какие-то химики да материалисты...

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта,— перебил Базаров.

— Вот как,— промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови.— Вы, стало быть, искусства не признаете?..

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя!— воскликнул Базаров с презрительною усмешкой.

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы всё, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что

такое наука — наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

— Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор.

— Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих сделал удивительные открытия насчет удобрения полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

— Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист»,— подумал Николай Петрович.— Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае,— прибавил он вслух.— А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

— Да,— проговорил он, ни на кого не глядя,— беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там — хвать! — оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

— Что, он всегда у вас такой? — хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся,— заметил Аркадий.— Ты его оскорбил.

— Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбие, львиные привычки, фатство. Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебе его покажу.

— Я тебе обещался рассказать его историю,— начал Аркадий.

— Историю жука?

— Ну полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

— Я не спорю; да что он тебе так дался?

— Надо быть справедливым, Евгений.

— Это из чего следует?

— Нет, слушай...

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен — он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять, шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось.

В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке

гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и серы,— но взгляд их, быстрый, глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния,— загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе — бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.

— Что это? — спросила она,— сфинкс?

— Да,— ответил он,— и этот сфинкс — вы.

— Я? — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд.— Знаете ли, что это очень лестно? — при-

бавила она с незначительною усмешкой, а глаза глядели все так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие... но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя, тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностию,— знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды, за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь как вкопанный близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка.

Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот

поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастием, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он все потерял.

— Я не зову теперь тебя в Марьино,— сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены),— ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

— Я был еще глуп и суетлив тогда,— отвечал Павел Петрович,— с тех пор я угомонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика-Филиппа; за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что он

мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами...

— Вот видишь ли, Евгений,— промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ,— как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги,— имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено,— но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон...

— Известное дело: нервы,— перебил Базаров.

— Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы... особенно... особенно насчет отношений к женщинам.

— Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

— Ну, словом,— продолжал Аркадий,— он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его — грешно.

— Да кто его презирает? — возразил Базаров.— А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек — не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

— Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил,— заметил Аркадий.

— Воспитание? — подхватил Базаров.— Всякий человек сам себя воспитать должен — ну хоть как я, например... А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: «Помилуйте-с, известное дело-с»,— и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: «Mais je puis vous donner de l'argent» [1],— и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дрязги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат не довольно практичен,— рассуждал он сам с собою,— его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши,— говаривал он,— а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

— Кто там? Войдите,— раздался голос Фенечки.

— Это я,— проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась с своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

---

[1] «Но я могу дать тебе денег» *(франц.).— Ред.*

— Извините, если я помешал,— начал Павел Петрович, не глядя на нее,— мне хотелось только попросить вас... сегодня, кажется, в город посылают... велите купить для меня зеленого чаю.

— Слушаю-с,— отвечала Фенечка,— сколько прикажете купить?

— Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена,— прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки.— Занавески вот,— промолвил он, видя, что она его не понимает.

— Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

— Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

— По милости Николая Петровича,— шепнула Фенечка.

— Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

— Конечно, лучше-с.

— Кого теперь на ваше место поместили?

— Теперь там прачки.

— А!

Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет»,— думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним как вкопанная, слабо перебирая пальцами.

— Отчего вы велели вашего маленького вынести? — заговорил наконец Павел Петрович.— Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

— Дуняша,— кликнула она,— принесите Митю (Фенечка всем в доме говорила *вы*). А не то погодите; надо ему платьице надеть.

Фенечка направилась к двери.

— Да все равно,— заметил Павел Петрович.

— Я сейчас,— ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу

горела лампадка перед большим темным образом Николая-чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами: «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке,— больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой — Ермолов, в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы, из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том *Стрельцов* Масальского, перевернул несколько страниц... Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?

— Экой бутуз,— снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чижа и засмеялся.

— Это дядя,— промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.

— Сколько бишь ему месяцев? — спросил Павел Петрович.

— Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

— Не восьмой ли, Федосья Николаевна? — не без робости вмешалась Дуняша.

— Нет, седьмой; как можно! — Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губы.— Баловник,— проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.

— Он похож на брата,— заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?» — подумала Фенечка.

— Да,— продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович,— несомненное сходство.— Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

— Это дядя,— повторила она, уже шепотом.

— А! Павел! вот где ты! — раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

— Славный у тебя мальчуган,— промолвил он и посмотрел на часы,— а я завернул сюда насчет чаю...

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

— Сам собою зашел? — спросил Фенечку Николай Петрович.

— Сами-с; постучались и вошли.

— Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

— Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

— Это зачем?

— Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

— Н...нет,— произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб.— Надо было прежде... Здравствуй, пузырь,— проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

— Николай Петрович! что вы это? — пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их... Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постель-

ного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» — пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению, низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая»,— сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с бóльшим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую, густую рожь,

поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей:

— Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь.

— Здравствуйте,— прошептала она, не выходя из своей засады.

Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так одинока; Николай Петрович был сам такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего...

— Так-таки брат к тебе и вошел? — спрашивал ее Николай Петрович.— Постучался и вошел?

— Да-с.

— Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю.

И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance [1] из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином... Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаяньем глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.

— Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка

---

[1] в стиле Возрождения *(франц.).— Ред.*

принялась хорошо,— прибавил он,— потому что акация да сирень — ребята добрые, ухода не требуют. Ба! да тут кто-то есть.

В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.

— Кто это? — спросил его Базаров, как только они прошли мимо.— Какая хорошенькая!

— Да ты о ком говоришь?

— Известно о ком: одна только хорошенькая.

Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.

— Ага! — промолвил Базаров,— у твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться,— прибавил он и отправился назад к беседке.

— Евгений! — с испугом крикнул ему вослед Аркадий,— осторожней, ради бога.

— Не волнуйся,— проговорил Базаров,— народ мы тертый, в городах живали.

Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.

— Позвольте представиться,— начал он с вежливым поклоном,— Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный.

Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.

— Какой ребенок чудесный! — продолжал Базаров.— Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?

— Да-с,— промолвила Фенечка,— четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.

— Покажите-ка... да вы не бойтесь, я доктор.

Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.

— Вижу, вижу... Ничего, все в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?

— Здорова, слава богу.

— Слава богу — лучше всего. А вы? — прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.

Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.

— Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь.

Фенечка приняла ребенка к себе на руки.

— Как он у вас тихо сидел,— промолвила она вполголоса.

— У меня все дети тихо сидят,— отвечал Базаров,— я такую штуку знаю.

— Дети чувствуют, кто их любит,— заметила Дуняша.

— Это точно,— подтвердила Фенечка.— Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.

— А ко мне пойдет? — спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке.

Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.

— В другой раз, когда привыкнуть успеет,— снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.

— Как бишь ее зовут? — спросил Базаров.

— Фенечкой... Федосьей,— ответил Аркадий.

— А по батюшке? Это тоже нужно знать.

— Николаевной.

— *Bene* [1]. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится? Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать — ну и права.

— Она-то права,— заметил Аркадий,— но вот отец мой...

— И он прав,— перебил Базаров

— Ну, нет, я не нахожу.

— Видно, лишний наследничек нам не по нутру?

— Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! — с жаром подхватил Аркадий.— Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.

— Эге-ге! — спокойно проговорил Базаров.— Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.

Приятели сделали несколько шагов в молчанье.

— Видел я все заведения твоего отца,— начал опять Базаров.— Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.

— Строг же ты сегодня, Евгений Васильевич.

— И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: «Русский мужик бога слопает».

— Я начинаю соглашаться с дядей,— заметил Аркадий,— ты решительно дурного мнения о русских.

— Эка важность! Русский человек только тем и хорош,

---

[1] Хорошо *(лат.).— Ред.*

что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.

— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.

Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною рукою «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.

— Это что? — произнес с изумлением Базаров.

— Это отец.

— Твой отец играет на виолончели?

— Да.

— Да сколько твоему отцу лет?

— Сорок четыре.

Базаров вдруг расхохотался.

— Чему же ты смеешься?

— Помилуй! в сорок четыре года человек, pater familias [1], в ...м уезде — играет на виолончели!

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

X

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присут-

[1] отец семейства *(лат.).— Ред.*

ствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтруни-вал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок,— и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощелыгой» и уверял, что он с своими бакенбардами — настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году — первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозилась опять холера, но жители ...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять — он прогулок без цели терпеть не мог,— а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

— Ты отца недостаточно знаешь,— говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

— Твой отец добрый малый,— промолвил Базаров,— но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал.

«Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает,— продолжал между тем Базаров.— Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

— Что бы ему дать? — спросил Аркадий.

— Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft» [1] на первый случай.

— Я сам так думаю,— заметил одобрительно Аркадий.— «Stoff und Kraft» написано популярным языком...

— Вот как мы с тобой,— говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете,— в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

— Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? — с нетерпением воскликнул Павел Петрович.— Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

— Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

— И самолюбие какое противное,— перебил опять Павел Петрович.

— Да,— заметил Николай Петрович,— он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии *красным* величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями,— а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

— Это почему?

— А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... помнится, «Цыгане» мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся, и ушел, и Пушкина унес.

— Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

— Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания.

Павел Петрович повертел ее в руках.

---

[1] «Материя и сила» *(нем.).— Ред.*

— Гм! — промычал он.— Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

— Пробовал.

— Ну и что же?

— Либо я глуп, либо это все — вздор. Должно быть, я глуп.

— Да ты по-немецки не забыл? — спросил Павел Петрович.

— Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати,— начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор.— Я получил письмо от Колязина.

— От Матвея Ильича?

— От него. Он приехал в *** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

— Ты поедешь? — спросил Павел Петрович.

— Нет; а ты?

— И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

— Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди,— заметил со вздохом Николай Петрович.

— Ну, я так скоро не сдамся,— пробормотал его брат.— У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко»,— равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

— Позвольте вас спросить,— начал Павел Петрович, и губы его задрожали,— по вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?

— Я сказал: «аристократишко»,— проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

— Точно так-с; но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь,— повторил он с ожесточением,— английских аристократов. Они не уступают иоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют *свои* обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

— Слыхали мы эту песню много раз,— возразил Базаров,— но что вы хотите этим доказать?

— Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни — *эфто*, другие — *эхто*: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я *эфтим* хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе,— а в аристократе эти чувства развиты,— нет никакого прочного основания общественному... bien public [1], общественному зданию. Личность, милостивый государь,— вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович,— промолвил Базаров,— вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

---

[1] общественному благу *(франц.).— Ред.*

Павел Петрович побледнел.

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы,— говорил между тем Базаров,— подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

— Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте — логика истории требует...

— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

— Как так?

— Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

— Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете?

— Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаём авторитетов,— вмешался Аркадий.

— Мы действуем в силу того, что́ мы признаём полезным,— промолвил Базаров.— В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.

— Всё?

— Всё.

— Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

— Всё,— с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

— Однако позвольте,— заговорил Николай Петрович.— Вы всё отрицаете, или, выражаясь точнее, вы всё разрушаете... Да ведь надобно же и строить.

— Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить.

— Современное состояние народа этого требует,— с важностью прибавил Аркадий,— мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович,— я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он — патриархальный, он не может жить без веры...

— Я не стану против этого спорить,— перебил Базаров,— я даже готов согласиться, что *в этом* вы правы.

— А если я прав...

— И все-таки это ничего не доказывает.

— Именно ничего не доказывает,— повторил Аркадий с уверенностию опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому нисколько не смутился.

— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович.— Стало быть, вы идете против своего народа?

— А хоть бы и так? — воскликнул Базаров.— Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом — он русский, а разве я сам не русский?

— Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

— Мой дед землю пахал,— с надменною гордостию отвечал Базаров.— Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

— А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

— Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

— Как же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они или нет — не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

— Господа, господа, пожалуйста, без личностей! — воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

— Не беспокойся,— промолвил он.— Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте,— продолжал он, обращаясь снова к Базарову,— вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет.— Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...

— Что же вы делаете?

— А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда...

— Ну да, да, вы обличители,— так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди, и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

— Так,— перебил Павел Петрович,— так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься,— угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом,— повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

— Так вот как! — промолвил он странно спокойным голосом.— Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши

забавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

— Чем другим, а этим грехом не грешны,— произнес сквозь зубы Базаров.

— Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

— Гм!.. Действовать, ломать...— продолжал он.— Но как же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаем, потому что мы сила,— заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, сила — так и не дает отчета,— проговорил Аркадий и выпрямился.

— Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее,— хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке, и в монголе есть сила — да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, *un barbouilleur,* тапер, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

— Коли раздавят, туда и дорога,— промолвил Базаров.— Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

— От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела,— ответил Базаров.

— Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши

художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, а у самих фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему,— возразил Базаров,— Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

— Браво! браво! Слушай, Аркадий... вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! — и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

— Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства,— флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами.— Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами,— прибавил он, вставая,— когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

— Я вам миллионы таких постановлений представлю,— воскликнул Павел Петрович,— миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

— Ну, насчет общины,— промолвил он,— поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

— Семья наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! — закричал Павел Петрович.

— И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слыхали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...

— Надо всем глумиться,— подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа.

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

— Вот,— начал наконец Павел Петрович,— вот вам нынешняя молодежь! Вот они— наши наследники!

— Наследники,— повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия.— Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

— Ты уже чересчур благодушен и скромен,— возразил Павел Петрович,— я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilli*, и не имеем той дерзкой самонадеянности... И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, красного или белого? «Я имею привычку предпочитать красное!» — отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение...

— Вам больше чаю не угодно? — промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

— Нет, ты можешь велеть самовар принять,— отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: *bon soir* [1], и ушел к себе в кабинет.

XI

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы,— думал он,— и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от

[1] добрый вечер *(франц.).— Ред.*

истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.

«Но отвергать поэзию? — подумал он опять,— не сочувствовать художеству, природе?..»

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи; он весь был ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, *Stoff und Kraft* — и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения... и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какою он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: «Pardon, monsieur» [1],— а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, нако-

[1] «Извините, сударь» *(франц.).— Ред.*

нец, эта задыхающаяся радость... Куда это все умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... «Но,— думал он,— те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним...

— Николай Петрович,— раздался вблизи его голос Фенечки,— где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее...

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся — и исчез.

— Я здесь,— отвечал он,— я приду, ступай.— «Вот они, следы-то барства»,— мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.

Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой...

На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.

— Что с тобой? — спросил он Николая Петровича,— ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?

Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа...

— Знаешь ли что? — говорил в ту же ночь Базаров Аркадию.— Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь какая сделалась здесь погода; а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

— А оттуда ты вернешься сюда?

— Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от *** в тридцати верстах. Я его давно не видал, и мать тоже; надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один.

— И долго ты у них пробудешь?

— Не думаю. Чай, скучно будет.

— А к нам на возвратном пути заедешь?

— Не знаю... посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?

— Пожалуй,— лениво заметил Аркадий.

Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностию скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!

На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула... но старичкам вздохнулось легко.

XII

Город ***, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он, в течение первого года своего управления, успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардии штабс-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли наконец такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте.

Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, под попечительством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из «молодых», то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди и на каждой стороне груди носил по звезде. Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на бо́льшую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима,— говаривал он тогда,— l'énergie est la première qualité d'un homme d'état»; [1] а со всем тем он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни... Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежною величавостию, за развитием современной литературы: так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности, Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени, которые, готовясь идти на вечер к г-же Свечиной, жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кондильяка; только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец, и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.

Матвей Ильич принял Аркадия с свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем более, с игривостию. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папà всегда»,— заметил он, побрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока, и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжи-

---

[1] энергия — первейшее качество государственного человека *(франц.).— Ред.*

тельного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных; способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении, «is quite a favorite» [1], как говорят англичане: сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например: какой сегодня день?

Ему почтительнейше докладывают: «Пятница сегодня, ваше с... с... с... ство».

— А? Что? Что такое? Что вы говорите? — напряженно повторяет сановник.

— Сегодня пятница, ваше с... с... ство.

— Как? Что? Что такое пятница? какая пятница?

— Пятница, ваше с... ссс... ссс... ство, день в неделе.

— Ну-у, ты учить меня вздумал?

Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом.

— Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору,— сказал он Аркадию,— ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор порядочный человек; притом же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом... ведь ты не медведь, надеюсь? А он послезавтра дает большой бал.

— Вы будете на этом бале? — спросил Аркадий.

— Он для меня его дает,— проговорил Матвей Ильич почти с сожалением.— Ты танцуешь?

— Танцую, только плохо.

— Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки я это говорю не в силу старинных понятий; я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах, но байронизм смешон, il a fait son temps [2].

— Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма не...

— Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко,— перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся.— Тебе тепло будет, а?

Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика с сморщенными губами, который

---

[1] «самый излюбленный» *(англ.).— Ред.*

[2] прошло его время *(франц.).— Ред.*

чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку...». Аркадий удалился.

Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. «Нечего делать! — сказал наконец Базаров.— Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков — давай их смотреть!» Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстух, недоедал и недопивал, все распоряжался. Его в губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на известного французского проповедника, а на бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя Кайсаровыми.

Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком: «Евгений Васильич!» — бросился к Базарову.

— А! это вы, герр Ситников,— проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару,— какими судьбами?

— Вообразите, совершенно случайно,— отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал: — Ступай за нами, ступай! — У моего отца здесь дело,— продолжал он, перепрыгивая через канавку,— ну, так он меня просил... Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас... (Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова, на одной стороне по-французски, на другой — славянской вязью.) Я надеюсь, вы не от губернатора?

— Не надейтесь, мы прямо от него.

— А! в таком случае и я к нему пойду... Евгений Васильич, познакомьте меня с вашим... с ними...

— Ситников, Кирсанов,— проворчал, не останавливаясь, Базаров.

— Мне очень лестно,— начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки.— Я очень много слышал... Я старинный знакомый Евгения Васильича и могу сказать — его ученик. Я ему обязан моим перерождением...

Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавлен-

ные глаза глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом.

— Поверите ли,— продолжал он,— что когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг... словно прозрел! «Вот,— подумал я,— наконец нашел я человека!» Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником; вы, я думаю, слыхали о ней?

— Кто такая? — произнес нехотя Базаров.

— Кукшина, Eudoxie, Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, émancipée [1] в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?

— Нет еще.

— Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит.

— Хорошенькая она? — перебил Базаров.

— Н... нет, этого нельзя сказать.

— Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?

— Ну, шутник, шутник... Она нам бутылку шампанского поставит.

— Вот как! Сейчас виден практический человек. Кстати, ваш батюшка все по откупам?

— По откупам,— торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся.— Что же? идет?

— Не знаю, право.

— Ты хотел людей смотреть, ступай,— заметил вполголоса Аркадий.

— А вы-то что ж, господин Кирсанов? — подхватил Ситников.— Пожалуйте и вы, без вас нельзя.

— Да как же это мы все разом нагрянем?

— Ничего! Кукшина — человек чудный.

— Бутылка шампанского будет? — спросил Базаров.

— Три! — воскликнул Ситников.— За это я ручаюсь!

— Чем?

— Собственною головою.

— Лучше бы мошною батюшки. А впрочем, пойдем.

---

[1] свободная от предрассудков *(франц.).— Ред.*

XIII

Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или *Евдоксия*) Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города ***; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце — явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?

— Это вы, Victor? — раздался тонкий голос из соседней комнаты.— Войдите.

Женщина в чепце тотчас исчезла.

— Я не один,— промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.

— Все равно,— отвечал голос.— Entrez [1].

Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос. На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном, платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor»,— и пожала Ситникову руку.

— Базаров, Кирсанов,— проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.

— Милости просим,— отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: — Я вас знаю,— и пожала ему руку тоже.

Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в

---

[1] Войдите *(франц.).— Ред.*

то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как дети говорят — нарочно, то есть не просто, не естественно.

— Да, да, я знаю вас, Базаров,— повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам,— с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) — Хотите сигару?

— Сигарку сигаркой,— подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху,— а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.

— Сибарит,— промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) — Не правда ли, Базаров, он сибарит?

— Я люблю комфорт жизни,— произнес с важностию Ситников.— Это не мешает мне быть либералом.

— Нет, это мешает, мешает! — воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака, и насчет шампанского.— Как вы об этом думаете? — прибавила она, обращаясь к Базарову.— Я уверена, вы разделяете мое мнение.

— Ну нет,— возразил Базаров,— кусок мяса лучше куска хлеба даже с химической точки зрения.

— А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

— Мастику? вы?

— Да, я. И знаете ли, с какою целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все это еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Госпожа Кукшина *роняла* свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностию, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят со своими нянъками.

— Меня зовут Аркадий Николаич Кирсанов,— проговорил Аркадий,— и я ничем не занимаюсь.

Евдоксия захохотала.

— Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.

— За что?

— Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина, и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном! Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время — как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек».) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

— Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

— Вы опасный господин; вы такой критик. Ах боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей — удивительный тип, точно Патфайндер Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!

— Город как город,— хладнокровно заметил Базаров.

— Всё такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам жила в Москве... но теперь там обитает мой благоверный, мсье Кукшин. Да и Москва теперь... уж я не знаю — тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.

— В Париж, разумеется? — спросил Базаров.

— В Париж и в Гейдельберг.

— Зачем в Гейдельберг?

— Помилуйте, там Бунзен!

На это Базаров ничего не нашелся ответить.

— Pierre Сапожников... вы его знаете?

— Нет, не знаю.

— Помилуйте, Pierre Сапожников... он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.

— Я и ее не знаю.

— Ну, вот он взялся меня проводить. Слава богу, я свободна, у меня нет детей... Что это я сказала: *слава богу!* Впрочем, это все равно.

Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.

— А, вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.

— По моей, по моей,— пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.

— Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку.

— Есть,— отвечала Евдоксия,— да все они такие пустые. Например, mon amie[1] Одинцова — недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего... этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.

— Ничего вы с ними не сделаете,— подхватил Ситников.— Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло, несколько месяцев спустя, пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

— Да им совсем не нужно понимать нашу беседу,— промолвил Базаров.

— О ком вы говорите? — вмешалась Евдоксия.

— О хорошеньких женщинах.

— Как! Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?

Базаров надменно выпрямился.

— Я ничьих мнений не разделяю: я имею свои.

— Долой авторитеты! — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.

— Но сам Маколей,— начала было Кукшина.

— Долой Маколея! — загремел Ситников.— Вы заступаетесь за этих бабенок?

— Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.

— Долой! — Но тут Ситников остановился.— Да я их не отрицаю,— промолвил он.

— Нет, я вижу, вы славянофил!

— Нет, я не славянофил, хотя, конечно...

— Нет, нет, нет! Вы славянофил. Вы последователь *Домостроя*. Вам бы плетку в руки!

---

[1] моя приятельница *(франц.).— Ред.*

— Плетка дело доброе,— заметил Базаров,— только мы вот добрались до последней капли...

— Чего? — перебила Евдоксия.

— Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского — не вашей крови.

— Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин,— продолжала Евдоксия.— Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле *De l'amour*[1]. Это чудо! Господа, будемте говорить о любви,— прибавила Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчание.

— Нет, зачем говорить о любви,— промолвил Базаров,— а вот вы упомянули об Одинцовой... Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?

— Прелесть! прелесть! — запищал Ситников.— Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!»

— Victor, вы шалун.

Завтрак продолжался долго. За первою бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая... Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак — предрассудок или преступление, и какие родятся люди — одинаковые или нет? и в чем собственно состоит индивидуальность? Дело дошло наконец до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:

И уста твои с моими
В поцелуй горячий слить.

Аркадий не вытерпел наконец. «Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало»,— заметил он вслух.

Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово,— он занимался больше шампанским,— громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними.

---

[1] О любви *(франц.).— Ред.*

— Ну что, ну что?— спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева,— ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше! Она, в своем роде, высоконравственное явление.

— А это заведение *твоего* отца тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного *тыканья* Базарова.

XIV

Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал, собственно, из уважения к нему, а губернатор даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех — одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai cheva lier français» [1] перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычанья, в котором только и можно было разобрать, что «я...» да «ссьма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову; даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах, даже Кукшиной он сказал: «Enchanté» [2]. Народу было пропасть, и в кавалерах не было недостатка; штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицаньям вроде: «Zut», «Ah fichtrrre», «Pst, pst, mon bibi» [3] и т. п. Он произносил их в совершенстве, с настоящим парижским *шиком*, и в то же время говорил «si j'aurais» вместо «si

---

[1] «как истинный французский рыцарь» *(франц.).— Ред.*

[2] «Очарован» *(франц.).— Ред.*

[3] «Зют», «Черт возьми», «Пст, пст, моя крошка» *(франц.).— Ред.*

j'avais» [1], «absolument» [2] в смысле: «непременно», словом, выражался на том великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, «comme des anges».

Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал: они оба поместились в уголке; к ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось и, обернувшись к Аркадию, он, как бы с смущением, проговорил: «Одинцова приехала».

Аркадий оглянулся и увидал женщину высокого роста, в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.

— Вы с ней знакомы? — спросил Аркадий Ситникова.

— Коротко. Хотите, я вас представлю?

— Пожалуй... после этой кадрили.

Базаров также обратил внимание на Одинцову.

— Это что за фигура? — проговорил он.— На остальных баб не похожа.

Дождавшись конца кадрили, Ситников подвел Аркадия к Одинцовой; но едва ли он был коротко с ней знаком: и сам он запутался в речах своих, и она глядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича?

— Точно так.

— Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем,— продолжала она,— я очень рада с вами познакомиться.

В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадриль. Она согласилась.

— Вы разве танцуете? — почтительно спросил Аркадий.

---

[1] Неправильное употребление условного наклонения вместо прошедшего: «если б я имел» *(франц.).— Ред.*

[2] «совершенно» *(франц.).— Ред.*

— Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара?

— Помилуйте, как можно... Но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку.

Одинцова снисходительно усмехнулась.

— Извольте,— сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев.

Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком, точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею: он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она так же непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сановником, тихо поводила головой и глазами, и раза два тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист; со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время.

Аркадий ощущал на сердце некоторую робость, когда, при первых звуках мазурки, он усаживался возле своей дамы и, готовясь вступить в разговор, только проводил рукой по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго; спокойствие Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, как уж он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала веер, и даже грудь ее не дышала быстрее, а Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастием находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во все ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах; по иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое...

— С кем вы это стояли,— спросила она его,— когда господин Ситников подвел вас ко мне?

— А вы его заметили? — спросил, в свою очередь, Арка-

дий.— Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель.

Аркадий принялся говорить о «своем приятеле».

Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой: он так хорошо провел с ней около часа! Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходила, как будто ему следовало быть ей благодарным... но молодые сердца не тяготятся этим чувством.

Музыка умолкла.

— Mercі,— промолвила Одинцова, вставая.— Вы обещали мне посетить меня, привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить.

Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка!) и, подумав: «В это мгновенье она уже забыла о моем существовании»,— почувствовал на душе какое-то изящное смирение...

— Ну что? — спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок,— получил удовольствие? Мне сейчас сказывал один барин, что эта госпожа — ой-ой-ой; да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно — ой-ой-ой?

— Я этого определенья не совсем понимаю,— отвечал Аркадий.

— Вот еще! Какой невинный!

— В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила — бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что...

— В тихом омуте... ты знаешь! — подхватил Базаров.— Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое?

— Может быть,— пробормотал Аркадий,— я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней.

— Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была — просто ли губернская львица, или «эманципе́» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно.

Аркадия покоробило от цинизма Базарова, но — как это часто случается — он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось...

— Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах? — проговорил он вполголоса.

— Оттого, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды.

Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически злобно, но не без робости, засмеялась им вослед: ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратил на нее внимания. Она оставалась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник.

XV

— Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа,— говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова.— Чувствует мой нос, что тут что-то не ладно.

— Я тебе удивляюсь! — воскликнул Аркадий.— Как? Ты, ты, Базаров, придерживаешься той узкой морали, которую...

— Экой ты чудак! — небрежно перебил Базаров.— Разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата «не ладно» значит «ладно»? Пожива есть, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж, хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика — дело ничуть не странное, а, напротив, благоразумное. Я городским толкам не верю; но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор, что они справедливы.

Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее ввел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова оставалась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему

стало досадно. «Вот тебе раз! бабы испугался!» — подумал он, и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз.

Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игрока, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям, Анне — двадцати и Катерине — двенадцати лет. Мать их, из обедневшего рода князей Х....., скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому,— к глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом околотке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями; он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х.....ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподволь занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с мыслию увянуть в глуши... Но судьба судила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудак, ипохондрик, пухлый, тяжелый и кислый, впрочем, не глупый и не злой; влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой,— а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни; потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии; соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее верст сорок от города ***. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями: покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большею частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказы-

вали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что и за границу она ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия... «Вы понимаете чего?» — договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду»,— говорили о ней; а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял: «И через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный.

Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении: она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусства, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним, как с младшим братом: казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости — и только. Часа три с лишком длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая.

Приятели наконец поднялись и стали прощаться. Анна Сергеевна ласково поглядела на них, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного, с нерешительною, но хорошею улыбкой проговорила:

— Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское.

— Помилуйте, Анна Сергеевна,— воскликнул Аркадий,— я за особенное счастье почту...

— А вы, мсье Базаров?

Базаров только поклонился — и Аркадию в последний раз пришлось удивиться: он заметил, что приятель его покраснел.

— Ну? — говорил он ему на улице,— ты все того же мнения, что она — ой-ой-ой?

— А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила! — возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: — Герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.

— Наши герцогини так по-русски не говорят,— заметил Аркадий.

— В переделе была, братец ты мой, нашего хлеба покушала.

— А все-таки она прелесть,— промолвил Аркадий.

— Этакое богатое тело! — продолжал Базаров,— хоть сейчас в анатомический театр.

— Перестань, ради бога, Евгений! Это ни на что не похоже.

— Ну, не сердись, неженка. Сказано — первый сорт. Надо будет поехать к ней.

— Когда?

— Да хоть послезавтра. Что́ нам здесь делать-то! Шампанское с Кукшиной пить? Родственника твоего, либерального сановника, слушать?.. Послезавтра же и махнем. Кстати — и моего отца усадьбишка оттуда не далеко. Ведь это Никольское по *** дороге?

— Да.

— Optime [1]. Нечего мешкать; мешкают одни дураки — да умники. Я тебе говорю: богатое тело!

Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День стоял светлый и не слишком жаркий, и ямские сытые лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему.

— Поздравь меня,— воскликнул вдруг Базаров,— сегодня двадцать второе июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут,— прибавил он, понизив голос...— Ну, подождут, что за важность!

---

[1] Превосходно *(лат.).— Ред.*

XVI

Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью al fresco [1] над главным входом, представлявшею «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея стриженых елок вела к подъезду.

Приятелей наших встретили в передней два рослых лакея в ливрее; один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме видимо царствовал порядок: все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных.

— Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса,— доложил дворецкий.— Не будет ли от вас покамест никаких приказаний?

— Никаких приказаний не будет, почтеннейший,— ответил Базаров,— разве рюмку водочки соблаговолите поднести.

— Слушаю-с,— промолвил дворецкий не без недоуменья и удалился, скрипя сапогами.

— Какой гранжанр! — заметил Базаров,— кажется, это так по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

— Хороша герцогиня,— возразил Аркадий,— с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой.

— Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук... Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?..

---

[1] фреской *(итал.).— Ред.*

— Как Сперанский,— прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы.— А все-таки избаловала она себя; ох, как избаловала себя эта барыня! Уж не фраки ли нам надеть?

Аркадий только плечом пожал... но и он чувствовал небольшое смущение.

Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами; покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины — и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. «Должно быть, *сам*,— шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил: — Аль удрать?» Но в это мгновенье вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу.

— Благодарствуйте, что сдержали слово,— начала она,— погостите у меня: здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсье Базаров, это все равно; но вы, мсье Кирсанов, кажется, любите музыку; кроме сестры, у меня живет старушка тетка, да сосед один иногда наезжает в карты играть: вот и все наше общество. А теперь сядем.

Одинцова произнесла весь этот маленький спич с особенною отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала Аркадиеву мать и была даже поверенною ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице; а Базаров между тем принялся рассматривать альбомы. «Какой я смирненький стал»,— думал он про себя.

Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами.

— Вот вам и моя Катя,— проговорила Одинцова, указав на нее движением головы.

Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку.

— Это ты всё сама нарвала? — спросила Одинцова.

— Сама,— отвечала Катя.

— А тетушка придет к чаю?

— Придет.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи... Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух.

Одинцова обратилась к Базарову.

— Вы из приличия рассматриваете картинки, Евгений Васильич,— начала она.— Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримте о чем-нибудь.

Базаров приблизился.

— О чем прикажете-с? — промолвил он.

— О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица.

— Вы?

— Я. Вас это как будто удивляет. Почему?

— Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный, а для спора нужно увлечение.

— Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь.

Базаров поглядел на Анну Сергеевну.

— Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить,— извольте. Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мне художественного смысла,— да, во мне действительно его нет; но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например.

— Извините; как геолог вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку.

— Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.

Анна Сергеевна помолчала.

— И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет? — промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизив свое лицо к Базарову.— Как же вы это без него обходитесь?

— А на что он нужен, позвольте спросить?

— Да хоть на то, чтоб уметь узнавать и изучать людей.

Базаров усмехнулся.

— Во-первых, на это существует жизненный опыт; а, во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Катя, которая, не спеша, подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова — и, встретив его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой.

— Деревья в лесу,— повторила она.— Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?

— Нет, есть: как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет.

Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: «Верь мне или не верь, это мне все едино!» Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам.

— И вы полагаете,— промолвила Анна Сергеевна,— что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?

— По крайней мере, при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр.

— Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

— Именно так-с, сударыня.

Одинцова обратилась к Аркадию.

— А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?

— Я согласен с Евгением,— отвечал он.

Катя поглядела на него исподлобья.

— Вы меня удивляете, господа,— промолвила Одинцова,— но мы еще с вами потолкуем. А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х.....я, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме ее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги; старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтою шалью, покрывавшею почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет: у ней и на чепце были ярко-желтые ленты.

— Как вы почивали, тетушка? — спросила Одинцова, возвысив голос.

— Опять эта собака здесь,— проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительные шага в ее направлении, воскликнула: — Брысь, брысь!

Катя позвала Фифи и отворила ей дверь.

Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотела было выйти...

— Я думаю, чай готов? — промолвила Одинцова.— Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйте чай кушать.

Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе мед в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что) и вдруг спросила хриплым голосом:

— А что пишет *кнесь* Иван?

Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «*Для ради* важности держат, потому что княжеское отродье»,— подумал Базаров... После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять; но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенький седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его — не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря.

— Берегитесь,— заметила Анна Сергеевна,— мы с Порфи-

рием Платонычем вас разобьем. А ты, Катя,— прибавила она,— сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу; он любит музыку, мы кстати послушаем.

Катя неохотно приблизилась к фортепьяно; и Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепьяно и, не глядя на Аркадия, промолвила вполголоса:

— Что же вам сыграть?

— Что хотите,— равнодушно ответил Аркадий.

— Вы какую музыку больше любите? — повторила Катя, не переменяя положения.

— Классическую,— тем же голосом ответил Аркадий.

— Моцарта любите?

— Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь.

Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой, посреди пленительной веселости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби... Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал: «А ведь недурно играет эта барышня, и сама она недурна».

Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила: «Довольно?» Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте; спросил ее — сама ли она выбрала эту сонату, или кто ей ее отрекомендовал? Но Катя отвечала ему односложно: она *спряталась*, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она нескоро выходила наружу; самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для контенансу, с благосклонною улыбкой, гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы.

А Базаров между тем ремизился да ремизился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты, Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше хотя незна-

чительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.

— Пойдемте гулять завтра поутру,— сказала она ему,— я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.

— На что вам латинские названия? — спросил Базаров.

— Во всем нужен порядок,— отвечала она.

— Что за чудесная женщина Анна Сергеевна,— воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате.

— Да,— отвечал Базаров,— баба с мозгом. Ну, и видала же она виды.

— В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильич?

— В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаич! Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается. Но чудо — не она, а ее сестра.

— Как? эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь; а та — тертый калач.

Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове.

И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился — отсутствием кокетства и самою резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна.

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокой-

ном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она не считала его за доброго человека) и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого, красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

«Странный человек этот лекарь!» — думала она, лежа в своей великолепной постеле, на кружевных подушках, под легким шелковым одеялом... Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его наклонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

«Странный этот лекарь!» — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку — и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.

На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом; Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась наконец, когда он увидал ее — сердце в нем мгновенно сжалось... Она шла по саду несколько усталою походкой; щеки ее алели и глаза светились ярче обыкновенного под соломенною круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров

шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы: «Здравствуй!» — Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его.

«Здравствуй,— подумал Аркадий...— Разве мы не виделись сегодня?»

XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главною ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; «как по рельсам катишься»,— уверял он: ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так и обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстухах. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей точки зрения, вы правы — и, может быть, в этом случае, я — барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет»,— и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме «катилось как по рельсам». Со всем тем в обоих молодых людях, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога, он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог

усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с нею в ласковые, приятельские отношения. «Меня *она* не ценит! Пусть!.. А вот доброе существо меня не отвергает»,— думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое; но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти *пустяки* и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой — с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя *обожала* природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее «аристократические замашки»; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего... он как будто избегал, как будто стыдился его...

Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиной всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой,— чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происхо-

дило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление: почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами? «Нравится тебе женщина,— говаривал он,— старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — все, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней «не добьешься толку», а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение по всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностию — да, с нежностию остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что, может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню, к от-

цу... Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не «сочинял». Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой, Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ременным обрывочком и в дегтярных сапогах.

— А, старина, здравствуй! — воскликнул Базаров.

— Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич,— начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами.

— Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

— Помилуйте, батюшка, как можно! — залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде).— В город по господским делам ехали да про вашу милость услыхали, так вот и завернули по пути, то есть — посмотреть на вашу милость... а то как же можно беспокоить!

— Ну, не ври,— перебил его Базаров.— В город тебе разве здесь дорога?

Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

— Отец здоров?

— Слава богу-с.

— И мать?

— И Арина Власьевна, слава тебе господи.

— Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

— Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли богу, сердце изныло на родителей на ваших глядючи.

— Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

— Слушаю-с,— со вздохом отвечал Тимофеич.

Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру

Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала.

— Как же это вы ехать собираетесь,— начала она,— а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

— Какое-с?

— Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

— Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть Pelouse et Frémy, *Notions générales de Chimie*; [1] книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно.

— А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить... я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать... помните?

— Что делать-с! — повторил Базаров.

— Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажною сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

— А зачем оставаться? — отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

— Как зачем? разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

— Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

— Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно.— Базаров продолжал сидеть неподвижно.— Евгений Васильевич, что же вы молчите?

— Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

— Это почему?

— Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

---

[1] Пелуз и Фреми, Общие основы химии *(франц.).— Ред.*

— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич.

— Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

— Думайте что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

— Аркадий останется,— заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

— Мне будет скучно,— повторила она.

— В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

— Отчего вы так полагаете?

— Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске... никаким тяжелым чувствам.

— И вы находите, что я непогрешительна... то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

— Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.

— Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно... мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось... Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.

— Спустите стору и сядьте,— промолвила Одинцова,— мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

— Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

— Вы очень скромны... Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

«Зачем она говорит такие слова?» — подумал Базаров.

— Все это нисколько не занимательно,— произнес он вслух,— особенно для вас; мы люди темные...

— А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

— Да,— промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

— Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажете свою.

— Я вас знаю мало,— повторил Базаров.— Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек — загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь — и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?

— Как? Как вы это сказали? — с живостью подхватила Одинцова.— С моей... красотой?

Базаров нахмурился.

— Это все равно,— пробормотал он,— я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне?

— Вы этого не понимаете... Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

— Да... я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

— Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?

Базаров исподлобья взглянул на нее.

— Любопытством — пожалуй; но не иначе.

— В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

— Мы сошлись...— глухо промолвил Базаров.

— Да!.. ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу... Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною женщиной...

— Куда вы? — медленно проговорила она.

Он ничего не отвечал и опустился на стул.

— Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом,— продолжала она тем же голосом, не

спуская глаз с окна.— А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

— Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

— Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого... что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит «аристократка», которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

— Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

— Чего я хочу,— повторила Одинцова и вздохнула.— Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара,— прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела.— Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует... Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной — длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется идти.

— Вы так разочарованы? — спросил Базаров.

— Нет,— промолвила с расстановкой Одинцова,— но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...

— Вам хочется полюбить,— перебил Базаров,— а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастие.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи.

— Разве я не могу полюбить? — промолвила она.

— Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

— Случается что?

— Полюбить.

— А вы почем это знаете?

— Понаслышке,— сердито отвечал Базаров.

«Ты кокетничаешь,— подумал он,— ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...» Сердце у него действительно так и рвалось.

— Притом, вы, может быть, слишком требовательны,— промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.

— Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

— Что ж? — заметил Базаров,— это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали.

— А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

— Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

— Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

— Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

— Вы говорите так,— начала она,— как будто все это испытали.

— К слову пришлось, Анна Сергеевна: это всё, вы знаете, не по моей части.

— Но вы бы сумели отдаться?

— Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

— Что это Катя так поздно играет,— заметила Одинцова.

Базаров поднялся.

— Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

— Погодите, куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово.

— Какое?

— Погодите,— шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеив-

шиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова... Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

— Ты еще не ложился? — проговорил он как бы с досадой.

— Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной,— промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

— Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

— Я не играл...— начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее... Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний нумер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него; но он не обратил на нее внимания.

— Евгений Васильевич,— проговорила Анна Сергеевна,— пойдемте ко мне... Я хочу у вас спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» — и опять уставилась

на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

— Так как же называется эта книга? — начала она после небольшого молчания.

— Pelouse et Frémy, *Notions générales*...— отвечал Базаров.— Впрочем, можно вам также порекомендовать Ganot, *Traité élémentaire de physique expérimentale* [1]. В этом сочинении рисунки отчетливее, и вообще этот учебник...

Одинцова протянула руку.

— Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно... Вам не будет скучно?

— Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем бишь беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова.

— Мы говорили с вами, кажется, о счастии. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово «счастие». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, отчего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастие, чем действительным счастием, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

— Вы знаете поговорку: «Там хорошо, где нас нет»,— возразил Базаров,— притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

— Может быть, они кажутся вам смешными?

— Нет, но они мне не приходят в голову.

— В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем *вы* думаете?

— Как? я вас не понимаю.

---

[1] Гано, Элементарный учебник экспериментальной физики *(франц.).— Ред.*

— Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить,— вам это самим известно,— что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды — вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать — какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? Словом, кто вы, что вы?

— Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

— Да, кто вы?

— Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь.

Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

— Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы.

— Да чем же Аркадий...

— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы — с вашим самолюбием — уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильич, что я умела бы понять вас: я сама была бедна и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

— Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините... я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое расстояние...

— Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала...

— Да и, кроме того,— перебил Базаров,— что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать — прекрасно, а не выйдет,— по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

— Вы называете дружескую беседу болтовней... Или, может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

— Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

— Нет, я ничего не знаю... но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит...

— Происходит! — повторил Базаров,— точно я государство какое или общество! Во всяком случае, это вовсе не

любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем «происходит»?

— А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе.

— *Вы* можете? — спросил Базаров.

— Могу,— отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

— Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

— Как хотите,— продолжала она,— а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

— А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще выразились... напряженность?

— Да.

Базаров встал и подошел к окну.

— И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

— Да,— повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

— И вы не рассердитесь?

— Нет.

— Нет? — Базаров стоял к ней спиною.— Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его.

— Евгений Васильич,— проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор — и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенье спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней...

— Вы меня не поняли,— прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула... Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: «Должен ли я сегодня уехать — или могу остаться до завтра?» — «Зачем уезжать? Я вас не понимала — вы меня не поняли»,— ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала».

Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... «Я виновата,— промолвила она вслух,— но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...

«Или?» — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидала себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...

«Нет,— решила она наконец,— бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленною: она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидала за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие.

XIX

Как ни владела собою Одинцова, как ни стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты; он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь, для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров

упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два — прямо, не украдкой — посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «Нет... нет... нет...» После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил:

— Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня.

— Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич,— отвечала Одинцова,— но я огорчена.

— Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали: зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет.

— Евгений Васильич, зачем вы...

— Зачем я уезжаю?

— Нет, я не то хотела сказать.

— Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна... а рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться; но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновенье из-под темных его бровей.

Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека»,— мелькнуло у ней в голове.

— Прощайте-с,— проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому.

Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя: что, мол, это значит? Базаров заперся у себя в комнате; к чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним...

Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий доложил о приезде Ситникова.

Трудно передать словами, какою перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, с свойственною ему на-

зойливостью, поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей и, вместо того чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшею похвалой... На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее — и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного.

— Я могу тебе теперь повторить,— говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся,— то, что ты мне сказал однажды: «Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?»

Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений.

— Я завтра к батьке уезжаю,— проговорил Базаров.

Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился и почему-то обрадовался.

— А! — промолвил он.— И ты от этого грустен?

Базаров зевнул.

— Много будешь знать, состареешься.

— А как же Анна Сергеевна? — продолжал Аркадий.

— Что такое Анна Сергеевна?

— Я хочу сказать: разве она тебя отпустит?

— Я у ней не нанимался.

Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене.

Прошло несколько минут в молчании.

— Евгений! — воскликнул вдруг Аркадий.

— Ну?

— Я завтра с тобой уеду тоже.

Базаров ничего не отвечал.

— Только я домой поеду,— продолжал Аркадий.— Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам?

— Я у вас свои вещи оставил,— отозвался Базаров, не оборачиваясь.

«Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? — подумал Аркадий.— В самом деле, зачем я еду, и зачем он едет?» — продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этою жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. «Что-то у них произошло,— рассуждал он сам с собою,— зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? Я ей окончательно надоем; я и последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.

«Жаль и Кати!» — шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза... Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

— На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

— Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

«Эге, ге!..— подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия.— Мы, стало быть, с тобой боги? то есть — ты бог, а олух уж не я ли?»

— Да,— повторил угрюмо Базаров,— ты еще глуп.

Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым; она казалась рассеянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него, княжна даже перекрестилась под своею шалью, так что он не мог этого не заметить; зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом щегольском, на этот раз не славянофильском, наряде; накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают! Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонный заяц на опушке

леса,— и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать.

— У меня очень покойная коляска,— прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию,— я могу вас подвезти, а Евгений Васильич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет.

— Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко.

— Это ничего, ничего; времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть.

— По откупам? — спросил Аркадий уже слишком презрительно.

Но Ситников находился в таком отчаянии, что, против обыкновения, даже не засмеялся.

— Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная,— пробормотал он,— и всем место будет.

— Не огорчайте мсье Ситникова отказом,— промолвила Анна Сергеевна...

Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову.

Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала:

— Мы еще увидимся, не правда ли?

— Как прикажете,— ответил Базаров.

— В таком случае мы увидимся.

Аркадий первый вышел на крыльцо; он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежнею улыбкой сказал Базарову:

— Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе поехать.

— Садись,— произнес сквозь зубы Базаров.

Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова, а Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова — и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!» Тарантас покатил и скоро исчез из вида... Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!» — потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день,

у Кукшиной, сильно досталось двум «противным гордецам и невежам».

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки.

— Что, брат,— проговорил он наконец,— дай-ка сигарку... Да посмотри, чай, желтый у меня язык?

— Желтый,— отвечал Аркадий.

— Ну да... вот и сигарка не вкусна. Расклеилась машина.

— Ты действительно изменился в это последнее время,— заметил Аркадий.

— Ничего! поправимся. Одно скучно — мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз на день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете. Нет, нельзя курить,— прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.

— До твоего имения двадцать пять верст? — спросил Аркадий.

— Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца.

Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника.

Но мудрец отвечал, что «хтошь е знает — версты тутотка не меряные», и продолжал вполголоса бранить коренную за то, что она «головизной лягает», то есть дергает головой.

— Да, да,— заговорил Базаров,— урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь.

— Ты на что намекаешь? — спросил Аркадий.

— Я ни на что не намекаю, я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать! Но я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль — тот непременно ее победит.

— Я тебя не совсем понимаю,— промолвил Аркадий,— кажется, тебе не на что было пожаловаться.

— А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее: по-моему — лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это всё...— Базаров чуть было не произнес своего любимого

слова «романтизм», да удержался и сказал: — вздор. Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю: мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно; но бросить подобное общество — все равно, что в жаркий день холодною водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты,— прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику,— ты, умница, есть у тебя жена?

Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.

— Жена-то? Есть. Как не быть жене?

— Ты ее бьешь?

— Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем.

— И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?

Мужик задергал вожжами.

— Эко слово ты сказал, барин. Тебе бы все шутить...— Он, видимо, обиделся.

— Слышишь, Аркадий Николаевич! А нас с вами прибили... вот оно что значит быть образованными людьми.

Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта.

Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. Но вот на скате пологого холма открылась наконец небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенною крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья,— говорил один другому,— а хуже малого поросенка».— «А твоя жена — колдунья»,— возражал другой.

— По непринужденности обращения,— заметил Аркадию Базаров,— и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. Он, он — узнаю его фигуру. Эге, ге! как он, однако, поседел, бедняга!

XX

Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека, с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый

военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца.

Лошади остановились.

— Наконец пожаловал,— проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами.— Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.

Он стал обнимать сына... «Енюшка, Енюша»,— раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипыванья.

Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего.

— Ну, полно, полно, Ариша! перестань,— заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся.— Это совсем не нужно! пожалуйста, перестань.

— Ах, Василий Иваныч,— пролепетала старушка,— в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшеньку...— И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.

— Ну да, конечно, это все в натуре вещей,— промолвил Василий Иваныч,— только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините,— прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой,— вы понимаете, женская слабость; ну, и сердце матери...

А у самого и губы и брови дергало, и подбородок трясся... но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным. Аркадий наклонился.

— Пойдемте, матушка, в самом деле,— промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.

— Душевно рад знакомству,— проговорил Василий Иванович,— только уж вы не взыщите: у меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай отдолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя.

— Батюшка,— сквозь слезы проговорила старушка,— имени и отчества не имею чести знать...

— Аркадий Николаич,— с важностию, вполголоса, подсказал Василий Иваныч.

— Извините меня, глупую.— Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого.— Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го...о...о...лубчика.

— А вот и дождались, сударыня,— подхватил Василий Иванович.— Танюшка,— обратился он к босоногой девочке лет тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери,— принеси барыне стакан воды,— на подносе, слышишь? — а вас, господа,— прибавил он с какою-то старомодною игривостью,— позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.

— Хоть еще разочек дай обнять себя, Енюшечка,— простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней.— Да какой же ты красавчик стал!

— Ну, красавчик не красавчик,— заметил Василий Иванович,— а мужчина, как говорится: *оммфе* [1]. А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.

Старушка привстала с кресел.

— Сию минуту, Василий Иваныч, стол накрыт будет, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю, все будет, все. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

— Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос? Милости просим за мной.

И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда, вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя громадными шкафами

[1] настоящий мужчина (от *франц.* homme fait).— *Ред.*

из карельской березы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла сломанная электрическая машина.

— Я вас предупредил, любезный мой посетитель,— начал Василий Иваныч,— что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках...

— Да перестань, что ты извиняешься? — перебил Базаров.— Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос?

— Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комната: им там очень хорошо будет.

— Так у тебя и флигелек завелся?

— Как же-с; где баня-с,— вмешался Тимофеич.

— То есть рядом с баней,— поспешно присовокупил Василий Иванович.— Теперь же лето... Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Suum cuique [1].

— Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший,— прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел.— Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает.

— И мать твоя, кажется, прекрасная женщина,— заметил Аркадий.

— Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.

— Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли,— промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.

— И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.

— Сколько у твоего отца душ? — спросил вдруг Аркадий.

— Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.

— И все двадцать две,— с неудовольствием заметил Тимофеич.

Послышалось шлепание туфель, и снова появился Василий Иванович.

— Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас,— воскликнул он с торжественностию,— Аркадий... Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга,— прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко

---

[1] Всякому свое *(лат.).— Ред.*

остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах.— Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?

— Я курю больше сигары,— ответил Аркадий.

— И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю префераис сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.

— Да полно тебе лазаря петь,— перебил опять Базаров.— Сядь лучше вот тут на диван да дай на себя посмотреть.

Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и у́же, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностию.

— Лазаря петь! — повторил Василий Иванович.— Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь, по возможности, не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века.

Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:

— Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу. Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.

— Да; вот я вижу у тебя — «Друг здравия» на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год,— заметил Базаров.

— Мне его по знакомству старый товарищ высылает,— поспешно проговорил Василий Иванович,— но мы, например, и о френологии имеем понятие,— прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четыреугольники,— нам и Шенлейн не остался безызвестен, и Рademахер.

— А в Рademахера еще верят в *** губернии? — спросил Базаров.

Василий Иванович закашлял.

— В губернии... Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гоффман, какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.

— Скажу тебе в утешение,— промолвил Базаров,— что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.

— Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?

— Хочу, да одно другому не мешает.

Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.

— Ну, может быть, может быть — спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, *волату*;[1] теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил,— обратился он опять к Аркадию,— да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет. Ну, да ведь мое дело — сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.

— Сознайся, дубина была порядочная,— лениво промолвил Базаров.

— Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй... Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу...

— Ну, брось его,— перебил Базаров.— Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.

Василий Иванович оживился.

— А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельский святую правду изрек: in herbis, verbis et lapidibus...[2] Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом —

---

[1] вот и все (от *франц.* voilà tout).— *Ред.*

[2] в травах, словах и камнях... *(лат.)* — *Ред.*

нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине?.. Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии... Ха-ха, из филантропии! а? каково! Ха-ха! ха-ха!

— Федька! набей мне трубку! — сурово проговорил Базаров.

— А то здесь другой доктор, приезжает к больному,— продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович,— а больной уже ad patres; [1] человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?»—«Икали-с».—«И много икал?» — «Много».— «А, ну — это хорошо»,— да и верть назад. Ха-ха-ха!

Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа; Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.

Василий Иванович первый поднялся.

— Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.

Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленой веткой; но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещевать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди: хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во все время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, вну-

[1] отправился к праотцам *(лат.).— Ред.*

шаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить его она боялась. «Ну, как скажет на два дня»,— думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полубутылкой шампанского. «Вот,— воскликнул он,— хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!» Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье «неоцененных посетителей» и разом, по-военному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:

— На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.

— Что за деревья? — спросил, вслушавшись, Базаров.

— А как же... акации.

Базаров начал зевать.

— Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею,— заметил Василий Иванович.

— То есть пора спать! — подхватил Базаров.— Это суждение справедливое. Пора, точно.

Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иваныч проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему «такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в ваши счастливые лета». И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул

до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став как вкопанная перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.

Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресение на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи; а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать — и строго постилась; спала десять часов в сутки — и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова; не прочла ни одной книги, кроме *Алексиса, или Хижины в лесу*, писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить,— а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась

и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу — и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном... Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает — следует ли радоваться этому!

XXI

Встав с постели, Аркадий раскрыл окно — и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:

— Здравия желаем! Как почивать изволили?

— Прекрасно,— отвечал Аркадий.

— А я здесь, как видите, как некий Цинциннат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время,— да и слава богу! — что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку — это по-ихнему, а по-нашему — дизентерию, я... как бы выразиться лучше... я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию... только она не согласилась. Все это я делаю gratis — *анаматёр* [1]. Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, homo novus [2] — не из столбовых, не то, что моя благоверная... А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?

Аркадий вышел к нему.

— Добро пожаловать еще раз! — промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову.— Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.

---

[1] даром *(лат.)*, по-любительски (от *франц.* en amateur).— *Ред.*

[2] новый человек *(лат.).— Ред.*

— Помилуйте,— возопил Аркадий,— какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.

— Позвольте, позвольте,— возразил с любезной ужимкой Василий Иванович.— Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете — узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара — давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас видел-ся с ним; он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать,— вы давно с моим Евгением знакомы?

— С нынешней зимы.

— Так-с. И позвольте вас еще спросить,— но не присесть ли нам? — Позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?

— Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался,— с живостью ответил Аркадий.

Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.

— Итак, вы полагаете,— начал он...

— Я уверен,— подхватил Аркадий,— что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.

— Как... как это было? — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.

— Вы хотите знать, как мы встретились?

— Да... и вообще...

Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с бóльшим жаром, с бóльшим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.

Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы — и наконец не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.

— Вы меня совершенно осчастливили,— промолвил он, не переставая улыбаться,— я должен вам сказать, что я... боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно — мать! но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не

приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!

— Он бескорыстный, честный человек,— заметил Аркадий.

— Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания...» — Голос старика перервался.

Аркадий стиснул ему руку.

— Как вы думаете,— спросил Василий Иванович после некоторого молчания,— ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?

— Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.

— На каком же, Аркадий Николаич?

— Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.

— Он будет знаменит! — повторил старик и погрузился в думу.

— Арина Власьевна приказала просить чай кушать,— проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.

Василий Иванович встрепенулся.

— А холодные сливки к малине будут?

— Будут-с.

— Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?

— Я здесь,— раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.

Василий Иванович быстро обернулся.

— Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал, amice [1], и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.

— О чем?

— Здесь есть мужичок, он страдает иктером...

— То есть желтухой?

— Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, да-

---

[1] дружище *(лат.).— Ред.*

вал соду; но это всё *паллиативные* средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а, я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.

Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта»:

Закон, закон, закон себе поставим
На ра... на ра... на радости пожить!

— Замечательная живучесть! — проговорил, отходя от окна, Базаров.

Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

— Та осина,— заговорил Базаров,— напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.

— Сколько ты времени провел здесь всего? — спросил Аркадий.

— Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше всё по городам шлялись.

— А дом этот давно стоит?

— Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.

— Кто он был, твой дед?

— Черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.

— То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.

— Лампадным маслом отзывает да донником,— произнес, зевая, Базаров.— А что мух в этих милых домиках... Фа!

— Скажи,— начал Аркадий после небольшого молчания,— тебя в детстве не притесняли?

— Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.

— Ты их любишь, Евгений?

— Люблю, Аркадий!

— Они тебя так любят!

Базаров помолчал.

— Знаешь ли ты, о чем я думаю? — промолвил он наконец, закидывая руки за голову.

— Не знаю. О чем?

— Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами — кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...

— А ты?

— А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!

— Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...

— Ты прав,— подхватил Базаров.— Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку да злость.

— Злость? почему же злость?

— Почему? Как почему? Да разве ты забыл?

— Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но...

— Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно.— Он повернулся на бок.— Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!

— Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?

Базаров приподнял голову.

— Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и

бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.

Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.

— Да,— начал Базаров,— странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

— Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно,— произнес задумчиво Аркадий.

— Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно... а вот дрязги, дрязги... это беда.

— Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.

— Гм... это ты сказал *противоположное общее место.*

— Что? Что ты называешь этим именем?

— А вот что: сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а, в сущности, одно и то же.

— Да правда-то где, на какой стороне?

— Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?

— Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.

— В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.

— В таком случае не худо вздремнуть,— заметил Аркадий.

— Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.

— А тебе не все равно, что о тебе думают?

— Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.

— Странно! я никого не ненавижу,— промолвил, подумавши, Аркадий.

— А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься...

— А ты,— перебил Аркадий,— на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?

Базаров помолчал.

— Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною,— проговорил он с расстановкой,— тогда я изменю

свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,— она такая славная, белая,— вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

— Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.

— Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет — ты об этом не догадался до сих пор! — а есть ощущения. Все от них зависит.

— Как так?

— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

— Что ж? и честность — ощущение?

— Еще бы!

— Евгений! — начал печальным голосом Аркадий.

— А? что? не по вкусу? — перебил Базаров.— Нет, брат! Решился все косить — валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна»,— сказал Пушкин.

— Никогда он ничего подобного не сказал,— промолвил Аркадий.

— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

— Пушкин никогда не был военным!

— Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец.

— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

— Давай лучше спать! — с досадой проговорил Аркадий.

— С величайшим удовольствием,— ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

— Посмотри,— сказал вдруг Аркадий,— сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым.

— О друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров,— об одном прошу тебя: не говори красиво.

— Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего ее не высказать?

— Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.

— Что же прилично? Ругаться?

— Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

— Как ты назвал Павла Петровича?

— Я его назвал, как следует,— идиотом.

— Это, однако, нестерпимо! — воскликнул Аркадий.

— Ага! родственное чувство заговорило,— спокойно промолвил Базаров.— Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор,— это свыше его сил. Да и в самом деле: *мой* брат, *мой* — и не гений... возможно ли это?

— Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное,— возразил запальчиво Аркадий.— Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого *ощущения,* то ты и не можешь судить о нем.

— Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания,— преклоняюсь и умолкаю.

— Полно, пожалуйста, Евгений; мы наконец поссоримся.

— Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения риз, до истребления.

— Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем...

— Что подеремся? — подхватил Базаров.— Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров — ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло...

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая

нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...

— А! вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенною, тоже домоделанною, шляпой на голове.— Я вас искал, искал... Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на «земле», глядеть в «небо»... Знаете ли — в этом есть какое-то особое значение!

— Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть,— проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: — Жаль, что помешал.

— Ну, полно,— шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.

— Смотрю я на вас, мои юные собеседники,— говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия, с фигурой турка вместо набалдашника,— смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов! Просто... Кастор и Поллукс!

— Вон куда — в мифологию метнул! — промолвил Базаров.— Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?

— Диоскуры, Диоскуры! — повторял Василий Иванович.

— Однако полно, отец, не нежничай.

— В кои-то веки разик можно,— пробормотал старик.— Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем; а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений... Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь... Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей...

— Поп?

— Ну да, священник; он у нас... кушать будет... Я этого не ожидал и даже не советовал... но как-то так вышло... он меня не понял... Ну, и Арина Власьевна... Притом же он у нас очень хороший и рассудительный человек.

— Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров.

Василий Иванович засмеялся.

— Помилуй, что ты!

— А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.

Василий Иванович поправил свою шляпу.

— Я был наперед уверен,— промолвил он,— что ты выше всяких предрассудков. На что вот я — старик, шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна... Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. Он и в карточки не прочь поиграть, и даже... но это между нами... трубочку курит.

— Что же? Мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю.

— Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.

— А что? разве стариной тряхнешь? — промолвил с особенным ударением Базаров.

Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.

— Как тебе не стыдно, Евгений... Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед *ними* признаться, имел я эту страсть в молодости — точно; да и поплатился же я за нее! Однако, как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?

— Нисколько,— ответил Аркадий.

Василий Иванович кряхтя опустился на сено.

— Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои,— начал он,— мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава богу.— Он вздохнул.— Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.

— За который ты получил Владимира? — подхватил Базаров.— Знаем, знаем... Кстати, отчего ты его не носишь?

— Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков,— пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы.— А ведь он заснул,— шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув.— Евгений! вставай! — прибавил он громко: — Пойдем обедать...

Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчи-

вым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на два рубля пятьдесят копеек ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро... Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его «беспокоить». «Молодые люди до этого не охотники»,— твердил он ей (нечего говорить, каков был в тот день обед: Тимофеич собственною персоной скакал на утренней заре за какою-то особенною черкасскою говядиной; староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили сорок две копейки медью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.

Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку «на счастье»; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.

— Что,— спросила она, погодя немного,— не помогло?

— Еще хуже пошло,— отвечал он с небрежною усмешкой.

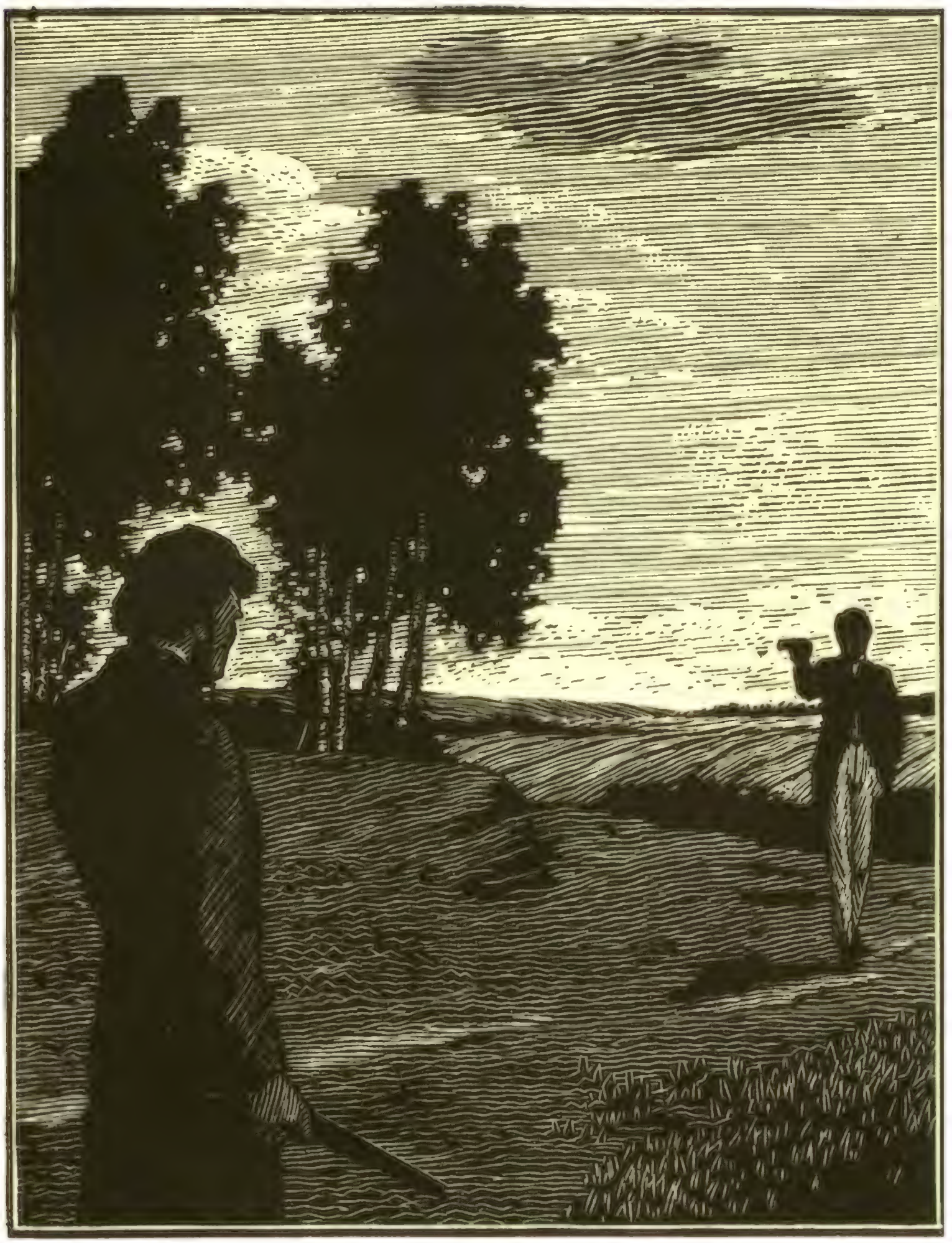
— Очинно они уже рискуют,— как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.

— Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское,— подхватил Василий Иванович и пошел с туза.

— Оно же и довело его до острова Святыя Елены,— промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.

— Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? — спросила Арина Власьевна.

Базаров только плечами пожал.



«Отцы и дети».

— Нет! — говорил он на следующий день Аркадию,— уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно. А то здесь отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам — никто тебе мешать не будет»; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится,— промолвил Аркадий,— да и он тоже.

— Я к ним еще вернусь.

— Когда?

— Да вот как в Петербург поеду.

— Мне твою мать особенно жалко.

— Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

— Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.

— Верно, обо мне все распространялась?

— Не о тебе одном была речь.

— Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду.

— Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они всё рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.

— Нелегко. Черт меня дернул сегодня подразнить отца; он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика — и очень хорошо сделал; да, да не гляди на меня с таким ужасом,— очень хорошо сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить... Ничего! До свадьбы заживет.

Базаров сказал: «Ничего!» — но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:

— Да... чуть было не забыл тебе сказать... Вели-ка завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.

Василий Иванович изумился.

— Разве господин Кирсанов от нас уезжает?

— Да; и я с ним уезжаю.

Василий Иванович перевернулся на месте.

— Ты уезжаешь?

— Да... мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.

— Хорошо...— залепетал старик,— на подставу... хорошо... только... только... Как же это?

— Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.

— Да! На короткое время... Хорошо.— Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли.— Что ж? это... все будет. Я было думал, что ты у нас... подольше. Три дня... Это, это, после трех лет, маловато; маловато, Евгений!

— Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.

— Необходимо... Что ж? Прежде всего надо долг исполнять... Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное — свобода; это мое правило... не надо стеснять... не...

Он вдруг умолк и направился к двери.

— Мы скоро увидимся, отец, право.

Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.

— Это ты, Василий Иваныч? — спросила она.

— Я, матушка!

— Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.

— Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных,— продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась;

даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись,— и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме,— Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас,— залепетал он,— бросил; скучно ему стало с нами. Один как перст теперь, один!» — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася! Сын — отрезанный ломоть. Он что сокол: захотел — прилетел, захотел — улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня».

Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.

XXII

Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей и, взобравшись на козлы, спросил: направо аль налево?

Аркадий дрогнул. Дорога направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцовой.

Он взглянул на Базарова.

— Евгений,— спросил он,— налево?

Базаров отвернулся.

— Это что за глупость? — пробормотал он.

— Я знаю, что глупость,— ответил Аркадий.— Да что за беда? Разве нам в первый раз?

Базаров надвинул картуз себе на лоб.

— Как знаешь,— проговорил он наконец.

— Пошел налево! — крикнул Аркадий.

Тарантас покатил в направлении к Никольскому. Но, решившись на *глупость,* приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми.

Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и с довольно глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним наконец. Она приветствовала их с обыкновенною своей любезностью, но удивилась их скорому возвращению и, сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше, в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного, старого лица. Кате нездоровилось, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он, по крайней мере, столько же желал видеть Катю, сколько и самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о сем; Анна Сергеевна и слушала и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе.

— На меня теперь нашла хандра,— сказала она,— но вы не обращайте на это внимания и приезжайте опять, я вам это обоим говорю, через несколько времени.

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжение всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой; Базаров в особенности почти не раскрывал рта и все глядел в сторону, прочь от дороги, с каким-то ожесточенным напряжением.

В Марьине им все чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване,

когда Фенечка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде «молодых господ»; сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы; говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые и он все смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверями; а Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры, ничего не выходило у образованного камердинера: природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других.

А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по ферме росли с каждым днем — хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток; лошади заболевали; сбруя горела как на огне; работы исполнялись небрежно; выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую с первого разу испортили; половина скотного двора сгорела, оттого что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду пошла с головешкой окуривать свою корову... правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба». Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше все спал. Посаженные на оброк мужики не вносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы». Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела, жены их не могли

ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и все вдруг поднималось на ноги, как по команде, все сбегалось перед крылечко конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг вперемежку с мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с косьбой не совладели, а тут Опекунский совет грозится и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов...

— Сил моих нет! — не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович.— Самому драться невозможно, посылать за становым — не позволяют принципы, а без страха наказания ничего не поделаешь!

— Du calme, du calme [1],— замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.

Базаров держался в отдалении от этих «дрязгов», да ему, как гостю, не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностию если не помогать отцу, то, по крайней мере, показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие. Хозяйничанье не возбуждало в нем отвращения: он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности, но у него в ту пору другие мысли зароились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском; прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым,— и еще под каким! — под родительским кровом, а ему точно было скучно, и тянуло его вон. Он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем, довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми

[1] Спокойно, спокойно *(франц.).— Ред.*

Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился, точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. «Я вам это обоим говорю,— беспрестанно шептал он,— сама прибавила. Поеду, поеду, черт возьми!» Но он вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. «Авось» молодости, тайное желание изведать свое счастие, испытать свои силы в одиночку, без чьего бы то ни было покровительства — одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город, а оттуда в Никольское. Беспрерывно погоняя ямщика, несся он туда, как молодой офицер на сраженье: и страшно ему было, и весело, нетерпение его душило. «Главное — не надо думать»,— твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой; он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: «Чкнуть?» или: «Аль чкнуть?» — но зато, *чкнувши,* не жалел лошадей. Вот наконец показалась высокая крыша знакомого дома... «Что я делаю? — мелькнуло вдруг в голове Аркадия.— Да ведь не вернуться же!» Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загремел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженых елок... Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика... Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить расскакавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. «Это вы! — промолвила она, и понемножку вся покраснела,— пойдемте к сестре, она тут, в саду; ей будет приятно вас видеть».

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием; он обрадовался ей, словно родной. Все так отлично устроилось: ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась.

Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. «Здравствуйте, беглец!» — проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и щурясь от солнца и ветра: «Где ты его нашла, Катя?»

— Я вам, Анна Сергеевна,— начал он,— привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете...

— Вы себя привезли; это лучше всего.

XXIII

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько не обманывается насчет настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с *нигилистом* по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.

— Еще бы! — воскликнул Базаров.— Человек все в состоянии понять — и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошел в сторону.

Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться», если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос. Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок. Он промучился до утра, но не прибег к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день, на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» —

отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно расчесанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?» Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо... А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал... Это существо была Фенечка.

Он встречался с ней большею частью по утрам рано, в саду или на дворе; в комнату к ней он не захаживал, и она всего раз подошла к его двери, чтобы спросить его — купать ли ей Митю, или нет? Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило; может быть, оттого, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского, всего того высшего, что и привлекает и пугает. В ее глазах он и доктор был отличный, и человек простой. Не стесняясь его присутствием, она возилась с своим ребенком, и однажды, когда у ней вдруг закружилась и заболела голова, из его рук приняла ложку лекарства. При Николае Петровиче она как будто чуждалась Базарова: она это делала не из хитрости, а из какого-то чувства приличия. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо; он с некоторых пор стал наблюдать за нею и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиною в своем *сьюте,* с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. «Так тебя холодом и обдаст»,— жаловалась Фенечка Дуняше, а та в ответ ей вздыхала и думала о другом «бесчувственном» человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался *жестоким тираном* ее души.

Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутливая внимательность. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. Все к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одетая в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче: загар не приставал к ней, а жара, от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки да уши и, вливая тихую лень во все ее тело, отражалась дремотною томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать; руки у ней так и скользили на колени. Она едва ходила и все охала да жаловалась с забавным бессилием.

— Ты бы чаще купалась,— говорил ей Николай Петрович. Он устроил большую, полотном покрытую, купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел.

— Ох, Николай Петрович! Да пока до пруда дойдешь — умрешь, и назад пойдешь — умрешь. Ведь тени-то в саду нету.

— Это точно, что тени нету,— отвечал Николай Петрович и потирал себе брови.

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув, по обыкновению, белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз. Он поздоровался с нею.

— А! Евгений Васильич! — проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя.

— Что вы это тут делаете? — промолвил Базаров, садясь возле нее.— Букет вяжете?

— Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любит.

— Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цветов!

— Я их теперь нарвала, а то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я?

— Это что за фантазия! Дайте-ка ваш пульс пощупать.— Базаров взял ее руку, отыскал ровно бившуюся жилку и даже не стал считать ее ударов.— Сто лет проживете,— промолвил он, выпуская ее руку.

— Ах, сохрани бог! — воскликнула она.

— А что? Разве вам не хочется долго пожить?

— Да ведь сто лет! У нас бабушка была восьмидесяти пяти лет — так уж что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себе только в тягость. Какая уж это жизнь!

— Так лучше быть молодою?

— А то как же?

— Да чем же оно лучше? Скажите мне!

— Как чем? Да вот я теперь, молодая, все могу сделать — и пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно... Чего лучше?

— А вот мне все равно: молод ли я или стар.

— Как это вы говорите — все равно? это невозможно, что вы говорите.

— Да вы сами посудите, Федосья Николаевна, на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем...

— Это от вас всегда зависит.

— То-то что не от меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Фенечка сбоку посмотрела на Базарова, но ничего не сказала.

— Это что у вас за книга? — спросила она, погодя немного.

— Эта-то? Это ученая книга, мудреная.

— А вы все учитесь? И не скучно вам? Вы уж и так, я чай, все знаете.

— Видно, не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

— Да я ничего тут не пойму. Она у вас русская? — спросила Фенечка, принимая в обе руки тяжело переплетенный том.— Какая толстая!

— Русская.

— Все равно я ничего не пойму.

— Да я и не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается.

Фенечка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозоте», засмеялась и бросила книгу... она скользнула со скамейки на землю.

— Я люблю тоже, когда вы смеетесь,— промолвил Базаров.

— Полноте!

— Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит.

Фенечка отворотила голову.

— Какой вы! — промолвила она, перебирая пальцами по цветам.— И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели.

— Эх, Федосья Николаевна! поверьте мне: все умные дамы на свете не стоят вашего локотка.

— Ну, вот еще что выдумали! — шепнула Фенечка и поджала руки.

Базаров поднял с земли книгу.

— Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?

— Лекарская? — повторила Фенечка и повернулась к нему.— А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? уж как Митя спит хорошо! Я уж и не придумаю, как мне вас благодарить; такой вы добрый, право.

— А по-настоящему, надо лекарям платить,— заметил с усмешкой Базаров.— Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Фенечка подняла на Базарова свои глаза, казавшиеся еще темнее от беловатого отблеска, падавшего на верхнюю часть ее лица. Она не знала — шутит ли он или нет.

— Если вам угодно, мы с удовольствием... Надо будет у Николая Петровича спросить...

— Да вы думаете, я денег хочу? — перебил ее Базаров.— Нет, мне от вас не деньги нужны.

— Что же? — проговорила Фенечка.

— Что? — повторил Базаров.— Угадайте.

— Что я за отгадчица!

— Так я вам скажу; мне нужно... одну из этих роз.

Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула — до·того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя польщенною. Базаров пристально смотрел на нее.

— Извольте, извольте,— промолвила она наконец и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы.— Какую вам, красную или белую?

— Красную, и не слишком большую.

Она выпрямилась.

— Вот, возьмите,— сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом.

— Что такое? — спросил Базаров.— Николай Петрович?

— Нет... Они в поле уехали... да я и не боюсь их... а вот Павел Петрович... Мне показалось...

— Что?

— Мне показалось, что *они* тут ходят. Нет... никого нет. Возьмите.— Фенечка отдала Базарову розу.

— С какой стати вы Павла Петровича боитесь?

— Они меня всё пугают. Говорить — не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы всё с ним спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет; а вижу, что вы его и так вертите, и так...

Фенечка показала руками как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича.

Базаров улыбнулся.

— А если б он меня побеждать стал,— спросил он,— вы бы за меня заступились?

— Где ж мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладишь.

— Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и пальцем меня сшибет.

— Какая такая рука?

— А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали.

Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку... Платок скатился с ее головы на плеча; показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос.

— Постойте, я хочу понюхать с вами,— промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы.

Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какою-то злобною унылостью: «Вы здесь»,— удалился. Фенечка тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки. «Грешно вам, Евгений Васильевич»,— шепнула она, уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте.

Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя «с формальным поступлением в селадоны» и отправился к себе в комнату.

А Павел Петрович вышел из саду и, медленно шагая, добрался до леса. Он остался там довольно долго, и когда он вернулся к завтраку, Николай Петрович заботливо спросил у него, здоров ли он? до того лицо его потемнело.

— Ты знаешь, я иногда страдаю разлитием желчи,— спокойно отвечал ему Павел Петрович.

XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

— Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях,— начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости),— но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени... не более.

— Все мое время к вашим услугам,— ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

— С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

— Вопрос? О чем это?

— А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

— Вот мое мнение,— сказал он.— С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну, а с практической точки зрения — это дело другое.

— То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

— Вы вполне отгадали мою мысль.

— Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности...

— Из нерешимости, хотите вы сказать.

— Это все равно-с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли; я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решился драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

— Со мной?

— Непременно с вами.

— Да за что? помилуйте.

— Я бы мог объяснить вам причину,— начал Павел Петрович.— Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

— Очень хорошо-с,— проговорил он.— Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

— Чувствительно вам обязан,— ответил Павел Петрович,— и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

— То есть, говоря без аллегорий, к этой палке? — хладнокровно заметил Базаров.— Это совершенно справедливо. Вам

нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом... Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

— Прекрасно,— промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол.— Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

— Нет, лучше без формальностей.

— Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше?

— Чего же больше? — повторил иронически Базаров.

— Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет,— ибо где ж их взять?

— Именно, где их взять?

— То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за рощей, на пистолетах; барьер в десяти шагах...

— В десяти шагах? Это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

— Можно и восемь,— заметил Павел Петрович.

— Можно; отчего же!

— Стрелять два раза; а на всякий случай, каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

— Вот с этим я не совсем согласен,— промолвил Базаров.— Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

— Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

— Соглашаюсь. Но есть средство избегнуть этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Да Петр.

— Какой Петр?

— Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях *комильфо*.

— Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

— Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в мешке

не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

— Вы продолжаете шутить,— произнес, вставая со стула, Павел Петрович.— Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии... Итак, все устроено... Кстати, пистолетов у вас нет?

— Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

— В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

— Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость...

— Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

— До приятного свидания, милостивый государь мой,— промолвил Базаров, провожая гостя.

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня,— думал он,— но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! — решил он наконец,— скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья коровка, Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру,— подумал он,— узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий

день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем,— прибавил он,— подумай, какая предстоит тебе важная роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьина огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть... Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трусил.

Раздался топот конских ног по дороге... Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал,— подумал Базаров,— да, по крайней мере, за делом, а мы?»

— Кажись, они идут-с,— шепнул вдруг Петр.

Базаров поднял голову и увидал Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставил вас ждать,— промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта.— Я не хотел будить моего камердинера.

— Ничего-с,— ответил Базаров,— мы сами только что пришли.

— А! тем лучше! — Павел Петрович оглянулся кругом.— Никого не видать, никто не помешает... Мы можем приступить?

— Приступим.

— Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вам заряжать? — спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

— Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее,— прибавил Базаров с усмешкой.— Раз, два, три...

— Евгений Васильич,— с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке),— воля ваша, я отойду.

— Четыре... пять... Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть... семь... восемь...— Базаров остановился.— Довольно? — промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу,— или еще два шага накинуть?

— Как угодно,— проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

— Ну, накинем еще два шага.— Базаров провел носком сапога черту по земле.— Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

— Я полагаю, на десять,— ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета.— Соблаговолите выбрать.

— Соблаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта.

— Вам все желательно шутить,— ответил Павел Петрович.— Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. A bon entendeur, salut! [1]

— О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить utile dulci? [2] Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

— Я буду драться серьезно,— повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

---

[1] Имеющий уши да слышит! *(франц.)* — *Ред.*

[2] полезное с приятным? *(лат.)* — *Ред.*

— Вы готовы? — спросил Павел Петрович.

— Совершенно.

— Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит,— подумал Базаров,— и как щурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов...» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновенье раздался выстрел. «Слышал, стало быть ничего»,— успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

— Вы ранены? — промолвил он.

— Вы имели право подозвать меня к барьеру,— проговорил Павел Петрович,— а это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу.

— Ну, извините, это до другого раза,— отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть.— Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

— Все это вздор... Я не нуждаюсь ни в чьей помощи,— промолвил с расстановкой Павел Петрович,— и... надо... опять...— Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

— Вот новость! Обморок! С чего бы! — невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву.— Посмотрим, что за штука? — Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны...— Кость цела,— бормотал он сквозь зубы,— пуля прошла неглубоко насквозь, один мускул, vastus externus, задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая».

— Убиты-с? — прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

— Ступай за водой поскорее, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» — шепнул Петр и начал креститься.

— Вы правы... Экая глупая физиономия! — проговорил с насильственною улыбкой раненый джентльмен.

— Да ступай же за водой, черт! — крикнул Базаров.

— Не нужно... Это был минутный vertige...[1] Помогите мне сесть... вот так... Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня — заметьте.

— О прошлом вспоминать незачем,— возразил Базаров,— а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте, я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша — не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

— Смотри, брата не испугай,— сказал ему Павел Петрович,— не вздумай ему докладывать.

Петр помчался, а пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет, по крайней мере, здесь торчать,— успокоивал он себя,— и на том спасибо». Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Друзьям это сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объясниться, ни разойтись.

— Не туго ли я завязал вам ногу? — спросил наконец Базаров.

— Нет, ничего, прекрасно,— отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил: — Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

— Очень хорошо,— промолвил Базаров.— Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов.

— И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

---

[1] головокружение... *(франц.)* — *Ред.*

— Кто ж его знает! — ответил Базаров,— всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

— А! вот вы как! — начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидел бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

— Что это значит? — проговорил он взволнованным голосом.— Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

— Ничего,— отвечал Павел Петрович,— напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился.

— Да из-за чего все вышло, ради бога?

— Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэр Роберте Пиле. Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

— Да у тебя кровь, помилуй!

— А ты полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помоги мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было назади...

— Я должен вас просить заняться братом,— сказал ему Николай Петрович,— пока нам из города привезут другого врача.

Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постеле с искусно забинтованною ногой. Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случилось

встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала.) Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а в прочем подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!» — но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил: «Скажите! это часто случается, точно».

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «Couchez-vous» [1],— и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

— А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

— С какою Нелли, Паша?

— Как это ты спрашиваешь? С княгинею Р... Особенно в верхней части лица. C'est de la même famille [2].

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло»,— подумал он.

— Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову.— Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться...— лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

— Вы пришли со мной проститься? — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

— Точно так-с.

— Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю,

---

[1] «Ложитесь» *(франц.).— Ред.*

[2] В том же роде *(франц.).— Ред.*

что вам нельзя было избегнуть этого поединка, который... который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат — человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый... Слава богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки...

— Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история,— заметил небрежно Базаров.

— Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич... Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое... такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Аркадий...

— Я, должно быть, с ним увижусь,— возразил Базаров, в котором всякого рода «объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство,— в противном случае прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

— И я прошу...— ответил с поклоном Николай Петрович. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! — сказал он про себя...— Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза?» — а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые»,— плотнее завернулся в шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, *плен* довольно терпеливо, только уж очень возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал

всех людей в доме, а ее больше всех; один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели».

Совесть почти не упрекала Фенечку, но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам; да и Павел Петрович глядел на нее так странно... так, что она, даже обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.

Однажды — дело было утром — Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал.

— Куда вы так спешите, Федосья Николаевна? — начал он.— Разве у вас дело есть?

— Нет-с... да-с... Нужно там чай разливать.

— Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами.

Фенечка молча присела на край кресла.

— Послушайте,— промолвил Павел Петрович и подергал свои усы,— я давно хотел у вас спросить: вы как будто меня боитесь?

— Я-с?..

— Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не чиста.

Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало.

— Ведь у вас совесть чиста? — спросил он ее.

— Отчего же ей не быть чистою? — шепнула она.

— Мало ли отчего! Впрочем, перед кем можете вы быть виноватою? Передо мной? Это невероятно. Перед другими лицами здесь в доме? Это тоже дело несбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите?

— Люблю.

— Всей душой, всем сердцем?

— Я Николая Петровича всем сердцем люблю.

— Право? Посмотрите-ка на меня, Фенечка (он в первый раз так назвал ее...). Вы знаете — большой грех лгать!

— Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить — да после этого мне и жить не надо!

— И ни на кого вы его не променяете?

— На кого ж могу я его променять?

— Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал.

Фенечка встала.

— Господи боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?..

— Фенечка,— промолвил печальным голосом Павел Петрович,— ведь я видел...

— Что вы видели-с?

— Да там... в беседке.

Фенечка зарделась вся до волос и до ушей.

— А чем же я тут виновата? — произнесла она с трудом.

Павел Петрович приподнялся.

— Вы не виноваты? Нет? Нисколько?

— Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду! — проговорила с внезапною силой Фенечка, между тем как рыданья так и поднимали ее горло,— а что вы видели, так я на Страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем...

Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку... Она посмотрела на него, и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего; глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке.

— Фенечка! — сказал он каким-то чудным шепотом,— любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей! Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! Не покидайте никогда моего бедного Николая!

Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что сталось с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая...

«Господи! — подумала она,— уж не припадок ли с ним?..»

А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала.

Лестница заскрипела под быстрыми шагами... Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась — и веселый, свежий, румяный появился Николай

Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.

Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица.

— Что с тобой? — промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю.— Ты не хуже себя чувствуешь? — спросил он, подходя к Павлу Петровичу.

Тот уткнул лицо в батистовый платок.

— Нет... так... ничего... Напротив, мне гораздо лучше.

— Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда? — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке; но та уже захлопнула за собою дверь.— Я было принес показать тебе моего богатыря, он соскучился по своем дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?

— Брат! — торжественно проговорил Павел Петрович.

Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал почему.

— Брат,— повторил Павел Петрович,— дай мне слово исполнить одну мою просьбу.

— Какую просьбу? Говори.

— Она очень важна; от нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе... Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей!

— Что ты хочешь сказать, Павел?

— Женись на Фенечке... Она тебя любит, она — мать твоего сына.

Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.

— Ты это говоришь, Павел? ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков! Ты это говоришь! Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом!

— Напрасно ж ты уважал меня в этом случае,— возразил с унылою улыбкою Павел Петрович.— Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы люди уже

старые и смирные; пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.

Николай Петрович бросился обнимать своего брата.

— Ты мне окончательно открыл глаза! — воскликнул он.— Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный.

— Тише, тише,— перебил его Павел Петрович.— Не разверзди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли, как прапорщик. Итак, это дело решенное: Фенечка будет моею... belle-soeur [1].

— Дорогой мой Павел! Но что скажет Аркадий?

— Аркадий? Он восторжествует, помилуй! Брак не в его принсипах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты au dix-neuvième siècle? [2]

— Ах, Павел, Павел! дай мне еще раз тебя поцеловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

— Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же? — спросил Павел Петрович.

— К чему спешить? — возразил Николай Петрович.— Разве у вас был разговор?

— Разговор у нас? Quelle idée! [3]

— Ну и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это от нас не уйдет, надо подумать хорошенько, сообразить...

— Но ведь ты решился?

— Конечно, решился и благодарю тебя от души. Я теперь тебя оставлю, тебе надо отдохнуть; всякое волнение тебе вредно... Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай бог тебе здоровья!

«За что он меня так благодарит? — подумал Павел Петрович, оставшись один.— Как будто это не от него зависело! А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и буду там жить, пока околею».

Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец.

---

[1] свояченицей *(франц.).— Ред.*
[2] в девятнадцатом веке *(франц.).— Ред.*
[3] Что за мысль! *(франц.) — Ред.*

XXV

В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием; на земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет «русачьей полежкой». И Аркадий и Катя молчали; он держал в руках полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые, с свойственной им трусливою дерзостью, прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке, и по желтой спине Фифи, бледно-золотые пятна света; ровная тень обливала Аркадия и Катю; только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба; но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение; каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз: Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее, смелей.

— Не находите ли вы,— начал Аркадий — что *ясень* по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и *ясно* не сквозит на воздухе, как он.

Катя подняла глаза кверху и промолвила: «Да», а Аркадий подумал: «Вот эта не упрекает меня за то, что я *красиво* выражаюсь».

— Я не люблю Гейне,— заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках,— ни когда он смеется, ни когда он плачет; я его люблю, когда он задумчив и грустит.

— А мне нравится, когда он смеется,— заметил Аркадий.

— Это в вас еще старые следы вашего сатирического направления... («Старые следы! — подумал Аркадий.— Если б Базаров это слышал!») Погодите, мы вас переделаем.

— Кто меня переделает? Вы?

— Кто? — Сестра; Порфирий Платонович, с которым вы уже не ссоритесь; тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь.

— Не мог же я отказаться! А что касается до Анны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением.

— Сестра находилась тогда под его влиянием, так же как и вы.

— Как и я! Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?

Катя промолчала.

— Я знаю,— продолжал Аркадий,— он вам никогда не нравился.

— Я не могу судить о нем.

— Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю... Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить! Это просто отговорка.

— Ну, так я вам скажу, что он... не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой.

— Это почему?

— Как вам сказать... Он хищный, а мы с вами ручные.

— И я ручной?

Катя кивнула головой.

Аркадий почесал у себя за ухом.

— Послушайте, Катерина Сергеевна: ведь это, в сущности, обидно.

— Разве вы хотели бы быть хищным?

— Хищным нет, но сильным, энергическим.

— Этого нельзя хотеть... Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть.

— Гм! Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?

— Да. Но над ней никто долго взять верх не может,— прибавила Катя вполголоса.

— Почему вы это думаете?

— Она очень горда... я не то хотела сказать... она очень дорожит своею независимостью.

— Кто же ею не дорожит? — спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло: «На что она?» — «На что она?» — мелькнуло и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.

Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шепотом:

— Сознайтесь, что вы немножко *ее* боитесь.

— Кого?

— *Ее*,— значительно повторил Аркадий.

— А вы? — в свою очередь спросила Катя.

— И я; заметьте, я сказал: *и* я.

Катя погрозила ему пальцем.

— Это меня удивляет,— начала она,— никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь, гораздо больше, чем в первый ваш приезд.

— Вот как!

— А вы этого не заметили? Вас это не радует?

Аркадий задумался.

— Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки?

— И этим, и другие есть причины, которых я не скажу.

— Это почему?

— Не скажу.

— О! я знаю: вы очень упрямы.

— Упряма.

— И наблюдательны.

Катя посмотрела сбоку на Аркадия.

— Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?

— Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы; всех чуждаетесь...

— Я много жила одна: поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь?

Аркадий бросил признательный взгляд на Катю.

— Все это прекрасно,— продолжал он,— но люди в вашем положении, я хочу сказать с вашим состоянием, редко владеют этим даром; до них, как до царей, истине трудно дойти.

— Да ведь я не богатая.

Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле, имение-то все сестрино!» — пришло ему в голову; эта мысль ему не была неприятна.

— Как вы это хорошо сказали! — промолвил он.

— А что?

— Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие.

— Я ничего этого не испытала по милости сестры; я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось.

— Так; но сознайтесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил.

— Например?

— Например, ведь вы,— извините мой вопрос,— вы бы не пошли замуж за богатого человека?

— Если б я его очень любила... Нет, кажется, и тогда бы не пошла.

— А! вот видите! — воскликнул Аркадий и, погодя немного, прибавил: — А отчего бы вы за него не пошли?

— Оттого, что и в песне про неровнюшку поется.

— Вы, может быть, хотите властвовать или...

— О нет! к чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться — это я понимаю; это счастье; но подчиненное существование... Нет, довольно и так.

— Довольно и так,— повторил за Катей Аркадий.— Да, да,— продолжал он,— вы недаром одной крови с Анно́й Сергеевной; вы так же самостоятельны, как она; но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первая не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято...

— Да как же иначе? — спросила Катя.

— Вы одинаково умны; у вас столько же, если не больше, характера, как у ней...

— Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста,— поспешно перебила Катя,— это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и... вам в особенности, Аркадий Николаич, не следовало бы говорить такие слова, и еще с таким серьезным лицом.

— Что значит это: вам в особенности,— и из чего вы заключаете, что я шучу?

— Конечно, вы шутите.

— Вы думаете? А что, если я убежден в том, что я говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?

— Я вас не понимаю.

— В самом деле? Ну, теперь я вижу: я точно слишком превозносил вашу наблюдательность.

— Как?

Аркадий ничего не ответил и отвернулся, а Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям; но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевши клюнуть.

— Катерина Сергеевна! — заговорил вдруг Аркадий,— вам это, вероятно, все равно: но знайте, что я вас не только на вашу сестру,— ни на кого в свете не променяю.

Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка.

А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.

— Ты одна? — раздался возле нее голос Анны Сергеевны.— Кажется, ты пошла в сад с Аркадием.

Катя не спеша перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи) и не спеша промолвила:

— Я одна.

— Я это вижу,— отвечала та со смехом,— он, стало быть, ушел к себе?

— Да.

— Вы вместе читали?

— Да.

Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо.

— Вы не поссорились, надеюсь?

— Нет,— сказала Катя и тихо отвела сестрину руку.

— Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их: я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты не довольно этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки! И руки твои хороши... только велики; так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.

Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем; Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою Гейне, ушла тоже — только не примерять ботинки.

«Прелестные ножки,— думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы,— прелестные ножки, говорите вы... Ну, он и будет у них».

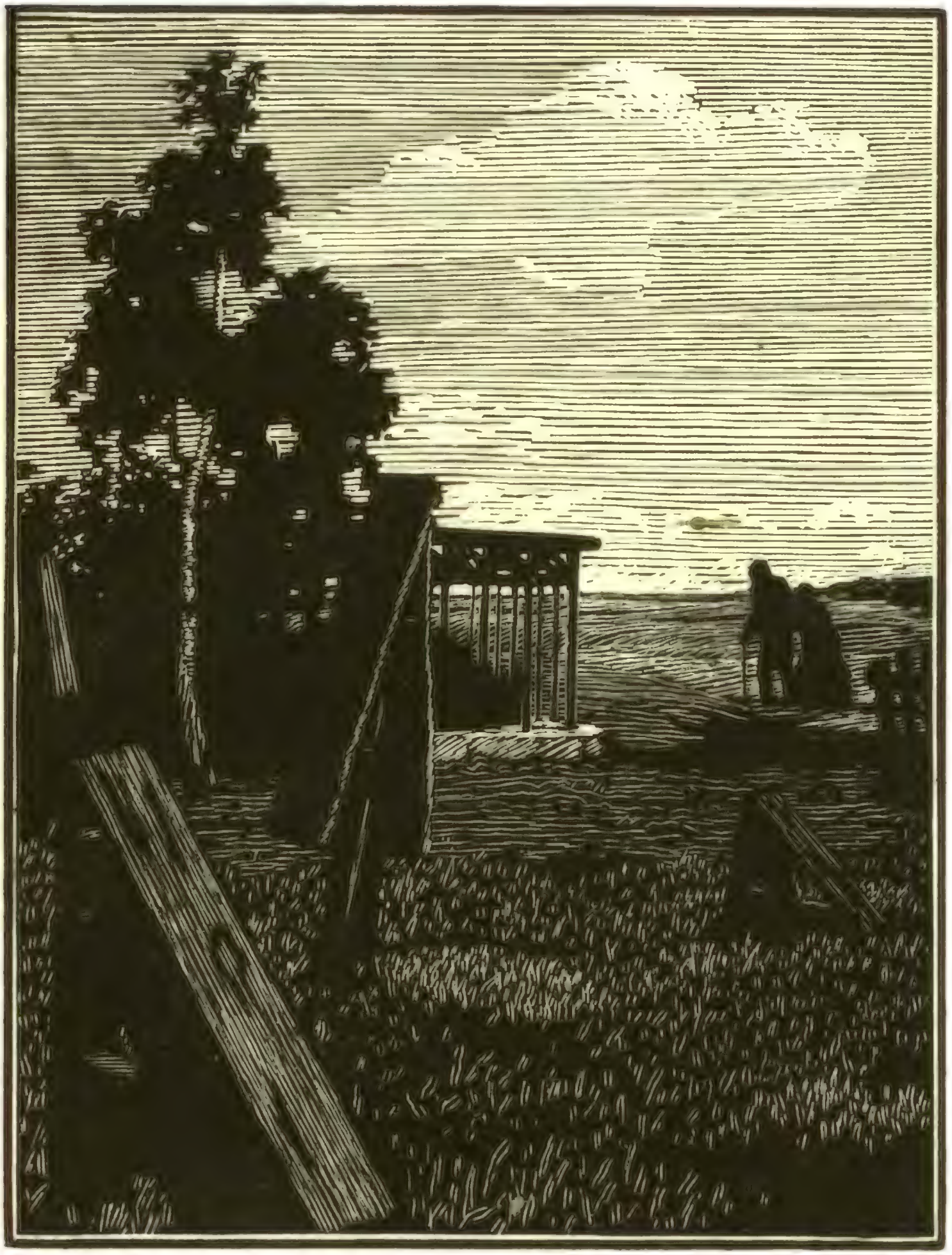
Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.

Аркадий пошел по коридору к себе в комнату; дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров.

— Евгений! — пробормотал почти с испугом Аркадий,— давно ли он приехал?

— Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести.

«Уж не несчастье ли какое у нас дома?» — подумал Арка-



«Отцы и дети».

дий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльною шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице; он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею.

— Вот неожиданно! Какими судьбами! — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что он радуется.— Ведь у нас все в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?

— Все у вас благополучно, но не все здоровы,— проговорил Базаров.— А ты не тараторь, вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях.

Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился; но не почел нужным это выказать; он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди? и, получив ответ, что она — самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.

— Да, брат,— промолвил он,— вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к «отцам»,— так заключил Базаров,— и на дороге завернул сюда... чтобы все это передать, сказал бы я, если б я не почитал бесполезную ложь — глупостью. Нет, я завернул сюда — черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды; это я совершил на днях... Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту гряду, где я сидел.

— Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся,— возразил с волнением Аркадий,— я надеюсь, что ты не думаешь расстаться *со мной*.

Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него.

— Будто это так огорчит тебя? Мне сдается, что *ты* уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький... должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично.

— Какие мои дела с Анной Сергеевной?

— Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик? Кстати, как там подвизаются воскресные школы?

Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать?

— Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою; могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься.

— Гм! Новое слово,— заметил вполголоса Базаров.— Но тебе не для чего горячиться, мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы: я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись.

— Евгений...

— Душа моя, это не беда; то ли еще на свете приедается! А теперь, я думаю, не проститься ли нам? С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей.

— Помилуй, это невозможно!

— А почему?

— Я уже не говорю о себе; но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть.

— Ну, в этом ты ошибаешься.

— А я, напротив, уверен, что я прав,— возразил Аркадий.— И к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал?

— Это, может быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.

Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней: оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою.

Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение.

— Анна Сергеевна,— поторопился сказать Базаров,— прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением.

Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой.

Она вторично протянула Базарову руку и отвечала на его пожатие.

— Кто старое помянет, тому глаз вон,— сказала она,— тем более что, говоря по совести, и я согрешила тогда если не кокетством, так чем-то другим. Одно слово: будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?

— Кто их помнит? Да притом любовь... ведь это чувство напускное.

— В самом деле? Мне очень приятно это слышать.

Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу.

Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых? Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он все это время работал.

— А я,— промолвила Анна Сергеевна,— сперва хандрила, бог знает отчего, даже за границу собиралась, вообразите!.. Потом это прошло; ваш приятель, Аркадий Николаич, приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль.

— В какую это роль, позвольте узнать?

— Роль тетки, наставницы, матери, как хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаичем; я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен... А главное, он молод, молод... не то, что мы с вами, Евгений Васильич.

— Он все так же робеет в вашем присутствии? — спросил Базаров.

— А разве...— начала было Анна Сергеевна и, подумав немного, прибавила: — Теперь он доверчивее стал, говорит со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей.

Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить!» — подумал он.

— Вы говорите, он избегал вас,— произнес он с холодною усмешкой,— но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен?

— Как? и он? — сорвалось у Анны Сергеевны.

— И он,— повторил Базаров с смиренным поклоном.— Неужели вы этого не знали и я вам сказал новость?

Анна Сергеевна опустила глаза.

— Вы ошибаетесь, Евгений Васильич.

— Не думаю. Но, может быть, мне не следовало упоминать об этом.— «А ты вперед не хитри»,— прибавил он про себя.

— Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению.

— Не будемте лучше говорить об этом, Анна Сергеевна.

— Отчего же? — возразила она, а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала, и сама себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно, ни дать ни взять, как на твердой земле; но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности.

Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеянно и предложила ему наконец перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаич?» — спросила хозяйка и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли: он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел, погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало; напротив, лицо его тихо светлело; казалось, он и дивился чему-то, и радовался, и решался на что-то.

XXVI

Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал «некоторую игру облагороженного вкуса» и вследствие этого воздвигнул у себя в саду, между теплицей и прудом, строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней, глухой стене этого портика, или галереи, были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы.

Эти статуи долженствовали изображать собою: Уединение, Молчание, Размышление, Меланхолию, Стыдливость и Чувствительность. Одну из них, богиню Молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили; но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос «вдвое лучше прежнего», однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником: одни капители колонн виднелись над сплошною зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидала там ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одною из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас самих.

На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в «портик».

До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение, Катя имела вид озабоченный. Сестра ее, тотчас после чаю, позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе; да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз.

— Катерина Сергеевна,— заговорил он с какою-то застенчивою развязностью,— с тех пор как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня... вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали,— прибавил он, и ловя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати.— Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого,— вы, которой я, в сущности, и обязан этою переменой.

— Я?.. Мне?..— проговорила Катя.

— Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал,— продолжал Аркадий,— недаром же мне и минул двадцать третий год; я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине; но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде; они представляются мне... гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам... Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству... Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете...

Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия.

— Я полагаю,— заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку,— я полагаю, что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми... с теми людьми, которые... словом, с близкими ему людьми, а потому я... я намерен...

Но тут красноречие изменило Аркадию; он сбился, замялся и принужден был немного помолчать; Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это все ведет, и ждала чего-то.

— Я предвижу, что удивлю вас,— начал Аркадий, снова собравшись с силами,— тем более что это чувство относится некоторым образом... некоторым образом, заметьте,— до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности,— продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед, в надежде поскорее перебраться,— этот упрек часто направляется... падает... на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать; и если бы во мне было больше самоуверенности... («Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы.) Если б я мог надеяться...

— Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите,— раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны.

Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком.

— Вот видите ли,— продолжала Анна Сергеевна,— мы с вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба,— к чему церемониться? — умны:

сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено... а потом...

— А потом я выдохся,— подхватил Базаров.

— Вы знаете, что не это было причиною нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное; в нас слишком много было... как бы это сказать... однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив, Аркадий...

— Вы в нем нуждаетесь? — спросил Базаров.

— Полноте, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетки, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть...

— Слово *обаяние* употребительнее в подобных случаях,— перебил Базаров; кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе.— Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре... Это симптом важный.

— Он с Катей совсем как брат,— промолвила Анна Сергеевна,— и это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними.

— Это в вас говорит... сестра? — произнес протяжно Базаров.

— Разумеется... Но что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь... и в то же время я вам доверяю, потому что, в сущности, вы очень добры.

— Во-первых, я вовсе не добр; а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр... Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца.

— Евгений Васильич, мы не властны...— начала было Анна Сергеевна; но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова.

— Ведь вы свободны,— произнес немного погодя Базаров.

Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились... все затихло.

Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову.

— Катерина Сергеевна,— проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки,— я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мне-

ние и просить вашей руки, потому что я и не богат и чувствую, что готов на все жертвы... Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни! Неужели вы давно не убедились, что все другое — поймите меня,— все, все другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово... Я люблю... я люблю вас... поверьте же мне!

Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и, после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:

— Да.

Аркадий вскочил со скамьи.

— Да! Вы сказали: да, Катерина Сергеевна! Что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите... Или... или... я не смею докончить...

— Да,— повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие, прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя...», а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.

На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия: он в нем просил руки ее сестры.

Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди.

— Вот как,— проговорил он,— а вы, кажется, не далее как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскою любовью. Что же вы намерены теперь сделать?

— Что *вы* мне посоветуете? — спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться.

— Да я полагаю,— ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же как и ей,— я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая; состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец добрый малый, прекословить не будет.

Одинцова прошлась по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело.

— Вы думаете? — промолвила она.— Что ж? я не вижу препятствий... Я рада за Катю... и за Аркадия Николаича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Но вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди... Как это я ничего не видала? Это меня удивляет!

Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отворотилась.

— Нынешняя молодежь больно хитра стала,— заметил Базаров и тоже засмеялся.— Прощайте,— заговорил он опять после небольшого молчания.— Желаю вам окончить это дело самым приятным образом; а я издали порадуюсь.

Одинцова быстро повернулась к нему.

— Разве вы уезжаете? Отчего же вам *теперь* не остаться? Останьтесь... с вами говорить весело....точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

— Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» — подумала она — и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

— Нет! — сказал он и отступил на шаг назад.— Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

— Я убеждена, что мы не в последний раз видимся,— произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

— Чего на свете не бывает! — ответил Базаров, поклонился и вышел.

— Так ты задумал гнездо себе свить? — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан.— Что ж? дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорошило?

— Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою,— ответил Аркадий,— но зачем ты сам лукавишь и говоришь: «дело хорошее», точно мне неизвестно твое мнение о браке?

— Эх, друг любезный! — проговорил Базаров,— как ты выражаешься! Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только от того и слывет умною, что умно вздыхает, а твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет,— ну, да это так и следует.— Он захлопнул крышку и приподнялся с полу.— А теперь повторяю тебе на прощанье... потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь... ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь — и уж воображаете себя молодцами,— а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собою, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно — нам других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич — *э волату,* как выражается мой родитель.

— Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений? — печально промолвил Аркадий,— и у тебя нет других слов для меня?

Базаров почесал у себя в затылке.

— Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому это что романтизм,— это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! я вижу, лошади готовы. Пора. Со всеми я простился... Ну что ж? обняться, что ли?

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

— Что значит молодость! — произнес спокойно Базаров.— Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит!

— Прощай, брат! — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: — Вот тебе! изучай!

— Это что значит? — спросил Аркадий.

— Как? Разве ты так плох в естественной истории или

забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилась.

Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино, к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоявшем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастия не показалось ей самой немного тягостным; но вышло совершенно напротив: это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась и опечалилась. «Видно, прав Базаров,— подумала она,— любопытство, одно любопытство, и любовь к покою, и эгоизм...»

— Дети! — промолвила она громко,— что, любовь чувство напускное?

Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились; невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их; и это было ей не трудно: она успокоилась сама.

XXVII

Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с «куропатицей»: куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума.

— Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина,— сказал ему Базаров,— я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне.

— Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду! — отвечал Василий Иванович.

Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удер-

живал от всяких лишних изъявлений нежности. «Мы, матушка моя,— говорил он ей,— в первый приезд Енюшки ему надоедали маленько: теперь надо быть умней». Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька! — бывало, скажет она,— а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет: — Ничего, ничего, я так»,— а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать: чего Енюша желает сегодня к обеду, щей или борщу?» — «Да что ж ты у него сама не спросила?» — «А надоем!» Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться: лихорадка работы с него *соскочила* и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Енюша меня сокрушает,— жаловался он втихомолку жене,— он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен — вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший».— «Господи, господи! — шептала старушка,— надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии... Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней».— «Ну, ну, ну, я ничего!» — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды, по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни, горланят: *Время верное приходит, сердце чувствует любовь...* Вот тебе и прогресс».

Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну,— говорил он ему,— излагай мне свои воззрения на

жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории,— вы нам дадите и язык настоящий, и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим... тоже, потому, значит... какой положóн у нас, примерно, придел».— «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? — перебивал его Базаров,— и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»

— Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах,— успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик,— а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику.

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.

— О чем толковал? — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым.— О недоимке, что ль?

— Какое о недоимке, братец ты мой! — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость,— так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?

— Где понять! — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...

Впрочем, он нашел наконец себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец.

Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, все твердил: «Ну, это дело девятое!» — потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава богу! перестал хандрить! — шептал он своей супруге.— Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да, да,— говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стклянку Гулярдовой воды или банку беленной мази,— ты, голубушка, должна ежеминутно бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значения этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела), только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца.

Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и, хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял:

— Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся... Мне кажется, дуб, и тот бы вылетел вон!..

— Похвально! — промолвил наконец отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.

Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал; темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление в том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?

— Есть; на что тебе?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, зна-

ешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

— Ради самого бога,— промолвил Василий Иванович,— позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

— Экой ты охотник до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не велика. Не больно?

— Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

— Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

— Как... поздно...— едва мог произнести Василий Иванович.

— Еще бы! с тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович еще немного прижег ранку.

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

— Не было.

— Как же это, боже мой! Врач — и не имеет такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрел на его ланцеты,— промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился... но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

— Отчего ты не ешь, Евгений? — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение.— Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, так и не ем.

— У тебя аппетиту нету? А голова? — прибавил он робким голосом,— болит?

— Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

— Не рассердись, пожалуйста, Евгений,— продолжал Василий Иванович,— но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

— Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар.

— И озноб был?

— Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял,— промолвила Арина Власьевна.

— Простудился,— повторил Базаров и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовлением чаю из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Енюша», и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше»,— и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему

с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она наконец схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предуведомить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться.

Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

— Старина,— начал Базаров сиплым и медленным голосом,— дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

— Евгений! — пролепетал он,— что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился...

— Полно,— не спеша перебил его Базаров.— Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

— Где же признаки... заражения, Евгений?.. помилуй!

— А это что? — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим,— сказал он наконец,— положим... если... если даже что-нибудь вроде... заражения...

— Пиэмии,— подсказал сын.

— Ну да... вроде... эпидемии...

— *Пиэмии,*— сурово и отчетливо повторил Базаров.— Аль уж позабыл свои тетрадки?

— Ну да, да, как тебе угодно... А все-таки мы тебя вылечим!

— Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу.— Он отпил еще немного воды.— А я хочу попросить

тебя об одной вещи... пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

— Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует.

— Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором... Этим ты себя потешил... потешь и меня: пошли ты нарочного...

— К Аркадию Николаичу,— подхватил старик.

— Кто такой Аркадий Николаич? — проговорил Базаров как бы в раздумье.— Ах да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица... Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

— Исполню... Только возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений... Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

— Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

— Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

— Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно... и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.

— Молись, Арина, молись! — простонал он,— наш сын умирает.

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.

— А вам случалось видеть, что люди в моем положении *не* отправляются в Елисейские? — спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

— Сила-то, сила,— промолвил он,— вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя

отрицает, и баста! Кто там плачет? — прибавил он, погодя немного.— Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иваныч, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли? Ведь ты хвастался, что ты философ?

— Какой я философ! — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить,— шептал он, сжимая кулаки,— что за вздор!» И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?» Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое, и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни... рвотное... горчишники к желудку... кровопускание»,— говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.

Ночь была не хороша для Базарова... Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

— Слава богу! — твердил он,— наступил кризис... прошел кризис.

— Эка, подумаешь! — промолвил Базаров,— слово-то что значит! Нашел его, сказал: «кризис» — и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут — он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.

— Браво! прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.

Базаров печально усмехнулся.

— Так как же, по-твоему,— промолвил он,— кризис прошел или наступил?

— Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует,— отвечал Василий Иванович.

— Ну и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

— Послал, как же.

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить — и не мог.

— Евгений! — произнес он наконец,— сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова... Он повернул немного голову и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:

— Что, мой отец?

— Евгений,— продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть.— Евгений, тебе теперь лучше; ты, бог даст, выздоровеешь, но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить,— промолвил он наконец,— но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это все в божьей воле, а исполнивши долг...

— Нет, я подожду,— перебил Базаров.— Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают.

— Помилуй, Евгений...

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место.

Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы...

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса; вот уже послышалось фыр-

канье лошадей... Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двуместная карета. Не отдавая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо... Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее...

— Я Одинцова,— промолвила она.— Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.

— Благодетельница! — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкого физиономией, вылезал, не торопясь, из кареты.— Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! Жена! жена!.. К нам ангел с неба...

— Что такое, господи! — пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала как безумная целовать ее платье.

— Что вы! что вы! — твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»

— Wo ist der Kranke? [1] И где же есть пациент? — проговорил наконец доктор, не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился.

— Здесь, здесь, пожалуйте за мной, *вертестер герр коллега* [2],— прибавил он по старой памяти.

— Э! — произнес немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привел его в кабинет.

— Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой,— сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына,— и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза.

— Что ты сказал?

— Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повел вокруг себя глазами.

— Она здесь... я хочу ее видеть.

— Ты ее увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болез-

---

[1] Где больной? *(нем.)* — *Ред.*

[2] уважаемый коллега (от *нем.* wertester Herr Collega).— *Ред.*

ни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.

Базаров взглянул на немца.

— Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: jam moritur [1].

— Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein [2],— начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

— *Их... габе...* [3] — Говорите уж лучше по-русски,— промолвил старик.

— А, а! *так этто фот как этто...* Пошалуй...

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила — мгновенно сверкнула у ней в голове.

— Спасибо,— усиленно заговорил он,— я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

— Анна Сергеевна так была добра...— начал Василий Иванович.

— Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело.

Василий Иванович вышел.

— Ну, спасибо,— повторил Базаров.— Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.

— Евгений Васильич, я надеюсь...

— Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и *фюить!* (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я

---

[1] уже умирает *(лат.).— Ред.*

[2] Сударь, по-видимому, владеет немецким языком *(нем.).— Ред.*

[3] Я... имею... (от *нем.* Ich habe).— *Ред.*

лучше, что — какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая...

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь... сядьте там... Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

— Великодушная! — шепнул он.— Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Все равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша.

— Меня вы забудете,— начал он опять,— мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет... Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось... вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать... Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник... мясо продает... мясник... постойте, я путаюсь... Тут есть лес...

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему.

— Евгений Васильич, я здесь...

Он разом принял руку и приподнялся.

— Прощайте,— проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском.— Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...

Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу.

— И довольно! — промолвил он и опустился на подушку.— Теперь... темнота...

Анна Сергеевна тихо вышла.

— Что? — спросил ее шепотом Василий Иванович.

— Он заснул,— отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер.

Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же наконец он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу,— хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то,— и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так,— рассказывала потом в людской Анфисушка,— рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...»

Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым...

XXVIII

Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах марьинского дома зажигались огни; Прокофьич, в черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностию накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых.

Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой; «мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошели и возму-

жали; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и *грансеньйорства* его выразительным чертам... Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна — другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностию, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу.

— Ты нас покидаешь... ты нас покидаешь, милый брат,— начал он,— конечно, ненадолго; но все же я не могу не выразить тебе, что я... что мы... сколь я... сколь мы... Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи! Аркадий, скажи ты.

— Нет, папаша, я не приготовлялся.

— А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего, и вернись к нам поскорее!

Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити; у Фенечки он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом: «Будьте счастливы, друзья мои! Farewell!» [1] Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты.

— В память Базарова,— шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост.

Казалось бы, конец? Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его.

Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова,— человека еще

---

[1] Прощайте! *(англ.) — Ред.*

молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви. Княжна Х.....я умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку; произносит длинные речи (он придерживается того мнения, что мужичков надо «вразумлять», то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы) и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о *ман*ципации (произнося *ан* в нос), ни необразованных дворян, бесцеремонно бранящих «евту *мун*ципацию». И для тех и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем кстати о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все *е* как *ю*: *тюпюрь, обюспючюн,* но тоже женился и взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы — у него были лаковые полусапожки.

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена, *«a perfect gentleman»*. С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними; но все это выходит у него очень мило, и небрежно, и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в высшем свете это считается *très distin-*

gué [1]. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Колязин, находящийся *во временной оппозиции*, величаво посетил его, проезжая на богемские воды; а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и т. д. никто не может так легко и скоро, как *der Herr Baron von Kirsanoff* [2]. Он все делает добро, сколько может; он все еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает... Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься...

И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает «дело» Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его — трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком... и литератором.

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не

---

[1] весьма почтенным *(франц.).— Ред.*
[2] господин барон фон Кирсанов *(нем.).— Ред.*

топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка — муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...

ПРИМЕЧАНИЯ

«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

Биография «Записок охотника» началась с первого номера некрасовского «Современника» за 1847 г., где в отделе «Смесь» был напечатан небольшой рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч», явившийся прологом великой книги писателя. Обстоятельства (на первый взгляд вполне прозаические) появления этого рассказа, сыгравшего столь важную роль в творческой судьбе Тургенева, описаны им в его «Литературных и житейских воспоминаниях»: «Только вследствие просьб И. И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел «Смеси» в 1-м нумере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника» были придуманы и прибавлены тем же И. И. Панаевым с целью расположить читателя к снисхождению.)» (Сочинения, XIV, 52).

Возможно, что слова: «Из записок охотника» — были сознательно прибавлены Панаевым с целью привлечь читателя к весьма популярному в 30—40-е годы прошлого века своеобразному жанру охотничьих рассказов, особенное развитие получившему в Англии и «обошедшему... другие европейские литературы», в том числе и русскую (М. П. Алексеев, Заглавие «Записки охотника».— «Тургеневский сборник», вып. V, изд. «Наука», Л. 1969, стр. 217). Судя по этому невинному заглавию, Панаев вряд ли мог предполагать, чем станет впоследствии рассказ из «Смеси» для Тургенева и всей русской литературы.

Но, как всегда, пророческим оказалось впечатление Белинского. «Вы и сами не знаете, что такое «Хорь и Калиныч»,— писал критик Тургеневу.— Судя по «Хорю», Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий род...» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 336). И хотя сам Тургенев утверждал, что успех «Хоря и Калиныча» «побудил... написать другие», создание всего цикла совсем не было случайностью, так сказать, счастливой неожиданностью,

а, наоборот, явилось закономерностью, творческой и нравственной необходимостью. Весь предшествующий путь молодого Тургенева, воспитанника Московского университета, близкого в 40-е годы передовым и талантливым людям России — Белинскому, Грановскому, Станкевичу, Герцену и Огареву, старому декабристу Н. И. Тургеневу,— неотвратимо подводил писателя к созданию большого антикрепостнического произведения, эпического полотна, своего рода «русской Илиады».

В 1846 г. еще до появления первого рассказа о русском крестьянине, Тургенев выступил в качестве негласного сотрудника французского журнала «Revue Independant», органа утопических социалистов. Как теперь стало известным, основная часть статьи «Об освобождении крепостных в России», напечатанной в журнале за подписью Луи Виардо, одного из прогрессивных деятелей Франции, принадлежала Тургеневу и представляла собой переработанный и значительно более острый вариант его раннего политико-экономического исследования 1842 г. «Несколько замечаний о русском хозяйстве и русском крестьянине». В редакции 1846 г. Тургенев в самой категорической форме говорит о необходимости немедленного освобождения крестьян от крепостной зависимости. Тургенев, по словам Виардо, «стал, вопреки интересам своего класса, вопреки собственным интересам, таким смелым и открытым сторонником освобождения крепостных, словно сам родился в этом бедственном состоянии и требовал свободы для себя во имя страждущего человечества и попранной справедливости» («Тург. сб.», вып. IV, Л. 1968, стр. 108).

Для истории возникновения цикла безусловный интерес представляет рассказ «О происхождении «Записок охотника», приведенный в воспоминаниях современницы Тургенева, М. П. С — ой со слов писателя. Речь идет о трагической гибели на охоте поздней осенью 1846 г. любимого доезжачего Тургенева, который на всем скаку вместе с лошадью провалился в глубокую яму-западню и был затоптан. Случай этот, усугубивший и без того обостренное чувство невольной вины, причастности к злу русской жизни, по убеждению мемуаристки, в какой-то мере повлиял *«демократически* на литературное направление Тургенева в «Записках охотника». «Иван Сергеевич несколько раз принимался описать гибель своего любимого доезжего,— рассказывает мемуаристка,— но у него никогда не хватало твердости довести до конца этот очерк: как только он начинал вспоминать обо всех подробностях этого трагического случая, он испытывал такое сильное душевное волнение, такую сердечную тоску, такое умственное смятение, что его силы слабели и перо вываливалось из его рук... Тем не менее те идеи, те чувства, которые Тургенев никогда не мог изложить в рассказе о смерти Игнатия, он блестяще и могуче разлил по другим своим произведениям, собранным

в знаменитых «Записках охотника», этом вечном памятнике русского литературного гения» (Сочинения, IV, 485—486).

Успех «Хоря и Калиныча», естественно, окрылил Тургенева, давно захваченного идеей борьбы с крепостничеством. Вне всякого сомнения, что Тургенев передал в «Современник» рассказ, написанный до случайно возникшего предложения Панаева.

Один за другим печатаются рассказы Тургенева в «Современнике». В течение только 1847 г. появилось восемь рассказов: «Хорь и Калиныч» (№ 1), «Петр Петрович Каратаев» (№ 2), «Ермолай и мельничиха», «Мой сосед Радилов», «Однодворец Овсяников», «Льгов» (№ 5), «Бурмистр», «Контора» (№ 10); в 1848 г. были опубликованы: «Малиновая вода», «Уездный лекарь», «Бирюк», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и ее племянник», «Смерть» (№ 2); в 1849 г. публикуются: «Гамлет Щигровского уезда», «Чертопханов и Недопюскин», «Лес и степь» (№ 2); в 1850 г. — «Певцы» и «Свидание» (№ 11); в 1851 г.— «Бежин луг» (№ 2) и «Касьян с Красивой Мечи» (№ 3) — последний рассказ из «Записок охотника», опубликованный на страницах «Современника». Примечательно, что второй рассказ цикла, «Петр Петрович Каратаев», был напечатан без подзаголовка «Из записок охотника», и только начиная с третьего, «Ермолай и мельничиха»,— этот подзаголовок, ставший затем названием всей книги, окончательно укрепился.

Почти все рассказы были написаны Тургеневым в отдалении от России, за границей, куда он уехал во второй половине января 1847 г., то есть сразу же после появления в «Современнике» «Хоря и Калиныча». Отъезд на столь длительное время (писатель вернулся на родину лишь в 1850 г.) был вызван не только обстоятельствами личной жизни Тургенева — любовью к великой певице и актрисе Полине Виардо, но прежде всего соображениями гражданского и творческого характера: «Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него... враг этот был крепостное право»,— так писал Тургенев в своих «Литературных и житейских воспоминаниях».

История создания «Записок охотника» нерасторжимо связана с именем Белинского. Самые социально-острые антикрепостнические рассказы из «Записок охотника» — «Бурмистр», «Контора», «Два помещика» — создавались летом 1847 г. в маленьком курортном городке Зальцбрунне, где Тургенев жил вместе с тяжело больным Белинским. Символично, что рассказ «Бурмистр» помечен знаменательной для Тургенева датой: «Зальцбрунн в Силезии, июль 1847 г.». Этим же месяцем помечено и знаменитое «Письмо» Белинского к Гоголю, о котором Тургенев, по словам современников, говорил: «Белинский и его письмо, это — вся моя религия» («Дневник В. С. Аксаковой», СПб. 1913, стр. 42).

Уже в июне 1847 г. Тургенев задумал объединить рассказы из «Записок охотника» в отдельную книгу. А несколько позже, в октябре 1847 г., Некрасов сообщал писателю о своей идее издания серии «Библиотека русских романов, повестей, записок и путешествий». По мысли Некрасова, серия должна была открываться романом Герцена «Кто виноват?», во втором томе предполагалось напечатать «Обыкновенную историю» Гончарова, а третий том составили бы рассказы Тургенева. Замысел этот не осуществился. После революционных событий 1848 г. в Западной Европе, и прежде всего во Франции, русская цензура стала крайне осторожной и придирчивой, и это незамедлительно сказалось на тургеневских рассказах из «Записок охотника». Особенно «пощипала» цензура «Гамлета Щигровского уезда» (1849), изъяв из текста целые страницы.

Возможно, что цензурные мытарства заставили Тургенева в ту пору отказаться не только от издания отдельной книги, но и предупредить читателя в обращенных к нему словах из очерка «Лес и степь» о своем намерении завершить на этом публикацию «Записок охотника» в «Современнике». Но с большей уверенностью можно предположить другое: слова о прекращении «Записок охотника» связаны с тем, что сам очерк был задуман как своеобразный эпилог цикла и во всех «программах», составлявшихся Тургеневым на протяжении трех лет (1847—1850), обозначался в конце. Это предположение тем более вероятно, что публикация в «Современнике» рассказов из «Записок охотника» продолжалась и после очерка «Лес и степь», вплоть до 1851 г.

Мысль об отдельном издании «Записок охотника» не оставляла Тургенева. Писатель долго и упорно работал над его «проспектом», о чем красноречиво говорят многочисленные программы. Последняя, десятая программа была набросана в августе — сентябре 1850 г. на полях чернового автографа рассказа «Притынный кабачок» («Певцы»).

После публикации в «Современнике» рассказов «Свидание» и «Певцы» Тургенев писал Полине Виардо в ноябре 1850 г.: «Я не оставляю мысли собрать все эти рассказы и издать их в Москве». В этом же письме он говорил и о своем желании посвятить ей свою будущую книгу («Письма», I, 409). Интересно, что в цензурной рукописи сохранился титульный лист с зашифрованным посвящением (три звездочки), но в печати оно не появилось.

Политическое досье Тургенева к началу 50-х годов все больше убеждало правительство в сомнительной благонадежности писателя — автора безусловно оппозиционных антикрепостнических рассказов. Кроме того, Тургенев, встречавшийся за границей с Герценом, Огаревым, Бакуниным, Н. И. Тургеневым и бывший очевидцем революционных событий в Париже, вызывал явные подозрения властей. «Когда Тургенев в 1850 году вернулся в Петербург, его предостерегали, но он не хотел

обращать на это внимание»,— вспоминал один из современников писателя, немецкий критик Карл Глюмер («Тург. сб.», вып. V, стр. 362).

Но Тургенев, понимая, что на него «давно смотрят косо», продолжал свои хлопоты об отдельном издании «Записок охотника» — и в этом выразилась мужественная гражданская позиция писателя. Дело в том, что уже осенью 1851 г. за Тургеневым был установлен особый негласный надзор тайной полиции и все его письма перлюстрировались. Исследователи связывают факт установления надзора с французским изданием книги А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России» (в переводе которой на французский язык, по-видимому, принимал участие и Тургенев). В ней «Записки охотника» были названы «шедевром Тургенева»: «Кто может читать, не содрогаясь от возмущения и стыда... шедевр И. Тургенева «Записки охотника»?» — писал Герцен (А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. VII, изд. АН СССР, стр. 228). Симптоматично, что впервые о тургеневских «Записках» Европа узнала из уст издателя «Колокола». С книгой Герцена, услужливо присланной в Россию префектом парижской полиции, специально ознакомился Николай I, и, возможно, он обратил внимание как на отзыв Герцена о «Записках охотника», так и на весь «крамольный» контекст, в котором они упоминались (Ю. Г. Оксман, От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева, Саратов, 1959, стр. 247—249).

По инициативе друга Тургенева Василия Петровича Боткина рукопись «Записок охотника» прошла частный предварительный просмотр цензора кн. В. В. Львова, профессионального литератора, писавшего для юношества. По словам В. П. Боткина, это был «честный и благородный цензор». Львов, достаточно объективно, непредвзято просмотревший рукопись, одобрил ее, и вскоре она была официально представлена в Московскую цензуру и разрешена к печати. В этом издании Тургенев восстановил многочисленные цензурные изъятия из журнальных публикаций. Вмешательство кн. Львова в текст было минимальным (за что впоследствии цензор жестоко поплатился — был уволен от службы и лишен пенсии. «Из обеих частей,— писал Боткин Тургеневу 10 марта 1852 г.,— Львов выкинул *строк десять,* и то таких, которых нельзя было оставить» («В. И. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», М—Л. 1930, стр. 29).

Впервые в отдельном издании появился рассказ «Два помещика», задуманный, по всей вероятности, одновременно с «Бурмистром» в 1847 г. Все предшествовавшие попытки Тургенева опубликовать его в «Современнике», а затем в сборниках («Иллюстрированном альманахе» и в альманахе «Комета») терпели крах. В августе 1852 г. «Записки охотника» вышли из печати и очень быстро по тому времени разошлись.

С «Записками охотника» связана драматическая полоса в жизни Тургенева — арест в апреле 1852 г., а затем почти двухлетняя ссылка в деревню. Внешним поводом для гонений послужила статья о Гоголе,

которую написал Тургенев, потрясенный смертью гениального создателя «Мертвых душ». Но истинной причиной были «Записки охотника». «В 1852 г. за напечатание статьи о Гоголе (в сущности, за «Записки охотника») отправлен на жительство в деревню»,— писал Тургенев К. К. Случевскому в марте 1869 г. (Письма, II, 635).

Тургенев был арестован раньше, чем вышла из печати книжка «Записок охотника». На какое-то время возникла даже опасность изъятия и уничтожения части готового тиража. Но власти так и не решились пойти на этот рискованный шаг — уж слишком большую известность приобрели «Записки охотника» при первом своем появлении в «Современнике» — журнале, который читался всей просвещенной Россией. Однако были приняты другие репрессивные меры — началось не совсем обычное, пожалуй, единственное в своем роде, подробнейшее цензурное расследование по уже отпечатанной книге.

В сущности, после этого расследования, возглавлявшегося министром народного просвещения кн. П. А. Ширинским-Шихматовым (ему подчинялось Главное управление цензуры), «Записки охотника» были запрещены в России в течение более чем шести лет. Результаты цензурного следствия, которое осуществлялось одним из крупных чиновников Главного управления цензуры Е. Е. Волковым, докладывались самому Николаю I.

Выводы цензуры содержали серьезные обвинения политического характера. Известную роль в этом сыграло объединение «Записок охотника» в отдельную книгу. Публикуя свои рассказы в журнале, Тургенев дипломатично заботился о том, чтобы самые острые из них чередовались с более спокойными, да и цензура «помогала», убирая «опасные» фразы, а то и целые страницы. В отдельном издании антикрепостнический замысел цикла как бы высветлился, освободительные настроения нарастали от рассказа к рассказу, достигая своей кульминации примерно к середине цикла, где один за другим шли — «Касьян с Красивой Мечи», «Бурмистр», «Контора», «Бирюк», «Два помещика». Подобно стихотворениям Некрасова, рассказы Тургенева, «собранные в один фокус», рождали чувства гнева и сострадания.

В своем рапорте цензор Волков особенно подчеркивал вредный политический смысл всей книги, написанной, по его мнению, во имя определенной тенденции. «Издавая «Записки охотника», г. Тургенев, человек, как известно, богатый, конечно, не имел в виду прибыли от продажи своего сочинения,— утверждал цензор,— но, вероятно, имел совершенно другую цель, для достижения которой и напечатал свою книгу». Эту «другую цель» цензор сразу уловил: «Полезно ли, например,— рассуждал чиновник,— показывать нашему грамотному народу... что однодворцы и крестьяне наши, которых автор до того опоэтизировал, что видит в них администраторов, рационалистов, романтиков, идеали-

стов, людей восторженных и мечтателей (бог знает, где он нашел таких!), что крестьяне эти находятся в угнетении, что помещики, над которыми так издевается автор, выставляя их пошлыми дикарями и сумасбродами, ведут себя неприлично и противузаконно... или, наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше» (Сочинения, IV, 505). По мнению Волкова, такая книга «сделает более зла, чем добра», ибо потрясает самые основы крепостнического государства.

Недоумение цензора, вызванное якобы неправдоподобно высоким душевным строем тургеневских крестьян («где он нашел таких!»), было скорее просто риторическим восклицанием верноподданного чиновника. Именно удивительная, *абсолютная достоверность* книги, доподлинность изображенных ситуаций, характеров, самого уклада русской жизни смущала цензуру и приводила в восхищение великих современников Тургенева — Белинского и Герцена, Чернышевского и Некрасова, Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого.

Сохранились многочисленные мемуарные свидетельства о существовании реальных прототипов тургеневских героев из «Записок охотника». Так, реальным лицом был знаменитый Хорь, мужик, «наделенный государственным умом и лбом Сократа». А. А. Фет, поэт, друг и сосед Тургенева по имению, записал свои впечатления от встречи с этим русским крестьянином, которого обессмертил писатель. «В запрошлом году, в сезон тетеревиной охоты,— вспоминает Фет,— мне привелось побывать у одного из героев тургеневского рассказа «Хорь и Калиныч». Я ночевал у самого Хоря. Заинтересованный мастерским очерком поэта, я с большим вниманием всматривался в личность и домашний быт моего хозяина. Хорю теперь за восемьдесят лет, но его колоссальной фигуре и геркулесовскому сложению лета нипочем» («Русский вестник», 1862, кн. V, стр. 246). Бывший крепостной Тургенева, Ардалион Иванович Замятин (впоследствии учитель земской школы), рассказывал в своих воспоминаниях: «Бабушка и мать говорили мне, что почти все лица, упоминаемые в «Записках», не выдуманные... даже имена их настоящие... был Бирюк, которого в лесу убили свои же крестьяне, был Яшка-Турчонок — сын пленной турчанки. Даже я лично знал одного тургеневского героя, именно Сучка, Антона, переименованного барынею Варварою Петровною из Козьмы. Бежин луг, Парахинские кусты, Варнавицы, Кобылий верх...— все эти места имели те же названия и в 1882 году» («Тург. сб.», вып. II, М.— Л. 1966, стр. 298—299). Между прочим, эти названия сохранились и по сей день, так же как и речка Красивая Меча, и деревня Колотовка. Чернский, Белевский, Жиздринский уезды, «места действия» в «Записках охотника», были исхожены Тургеневым вместе со своим постоянным спутником Афанасием Тимофеевичем Алифановым, выведенным в книге под именем Ермолая. Это был крепостной соседних помещиков, выкупленный Тургеневым на волю, «охотник с

ног до головы, всею душой и помыслами преданный охоте» (И. Ф. Рында. Черты из жизни Ивана Сергеевича Тургенева, СПб. 1903, стр. 43). По свидетельству одного из приятелей Тургенева, Е. Я. Колбасина, рассказ «Ермолай и мельничиха» «целиком взят из действительного происшествия» («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1885, стр. 92).

На страницах своей книги Тургенев воскресил мрачные истории из жизни своих предков, лихих крепостников, вельмож старинного покроя. Отголоски похождений отца Варвары Петровны — Петра Ивановича Лутовинова звучат в «Однодворце Овсянникове». Сохранилось предание о жестокой расправе помещика с однодворцами, осмелившимися запахать «ничейную» землю. «В числе владений П. И. Лутовинова было село Топки... Там, вероятно, и произошло побоище с однодворцами... После побоища, в котором было убитых до 15 человек», Лутовинов «собрал все мертвые тела и повез их в город Ливны, едучи туда через селение противников, зажег оное с обоих концов и кричал: «Я бич ваш!» (Б. В. Богданов, Предки Тургенева.— «Тург. сб.», вып. V, стр. 348). В рассказе «Смерть» Тургенев привел действительный факт из биографии своей бабки (со стороны В. П. Лутовиновой): «В рассказе «Смерть»...— вспоминает В. Н. Житова,— описаны ее последние минуты: барыня, заплатившая сама священнику за свою отходную, была родная бабка Ивана Сергеича» (В. Н. Житова, Воспоминания о семье И. С. Тургенева, Тула, 1961, стр. 23). «Истинным происшествием» называет сам Тургенев события, послужившие основой сюжета «Живых мощей», рассказа, снискавшего мировую известность. В письме к Людвигу Пичу Тургенев называет имя парализованной женщины, ставшей прообразом Лукерьи: «Клавдия (это было ее настоящее имя)... Я посетил ее летом» (Письма, X, 229, 435). Но возможно, что в Лукерье слились два реальных женских образа. Речь идет о крепостной красавице Евпраксии, первой певунье и плясунье, с которой семнадцатилетний Тургенев был близок (Письма, VII, 138).

В 1856 г., после смерти Николая I, Тургенев задумывает второе отдельное издание «Записок охотника», которого, по словам Добролюбова, «уже несколько лет с таким нетерпением ожидала терпеливая русская публика» («Современник», 1859, № 2, отд. «Новые книги», стр. 289). Однако появилось оно только в самый канун отмены крепостного права. Издание стало возможным тогда, когда то, что вменялось в вину тургеневским «Запискам», можно было официально объявить их достоинством. Это и сделал И. А. Гончаров (исполнявший в 1858 г. обязанности цензора) в своей докладной записке, в которой он нарочито подчеркнул, что книга Тургенева «скорее может подтвердить необходимость принимаемых правительством мер» по отмене крепостного права. В феврале 1858 г. «Записки охотника» были разрешены к переизданию. В 1859 г. второе издание вышло в свет.

Начиная с 1859 г. «Записки охотника» получили «права гражданства» в России и стали одним из наиболее часто издаваемых произведений Тургенева как в составе собраний сочинений писателя, так и отдельной книгой. Впервые они были включены в собрание сочинений в 1860 г. и дополнены двумя новыми рассказами: «О соловьях» и «Поездка в Полесье». Однако уже следующее издание — 1865 г. (также в составе собрания сочинений) вышло без этих двух рассказов. Очевидно, писатель, необычайно бережно относившийся к своей книге, боялся нарушить ее жанровую и стилевую цельность. До некоторой степени именно особой художнической щепетильностью объясняется и то обстоятельство, что не все замыслы, относящиеся к «Запискам охотника», нашли свое окончательное воплощение. Всего их было, по словам Тургенева, «заготовлено около тридцати». «Иные очерки остались недоконченными из опасения, что цензура их не пропустит; другие — потому что показались... не довольно интересными или не идущими к делу» (письмо к Я. П. Полонскому от 25 января/6 февраля 1874 г.; Письма, X, 191). К числу последних, то есть «не идущих к делу», можно отнести такие замыслы, как «Приметы», «Безумная», «Человек екатерининского времени». Замысел рассказа, условно названного «Приметы» — о дурных предчувствиях и предзнаменованиях,— действительно не был созвучен ясному и строгому тону «Записок». «Человек екатерининского времени» — этот замысел, относящийся к «веку минувшему», нашел свое частичное воплощение в одном из образов (вельможи) в рассказе «Малиновая вода». Реминисценцией другого неосуществленного тургеневского замысла «Безумная» (возникшего после встречи писателя в лесу с безумной женщиной), по всей вероятности, является рассказ одного из мальчиков в «Бежином луге» о потерявшей рассудок Акулине и связанное с этим рассказом воспоминание самого Тургенева.

Окончательно состав «Записок охотника» сформировался в 1874 г., когда Тургенев ввел в книгу три «новых» рассказа — «Живые мощи», «Стучит!», «Конец Чертопханова». Но, в сущности, они не являлись новыми рассказами в полном смысле этого слова. Два первых из них были основаны на старых неоконченных набросках, относящихся к 40-м годам и не завершенным по цензурным причинам. «Конец Чертопханова» представлял собой естественное продолжение новеллы «Чертопханов и Недопюскин». Тургенев, узнав о трагической судьбе человека, явившегося прототипом Чертопханова, написал рассказ, который как бы завершал историю, начатую еще в 1848 г. Первоначально «Конец Чертопханова» был опубликован в 1872 г. в «Вестнике Европы» с подзаголовком «Из записок охотника». Появление нового рассказа в 70-е годы всполошило друга Тургенева, П. В. Анненкова: «Какая прибавка, какие дополнения, украшения и пояснения могут быть допущены к памятнику, захватившему целую эпоху и выразившему целый народ в из-

вестную минуту,— взволнованно писал Тургеневу Анненков 23 октября/4 ноября 1872 г.— Он должен стоять — и более ничего. Это сумасбродство — начинать сызнова «Записки» (Сочинения, IV, 508). Между тем Тургенев ничего диссонирующего не ввел в свою книгу — «мемориал» эпохи крепостного права.

О «Живых мощах» Тургенев писал Анненкову, что, воспользовавшись «уцелевшим наброском», он «оболванил его». Писатель исключил из поздней редакции сцену «видения» Лукерьи («тираду об освобождении»), в которой она благословляет крестьян на борьбу за волю (Письма, X, стр. 189, 193). Но и в редакции 1874 г. Тургенев в самом главном сохранил изначальный замысел о героическом русском характере, способном на великое «долготерпение» (до поры до времени), наделенном силой мужественно переносить самые тяжкие страдания. Исключив «тираду об освобождении», Тургенев ввел иной, едва ли не более острый сюжет — Лукерья, рассказывающая на особый, житийный лад легенду о Жанне д'Арк. Гибель легендарной героини Франции за свободу своего народа воспринимается тургеневской Лукерьей как идеал человеческого поведения, настоящий подвиг. В статье «Живые мощи». Житийная традиция и «легенда» о Жанне д'Арк в рассказе Тургенева» исследователь (Н. Ф. Дробленкова) не без оснований замечает, что введение этой легенды в сюжет произведения в какой-то мере привносит в первоначальный замысел Тургенева дополнительные оттенки — с ней «по-

являлось утверждение гражданских идеалов его героини», а также и совсем новая для «Записок охотника» тема «сопоставления судеб и путей России и Европы» («Тург. сб.», вып. V, стр. 300).

В издание 1874 г. вошли двадцать пять рассказов, и с тех пор состав «Записок охотника» никогда больше не менялся.

Книга о русском крестьянине, о русском народе принесла Тургеневу всемирную славу. Вскоре после выхода в свет первого отдельного издания «Записки охотника» получили известность в Европе и Америке. Первые переводы «Записок охотника» стали появляться уже в 50-е годы во Франции, Германии, Англии, затем Дании и других европейских странах. Как справедливо утверждает М. П. Алексеев в своем исследовании «Мировое значение «Записок охотника», европейская известность книги Тургенева была также одной из причин разрешения в 1858 г. второго отдельного издания, ибо русская интеллигенция могла читать «запретное» произведение и в переводе на другие языки (см. сб. «Записки охотника», Орел, 1955, стр. 51).

Судьба переводов «Записок охотника» не совсем обычна. Первый их перевод на французский язык, выполненный Э. Шаррьером под вымышленным названием «Воспоминания знатного русского барина, или Картина состояния дворянства и крестьянства в русских провинциях в настоящее время», явился своеобразным орудием политической борьбы.

Перевод вышел в самом начале войны 1854 г., объявленной России Англией и Францией, и этим во многом объяснялась тенденциозность переводчика, а затем и французской прессы, стремящихся прежде всего возбудить в условиях войны неприязнь к противнику, то есть к России. Тургенев, не удовлетворенный и качеством перевода, и самой политической ситуацией, возникшей в связи с выходом первого французского издания, выступил с открытым письмом в газету «Journal de St. Pétersbourg» (1854, № 475), в котором выразил свой протест (Сочинения, XV). Но даже этот далеко не блестящий перевод заставил французских писателей обратить внимание на автора «Записок охотника» — и в первую очередь Проспера Мериме, ставшего впоследствии не только популяризатором творчества Тургенева во Франции, но и другом русского писателя. В 1858 г. во Франции вышел перевод «Записок охотника», выполненный Ипполитом Делаво, личностью в высшей степени примечательной, одним из лучших славистов того времени, целиком посвятившего себя популяризации русской литературы на Западе. Перевод был сделан при непосредственном участии самого Тургенева. Это единственный авторизованный перевод «Записок охотника», что и значится на титульном листе книги: «единственное издание, авторизованное автором» (см. Ф. Я. Прийма, Новые данные о «Записках охотника» Тургенева во французской литературе.— Сб. «Записки охотника» Тургенева, Орел, 1955, стр. 331—356). Перевод Делаво особенно интересен тем, что в нем Тургенев восстановил некоторые цензурные купюры, сделанные в 1852 г., между тем как ни в одном из русских прижизненных изданий он не мог этого осуществить.

С «Записок охотника» началась известность Тургенева во Франции — их с захватывающим интересом читали Флобер и Жорж Санд, Мопассан и Альфонс Додэ, А. Дюма, Ламартин, Ипполит Тэн и Гизо, молодой Анатоль Франс. Для прогрессивных людей разных стран мира «Записки охотника» были своего рода «открытием России». Именно так восприняли книгу Тургенева Жорж Санд, Флобер, Мопассан.

В «Записках охотника», замечал Анатоль Франс в своей статье 1877 г., «Тургенев... дал голос целому миру...» (сб. «Записки охотника», Орел, 1955, стр. 363). Юный Ромен Роллан, прочитав книгу Тургенева, писал в дневнике 1887 г.: «Взволнованная, свежая, блистательная любовь к природе... Чудесная галерея современных портретов». Будущий создатель «Жана Кристофа», «Очарованной души» ощущал автора «Записок охотника» как предтечу Толстого, видел в тургеневских образах русских людей «материал для тех душ, которые Толстой бросит в необъятное, всемирное действие»... Из каждого рассказа Тургенева, утверждал Ромен Роллан, «мог бы выйти целый роман Толстого» (сб. «Творчество И. С. Тургенева», М. 1959, стр. 105).

В Германии переводы рассказов из «Записок охотника» начали появляться уже в 1849 г., то есть значительно раньше, чем в других странах Европы. Однако известность и популярность «Записок охотника» среди немецких читателей утвердилась с середины 50-х годов, после выхода в свет двухтомного издания в переводе Августа Видерта (1854—1855). В специальной информационной статье, опубликованной в одной из немецких газет в связи с выходом второй части «Записок охотника», книга Тургенева называлась «классической», повлиявшей «больше, чем какое-либо произведение до нее, на познание общественных и политических порядков России» («Тург. сб.», вып. II, стр. 114). В лице известного немецкого писателя Пауля Гейзе и талантливого критика Юлиана Шмидта «Записки охотника» приобрели своих поистине замечательных популяризаторов. «По силе изображения» Гейзе сравнивает автора «Записок охотника» с «великим комедиографом Гоголем». Юлиан Шмидт (критик, который, по мнению самого Тургенева, сумел постигнуть «его внутреннее существо») видел историческую заслугу Тургенева в том, что «он объяснил современникам и потомкам, что представляет собой крепостничество», раскрыл перед читателями всего мира истинную «трагедию бесправия». Юлиан Шмидт называл автора «Записок охотника» «величайшей поэтической силой нашего времени», видел в нем яркое выражение творческих возможностей России. «Нация, которая... породила такого писателя — и не его одного,— писал он,— поистине может оправдать любые надежды...» («Тург. сб.», вып. V, стр. 280—285).

Английские читатели впервые познакомились с рассказами из «Записок охотника» в 1855 г. на страницах весьма популярного журнала «Вседневное слово», редактором которого был Чарльз Диккенс. Но подлинная, широкая известность «Записок охотника» в Англии связана с прекрасными переводами, выполненными видной английской писательницей Констанцией Гарнетт в 90-х годах прошлого века.

Известный английский прозаик Джордж Мур, встретившийся с Тургеневым в 1878 г., писал в своих воспоминаниях о новаторском характере «Записок охотника»: «Что имеем мы, англичане, в своей литературе или что имеют французы такого, что хотя бы на мгновение могло быть сопоставлено с «Записками охотника»?.. При чтении их литература понимается нами как нечто совершенно новое, так как они совершенно новы по форме и содержанию и не имеют в прошлом никаких корней... Это не жизнь плюс художник, это просто жизнь...» (сб. «Записки охотника», стр. 95, 96).

Тургенев преподал писателям Запада уроки истинного гуманизма, «ненасытимого сострадания». По словам английского мемуариста Форда Мэдокса Форда, молодой Голсуорси, прочитав «Записки охотника», «узнал муки сострадания и возмущения за страдания других...» (там же, стр. 94).

«Записки охотника» положили начало особой популярности Тургенева в Америке, достигшей своего зенита с появлением английского перевода «Отцов и детей». По словам друга Тургенева историка М. М. Ковалевского, посетившего Америку в 1882 г., это объяснялось историческими причинами: «...недавнее освобождение негров из неволи как бы породнило общество с тем из русских писателей, который всего громче подымал голос за свободу крестьян...» (сб. «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. 2, М. 1969, стр. 142).

Чем больше проходило времени с момента выхода в свет «Записок охотника», тем с большей очевидностью создание книги воспринималось современниками как гражданская миссия Тургенева. До некоторой степени выражением этого было присуждение писателю Оксфордским университетом в 1878 г. почетного звания «доктора гражданского права». «В письме из Оксфорда сказано, что это воздаяние за мои труды по освобождению крестьян»,— писал Тургенев П. В. Анненкову (Письма, XII, кн. 2, 84).

В настоящем издании «Записки охотника», а также романы Тургенева «Накануне» и «Отцы и дети» печатаются по тексту Полного собрания сочинений и писем в 28 томах, изд-во «Наука», М.—Л. 1960—1968.

Стр. 28. *...хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть Пинну...*— «Сочинения в стихах и прозе» А. Н. Нахимова (1783—1815), автора эпиграмм, басен, непритязательных сатирических стихов на взяточничество и т. п. «Пинна» — одна из повестей М. А. Маркова (1810—1876), писавшего в псевдоромантическом стиле Марлинского. В рецензии на сборник «Сто русских литераторов» (т. III, СПб. 1845), куда вошла и «Пинна» Маркова, Белинский назвал эту повесть «галиматьей» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, М. 1955, стр. 270).

Стр. 32. *...кто без бороды живет, тот Хорю и набольший* — намек на чиновническую власть, которой не избежать крестьянину, даже освободившемуся от крепостной зависимости. (Чиновники по указу Николая I от 2 апреля 1837 г. не имели права носить усы и бороду.)

Стр. 35. *...из наших разговоров я вынес одно убеждение... что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях.*— Утверждение Тургенева, полемически направленное против славянофильских представлений об исторической миссии Петра I, о значении произведенных им государственных реформ. «Записки охотника» создавались в атмосфере споров западников и славянофилов о путях развития России. В этом споре Тургенев наряду с Белинским занимал прогрессивные позиции, отстаивая исторически закономерный характер петровских преобразований.

Стр. 49. *...ктитора Герасима...*— то есть крепостного человека, исполняющего должность церковного сторожа. Вообще же ктитор — церковный староста.

Стр. 52 *...матресок держал...*— то есть любовниц (от франц. maîtresse).

Стр. 56. *...депозитки...*— просторечное название бумажных денег, ассигнаций.

Стр. 63. *...о «прежде почивших отцах и братиях»* — слова заупокойной молитвы.

Стр. 66. *«Гром победы раздавайся!»* — полонез для хора и оркестра композитора И. А. Козловского (1757—1831) на слова Г. Р. Державина. Был очень популярен в начале XIX в.

Стр 68. *...все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Вольтер* — несколько измененное знаменитое изречение Панглоса, одного из героев философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

Стр. 69. *Однодворец* — понятие, возникшее еще в XVIII в. Так назывались государственные крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости и наделенные земельными участками, как правило, в один двор. Однако, наряду с крепостными, они облагались подушной податью.

Стр. 73. *Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один.*— Военный и государственный деятель России граф А. Г. Орлов (1737—1807) получил особое почетное добавление к фамилии — Чесменский — за победу над турецким флотом в Чесменской бухте (1770).

Стр. 75. *...по случаю размежевания.*— Процесс размежевания помещичьих земель и крестьянских наделов, начавшийся задолго до отмены крепостной зависимости, в середине 30-х годов прошлого века, проходил очень болезненно, особенно в Орловской губернии, и растянулся на многие годы.

Стр. 77. *...а на голове така шапонька мудреная...*— иронический намек на маскарадную внешнюю приверженность к народным обычаям некоторых славянофильствующих деятелей. В данном случае современники усматривали намек на К. Аксакова, который, как шутливо заметил Чаадаев, «оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX, М. 1956, стр. 148). Антиславянофильская тенденция рассказа вызвала раздражение И. С. Аксакова, который писал Тургеневу в связи с изданием 1852 г.: «Как могли вы теперь оставить место о г. Любозвонове? Само собою разумеется, что под Любозвоновым вы разумели брата Константина...» (См. «Русское обозрение», 1894, № 8, стр. 477).

Стр. 79. *...с бессрочными* — то есть солдатами, отпущенными в бессрочный отпуск после двадцатипятилетней службы в армии.

Стр. 116. *Странный старичок...*— В образе Касьяна Тургенев изобразил «бегуна», религиозного сектанта. В примечаниях к французскому переводу «Записок охотника», сделанному Делаво, которые, по убеждению исследователей, принадлежат самому Тургеневу, об этом говорится прямо: «под этим именем автор представил сектанта, и если он не говорит этого, так только потому, что этому воспротивилась цензура» (сб. «Записки охотника», Орел, 1955, стр. 349).

Стр. 122. *«И родни у тебя нет?..» — «Есть... да... так».— Старик замялся.*— В издании Делаво дано такое, возможно, авторское примечание к этому не совсем ясному тексту: «Сектанты не признают власти официальной церкви и естественно поэтому, что организуемые ими общины рассматриваются властями как незаконные. Поэтому рассказывать о своих семейных связях посторонним сектанты не любят; постоянные преследования, жертвой которых они становятся, делают их крайне подозрительными» (т а м ж е, стр. 349).

Стр. 128. *«Вечного жида» едва осилил* — многотомный роман французского писателя Эжена Сю (1804—1857), пользовавшийся особенной популярностью в 40-х годах прошлого века.

Стр. 129. *...из Лючии и Сомнамбулы...*— Итальянские оперы «Лючия ди Ламмермур» (1835) Гаэтано Доницетти и «Сомнамбула» (1831) Винченцо Беллини имели огромный успех в России 40-х годов.

Стр. 131. *...доморощенного Карема...*— Мари Антуан Карем (1784—1833) — один из законодателей французского поварского искусства.

Стр. 134. *...сказку подписали* — то есть официальную бумагу о проведении размежевания.

Стр. 136. *...купите... на мое имя.*— Покупка земли крепостными крестьянами, не имевшими прав собственности на землю, могла быть оформлена только на имя помещика.

Стр. 149. *...цвета аделаида* — то есть светло-сиреневого тона.

Стр. 156. *...«как в море челнок»...*— слова из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы».

Стр. 162. *...иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина* — перефразированные строки из заключительной строфы восьмой главы «Евгения Онегина».

Стр. 170. *...пана Твардовского дают на театре...*— Речь идет об опере А. Н. Верстовского «Пан Твардовский» (1828).

Стр. 171. *...уже Эней знал, как неприятно припоминать минувшее горе...*— Имеются в виду стихи из книги второй «Энеиды» Вергилия (приводятся в переводе С. Ошерова):

Но если ты желаешь узнать о наших невзгодах,
Краткий услышать рассказ о страданиях Трои последних,
Хоть и страшится душа и бежит той памяти горькой,
Я начну.

Стр. 182. ...*поклонник Виотти.*— Широко известный в Европе итальянский композитор и скрипач Джованни Баттиста Виотти (1753—1824) приезжал на гастроли в Россию.

Стр. 184. ...*упоминала о Гете... Беттине.*— Немецкая писательница Беттина фон Арним, корреспондентка и друг Гете, была автором книги «Переписка Гете с ребенком» («Goethes Briefwechsel mit einem Kinde». 1835), получившей всемирную известность. В данном контексте имя Беттины упоминается иронически, как символ экзальтированной восторженности.

Стр. 185. ...*«на лоне сельской тишины»* — строка из седьмой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (строфа вторая).

Стр. 186. ...*«Джакобы Саназары»*...— Имеется в виду так называемая драматическая фантазия «Джакобо Санназар» Н. В. Кукольника, одного из наиболее типических выразителей псевдоромантической, «ложновеличавой», по выражению Тургенева, школы в русском искусстве первой половины XIX в.

Стр. 188. ...*бездарные Полежаевы второй руки невыносимы*...— Тургенев имеет в виду эпигонов А. И. Полежаева (1804—1838), поэта сложной, трагической судьбы. Произведения Полежаева, представляющие, по словам Белинского, «поэтическую исповедь его... страдальческой жизни», пользовались громкой известностью в 30—40-е годы XIX в. (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, М. 1955, стр. 128).

Стр. 189. ...*романсы Варламова: «У-единенная сосна»*...— «Уединенная сосна» — роман Н. А. Титова. А. Е. Варламову же принадлежит романс «Доктор» на слова Ф. Н. Глинки.

...*«Уймитесь, волнения страсти»* — первая строка романса М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на слова Н. В. Кукольника.

Стр. 190. ...*роман Иоганны Шопенгауэр.*— Сочинения немецкой писательницы, матери известного философа, пользовались популярностью в 30-х годах прошлого века. В 1830—1831 г. вышло собрание ее произведений в 24-х томах.

...*лекарство Леруа.*— Имеется в виду известный французский хирург Жан-Жак Ле-Руа де Тийе (1749—1832).

Стр. 191. ...*«сменила их, не заменив»* — несколько измененная строка из первой главы (строфа XIX) «Евгения Онегина» Пушкина.

Где ж девалася... Мочь зеленая? — цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Лес» (1838), посвященного памяти А. С. Пушкина.

Стр. 197. ...*людям, не стоившим развязать ремень от сапог его?* — несколько измененное изречение из Евангелия от Марка (гл. I, 7).

Стр. 198. *«Аль у сокола»*...— неточная цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Дума сокола» (1840).

Стр. 226. *«Не более! и знать, что этот сон...»*— Каратаев декламирует

отрывки из монологов Гамлета (в переводе А. Кронеберга, действие III, сцена 1; действие I, сцена 2; действие II, сцена 2).

Стр. 244. *«Моей судьбою очень никто не озабочен»* — неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Завещание» (1840).

Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre, сказал кто-то — слова из «Посвящения Альфреду Татте», предпосланного драматической поэме А. Мюссе «Уста и чаша» («La coupe et les lèvres»; 1832).

Стр. 245. *...какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля?* — Имеется в виду «Энциклопедия философских наук» (1817), одно из основополагающих произведений Гегеля, которое особенно пристально изучалось в русских философских кружках 30-х годов.

Стр. 247. *Помнится, Шиллер сказал где-то: «Gefährlich ist's den Leu zu wecken...»* — неточная цитата из «Песни колокола» («Das Lied von der Glocke») Ф. Шиллера.

Стр. 249. *...постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял...*— Имеются в виду картина Рафаэля в Ватикане «Преображение» и «Венера Медицейская» — работы неизвестного скульптора, находящаяся в флорентийском музее Уффици.

Стр. 251. *...известный портрет белокурой девицы с голубком на груди...*— по-видимому, одна из многочисленных «Головок» французского живописца конца XVIII — начала XIX в. Ж.-Б. Грёза.

Стр. 259. *Орбассан пал?..*— Велеречивый Чертопханов назвал лошадь именем одного из персонажей трагедии Вольтера «Танкред».

Стр. 260. *...тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица.*— Среди русского офицерства существовала шуточная поговорка, имевшая в виду чин прапорщика, самый первый (т. е. низший) обер-офицерский чин: «Курица не птица, прапорщик не офицер».

Стр. 267. *...любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком...*— именем героя повести А. Марлинского «Аммалат-Бек» (1832).

Стр. 275. *«Век юный, прелестный»* — романс А. Л. Гурилева на слова Н. М. Коншина.

Стр. 278. *Малек-Адель* — герой популярного в свое время романа французской писательницы Софи Коттен «Матильда, или Воспоминания из времен крестовых походов» (1805).

Стр. 283. *Коли ты царь,— промолвил с расстановкой Чертопханов (а он отроду и не слыхивал о Шекспире)...*— В трагедии Шекспира «Ричард III» король Ричард в сцене четвертой V акта восклицает: «Коня! коня! полцарства за коня!» (перевод Я. Г. Брянского).

Стр. 301. *Край родной долготерпенья...*— строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

Стр. 310. *А другой угодник себя в землю зарыть велел...*— Подобные покаяния в житийной литературе приписываются нескольким угодни-

кам: Феодосию Печерскому, Иоанну Затворнику (их жития входят в состав Киево-Печерского патерика), Епифанию (соратнику знаменитого протопопа Аввакума) и святому Антонию (см. Н. Ф. Дробленкова, Живые мощи... — «Тург. сб.», вып. V, стр. 294—295).

Стр. 319. *Топор разбойника презренный...*— слова из стихотворения В. А. Жуковского «На смерть фельдмаршала графа Каменского».

Стр. 323. *...И понемногу начало назад его тянуть... Там хорошо...*— стихотворный эпиграф принадлежит Тургеневу (см. Сочинения, I, 74, 529—530).

В. Фридлянд

«НАКАНУНЕ»

Первоначальный замысел романа «Накануне» возник, по-видимому, в 1853 или 1854 г. Вспоминая о своем пребывании в Спасском в годы ссылки и во время Крымской войны («почти весь 55-й год — так же как предшествовавшие три года»), Тургенев указывал: «Я собирался писать «Рудина»; но та задача, которую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться» (Сочинения, XII, 304, 306). Из затруднения Тургенева вывела рукопись его соседа по имению В. Каратеева. Отправляясь в Крым в качестве офицера орловского ополчения и не надеясь вернуться оттуда живым, В. Каратеев передал Тургеневу небольшую тетрадку, в которой «беглыми штрихами было намечено то, что составило потом содержание «Накануне». «Рассказ, впрочем,— отмечал Тургенев,— не был доведен до конца и обрывался круто. Каратеев, во время своего пребывания в Москве, влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью, но, познакомившись с болгарином Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине), полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне, хотя неумело... Одна только сцена, именно поездка в Царицыно, была набросана довольно живо — и я в моем романе сохранил ее главные черты» (там же, стр. 306).

В следующие три года Тургенев, занятый созданием «Рудина» и «Дворянского гнезда», почти не обращается к замыслу нового романа. Заметное оживление работы над ним хронологически связано с окончанием «Дворянского гнезда». По свидетельству П. В. Анненкова, зимой 1858/59 года Тургенев в узком кругу знакомых неоднократно «читал... по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной

повести», удивляя слушателей «своим участием к произведению, не заслуживающему никакого внимания» (П. В. Анненков, Литературные воспоминания, М. 1960, стр. 427). Это была все та же повесть Каратеева.

Важнейшей причиной, стимулировавшей дальнейшую работу Тургенева над реализацией замысла «Накануне», явилось, по-видимому, начало и бурное развитие острого идейного конфликта между либералами и разночинцами-демократами. В 1858 г. статьей «Русский человек на rendez-vous» Чернышевский открыл полемику о «новых» и «лишних» людях. Статья была направлена против либералов, которые в условиях предстоявшей отмены крепостного права делали ставку не на революцию, а на реформы. Подвергнув критике людей рудинского типа за их неспособность к активным действиям в новых общественно-политических условиях, Чернышевский заявил, что на смену им уже идут новые люди, обладающие «широкой решимостью» и «благородным риском».

Это и другие аналогичные явления в русской общественной жизни должны были окончательно убедить Тургенева в актуальности задуманного им произведения. Краткая история любви русской девушки к «болгару», заимствованная из тетрадки В. Каратеева, начала постепенно облекаться в формы большого социально-политического романа, в котором наряду с болгарской темой национально-освободительного движения не меньшее значение приобретала русская тема, связанная с основной проблемой эпохи — подготовкой крестьянской реформы. Впоследствии — 6 января 1871 г. Тургенев писал Л. Фридлендеру: «Повесть «Накануне» была так названа больше по времени ее появления (1860 — последний год перед освобождением крестьян)... В России начиналась новая эпоха — и такие фигуры, как Елена, Инсаров, являются провозвестниками того, что пришло позже» (Письма, VIII, 323, 394).

Крайние даты написания «Накануне» указаны самим Тургеневым на титульном листе черновой рукописи:

«Начата в Виши во вторник 28/16 июня 1859 г.

Кончена в Спасском — в воскресенье 25 октября/6 ноября 1859 г.».

Напечатан роман впервые в январском номере журнала «Русский вестник» за 1860 г.

Прототипом образа Инсарова было реально существовавшее лицо — болгарин Николай Катранов, о котором Тургенев узнал из повести Каратеева. Николай Димитров Катранов родился в 1829 г. в городе Свиштове, в купеческой семье. В 1848 г. он приехал в составе большой группы болгарских юношей и девушек в Россию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Здесь он испытал благотворное воздействие передовой русской общественной мысли и русской художественной литературы.

Будучи студентом, Катранов ведет большую общественную и литературную работу. Он пропагандирует идеи освобождения балканских славян, пишет стихи, обрабатывает при содействии А. Ф. Вельтмана народные песни, собранные им в Болгарии, занимается переводами.

В начале 1853 г. Катранов окончил университет и отправился в Болгарию вместе со своей женой Ларисой. Пребывание его на родине оказалось очень кратковременным. Внезапная вспышка туберкулеза заставила его вернуться в Россию. Вскоре, по совету друзей, Катранов в сопровождении жены поехал лечиться в Вену, а оттуда в Венецию. Здесь, простудившись во время прогулки, Катранов внезапно умер 5 мая 1853 г.

Сопоставляя биографию Катранова с историей Инсарова, легко заметить, что образ Инсарова во многом отступает от своего прототипа. Поставив перед собой задачу реализовать в Инсарове идеал «сознательно-героической натуры», писатель усилил трагические черты в биографии своего героя, изобразив его народным борцом, которого преследует турецкое правительство [1].

Стр. 333. *...в дантановском вкусе.*— Жан-Пьер Дантан (1800—1869) — французский скульптор-карикатурист.

Стр. 336. *...романтические звуки Оберонова рога.*— По скандинавской мифологии, Оберон — царь эльфов. Берсенев имеет в виду романтическую поэму немецкого поэта Виланда (1733—1813) «Оберон» (1780). В этой поэме волшебник Оберон покровительствует странствующему паладину Гиону и его возлюбленной Амансе; он дарит им волшебный рог, при звуках которого устраняются грозящие им беды.

Стр. 339. *Ставассер* Петр Андреевич (1816—1850) —русский скульптор.

Стр. 344. *...пойти по следам Тимофея Николаевича...*— Имеется в виду выдающийся русский ученый и общественный деятель Т. Н. Грановский (1813—1855), который в 40-х годах был профессором всеобщей истории в Московском университете и пользовался большой популярностью в передовых кругах русского общества.

Стр. 350. *Раумер* Фридрих Людвиг Георг (1781—1873) — немецкий историк.

Стр. 361. *«Не отходи от меня»* — романс на слова А. А. Фета, музыка А. А. Дерфельдта (1810—1869).

Стр. 365. *...иллюминат...*— просветленный (от л а т. illuminatus). Тайное общество иллюминатов, основанное в 70-х годах XVIII в. профес-

---

[1] Биографические сведения о Н. Катранове заимствованы у Л. И. Ровняковой (см. второй раздел комментария к «Накануне» в академическом издании сочинений И. С. Тургенева.— Сочинения, VIII, 512—513).

сором Адамом Вейсгауптом (1748—1830) в Баварии, по своей организации и идейной направленности было близко к масонам.

...сведенборгианизм...— теософское учение, названное по имени его основателя — шведского ученого и мистика Эммануила Сведенборга (1688—1772). В своих теософских сочинениях Сведенборг уверял, что общается со святыми, ангелами и т. п.

Стр 366. *Вашингтон* Джордж (1732—1799) — американский политический деятель, поддерживал освободительную борьбу североамериканских колоний против владычества Англии. Был первым президентом США (1789—1797).

Было, говорят, время в Московском университете! — Имеются в виду 30-е годы, когда Московский университет являлся очагом свободомыслия, передовых социально-политических, философских и литературных идей. Студенты Московского университета объединялись в многочисленные философско-политические кружки, из которых наиболее значительные: «Литературное общество 11 нумера», созданное В. Г. Белинским, кружок Н. В. Станкевича, кружок А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Облик Московского университета резко изменился после революционных событий 1848 г., в период разгула царской реакции.

Стр. 372. *Венелин* Юрий Иванович (1802—1839) — русский филолог и историк-славист. Много занимался изучением истории Болгарии и болгарского народного творчества.

Крум — болгарский князь, одержал победы над войсками Византии в 811, 813 и 814 гг. Умер в 815 г.

Стр. 374. *...как Макс к Агате...*— Макс и Агата — персонажи оперы Вебера (1786—1826) «Волшебный стрелок» (1820).

...не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! — намек на славянофилов. Видя залог великого будущего России в сохранении и процветании идеализированных ими патриархальных обычаев, в народном якобы «смирении», славянофилы призывали образованные слои общества «слиться» с народом, то есть перенять от него эти «незыблемые самобытные начала».

Стр. 377. *И Фемистокл ел накануне Саламинского сражения...*— Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 гг. до н. э.) — политический деятель Афин в эпоху греко-персидских войн. Под его руководством флот греков одержал решительную победу над персами при Саламине (480 г. до н. э.).

Стр. 384. *...«Le Lac» Нидермейера.*— Луи Нидермейер (1802—1861) — французский композитор; его романс «Озеро» на текст Альфонса Ламартина (1790—1869) пользовался большой популярностью.

Покнейпировать — то есть покутить (от нем. *kneipen* — кутить).

Стр. 406. *«Trema, Bisanzia!»* — (правильно: «Trema, Bisanzio!») — слова Аламира, персонажа из оперы Гаэтано Доницетти (1797—1848) «Велизарий» (действие II, явление 11).

Стр. 415. *...занятие княжеств русскими войсками...*— Речь идет о придунайских княжествах Молдавии и Валахии, находившихся под властью Турции. Турция отказалась удовлетворить требование русского правительства о признании прав православной церкви в «святых местах». В ответ на это русские войска вступили в Молдавию и Валахию (июнь 1853 г.).

Стр. 423. *...aut Caezar, aut nihil* — девиз Чезаре Борджиа (1475—1507), правителя Романьи (с 1499 г.), добивавшегося объединения Италии под своей властью. В борьбе с городами и феодальными сеньорами он не пренебрегал никакими средствами, действуя путем подкупа, предательства и убийств.

Грот Джордж (1794—1871) — английский историк, автор «Истории Греции» (в 12-ти томах; 1846—1856).

Стр. 426. *...собиралась прочесть «Вертера»...*— роман Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

Стр. 427. *«Московские ведомости»* — официозная газета, издавалась с 1756 по 1917 г.

Стр. 433. *Пифагор* (ок. 580—500 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, математик и политический деятель.

Стр. 436. *...срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул...*— 27 сентября 1853 г. турецкое правительство потребовало от русского верховного командования вывести войска из придунайских княжеств в двухнедельный срок. Это требование не было выполнено.

...уже недалек был день Синопского погрома.— 18 ноября 1853 г. русская эскадра под командованием П. С. Нахимова (1802—1855) уничтожила турецкий флот в бою под Синопом.

Стр. 441. *Брут* Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — древнеримский политический деятель, один из борцов за республику, глава заговора против Юлия Цезаря.

«Человек он был» — цитата из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (действие V, явление 5).

Стр. 445. *«С богом, в дальнюю дорогу»* — первый стих «Похоронной песни Иакинфа Маглановича» А. С. Пушкина («Песни западных славян», VII).

Стр. 447. *Война уже кипела на Дунае...*— Россия объявила войну Турции 20 октября 1853 г.

...Англия и Франция объявили России войну...— 15—16 марта 1854 г.

...все славянские земли волновались и готовились к восстанию.— Во время Крымской войны болгарский патриот Никола Филипповский подготовлял восстание в Тырнове, болгарский революционер Г. Раковский с собранным им отрядом намеревался присоединиться к русским войскам. Население Сербии также было крайне враждебно настроено по отношению к турецким угнетателям.

Стр. 449. *Каналетти* (или Каналетто) Антонио (1697—1768) — венецианский живописец и офортист, мастер венецианского архитектурного пейзажа. *Гварди* Франческо (1712—1793) — венецианский живописец, запечатлевший в своих картинах облик Венеции XVIII в.

Стр. 450. *...об академии delle Belle arti...*— Академия изящных искусств — музей венецианской живописи.

...над святым Марком Тинторета...— «Чудо св. Марка, освобождающего раба, осужденного на мучение», картина венецианского живописца Тинторетто (настоящее имя — Джакопо Робусти; 1518—1594).

..на первом плане тициановского «Вознесения»...— «Вознесение на небо богоматери», картина Тициана (1477—1576).

Чима (прозвище — Чима де Конельяно) Джованни Баттиста (ок. 1459—1517) — живописец венецианской школы.

Стр. 453. *...Redentore Палладия...*— Палладио Андреа (1508—1580) — итальянский архитектор и теоретик искусства. Церковь il Redentore (Искупителя) построена им в 1576 г.

Стр. 455. *«Osservatore Triestino»* — итальянская газета «Триестинский наблюдатель», выходила в Триесте с 1784 г.

...на Дунае произошло решительное сражение; триста турецких офицеров убито, Силистрия взята, Сербия уже объявила себя независимою.— Все эти сведения — плод выдумки Лупоярова. Так, например, русские войска не только не взяли турецкую крепость Силистрию, но и вынуждены были вскоре снять ее осаду (9 апреля 1854 г.) под давлением Австрии, потребовавшей от России очищения придунайских княжеств и сконцентрировавшей в связи с этим крупные военные силы в Трансильвании.

...место Марино Фалиеро...— Марино Фалиери (1278—1355) — венецианский дож, казненный за организацию республиканского заговора против тиранического господства венецианской знати. Во Дворце дожей среди семидесяти шести портретов правителей Венеции место, предназначенное для Фалиери, оставлено пустым и обтянуто черным сукном с надписью: «Здесь место Фалиери, обезглавленного за преступления».

Стр. 456. *...«I stood in Venice on the bridge of sighs»* — первая строка из четвертой главы поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Мост вздохов соединял Дворец дожей с венецианской тюрьмой, по нему проходили осужденные на казнь государственные преступники.

Бустрапá — презрительное прозвище Наполеона III, образованное из начальных слогов названий тех городов, где Луи-Наполеон пытался совершить государственный переворот с целью восстановления монархии (Булонь, Страсбург, Париж).

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865) — английский государственный деятель. Во время Крымской войны вместе с Наполеоном III активно действовал против России.

«Les Châtiments» — сборник политических стихотворений В. Гюго (1853), направленных против диктатуры Наполеона III.

«L'avenir — le gendarme de Dieu» — последняя строка стихотворения В. Гюго «On loge à la nuit» («Открыто на ночь») из сборника «Возмездие». В этом стихотворении Наполеон III и его приспешники изображены людьми, превратившими Лувр — один из величайших художественных музеев мира — в грязный постоялый двор.

...Европа твердит: Баш-Кадык-Лар, глаз не сводя с Синопа... — цитата из злободневного стихотворения П. А. Вяземского (1792—1878), посвященного Синопской победе («Нахимов, Бебутов, победы близнецы»):

И оглушенная пальбой побед Европа
Твердит Баш-Кадык-Лар, глаз не сводя с Синопа.

19 ноября 1853 г. у Башкадыклара (вблизи Карса) русские войска под командованием В. О. Бебутова разгромили армию турок. Это событие, а также Синопское сражение вызвали патриотический подъем в России и большое беспокойство в странах, поддерживавших Турцию.

«ОТЦЫ И ДЕТИ»

Замысел романа «Отцы и дети» возник летом 1860 г. Первое упоминание о нем содержится в письме к графине Е. Е. Ламберт (6/18 августа 1860 г., Вентнор), в котором Тургенев сообщал, что «начал понемногу работать; задумал новую большую повесть...» (Письма, IV, 116). В течение почти двух месяцев Тургенев был занят обдумыванием плана. К 30 сентября (12 октября) 1860 года план уже был «готов до малейших подробностей» и обсужден с В. П. Боткиным, который его одобрил. Сообщая об этом в письме к П. В. Анненкову, Тургенев в то же время просил передать записку былому товарищу по «Современнику» И. И. Панаеву. Написанная холодно и официально, она представляла собою формальный отказ от продолжения сотрудничества в журнале и уведомление о том, что новый роман предназначен для «Русского вестника». Как видно из того же письма к П. В. Анненкову, Тургенев был крайне раздражен напечатанной в июньской книжке «Современника» за 1860 г. неподписанной рецензией на книгу Н. Готорна «Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии». В рецензии были резкие суждения о романе «Рудин», и Тургенев считал, что она принадлежит Добролюбову (там же, стр. 137), ранее написанная статья которого о «Накануне» явилась, как известно, одной из важнейших причин его конфликта с «Современником». В действительности автором рецензии был Н. Г. Чернышевский.

В октябре и ноябре 1860 г. Тургенев работает мало. Только со второй половины ноября он «серьезно» принимается за «новую повесть». В течение двух-трех недель треть ее была написана, и к концу февраля 1861 г. Тургенев предполагает закончить всю работу (т а м ж е, стр. 166, 167). Однако в дальнейшем снова наступает продолжительный застой.

14/26 марта 1861 года, обещая Л. Н. Толстому, в письме из Парижа в Брюссель, прочесть ему, при ожидаемой встрече в России, «Отцов и детей», Тургенев предупреждает, что чтение совершится «едва ли скоро», так как «вся штука застряла на половине» (т а м ж е, стр. 216).

Вторая половина романа была закончена в июле или августе 1861 г. 6/18 августа Тургенев извещал П. В. Анненкова: «Мой труд окончен наконец. 20 июля написал я блаженное последнее слово» (т а м ж е, стр. 277). Но в статье «По поводу «Отцов и детей» названа другая дата — 30 июля 1861 г., а в рукописи романа — третья: «Кончено в августе 1861». Очевидно, между 20 июля и отъездом из Спасского — 29 августа ст. ст.— Тургенев вносил в первоначальную рукопись романа какие-то добавления и поправки; кроме того, он переписывал ее.

По сравнению с другими романами Тургенева «Отцы и дети» были написаны им очень быстро. В его письмах за летние месяцы 1861 г. чувствуется и увлечение работой, и удовлетворение ее темпом. Но в этих же письмах звучат и другие ноты — неуверенности в том, что роман «удался», и предчувствия, что он не будет принят демократическим лагерем. «Не знаю, каков будет успех,— записал Тургенев в дневнике 30 июля ст. ст. 1861 г.— «Современник», вероятно, обольет меня презрением за Базарова — и не поверит, что во все время писания я чувствовал к нему невольное влечение...» (Сочинения, XI, 460).

29 августа ст. ст. 1861 г. Тургенев отправился в Петербург с заездом в Москву, увозя с собою две рукописи «Отцов и детей» — первоначальную беловую и вновь перебеленную. Первую из них Тургенев оставил у себя («парижская рукопись»), а вторую передал сотруднику редакции «Русского вестника» Н. В. Щербаню, и она явилась оригиналом при наборе романа в журнале. По поручению Тургенева П. В. Анненков должен был добиться от Каткова согласия на напечатание «Отцов и детей» в одной книжке журнала. Во время беседы на эту тему между ними состоялся обмен мнениями об образе Базарова. По воспоминаниям Анненкова, Катков «не восхищался романом, а, напротив, с первых же слов заметил: «Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином... Подумайте только, молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже и смерть его есть еще торжество, венец, коронующий эту достославную жизнь, и это, хотя и случайное, но все-таки самопожертвование» (П. В. А н н е н к о в, Литературные воспоминания, М. 1960, стр. 477—478).

16/28 сентября 1861 г. Тургенев приехал в Париж. Оттуда он писал Каткову, обеспокоенный его бурной реакцией на роман: «Я надеюсь, что вследствие моих поправок — фигура Базарова уяснится Вам и не будет производить на Вас впечатления апотеозы, чего не было в моих мыслях» (Письма, IV, 295). Письма Каткова к Тургеневу с замечаниями о романе неизвестны. Однако с полной уверенностью можно утверждать, что редакторское давление Каткова на писателя в смысле требования ослабить элементы привлекательности в образе Базарова было очень сильно и граничило с прямым нажимом. Тургенев пошел на некоторые уступки Каткову. Он сам признавался в этом письме к Герцену (16/28 апреля 1862 г.), отвечая на упреки в тенденциозном отношении к Базарову. «Катков,— писал он,— на первых порах ужаснулся и увидел в нем (Базарове.—*А. Б.*) *апофеозу* «Современника» и вследствие этого уговорил меня выбросить немало смягчающих черт, в чем я раскаиваюсь» (там же, стр. 382).

Изменения, сделанные по настоянию Каткова, коснулись в основном глав, насыщенных непосредственными откликами на идейно-политическую «злобу дня». В письме от 30 октября/11 ноября 1861 г., соглашаясь с некоторыми замечаниями Каткова, Тургенев добавлял: «Кстати, *спор* между П. П. и Базаровым совсем переделан и сокращен» (там же, стр. 302). Речь идет о том месте десятой главы, где Базаров выражает уверенность в сочувствии народа его идеям. Тенденциозный отрывок, в котором Базаров назван «шутом гороховым», по всей вероятности, также обязан своим происхождением воздействию Каткова.

В своей доработке романа Тургенев учитывал далеко не все пожелания и требования редактора, отношения с которым отличались уже в это время трудно сдерживаемой неприязнью и даже брезгливостью. В некоторых случаях изменения и дополнения, вносившиеся Тургеневым в текст, противоречили по общей своей тенденции линии Каткова-редактора. Так, Тургенев пересмотрел текст всех бесед Базарова с Одинцовой на учено-философские темы; в результате иронические, а подчас и остро полемические выпады Одинцовой против Базарова, довольно многочисленные в рукописи до начала ее доработки, были сведены до минимума в окончательном тексте.

Большая группа поправок и изменений в «парижской рукописи» связана с последовательным стремлением Тургенева резче оттенить некоторые специфические свойства и особенности в характере Базарова. 16/28 апреля 1862 г. Тургенев писал Герцену о Базарове: «Штука была бы неважная представить его — идеалом; а сделать его волком и все-таки оправдать его — это было трудно...» (там же, стр. 383).

Роман «Отцы и дети» был напечатан в февральской книжке «Русского вестника» за 1862 г. и в том же году вышел отдельным изданием.

При подготовке отдельного издания романа многое, рисующее Базарова в невыгодном свете, было устранено Тургеневым, а многое дру-

гое, подчеркивающее подлинно типическое в образе разночинца-демократа, восстановлено или заново создано. Несмотря на это, некоторые тенденциозные изменения, дополнительно внесенные Тургеневым в текст «парижской рукописи» под влиянием редакторской цензуры Каткова, остались в романе навсегда. Крайне раздосадованный неблагоприятной реакцией на роман в журнале «Современник» (статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени»), Тургенев не восстановил, например, важное рассуждение Базарова об уничтожении «всего старого» и не изъял вставку, в которой Базаров назван «шутом гороховым».

Отдельное издание «Отцов и детей» 1862 г. Тургенев посвятил Белинскому. Посвящение имело программный характер и полемический оттенок. Тургенев заявлял им о своей верности тому идейному движению, связанному с именем великого критика, которое в новых исторических условиях продолжали русские революционные демократы 60-х годов, не признавшие себя в образе Базарова и почти единодушно выступившие с острой критикой политической позиции писателя.

Впоследствии, в связи с непрекращающимися нападками на роман, Тургенев неоднократно выступал с развернутыми разъяснениями своего замысла, стремясь убедить читателей и критиков из демократического лагеря в непредвзятости своей идейно-эстетической позиции. В этом отношении наиболее существенны доводы писателя, изложенные в статье «По поводу «Отцов и детей» (1869), в которой впервые провозглашен знаменитый тезис: «точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастие для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями» (Сочинения, XIV, 100). Вместе с тем, подчеркивая связь своего творчества с традициями Пушкина и Лермонтова, Тургенев настаивал на исторически закономерном развитии в «Отцах и детях» пушкинско-лермонтовского художественного метода, выразившегося в значительном усилении критического реализма. «Беда» состояла в том,— писал Тургенев, имея в виду чрезмерно суровое отношение ряда критиков к роману,— что воспроизведенный мною базаровский тип не успел пройти чрез постепенные фазисы, через которые обыкновенно проходят литературные типы. На его долю не пришлось — как на долю Онегина или Печорина — эпохи идеализации, сочувственного превознесения. В самый момент появления *нового* человека — Базарова — автор отнесся к нему критически...» (там же, стр. 102).

Стр. 473. *Как грустно мне твое явленье...*— цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (глава VII, строфа II).

Стр. 476. *...толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах...*— 3 января 1857 г. под председательством Александра II был создан Секретный комитет по крестьянскому вопросу,

через год (8 января 1858 г.) преобразованный в Главный комитет. В 1858 г. по царским рескриптам на всей территории России создавались губернские комитеты — выборные дворянско-помещичьи органы, в задачу которых входила предварительная подготовка проектов освобождения крестьян.

Стр. 477. *...на широком гамбсовом кресле...*— Мебель, получившая название по имени французского мебельного мастера Гамбса, жившего в Петербурге в 30-х годах прошлого столетия.

Galignani — ежедневная либеральная газета «Galignani's Messager» («Вестник Галиньяни»), издававшаяся с 1804 г. в Париже на английском языке. Основатель газеты — Джованни Антонио Галиньяни.

Стр. 482. *...дай вам бог здоровья и генеральский чин...*— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие II, явление 5).

Стр. 489. *Веллингтон* Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и политический деятель. При содействии прусской армии одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо (1815).

Людовик-Филипп (1773—1850) — французский король (1830—1848). Во время февральской революции 1848 г. отрекся от престола и бежал в Англию.

Стр. 493. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, герой Отечественной войны 1812 г., в 1816—1827 гг.— главнокомандующий русских войск на Кавказе.

...разрозненный том Стрельцов Масальского...— Четырехтомный исторический роман К. П. Масальского (1802—1861) вышел в свет в 1832 г.

Стр. 501. *...Бюхнерово «Stoff und Kraft»...*— Русский перевод книги немецкого физиолога и вульгарного материалиста Фридриха Карла Христиана Бюхнера (1824—1899) появился в 1860 г.

Стр. 504. *...не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...*— Подразумевается отрицание Базаровым всех «в людском быту принятых постановлений», то есть существующего политического и общественного строя, религиозных представлений и проч.

Стр. 513. *Гизо* Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский буржуазный историк и реакционный политический деятель.

Свечина С. П. (1782—1859) — писательница-мистик. Ее сочинения, изданные в 1860 г., оживленно обсуждались в дворянских кругах русского общества.

...прочитывали поутру страницу из Кондильяка...— Очевидно, имеется в виду книга «Трактат об ощущениях» (1754), написанная французским просветителем, философом-деистом и сенсуалистом Э. Кондильяком (1715—1780).

Стр. 515. *Бурдалу* Луи (1632—1704) — французский проповедник. Проповеди Бурдалу переведены на русский язык в начале XIX в.

Стр. 519. *Эмерсон* Рольф Уолдо (1803—1882) — американский писатель и философ-идеалист.

...какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! — По мнению М. К. Клемана, Тургенев в данном случае иронически намекает на сотрудников «Современника» Г. З. Елисеева и М. А. Антоновича.

Патфайндер — следопыт; герой романов американского писателя Д.-Ф. Купера (1789—1851) «Кожаный чулок», «Следопыт», «Прерия», «Последний из могикан»..

Бунзен Роберт Вильгельм (1811—1899) — немецкий химик, с 1852 по 1889 г.— профессор Гейдельбергского университета.

Стр. 520. *Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?* — Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865), французский публицист, экономист и социолог, был противником женской эмансипации, полагая, что главное назначение женщины — быть матерью и заниматься домашним хозяйством.

Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский либеральный историк. Главная работа — «История Англии» (1848—1855).

Стр. 521. *...прочтите лучше книгу Мишле De l'amour.*— «О любви» — книга французского историка и публициста Жюля Мишле (1798—1874), напечатанная в 1859 г.

Стр. 530. *...живописью al fresco...*— Живопись, получившая свое название от способа писания водяными красками по «свежему», то есть еще влажному цементному покрову стен, сводов и потолков; fresco — свежий (и т а л.).

Стр. 531. *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839) — русский государственный деятель, автор проекта государственных преобразований в царствование Александра I. Сын сельского священника.

Стр. 540. *Тоггенбург* — романтический герой одноименной баллады Шиллера.

Стр. 542. *Pelouse et Frémy, Notions générales de Chimie.*— Эта книга, написанная французскими учеными-химиками Теофилем Жюлем Пелузом (1807—1867) и Эдмондом Фреми (1814—1894), вышла в свет в Париже в 1853 г.

Стр. 559. *Гуфеланд* Христофор Вильгельм (1762—1836) — немецкий ученый, автор книги «Искусство продления человеческой жизни».

Стр. 561. *«Друг здравия» на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год...*— Речь идет о врачебной газете, издававшейся в Петербурге с 1833 по 1869 г.

Шенлейн Иоган Лукас (1793—1864) — немецкий врач, профессор.

Радемахер Иоган Готфрид (1772—1850) — немецкий ученый, медик, последователь Парацельса.

Стр. 562. *Гуморалист* — сторонник идеалистической умозрительной теории гуморальной патологии, согласно которой причины болезней коренятся в нарушении соотношения соков в организме; humor — жидкость (л а т.).

Гоффман Фридрих (1660—1742) — немецкий ученый, медик.

Броун Джон (1735—1788) — английский врач.

Витгенштейн Петр Христианович (1768—1842) — фельдмаршал, участник Отечественной войны 1812 г. В 1818—1828 гг. командовал Второй (южной) армией, в которой образовалось Южное тайное общество (см. ниже).

Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете...— намек на Южное общество декабристов, возглавлявшееся П. И. Пестелем.

Парацельский (Парацельс) Теофраст Бомбаст (1493—1541) — знаменитый швейцарский врач и химик.

Стр. 563—564. *...о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновской политикой и запутанностью итальянского вопроса.*— При заключении Виллафранкского мира (11 июля 1859 г.) Наполеон III предал Италию; с его помощью Австрия, несмотря на понесенные ею поражения, сохранила власть над Венецией. Вопрос о борьбе Италии за освобождение от австрийского владычества и за национальное освобождение горячо обсуждался в русской периодической печати,— в частности, в революционно-демократическом «Современнике» и в «Свистке».

Стр. 564. *Гораций* Квинт Флакк (65—8 гг. до н. э.) — знаменитый римский поэт. В одах и посланиях воспевал наслаждение жизнью на лоне природы.

Стр. 565. *...взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи.*— По библейскому преданию, предшественник и провозвестник Иисуса Христа Иоанн Предтеча был казнен по требованию Иродиады, мстившей ему за разоблачения ее порочной жизни. Отрубленная голова Иоанна Предтечи была преподнесена ей на блюде.

...ни одной книги, кроме Алексиса, или Хижины в лесу.— Имеется в виду сентиментально-нравоучительный роман французского писателя Дюкре-Дюминиля (1761—1819), написанный в 1788 г.

Стр. 566. *...как некий Цинциннат.*— Римский патриций и диктатор Луций Квинкций Цинциннат (VI—V вв. до н. э.) вел простой образ жизни и сам обрабатывал землю, чем снискал славу образцового гражданина.

...надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав.— В книге «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) противопоставлял современное ему общество «счастливой жизни людей» в «естественном» состоянии, вне губительных влияний роскоши и излишеств, свойственных, по

его мнению, современной цивилизации. Одним из условий воспитания и счастливой жизни человека Руссо считал физический труд.

Стр. 569. *...и запел из Роберта...*— из оперы Джакомо Мейербера (1791—1864) «Роберт-Дьявол» (1831).

Стр. 572. *... на бой, на бой! за честь России!* — Здесь почти с буквальной точностью воспроизведена характеристика поэзии Пушкина, данная в 1861 г. писателем-разночинцем Н. В. Успенским при его встрече с Тургеневым в Париже. В связи с этим Тургенев писал П. В. Анненкову: «На днях здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай) и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: «На бой, на бой за святую Русь». Он, однако, не вполне одобряет Добролюбова» (Письма, IV, 182).

Стр. 574. *Кастор и Поллукс,* они же Диоскуры — в древнегреческой мифологии герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь — в смысле неразлучные друзья.

Стр. 583. *...под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город...*— Первые воскресные школы, ставившие своей задачей первоначальное образование неграмотного и малограмотного главным образом взрослого населения, возникли в Петербурге (апрель 1859 г.) и Киеве (октябрь 1859 г.), а затем и во многих других городах. В создании воскресных школ большую роль сыграла революционная интеллигенция, рассматривавшая их не только как одну из форм просвещения народа, но и как легальную форму антиправительственной пропаганды.

Стр. 584. *...по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян...*— Безудержная эксплуатация прибалтийских крестьян немецкими баронами была разоблачена еще в конце 40-х годов Ю. Самариным в его «Письмах из Риги», распространявшихся в рукописном виде в Москве и Петербурге. Начиная с 1856 г., реакционная политика остзейских дворян в крестьянском вопросе неоднократно подвергалась критике в печати. Несколько позднее на хищнический характер «прав» и привилегий остзейских баронов указывал Чернышевский (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VII, М. 1950, стр. 520).

Стр. 597. *...таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф.*— Для произведений английской писательницы Энн Редклифф (1764—1823), в свое время пользовавшихся огромным успехом не только в Англии и вызвавших массу подражаний и подделок, характерна поэтика фантастических ужасов и таинственных происшествий. Таинственный незнакомец — неизменный персонаж ее романов.

Роберт Пиль (1788—1850) — английский государственный деятель, консерватор.

Стр. 610. *...точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше.*— Базаров говорит это летом 1859 г., а имеется в виду письмо Н. В. Гоголя к А. О. Смирновой от 6 июня 1846 г., входившее в «Выбранные места из переписки с друзьями», но изъятое цензурой и впервые напечатанное, под заглавием «Что такое губернаторша», в газете «Современность и экономический листок» (1860, № 1, стр. 9—12).

Стр. 626. *...отправляются в Елисейские...*— то есть умирают. В древнегреческой мифологии Елисейские поля — страна на краю земли, где блаженствуют избранники богов.

Стр. 634. *Брюлевская терраса* — была расположена на бывшей крепостной стене Дрездена, над Эльбой. Брюль Генрих (1700—1763) — министр Августа III, короля польского и курфюрста саксонского.

А. Батюто

СОДЕРЖАНИЕ

С. Петров. Шедевры Тургенева 5

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

Хорь и Калиныч 27
Ермолай и мельничиха 37
Малиновая вода 47
Уездный лекарь 55
Мой сосед Радилов 63
Однодворец Овсяников 69
Льгов 84
Бежин луг 94
Касьян с Красивой Мечи 112
Бурмистр 128
Контора 140
Бирюк 155
Два помещика 162
Лебедянь 169
Татьяна Борисовна и ее племянник 179
Смерть 189
Певцы 200
Петр Петрович Каратаев 215
Свидание 227
Гамлет Щигровского уезда 235
Чертопханов и Недопюскин 257
Конец Чертопханова 272
Живые мощи 301
Стучит! 311
Лес и степь 323

НАКАНУНЕ 331
ОТЦЫ И ДЕТИ 465

Примечания: *В. Фридлянд* — к «Запискам охотника»; *А. Батюто* — к «Накануне» и «Отцы и дети» 639

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 117

Иван Сергеевич Тургенев
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА. НАКАНУНЕ. ОТЦЫ И ДЕТИ

*

Редактор С. Чулков
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор Г. Сурис

*

Сдано в набор 10/IV 1970 г. Подписано в печать 3/VIII 1970 г. Бумага типографская № 1. 60×84 1/16. 42 печ. л. 39,2 усл. печ. л. 40,8 уч.-изд. л. + 1 вклейка +7 накидок = 41,7 Тираж 300 000 экз. Заказ 1006. Цена 1 руб. 79 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28.